ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 12. 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.) Индекс 70327.

ISSN 0321—1878



12

1991

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Звезда

12
декабрь
1991

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

SUMMARI № 12

PROSE

Vladimir Lyalenkov «Random Thoughts of a Naked Man». A story about a little man of the 70s told by a well-known author.
Vladimir Nasushchenko. Two stories by a brilliant master of style, an outstanding author of short stories.
Sergei Volf «Just Bacchus». A subtle psychologically deep story about a strange love of a modern young man.

POETRY

Verses by Vladimir Mikushevich (Moscow), Leonid Grigoryan (Rostov), Vladimir Shalyt, Anatoly Tsvetayev and Alexander Frolov (St. Petersburg) give a vivid picture of an intellectual trend in modern Russian poetry.

MEMORIAL OF CONSCIENCE

Sara Kulneva «Sorelé». Memoirs about the tragic fate of Mikhoels Theatre company.

JOURNALISM

M. Levin «Walking with Pushkin». Memoirs about A. D. Sakharov, written by a friend of his youth. According to Yelena Bonner, the best memoirs about the great scientist.

NEW TRANSLATIONS

J. Ortega y Gasset «Sketches about Love». An essay by a well-known Spanish philosopher.

OUR PUBLICATIONS

Victor Hofman «On Mandelstam's Lyric Poetry». An article by an outstanding Leningrad philologist who died during the Siege (1941—1942). Written before the World war II, it is now published for the first time.

CRITICS

Yevgeni Rein «A Hundredth Mirror». Reminiscences about Anna Akhmatova by one of her younger friends, now a well-known poet.
Igor Pomerantsev «Housing Resources of Poetry» and other essays. Miniatures on modern Literature by the Russian writer, poet and critic who now lives in London.

PHILOSOPHICAL COMMENTARY

Boris Paramonov «Pegasi and Bugs». A well-known philosopher and essayist who works for Radio «Liberty» in New York enters into polemics with Wadim Borisov about Russia's Messian Way.

FROM THE READING CORNER

Учредитель: Союз писателей СССР **Издатель: редакция журнала «Звезда»**
Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Зам. главного редактора по производству В. В. РОГУШИНА
Ответственный секретарь А. С. ЩЕГЛОВ
Корректоры: О. А. Назарова, Л. А. Привалова **Технический редактор В. Т. Молоткова**

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, Моховая, 20
Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41.
Сдано в набор 20.08.91. Подписано к печати 11.11.91. Формат 70 × 108[1]/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,57 уч.-изд. л. Тираж 130 980 экз. Заказ № 798. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

«Печатный Двор», 197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15

Владимир Ляленков

Побочные мысли раздетого гражданина

Повесть

ГЛАВА 1

Последний оратор на конференции «громогласно и с наглым видом» заявил, что после разоблачения культа личности, создавшего немыслимую бюрократию, бюрократы остались. Они лишились страха, сами себя возомнили личностями, распустили животы и стали плодиться, как плодятся грызуны в подходящей биообстановке.

Серков никогда не жаловался на свое сердце. Среди сослуживцев шутил, что и не знает, где оно у него находится. Но после таких слов оратора сердце вдруг дрогнуло, заколотилось. Ему стало душно. Он ослабил узел галстука, но это не помогло. Он тихонько поднялся, бесшумно просеменил к выходу. В вестибюле никого не было. Серков прохаживался, поглубже вздыхая, стараясь думать о чем-нибудь приятном и успокоиться. Но память выдавала разные неприятности. И вспомнилось то, о чем он узнал с год назад, о чем, казалось, давно забыл: странная ситуация в пригородном совхозе «Светоч». Там десять лет строили комплекс на пятнадцать тысяч свиней. Шестой год комплекс давал продукцию, а последнее время тамошние жители, в основном женщины, жили в постоянном и каком-то тихом страхе: боялись крыс. Маленьких детишек по вечерам за порог квартиры не пускали. И в квартирах первых этажей плинтусы и углы комнат обили жестяными полосами.

Узнал об этом Серков от слесаря-сантехника, которого вызвал починить кран на кухне. Серков сам мог бы заменить прокладку. Но каждый должен заниматься своим делом. К тому же: если прорвет кран ночью или когда никого дома не будет, кто станет отвечать за залитые квартиры двух нижних этажей?

Обе замужние дочери его жили уже отдельно. Жена заведовала швейной мастерской в городском промкомбинате. Но ей надо было отпроситься с работы к приходу слесаря. Серкову как начальнику отдела кадров всего комбината отпрашиваться не надо.

Рослый малый с толстым и сизоватым носом явился в час дня. Сразу принялся за работу, при этом ворчал и ругался. Сердился он на жену свою и на город. Чтоб не молчать, Серков осведомился, чем так насолили ему одновременно жена и Новогорск. Слесарь сердито посмотрел на него.

— А вы кем работаете, хозяин? — спросил он.

Серков дипломатично ответил: в отделе кадров завода.

— А, в кадрах! — усмехнулся слесарь и больше ничего не произнес.

Когда прокладка была заменена, Серков пригласил рабочего к столу. И выпил с ним тоже.

— А ты, хозяин, видать, хороший мужик, хоть и в кадрах работаешь,— сам начал разговор слесарь.— Но тебе никогда не понять, в какую я лужу вляпался из-за вашего города! — И он твердым голосом заявил, что Новогорск только по названию и времени существования молодой. А по сути своей — старый. Только вот в этом 27-м доме весь четвертый подъезд заселен пенсионерами. Вначале он и не знал об этом. Удивлялся: отсчитывает ему хозяйка рубль с мелочью и делает это с таким видом, будто совершает великое благодеяние!

Владимир Дмитриевич Ляленков (род. в 1930 г.) — прозаик. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал инженером по строительству. Автор романов «Борис Картавин» (1974), «Ожидание лета» (1968), книги повестей и рассказов «Крещенские морозы» (1980) и других. Живет в Санкт-Петербурге.

— Я и брать-то с них перестал, хозяин, ведь у нас, в совхозе, и трешку давно за деньги не считают!

— Зачем же вы тогда перебрались в город? — резонный вопрос задал Серков.

— О-ох! — простонал слесарь.— Нет, хозяин, на вас, горожан, надо холеру или чуму напустить, тогда вы забегаете! Иначе вы ничего знать не хотите. Да из-за грызунов этих самых, из-за крыс! Там же много земли бетоном покрыто, их там под бетоном многие тысячи развелось. А может, и миллионы. Никто не знает!

ГЛАВА 2

Он сам не верил в наличие множества крыс. И содействовал, содействует до сих пор такому неверию заместитель директора совхоза, приехавший к ним на работу из Вологды, когда еще строился комплекс. Уже много директоров сменилось, а этот вечный и постоянный. Он человек кипучий, остроязычный. И когда надо — большой насмешник. Загалдят на собрании женщины о крысах, он тут же набросится на них с насмешками. Да так, что остальной народ над ними расхохочется, они и замолкнут...

Жена слесаря заведовала в совхозе библиотекой, а теперь заведует библиотекой во второй школе. Она боится мышей и крыс, боится, что их трехлетнего сынишку крысы покусать могут. Слесарь не верил, что крыс так много,— под бетоном их будто кто-то видел, и еще как они ночью огромными стаями появляются даже на дорогах и разом куда-то исчезают. И как ни пилила его жена — обменяться квартирой с кем-нибудь в городе, он твердо упирался. Но однажды... Младший брат его Федор работал механиком в совхозе «Катуши», это километрах в двадцати от «Светоча». В «Катушах» держали племенных хряков и маток. Совхоз маленький, держали не более шестисот голов, по сотне голов в каждом свинарнике. И вот с год назад брат слесаря Федор решил жениться, пригласил слесаря на свадьбу. В разгар веселья, уже ночью, Федор сказал ему:

— Василий, намечается драка с куриловскими ребятами, а ты горячий, непременно ввяжешься, дров наломаешь. Поезжай домой, тебя тесть мой на машине отвезет. А завтра мы все к тебе приедем.

Слесарь от машины отказался. Прихватил бутылку, закуску и отправился пешком. Стоял конец мая, ночи уже светлели, и было тепло. С песнями он прошагал двадцать верст. К рассвету оказался уже возле березовой аллеи, ведущей к центральной усадьбе. А там из кювета торчала толстая бетонная труба, оставленная строителями. И вдруг он видит, что из этой трубы хлынул поток грязной воды. И не к поселку потек, куда уклон, а на взгорок. Слесарь присмотрелся, весь хмель вылетел из головы: прямо на него неслись потоком крысы.

Он бросился к березе и забрался на нижнюю ветку. Крысы не обратили на него внимания. Минут десять или двадцать неслись под ним по дороге, молча, без писка. И он видел, как они, будто по команде, свернули с дороги и исчезли в кустах.

Придя в себя, он прибежал домой и... простить он себе не может: все выложил жене. А та уже нашла обменщиков, старика и старушку, желавших пожить перед смертью в деревенских условиях. Твердо упираться он уже не мог, и обмен состоялся.

— Послушайте, почему же крыс не травили там у вас? — спросил Серков.

Слесарь сердито отмахнулся:

— Да погоди ты, хозяин! Ты пойми: там подручным у меня был Ванька Кухнов, он олухом был полным, он не мог фланцем трубу связать! Я его всему научил. А он уже там «жигуленка» купил, можешь понять? — Слесарь ударил кулаком по столу, выпил.— Там, понимаешь, вначале поселок снабжался водой из двух скважин со своими водонапорными башнями. Центральная дорога разрезает поселок на две части, и каждая часть своей скважиной снабжается, понимаешь? И из одной скважины вода чистая поступала, а из другой с песком. Так уж получилось. И жители негодовали. А директора там меняются почти каждый год, понимаешь? И вот очередной выбил у государства денег на реконструкцию. Еще при мне. Я и делал реконструкцию: переключали мы воду — один месяц получай прозрачную, а потом месяц с песком. И бабы угомонились на время. А нам, сантехникам, работы прибавилось, понимаешь? Как дадим после песчаной воды прозрачную, тут прокладки в кранах пошли струю пускать! Я в день по четвертной зашибал, а Ванька по пятнадцать. Бабы опять хай подняли, Балдян ловко отбивался. Сменился другой директор, он новую реконструкцию произвел: поставили мы одну центральную водонапорную башню, в ней смешивались чистая и песочная вода. Всем одинаковая вода пошла. А ты пойми, кадры, напор-то в трубах увеличился, и хоть меньше песку в воде, а даже трубы начали свистеть, не только краны, понял?.. Да что тебе говорить! У тебя понятия нет, хозяин.

Серкову хотелось выставить слесаря, но крысы интересовали его. Едва слесарь, помолчав, немного успокоился, Серков опять спросил, почему же крыс не травили?

Тут слесарь вдруг расхохотался:

— Как их потравишь, хозяин? — с укоризной заговорил он.— Их так просто не

потравишь. Обычный мышьяк то ли на них уже не действует, то ли они его уже раскусили и не едят. Никто не знает. И ученые не знают причины. А в «Катушах», где работает мой братан Федька, года три назад случился такой страшный случай. Настоящая трагедия, из-за которой тамошний ветеринар угодил на два года в тюрьму. Год просидел, за хорошее поведение выпустили. Продал дом, уехал с семьей куда-то, бедняга. Я его не знал, а брат Федор говорил — занозистый был мужик, во все дырки нос совал. С директором и зоотехником на ножах был. И вот у них-то развелось множество крыс. И там их мышьяк уже не брал. Надо было добавить какой-то яд. Химический. По инструкции положено всех свиней из помещения удалить, пригласить эпидстанцию и по акту все сделать. Приехала к нему девчонка из эпидстанции. Директор был в отъезде, зоотехник рожала в больнице. Рассовали они яд с мышьяком, составили акт, девица уехала. Но ведь крыса — она не волк, который бежит подохнуть в какое-то глухое место. Крысы нажрались, почуяли неладное и бежать из пустого свинарника. А хряк, знаешь, пострашней льва. Говорят, лев обнаружит пьяного человека, понюхает, фыркнет и отвернется. А ежели, скажем, к хряку свалишься пьяный, то он тебя загрызает за ночь. А уж крысу он мигом сожрет. Через неделю пали на ноги хряки, матки выбрасывать поросят начали. И сами пали. Что поднялось! Начальство наехало. Ветеринар шарил, шарил в своем столе: нет акта на травление крыс! В санэпидстанции то же самое. И девицы той не оказалось: уволилась, уехала невесть куда. А заведующая эпидстанцией свое: я, говорит, ничего не знаю!.. Так-то, брат кадры, плеваться с начальством... Вот и отрави попробуй в «Светоче»... Крыс, может, уже миллион, все знают про них, а как избавиться? Потому директора и бегут. Сейчас директором Вадюков, он уже там себе заготовил сруб, шифер у вас на комбинате выбивает. Потом заболеет и уволится...

Когда слесарь ушел, Серков, хотя никого дома не было, закрылся в своей комнате, открыл ключиком дверцу правой тумбы письменного стола. Другим ключом открыл средний ящик, вынул толстую тетрадь. На обложке ее было написано крупными буквами «ПОБОЧНЫЕ МЫСЛИ». Торопливо, но четким почерком Серков занес в тетрадь все, что поведал слесарь. Сунул тетрадь обратно в ящик, запер его, тумбу. И только после этого как бы успокоился. До окончания рабочего дня оставалось полтора часа. Он принял душ и отправился в управление.

ГЛАВА 3

И вот, прохаживаясь по вестибюлю, вспомнив визит к нему слесаря-сантехника, Серков подумал о нынешнем директоре «Светоча». Тот сегодня уже выступал на конференции, много говорил о недостатках в поставке кормов совхозу, о выполненном плане. И вспомнилось, что на днях видел этого директора в коридоре управления с бумажкой в руке. Директор беседовал со старшим экспедитором комбината, толковал что-то о шифере. «Должно быть, бежать собрался»,— вздохнул Серков. Он знал, что, если сейчас уйдет домой, закроется в своей комнате и занесет в тетрадь все, что его разволновало, тогда только он успокоится. Но уйти он не мог: в зале находились работники горкома, исполкома, руководители предприятий. Они могут подумать, что он демонстративно покинул зал, недовольный критикой. Но ведь она, эта критика, лично его не касалась! За три года перестройки лично его, начальника отдела кадров, никто и нигде не критиковал! Черт знает что! Он вытер платком лицо, шею. Вернулся в зал и сел на свое место рядом со своим заместителем Ершовым. Ершов шепнул ему:

— Сгорит малый, тут ему не столица.

А молодой оратор с наглым видом, механик с хлебозавода, проработавший каких-то два с лишним года после института, уже кричал, что ссылка на устаревшую технику хлебозавода — чепуха. Сам технологический процесс замесов, выдержки его и выпечки постоянно не соблюдается. А почему по вторникам и пятницам старожилы Новогорска не покупают хлеб и батоны? — гремел оратор. Почему выпечка ночных смен в эти дни идет в магазины пригородных деревень? Да из-за припека, товарищи! Воды много добавляется, и хлеб уже к концу дня становится каменным. И это еще один компонент экономики. А когда хлеб совсем ни к черту не годится, продают его совхозу для свиней.

— Сгорит, сгорит, малый,— шептал Ершов.— Тут ему не столица.— И хихикал.

Вернулся домой Серков поздно, в начале одиннадцатого.

— Что с тобой, Леша? — спросила жена.— На тебе лица нет!

— Устал. Душно было на конференции.

Ужинать он не стал, выпил стакан водки, закусил яблоком. Посидел перед телевизором минут пять и поднялся.

— Поработаю немножко и лягу,— сказал он жене.— Девчонки не приходили? — спросил он о дочерях.

— Нет. Они все придут в воскресенье.

Он прошел в свою комнату и закрылся. Когда он сидел за столом в своей комнате, никто из домашних не тревожил его: папа работает...

ГЛАВА 4

Родился он в тридцать пятом году в деревне Замошье, километрах в пятидесяти от Новогорска, которого, ясное дело, в ту пору и в помине не было.

Отец его погиб на войне. Серков рос с сестренкой и матерью, о которой упоминал в записках редко. Но с нежностью и любовью. Она была небольшого роста, хрупкого сложения, но работящая. С соседями, бригадиром, тем паче с председателем — никогда не скандалила. Была пуглива, как писал Серков. Она почему-то боялась бригадира, и когда всех созывали за чем-либо, на лице ее появлялся испуг. Она суетилась и прежде других бежала к правлению. Когда Серков уже жил в Новогорске, имел просторную квартиру, он уговорил мать жить с ним и привез ее. Но она и двух недель не прожила. От телефонного звонка всякий раз вздрагивала. Звонили в дверь — сама никогда не открывала. С испугом на лице сообщала сыну или невестке:

— Ктось опять позвонил!..

— Мама, ну что ты всего боишься? — удивлялся Серков.

В ответ она слабо улыбалась, пожимала плечами. Со слезами извиняясь, должно быть, думая, что обижает сына, и скоро упросила отвезти ее обратно в деревню. В родную избу.

Много страниц уделил Серков деревенскому мужику Тятину Ивану Ивановичу, который жил через два двора от Серковых. Этот Тятин был небольшого роста, коренастый, очень сильный и подвижный. Вернулся он с войны жарким летом сорок пятого года с полувысохшей правой рукой. За всю войну он ни разу не был ранен. Служил он в пехоте рядовым, а потом ротный взял его связным. И по этому поводу Тятин до старости часто толковал деревенским, что связной — это не связист. В связные брали сержантов, окончивших училище. Или младших офицеров. Ибо связной должен тонко понимать обстановку, быть проворным, расторопным, сообразительным. Потом комбат забрал его к себе. А от комбата его забрали связным в штаб полка, когда он стал уже сержантом. У самой границы германской полк был разгромлен. И тогда Тятин попал к связистам и стал командиром отделения связи. Уже в Германии его слегка контузило. Зашел он со своими связистами в деревенский дом. Первый из вошедших открыл кастрюлю, стоявшую на столе. И рвануло. Тятин не упал, сознания не потерял. Стоял у стены, все видел и понимал. А потом присел и отдышался. И вот после этого правая рука стала слабеть. Командиру об этом не говорил, в санчасть не ходил, боялся, что могут обвинить в симуляции. К тому же за годы войны он уверовал, что ни пуля, ни осколок его не возьмут — такая судьба его. И ему очень хотелось дотянуть до самого победного конца. Но когда рука совсем ослабла, стала раза в два тоньше левой, Тятина демобилизовали.

Привез он жене больше дюжины шелковых платьев различного цвета, отделанных кружевами. И она стала щеголять в них. Нашлись завистливые языки, говорили, будто это не платья, а ночные рубашки. Но под действием зависти всякой всячины можно наплести. Жена Тятина подарила по платью соседкам, двум своим сестрам. И завистливые языки притихли. Она подарила платье и матери Серкова. Но мать в таком великолепном наряде стеснялась появляться на улице. Носила платье по праздникам только в избе.

Тятин в ту пору был разговорчивым. Он рассказывал деревенским, что в Германии прямо вдоль дорог растут яблони, сливы. Даже когда плоды начинают созревать, их никто не рвет и не сторожит. Плоды ждут своего времени и хозяина. И еще он рассказывал, как однажды солдат из его отделения нашел чемоданчик с «золотьем». На дороге прямо посреди деревни наехали они на разбитый немецкий обоз. И в канаве рядом с дорогой солдат приметил чемоданчик. Он вспорол его штыком и увидел кольца, браслеты и прочее. Солдат был не дурак, тут же быстренько вытряхнул все добро из чемодана в свой полупустой вещевой мешок и побежал за своими товарищами. Конечно же, рассказ об этом солдате на деревне запомнили. А под осень Тятин уехал в Ленинград к своему старшему брату, который по пути домой с войны задержался на пару дней в Питере у своего фронтового товарища, неожиданно женился и остался в этом городе навсегда. Из Ленинграда Тятин привез много обувки, одежки, очень дорогой, разных продуктов. И не на себе привез, а отправил из Ленинграда по железной дороге малой скоростью, в трех огромных ящиках. И со станции Кедринской привез ящики на телеге. И вот тогда-то заговорили на деревне, что золотье, скорей всего, нашел в чемоданчике в канаве не какой-то солдат, а сам Тятин. И брат помогал ему сбывать золотье. И еще Тятин привез из Питера много учебников и тетрадей школьных. И когда начался учебный год, Тятин удивил и жену свою, и деревенских других. К этому времени дети его, Сережка и Настя, пошли соответственно во второй и в первый классы. И вот Тятин, бойкий, разговорчивый и деловой, стал вместе с детишками готовить их уроки. Смастерил им отдельный стол. И когда занимался с ребятами, куда бы его ни звали товарищи, он от всех отмахивался.

Маленький Леша Серков ходил тогда вместе с Сережкой Тятиным во второй класс. И пристрастился делать уроки вместе с ним и с его отцом. Весело было делать у них уроки. И обедал у них маленький Серков, иногда и ужинал. Ели не из одной миски: сам Тятин подавал каждому тарелку, ложку и вилку. У него Леша Серков познал вкус пожарских котлет, гуляша, отбивных шницелей и домашних колбас с чесноком. И другое впитал в сознание маленький Серков. Тятин часто повторял:

— Я выведу вас в люди, уедете из этой проклятой богом деревни отличниками в город. Там станете настоящими людьми.

Да ведь и в школе учителя твердили:

— Будешь плохо учиться, Петров, на всю жизнь останешься в деревне!

И мать дома тихо и мечтательно говорила:

— Ты, Лешенька, у нас умненький, в город уедешь, выйдешь в люди, станешь человеком. Потом заберешь отсюда меня и Катюшку. Увезешь, Лешенька?

Он, гордый, кивал.

Сережка Тятин и Леша Серков окончили семилетку на одни пятерки. Тятин уехал учиться в десятилетке к дяде в Ленинград. Позже он закончил институт, был доцентом и стал доктором технических наук. Юный Серков уехал в Усть-Межецк, что на Северной Двине, где открыли тогда сельхозтехникум в бывшем монастырском общежитии. И не голодал там потому, что он и еще трое студентов, выросших без отцов, объединились в коммуну. Сами готовили себе еду из своих продуктов. Замошье испокон веков славилось хорошей картошкой, и Серков только ее и поставлял в коммуну. И в ту пору в Межецке рыбы было много. На базаре и на пристани продавали ее за копейки.

Диплом техника по эксплуатации сельхозмашин получил Алексей с отличием. Заработал в техникуме первый разряд по лыжам. Получил его в Архангельске, куда возил команду преподаватель физкультуры некий Мешков, он же был и председателем местного спортивного общества «Урожай». Этот Мешков сам был лыжник и легкоатлет, но и любил боксировать. Он очень хорошо знал запрещенные боксерские приемы и из борьбы самбо. И приучал к ним ребят, часто повторяя:

— В нашей жизни все такое очень нужно. Только не хулиганить, ребята!

А был Мешков беглецом из Москвы. Это был отчаянный женолюб, чем и прославился в Усть-Межецке и в округе. Хотя, по мнению Серкова, особой красотой не отличался, но женщины тянулись к нему и покорялись. Из-за этого он и пострадал в Москве. Там он сошелся с одной молоденькой женщиной. Однажды прямо в спортзал явился милиционер в звании лейтенанта и тихо, спокойно сказал Мешкову, что полковник такой-то повелел ему в 48 часов уехать из Москвы. Но чтоб попрощаться с Марией и не пытался.

Посмеиваясь, Мешков сообщил об этом какому-то из своих начальников. А тот испугался. Сказал, что ему не смеяться надо, не ждать истечения 48 часов, а надо бежать из столицы немедля. И даже домой ему сегодня нельзя являться. А Мешков только улыбался. Тогда опытный советчик позвонил председателю спортивного общества, поведал ему. Председатель тоже испугался. Велел Мешкову сегодня домой не ехать. Переночевать в клубе. А завтра что-нибудь сообразим, сказал председатель. И тогда только ловелас понял, что дела его плохи. На следующий день на доске объявлений клуба в коридоре висело распоряжение, что тренер Мешков уволен по собственному желанию в связи с тем, что он завербовался на три года работать на остров Сахалин. А ночью, забежав к матери на минутку, сказав ей, что едет в командировку и скоро напишет, укатил на поезде в Архангельск.

ГЛАВА 5

Алексея Серкова оставляли работать в техникуме. Но он попросил направить его в Замошьевскую МТС.

Усадьба МТС находилась в двух километрах от его родной деревни, в сосновом бору. Надо было подправить избу, хлев. Сестра его, закончив семь классов, работала почтальоном. И ее судьбу надо как-то определить.

В МТС Серкова оформили на работу с окладом 650 рублей. Директор МТС сказал ему:

— Осенью тебе, Серков, в армию идти, так что принимай пока свой замошьевский куст. Там у вас четыре трактора, два комбайна. Главное — чтоб к уборочной машины были готовы. А отслужишь — вернешься, там будет видно...

Что будет видно, Алексей не понял, но и не стал расспрашивать. Обрадовался, что жить будет дома. Но в Замошье работал только один трактор, на нем привозили из Самойловского сельпо продукты в магазин, корма для скотины. Другой трактор стоял на приколе и был оголен на запчасти. А еще два работали в ближних лесных деревнях. Их применяли на работах.

Своего нового начальника трактористы приняли равнодушно. В свои восемнадцать лет он выглядел худеньким подростком. К тому же трактористы полностью зависели от колхозных бригадиров и председателя колхоза Пименова. В МТС запчастей к машинам не было, доставал запчасти председатель в Новогорске, где полным ходом строился огромный химзавод и город. И заработок и приработок трактористов тоже зависел от председателя колхоза. А председатель Пименов, присланный сюда из города с год назад, когда Серков явился к нему в правление с предложением: надо бы в Синькове и в Заборье поставить маленькие навесы для тракторов, грубо ответил:

— У тебя, парень, начальство имеется, вот и решай с ним. Вы дерете за машины деньги с нас, а запчасти достаю я. За свои кровные. Это директор тебе подсказал насчет навесов? Он умеет подсказывать! Так передай ему от моего имени: пошел он к черту!

— Он не подсказывал мне.

— Ну и плохо, что не подсказывал. На него похоже. Ты осенью в армию идешь?

— Да.

— Вас всех разогнать надо. И разгонят... Ты вот что, специалист Серков, отслужи с честью три года. Если вернешься сюда, тогда серьезно поговорим. Технику всю мы заберем себе. Вот тогда у нас с тобой будет разговор. Все

Господи, поражался в своих записках Алексей Иванович, он, родившийся в деревне, выросший здесь, окончивший техникум, совершенно не знал, не понимал хозяйственных отношений в деревне!

Не вышел, а выбежал из правления колхоза юный Серков с таким чувством, будто председатель сказал ему: пошел вон отсюда!

Тятин Иван Иванович к этому времени народил еще четверых детей, двух мальчиков и двух девочек. Дочь довоенного производства, как он выражался, уже училась в Ленинграде. Он так поднаторел в занятиях с детьми по школьной программе, что старшие мальчик и девочка нового поколения начали учиться в школе со второго и третьего класса. Отпустил окладистую бороду, внешне постарел, носил очки. И стал менее разговорчивым. В правление колхоза заглядывал только по делу. Когда давали задание починить сани, телегу, подправить что-нибудь в конюшне, свинарнике.

Из правления Алексей побежал к нему. Тятины обедали. От предложения пообедать Алексей отмахнулся. С гневом передал разговор с председателем. Тятин молча выслушал. Дохлебав суп, он поднялся.

— Ну, ребята, заканчивайте обед без меня, дела ждут,— произнес он.

В сенях он снял две удочки, позвал Алексея на озеро порыбачить. Какая рыбалка может быть среди дня в такую жару?

— Я знаю местечко, где окуньки берутся хорошо...

Но окуньки не клевали, сидели Тятин и Серков на открытом месте, и Тятин ровным голосом и спокойно говорил, изредка поглядывая назад и в стороны:

— Мы, Лешка, с твоим батькой очень хорошие дружки были до войны. Я вернулся, а ему не повезло. Я тебе, брат, добра желаю. Ты с отличием учился, но житейских понятий у тебя мало. По молодости ты не все поймешь из того, что скажу тебе, но запомнить должен. Опосля все поймешь, когда в ребра тебя жизнь потолкает... Председатель Пименов брешет тебе, будто бы он верховодить здесь будет долее: он, Лешка, в районе уже хлопочет об отъезде отсюдова. Смыться желает. Но ему сказали: отсеялся, теперь собери урожай, в октябре месяце отчет дашь, тогда мы тебя по твоим семейным обстоятельствам отпустим из деревни, понял?

Алексей был удивлен.

— Дядя Иван, да зачем же ему увольняться? Он же тут царь и бог, все у него под рукой. Я слыхал, и директор МТС его побаивается!

— Твой директор выпивоха страшный, потому он всех побаивается. Он позавчерась ночью ко мне нагрянул на машине. Весь дрожит, выдул банку браги, вторую прихватил и укатил... И другое скажу тебе, Лешка, потому как я тебе заместо отца говорю. И не по своей воле, Лешка, а от его желания. Скажу тебе по секрету, он часто во сне ко мне приходит, про матку твою ничего не говорит, а все тобой интересуется. Ты, говорит, Иван, хоть и сам оказался в притеснении, но ты живой, а я погиб, дак ты хоть наставления ему дельные давай. Да скажи ему, пусть в побочных мыслях наставления держит, не сказывает никому.

Юный Алексей Серков усмехнулся и спросил:

— Да кто же тебя притесняет, дядя Иван?

— Аль не слыхал?

— Не. Ничего.

— Помнишь ли нашего гордягу участкового Мелецкого, он из Межеца был прислан?

— Не.

— Да ты учился. Верно. Он, Лешка, в район написал. Из наших злыдней-дураков кто-то подписался на доносе: я, мол, куркуль и кулак, развел гусей стадо в сорок штук, овец полтора десятка, двух кабанов кормлю, корову, телка и бычка содержу, а в колхозе-де не работаю. А главное, Лешка, ругаю советские порядки и хвалю немцев... Меня, Лешка, тогда председатель Николай Василич спас. И бухгалтер. Они спасли. И устно и письменно показали: хоть я и инвалид войны, но в жизни колхоза активно участвую, всякую плотницкую и столярную работу исполняю исправно. И перечень работ указали. И письменно заявили, что антисоветской агитации я не веду. А мне потом Николай Василич подсказал, чтоб я стадо гусей укоротил, второго кабана не держал. А то, говорил, я скоро уеду отсюда, а тебя все одно от зависти съедят. А и сам уж знал, Лешка: ежели на крючке особистов оказался, то я у них на заметке сто годов. Гусей порезал, парники снял... Но думаю, Лешка, перемены должны быть. Вот Иоська помер, перемены должны быть...

— Какой Иоська? — спросил Алексей Серков.

— Иосиф Виссарионыч наш.

И вот после этих слов Серков вздрогнул, голова его откинулась назад. Он скосил глаза на Тятина.

Он же, Леша Серков, был активным комсомольцем в техникуме. Он был спортсмен, участвовал в самодеятельности. В райкоме комсомола всегда встречали его приветливо. Когда уезжал в родную деревню, в горкоме комсомола вручили ему грамоту — как активисту, спортсмену и отличнику в учебе. Да ведь учась в техникуме, Серков даже представлял, как будут люди жить при коммунизме!

Одно из общежитий техникума размещалось в старинном двухэтажном домике, стоявшем рядом с монастырским кладбищем. Серков жил в пятиместной комнате на втором этаже. Какие были споры о том, как будут жить при коммунизме! До ссор доходили споры и срыва голосовых связок. По утрам люди будут просыпаться с бодрой и веселой маршевой музыкой. И Серков слышал песню со словами: «Не спи, вставай, кудрявая!»

У всех ведь приемники будут, а на улице повсюду репродукторы. Одни идут на работу строем, другие гурьбой. И все радостные и поют. На заводах, фабриках и в полях все работают весело, а после работы заходи в любой магазин, где всего полно, и бери, что тебе нужно (тут спорили, будут ли продавать в магазинах продукты, чтоб готовить дома). Один кричал, что дома уже готовить не будут, все будут кушать в столовых и ресторанах. Дома — только отдыхать. А другой кричал: есть люди, которые не любят ходить в столовки! А тогда все полюбят! А как же дети?!. А они — в яслях и в детсадах! И повсюду теплицы и оранжереи, даже с лимонами и апельсинами, тянутся на километры вдоль дорог! Даже спорили: будут тогда выращивать репу или нет?

Когда умер Сталин, всех студентов собрали в актовом зале. Говорили речи. Некоторые плакали. Серков не плакал, но комок в горле стоял.

— Что ты говоришь, дядя Иван,— произнес он тихо и с укоризной.— Разве можно так говорить?! — И корявые кисти рук Тятина в темных морщинках, темная от загара шея, вся в морщинах, полуседая борода, лохматая голова с пятном маленькой лысины, застиранная гимнастерка — все это разом представилось Алексею в каком-то ином свете: Тятин показался ему слабым, темным, отсталым от жизни человеком!!

Тятин был мудр. Он понял юношу. Молодость токует свою песню. И она плохо слышит песню старших, не прислушивается к ней. Сматывая удочки, Тятин ровным и четким тоном говорил Алексею, что вот он от имени его матери и себя письменно попросил у председателя Пименова выписать бревен для ремонта хлева и избы. Пименов не даст. Если дать Серковым, то и многим другим нужно выписать. Пименов скажет ему, что намечается строительство свинарника и коровника, строить будет Новогорский стройтрест. Знает ли Алексей, что возле Гузеевского верхового озера лесхоз выделяет земельные участки, где военные в отставке, начиная с майора и выше, будут строить дачи. Военным лесхоз и лес выделяет, но там же будут строиться гражданские начальники района. И эти начальники уже начали строиться раньше военных, лес получают не в лесхозе, а тянут его из колхозов. И Пименов выделил им уже две делянки, и там, едва подсохло, начали валить лес. Иначе Пименов и осенью чистым отсюда не уйдет. Знаешь ли ты, Леха, что по амнистии вернулся в деревню сын Кибитковых? Нет, он не знает. На прошлой неделе он пришел. И в Дарьино вернулся по той же причине дружок его, Васька Сухарев. Видишь ли, они изъявили желание строить новые дома и жить честной жизнью. И беседовали они с председателем насчет бревен не в правлении, а на мостике через Мошью, где выждали его. Поговорили с ним, должно быть, основательно, потому что он и шифер, и столярку достанет в Новогорске. А сруб поставят за счет колхоза. Но жить здесь они и не думают, переправят дома куда-то в Ростов. Они задаток уже получили.

— Откуда ты про все это знаешь, дядя Иван?

— Не я один знаю, да все помалкивают, а ты слушай. Ты образование получил, а я тебе толкую для житейского просвещения. И держи все это в побочных мыслях, не кричи петушком попусту, а станешь петухом, тогда уж сам знать будешь, когда орать надо. Так-то. А пока ты для Пименова ноль без палочки. Так-то... В армии, Лешка, слушайся сержанта и старшину, все исполняй. Который из них орать на вас будет, глаза пучить, не пугайся поначалу. То он орет по глупости, из привычки, либо боится, что слушаться его не будут... А из делов сейчас, Леша, сделай одно, вполне простое: наготовь жердей для изгороди и стойки поправь. К председателю и не ходи, а только бригадиру Василию скажи, мол, за Мошьей густого молодого ельника много, все равно его прорубать надо, а ты и без наряда будешь делать...

ГЛАВА 6

Расстались они возле огородов. Дома юный Серков походил по двору, взял было вилы почистить в хлеву. Но бросил.

Речка Мошья разделяла деревню на две бригады. Бригадира Елина Алексей увидел возле магазина.

— А это дело,— сказал Елин, выслушав Серкова.— Там шесть полян за болотцем. Еще весной толковали о прорубке.— Он достал истрепанный блокнот.— Я на матку твою запишу работу...

Молодость токует свою песню! Из сказанного ему Тятиным, казалось, все пролетело сквозь уши, но ведь тогда только казалось, ибо много времени спустя ему вспомнились слова Тятина! А тогда сидело в мозгу одно: он, Серков, молодой специалист, комсомолец, окончивший техникум с отличием, для председателя Пименова — ноль без палочки. Он и не требовать бревен захотел, а проверить, правду ли предсказывал дядя Иван.

Председатель Пименов бревен не выписал.

— Леса нет. Колхоз будет строить коровник и свинарник. А ты вот что, Алексей Серков, косить не разучился? Или и не умел? Через неделю приезжают шефы травы косить. Подключайся к ним в работу. А вернешься из армии, новую избу поставим тебе.

Сжав губы, Серков выслушал и ничего не ответил.

С сеном было туго в деревне. Из заготовленного всем колхозом людям выделяли десять процентов. Делили всем поровну на сенокосные трудодни. Но один ведь человек сильнее и сноровистее, расторопнее, другой поленивей, не так расторопен в работе. А делили эти жалкие десять процентов в правлении, при закрытых дверях. Потом бригадиры сообщали, кому какой стожок и на какой лесной поляне. А ведь даже на двух соседствующих полянах в одном и том же лесу сено удавалось разное по качеству. Сколько обид, споров, ссор! На корову надо запасти на зиму около двух тонн сена, но эти жалкие десять процентов и половины нужного не давали. Две здоровые женщины не могли прокормить корову до новой травы. Прикашивали себе по вечерам при луне на дальних полянках, у болот.

В Замошье в основном прикашивали себе на бывших сенокосах, километрах в пятнадцати от деревни. За годы войны местность там заболотилась, но островки сухого места остались. Землю колхозу списали. Но так сложилось, что косили там тайком почему-то, зимой вывозили сено тоже тайком, будто воровали. Старики, женщины послабей не косили на тех болотах. Коров продавали или резали. Или таскали зимними ночами колхозное сено. Никто в душе не считал это воровством, а только боялись. И не считали воровством женщины, оставшиеся без мужей, их дети, когда таскали по ночам картошку от картофельных буртов на полях, а только боялись. Боялись, что осудят, засудят, опозорят. Боязнь, робкий страх поселялись в людях с детства. Да ведь и те же бригадиры пронизаны были страхом, хотя, возможно, и не задумывались над этим. Давно действовало негласное правило: бригадир уплачивал в правлении деньги за молочного поросенка, теленка, который появился на свет в соседней деревне,— бригаде. Получал квитанцию, но поросенка он не брал, тот рос среди колхозных собратьев. Забирал уже зимой, под рождество, колол, мясо вез на базар. В Замошье все бригадиры так делали. Телят, овец забирали, когда выпадал снег.

Вечером Алексей сказал матери и сестре, что до приезда шефов он наготовит жердей для изгороди, потом с шефами будет косить. А бригадиру скажет, чтоб он его сенокосные трудодни записал на них.

— Не ходи с городскими косить, Лешка,— подсказала сестра.— Твоих трудодней все одно нам не запишут. Как начнут делить, и не вспомнят!

— Не ходи, желанный, не ходи с городскими, сыночек. У Брызгиных, у Кибитковых, которы подле церкви, два сына на побывку приезжали и косили так-то, и копнили. А их доля с городскими ушла. Маньке ничего не дали. А сыны ее в милиции служат на железной дороге. И не дали... И за жердями не ходи, Лешенька. А то поди чего... Еще и привяжутся! Поотдыхай, сыночек! Вон Пашновы двойнята и Егорка Куприяновых уж гуляют! И ты с ими погуляй, вместе-то служить поедете!..

На следующий день, побеседовав с Тятиным, почистив в хлеву, отправился берегом Мошьи в усадьбу МТС. Задумка у него была такая: сообщить, что один трактор в Замошье уехал за продуктами для магазина в сельпо, другие машины председатель направляет к Гузеевскому озеру трелевать лес (Алексей решил непременно сказать директору, что бревна возить будут не для колхозных нужд, а для горожан, которые строить будут там свои дома). В Замошье ему, Серкову, сейчас работы нет по специальности; если ее нет и на усадьбе МТС, то он хочет заготовить для себя жердей, а потом уйдет траву косить. Он не скажет, что на болотах для себя будет косить, скажет — он на сенокосе будет. И если можно так ему поступить, то, когда он вдруг понадобится как специалист, то пусть сообщат об этом матери или сестре, они ему передадут. И он прибежит в контору МТС.

ГЛАВА 7

День опять был солнечный. Ширина речки Мошьи, впадавшей в озеро Мошье, была местами метров десять, пятнадцать. Вода в ней темноватая, дно каменистое. Там, где речка сужалась метров до шести, дна не было видно, в заливчиках мелькали форельки, хватавшие с поверхности мошек. Кое-где клеверные поляны сползали к воде, Серков машинально срывал сиреневые помпоны цветов, жевал, высасывал сок.

Накануне вечером мать его опять рассказывала, как во времена ее детства весело проходило сенокосное время. На поляны уходили, уезжали всем семейством. И мы, малые и старые. Оставались в избах совсем немощные старики с маленькими детишками. Но она ведь в ту пору и не думала о том, что сенокосные участки уже заранее поделены, споры и ссоры взрослых уже улеглись. Шли и ехали компаниями, перекликаясь. И растворялись в лесу.

Перед излучиной речки Серков тогда замедлил шаг: он увидел лежащего на траве у самой воды человека в трусах. Тот лежал на спине, лицо было покрыто серой кепкой с коротеньким козырьком, а все тело человека покрыто татуировкой. И даже ступни ног. Это был Петр Кибитков, вернувшийся по амнистии. Серков еще придержал шаг, разглядывая рисунки, подписи, думая, что человек спит. Но Кибитков его явно приметил.

— Ты чей? — спросил он.

Серков вздрогнул и остановился и назвался. Кибитков сел, утер кепкой пот с лица.

— Катерины-Иванчихи? — спросил он.

— Да.

— А, в армию уходишь,— проговорил Кибитков, потянулся, достал из воды бутылку водки, ловко выбил пробку.

Серков заметил в кустах рюкзак с чем-то. Из полевой сумки Кибитков достал стакан, хлеб, сало и большой нож с кинжальным лезвием. Он выпил и налил Серкову.

— Сейчас мне нельзя,— сказал Серков.— Я к начальству в МТС иду.

— В армию идешь...— говорил Кибитков, прожевывая, о чем-то соображая. И усмехнулся.— Будет война с американцами? — неожиданно спросил.

Серков пожал плечами.

— А пусть бы была, а? Только не атомная, а техническая, а? Ха-ха!

Серков молчал.

— Только техническая!.. Автомат в руки, нож в зубы — и пошел! А заодно и мусорка — командирчика своего, а? А ночью особистиков. Они любят в отдельных избушечках и земляночках пиры себе устраивать, и там их под шум и песни канонады! — пропел он последние слова и вскинулся на ноги.— Ты вот что, призывник.— Он достал из кармана брюк тугую пачку денег, перетянутых резинкой. Подал Серкову четыре четвертных бумажки.— В магазин МТС завезли водку. Возьми три бутылки, пять буханок хлеба. Я буду ждать тебя на обратном пути. Авоську купишь, там есть сетки.

Серков взял деньги, усмехнулся и побежал. Кибитков показался ему не только чужим и странным, но и смешным из-за того, что он весь в наколках и с желанием воевать с ножом в зубах и с автоматом. И еще тем, что он, должно быть, подражая редким горожанам, приезжавшим погостить в деревню к родным, улегся загорать подальше от деревни. Правда, Серкова смутил немного набитый чем-то рюкзак, лежавший в кустах,— украл что-нибудь у соседей?

Усадьба МТС была окружена высоченными и толстыми соснами, за ними была вырубка метров на полтораста, а дальше опять стояли стеной мощные сосны бора, тянувшегося к западу километров на пять до песчаного обрыва, за которым и начинались заболотившиеся за годы войны луга с сухими островками суши.

Въезд на усадьбу представлял из себя два высоких столба с перекладиной и шлагбаумом.

Директора не оказалось, он куда-то уехал. Конторская женщина подсказала Серкову, что главный инженер Овчинников Виктор Федорович где-то в гараже. За сушилкой с брезентовым хоботом стоял над летней смотровой ямой трактор, под ним копошился тракторист, а рыжеватый человек в майке сидел на корточках, наблюдал за работой тракториста. Это и был Овчинников.

Серков представился. Овчинников поднялся с корточек и оказался очень высоким и длинноруким. А кисти рук очень большие. Синие глаза главного инженера внимательно изучали Серкова, а на лице его была усмешка. Но не язвительная.

— Что ж с тобой делать, новобранец? — сказал Овчинников и крикнул трактористу под трактор: — Готово?.. Вылезай... И больше не мути воду и не крути. Поезжай сейчас же к Пузанкину: за два дня вывези навоз от коровника и дуй траву возить. Все. Где жерди рубить будешь? — спросил он у Серкова.

Тот сказал.

— Похоронка на батьку была?

— Была.

— Ну вот что, парень: влезать в наши дела у тебя нет времени, болтаться тут на дворе нет смысла. Заготовляй жерди, сено. Но после службы сюда возвращайся, идет?

Серков кивнул.

— Твоя сестра почту носит?

Он кивнул.

— А заявление писать надо? — спросил Серков.

— Ничего не надо писать. За неделю до отправки прибегай за расчетом Не забудь.

— Но я с ночевкой буду на болотах. Если нужен буду, скажите сестре, она найдет меня.

— Найдем, найдем. За расчетом приходи.

Серков купил в магазине сетку, хлеба и водки. Петр Кибитков был уже не один. Издали Серков увидел двоих рядом с Кибитковым: очень белые тела в черных трусах и головы, остриженные под машинку. Ему даже показалось, что один из них женщина. Они тоже его приметили, сошли в воду. Когда он передавал сетку Кибиткову, они плавали в заливчике, он видел только их головы с немного отросшими волосами. Одно лицо было почти без морщин, красивое. Женщина, подумал Серков и заметил под кустом рваные брюки и фуфайку. Сдачу с сотни Кибитков не взял.

— Себе оставь. Беги домой,— строго сказал он.— Оставь себе, тебе говорят,— приказал он.— Беги.

В деревне давно пошли слухи, что где-то в их округе проходят тропы беглых из Сибири. Об этом толковали и в общежитии техникума: будто первая цель беглых — Северная Двина, затем Архангельская железная дорога, а затем — Мурманская. Серков знал, что в Новогорске работают заключенные.

Там, где Мошья расширялась, Серков по камням перебежал через нее, на бугре огляделся. В низине перед ним тянулся еловый лес. Среди темной зелени он высмотрел обширное пятно менее темной хвои, чем выделялась самосевная молодая поросль. Елочки росли густо, земля под ними была сырая. Значит, сапоги надо надеть...

За две недели он наготовил жердей. Лошади свободной в колхозе не оказалось. Тятин пообещал привезти жерди зимой. И Серков ушел на болотные острова заготовлять сено.

Ближние к сосновому бору островки не были выкошены. Камыши и эти островки не трогали до осени, оставляя их как прикрытие от постороннего взгляда полутайного сенокоса. Женщины уже косили на островках. И когда он только появился, они попрятались за кустами и смотрели: кто это?

— Да это ж Иванчихин ученый Лешка Серко!

И до конца августа юный Серков заготовлял сено, покуда где-то на западе не прошли сильные дожди, вода в болоте поднялась, и все покинули острова. Только по субботам уходил в деревню за провизией.

Недели за две до отправки в Усть-Межецк новобранцев бригадир устроил пир на берегу озера на «сенокосные» деньги. В бригадах гуртом пропивали «сенокосные» и «картошкины» деньги. Шефам городским давали справки, сколько гектаров они скосили, сколько гектаров убрано картофеля. Выдержав время после отъезда шефов, подсчитав, сколько заготовлено сена, а потом в картофеля, бухгалтер Андрей Миронович на эту работу выписывал наряды бригадам, за которыми были закреплены шефы. Шефам еще и продуктами выписывали. Когда резали одного бычка, списывали двух, трех. К списанным животным бригадир отношения не имел. Сенокосными и картофельными деньгами распоряжался он.

Со своими сверстниками-призывниками дружеских отношений у Серкова не было: они сами как-то сторонились его. Только один из них с трудом окончил семилетку, другие и того не одолели. К тому же Серков уже имел паспорт, они же только мечтали об этом. А сдержанность его и внешнее спокойствие заставляли думать многих деревенских, что он гордяга и зазнайка. К тому же деревенские никогда не видели его хмельным. Хотя Алексей еще мальчишкой во время престольных праздников отведывал и браги, и пива, и самогонки. Тятин Иван Иванович самогон никогда не гнал, но брага и пиво у него имелись в кладовой. И не в банках, а в маленьких бочонках с краниками. И брага у него была крепкая, двойного затвора. И если у всех она была мутная, цвета кофе с молоком, и от нее трещала голова, то Тятин (считали, что научился он этому у немцев в Германии) при помощи древесного угля и электричества, которое по вечерам в ту пору подавали от эмтээсовского движка, приготовлял брагу прозрачную и почти без противного запаха. Рецептом с односельчанами не делился.

— Сейчас за пиву и брагу не тянут в суд,— говорил он желавшему завладеть рецептом,— а когда потянут, вы, дьяволы, тут же меня заложите...

Во время праздников маленькие Серков и Сережка Тятин тайно пили пиво и брагу; Сережка хмелел, дурачился, а потом отсыпался у Серковых, чтоб отец не видел его хмельным. Но Серков никогда не хмелел, удивлялся такому своему свойству, когда учился в техникуме. А мать ему говорила, что и отец его не хмелел, хотя всегда с мужиками выпивал. Отец никому не говорил о такой особенности своей натуры. И ты, Лешенька, никому не сообщай, советовала мать, а не то ради спора спаивать начнут, сгорит все внутри, помереть можно, желанный мой.

Серков помалкивал о своей особенности, но он никогда и не пил много. А тогда на берегу озера совершенно удостоверился в ней. Призывники решили зачем-то крепко подпоить его. В пиво подливали водки, он видел это, но не противился. Угоститься подходили и деревенские, рабочие, присланные из Новогорска строить свинарник и силосные ямы. И с ними Алексей чокался. Он плясал и дурачился. В ту пору в деревне еще не знали транзисторов. Вместе со всеми плясал он вечерами в клубе под аккордеон, гармошку

и балалайку. Призывники, пытавшиеся споить его, давно уж спали кто где, у него же только горело лицо; в конце концов отяжелели и ослабели ноги, и он с ясной головой ушел спать домой. Утром утолил жажду двумя банками молока и отправился в контору МТС за расчетом.

Ни начальника, ни главного инженера Овчинникова в конторе не было. Бухгалтерша посмотрела его паспорт и недовольно сказала:

— А ты, молодой человек, должно быть, из богатеньких. Что ж мы твои деньги на депоненте хранить здесь обязаны? — И подала ордер в кассу.

Он думал, заплатят ему как призывнику ну рублей пятьдесят. И на ордер он не посмотрел, подал его в коридоре через окошечко молоденькой кассирше. Он расписался в указанном месте, и кассирша отсчитала ему 1345 рублей. Такой стопки денег Серков и не видел никогда. Возможно, кассирша ошиблась.

— Моя фамилия Серков Алексей Иванович,— сказал он.

Кассирша покачала головой:

— А ты, видать, Лешка, и на самом деле зазнался больно быстро. Далеко пойдешь!

С деньгами в руке он спрыгнул с конторского крыльца и побежал. Затем он увидел лицо Овчинникова Виктора Федоровича, который усмехался и говорил: «Только обязательно сюда возвращайся после армии».

Уже на берегу Мошьи он сунул деньги в карман, остановился, обернулся в сторону МТС.

— Виктор Федорович,— прошептал он,— клянусь вам, даю вам честное комсомольское слово, что вернусь сюда, буду работать с утра до ночи, и вы ничем не попрекнете меня!

И много, много позже, сколько бы денег ни получал Серков в кассах, он помнил об этих 1345 рублях.

ГЛАВА 8

Глава жизни Серкова во время службы в армии интересна. В лагере под Ленинградом из новобранцев отобрали человек шестьдесят с техническим образованием, отвезли поездом к Черному морю, где в полувыгоревшей степи находился артиллерийский полигон, где стреляли из полевых пушек и зенитных по колбасе, которую в небе таскал за собой на тросе самолет. Полигон принадлежал специальным курсам, находившимся в ближнем городе, куда приезжали кадровые офицеры со всей страны.

Новобранцев расселили в больших палатках, по двенадцать человек в каждой. Спали на раскладушках по шесть человек от прохода, а в конце прохода у стенки спал командир их учебного отделения, сержант кадровой службы Скрыпник. Этот Скрыпник успел захватить десять месяцев войны и остался в армии. Команды он отдавал таким резким тоном и так исподлобья смотрел при этом на подопечных, что казалось, он их ненавидит. И был он молчаливым. Конечно, Серков помнил наставления Тятина, Овчинникова, но если б сержант не спал вместе с ними и выстреливал своим противным голосом рано утром, не будучи сам уже умыт и затянут ремнем, бог знает, как бы отнесся к нему Серков. Но Алексей смекнул просто: сержант ложится спать вместе с ними, а то и позже, ибо уходит куда-то, а встает раньше всех. Возможно, потому он такой сердитый. Служба у него такая. И Серков подавлял в себе неприязнь к этому человеку.

Справа от Серкова спал новобранец из Грузии, дьявольски спокойный и меланхоличный Садо, светловолосый и голубоглазый, какой-то плоский. С широкими плечами и очень тонкой талией. Садо говорил спокойно, но с достоинством, что он не грузин, а мингрел, что грузины живут в Тбилиси, все они там наглые и нахальные. Справа от Серкова спал Миронин, житель Курска. С бойкими глазами, мускулистый и скуластый, Миронин и в строю стоял рядом с Серковым и, следя за сержантом, первое время шептал Серкову:

— Темную, темную надо будет ему устроить.

Никто из новобранцев не знал, зачем их именно сюда привезли. Ходил слух, будто их помуштруют месяца три и разошлют служить при училищах. Но только шесть месяцев спустя Серков узнал, что слух соответствовал истине, что сержанты каждые две недели подавали рапорты командиру роты капитану Розунскому о дисциплине новобранцев и их способностях. Помимо строевых занятий много занимались со стрелковым оружием. Разобрать, скажем, затвор винтовки легко, а собрать его труднее. Возиться с оружием Серкову доставляло удовольствие. И когда изучали винтовку, Серков успевал за отведенные минуты собрать свой затвор, Садо и Миронина, которые то ли ленились, то ли не могли быстро это делать. Так и пошло. И Серков не выставлялся, а помогал товарищам так, что ни лейтенант, заведовавший классом оружия, ни Скрыпник ничего этого не замечали.

Две палатки составляли взвод. И во взводе Серкова с самого начала службы особо выделялись двое: один цыганистого вида, вертлявый красавчик, а другой — верзила с пудовыми кулаками — Сякин и Вертов, оба из Москвы. Они просили у всех взаймы по сорок копеек, по рублю. Но долги не отдавали. И вообще вели себя нагло. Постоянно стре-

ляли сигареты, махорку, папиросы. Цыганистого вида Сякин мог запросто выхватить папиросу из рук. Потянет несколько раз, а то и уйдет с чужой папироской. И вот после двух месяцев службы Серков получил посылку из дому. Посылка — великое событие для солдата, а для солдата, только начавшего служить,— из ряда вон событие. Кормили в столовой сытно, но солдат первого года службы постоянно чувствует себя голодным. Получил Серков посылку после обеда, вскрыл в присутствии Садо и Миронина после отбоя на скамейке за палаткой. В посылке были куски испеченного гуся (дядя Иван!), три банки соленых грибов и сало. И вот когда все трое принялись лакомиться, подошли Сякин и Вертов.

— Ну что, деревня, как гостинцы? — спросил Сякин и сделал глупость: провел ладонью по голове и лицу Серкова.

Тот, казалось, ожидал подобного действия и припомнил один из запрещенных приемов, которым обучил в техникуме преподаватель физкультуры Мешков. Серков незаметно для всех пырнул острым локтем под ребро Сякина. Тот всхлипнул и сел на землю. Верзила Вертов поднял его и посадил на скамейку. А Серков спокойно жевал гуся.

— Ты его, что ли? — приступил к нему с грозным видом Вертов.

Садо и Миронин уже были готовы к драке. Но Серков спокойно сказал Вертову:

— Слушай, если хочешь, пойдем за курилку. Но при свидетелях. Погодите,— сказал он товарищам и отвел рукой Садо.

А Сякин уже отдышался и встал.

— Что ж ты делаешь, сука? — произнес он. Но взглянул на лица Садо и Миронина и усмехнулся.— Ты же, падло, все равно ляжешь у меня,— произнес он сквозь зубы.

— Пошли за курилку,— спокойно сказал Серков, следя за верзилой, соображая: надо под кадык хлестнуть ему и тут вывернуть руку Сякина.— Но при свидетелях,— сказал он.— Садо, ты пойдешь? — спросил он.

Садо кивнул молча.

— Зови кого хочешь,— сказал Серков Сякину.— Но учти: пощады не будет.

Верзила Вертов смотрел на приятеля с недоумением, а Сякин что-то сообразил и спросил:

— Ты боксом занимался? — Серков молчал, а Сякин задрожал весь.— Но ты же никуда не уйдешь от меня, чудик, понимаешь? Я ведь тебя и темной ночью и среди дня достану!

— Отведай домашней гусятины,— спокойно произнес Серков.— И ты возьми,— сказал он Вертову.

А тот, видимо, все никак не мог сообразить, что же происходит? Надо думать, и товарищи Серкова были поражены его петушиной храбростью. Ведь тогда рост Серкова и до 170 сантиметров не дотягивал, гимнастерка и брюки висели на нем.

— Пошли, Васька,— произнес наконец Сякин.

Верзила Вертов все же не выдержал, схватил кусок гуся, поспешил за приятелем. Но больше никогда Сякин не приставал к Серкову, делал вид, будто и не замечает его.

ГЛАВА 9

Когда подули холодные ветры со снегом, всю роту перевели в казарму. А весной группами по шесть, девять, двенадцать человек техников-солдат развезли по училищам. Серкова, Садо и Миронина оставили при курсах, находившихся в городе. Поселились они в пристройке к главному зданию курсов, в довольно просторной комнате, где проживали шестеро сержантов, обслуживавших классы: убирали классы, приносили на занятия из складских комнат приборы, оружие. Складские комнаты при классах назывались лабораториями. Садо и Миронин угодили в лабораторию стрелкового оружия, Серков — в зенитный класс. В своей лаборатории он и после занятий проводил много времени. Изучал «матчасть», как говорят военные. Потом его отметил руководитель особого класса СОН — станции орудийной наводки — майор Рестицкий. Майор взял его к себе. Тут в лаборатории имелся макет СОН. И вскоре любознательный Серков так ее изучил, усвоил манеру Рестицкого вести занятия, что в нужный момент приносил преподавателю именно то, что было нужно. Без указания майора. А когда майор объяснял офицерам, рядовой Серков стоял за доской или в дверях, внимательно слушал. А позже майор приметил: когда он дает задание офицерам — вычертить схему, решить задачу, Серков, проходя мимо столов, что-то тихо говорил какому-нибудь офицеру. Рядовой Серков подсказывал.

И однажды, когда курсанты — майоры, капитаны, старшие лейтенанты после занятия ушли из класса, а Серков убрал все приборы на место, майор Рестицкий сказал:

— Рядовой Серков, подойдите ко мне... Рядовой Серков, вы можете объяснить устройство и принцип действия этой станции орудийной наводки?

И Серков без заиканий, ровным голосом объяснил все. И ответил на дополнительные вопросы. Через неделю он стал сержантом. Строгий майор иногда стал называть его Лешей, Алексеем.

Строевой подготовкой занимались мало, два раза в неделю. Да и то, как говорил старшина, проводивший эти занятия во дворе курсов, делали они это лишь для того, чтоб начальник курсов генерал Субботин, окна кабинета которого выходили во двор, видел их и слышал их песни.

Одно только иногда тревожило Серкова. В жаркие дни, особенно после строевой, перед глазами стали появляться пляшущие мелкие комарики, а в ушах шумело. И хотелось полежать, отдохнуть, хотя усталости он не чувствовал. Но стоило ополоснуться под душем, комарики и шум исчезали.

Все окна первого этажа главного здания курсов были с железными решетками. В пристройке наших героев было три окна. И одно, угловое, не имело решетки. За окном был узкий глухой проулочек и кирпичный забор. За этим забором опять проулок, очень узкий, шириной даже менее метра, поросший бурьяном, кустами бузины. Женолюбивые и опытные сержанты через окно и забор ходили после отбоя в самоволку. В бузине был спрятан ящик, с которого легко перемахивали через стену, с внешней стороны забора было насыпано много земли. И перелезть обратно не составляло труда.

Этим летом приехали на курсы резервисты: инженеры, бухгалтеры, учителя и пр. Многие из них привезли с собой запасные брюки, рубашки, утаили их от начальства. То ли они знали о лазейке на волю, то ли быстро разнюхали о ней, но после отбоя, а темнело в тех местах рано, один за другим шныряли от дверей к окну. И пожилые среди них были, уже с животами. Потом Серков обнаружил, что и меланхоличный Садо стал по субботам исчезать, хотя форма его висела на месте. Садо написал домой, ему прислали денег, он купил себе брюки, рубашку и туфли. Такой же фокус проделал и Миронин. «Черти»,— думал весело Серков о товарищах.

ГЛАВА 10

Минуло лето, уехали резервисты, прибыли кадровые офицеры. Всю осень Серков провел на полигоне; пробежала сырая и теплая зима. Серков заметно вырос и окреп, особенно налились силой плечи. Как сержант он уже получал в месяц 24 рубля.

Прежде казарменные разговоры о женщинах его не волновали. Садо о своих любовных похождениях ничего не говорил. Миронин и еще два сержанта выкладывали подробности. И вдруг эти подробности стали ужасно волновать Серкова. Он уже знал, что одна из работниц за двадцать рублей перешивает солдатам форму по фигуре. И однажды он задержался после обеда в столовой, попросил эту женщину перешить брюки и гимнастерку и достал деньги из кармана. Она взяла деньги, завела его в комнатку. Она была в белом халате, руки, грудь и шея голые и загорелые. Она принялась обмерять его, а он стиснул губы, замер, застыл и пожалел, что не надел плавки. Он старался не смотреть на нее. Было ей лет тридцать, она заметила его состояние. И по ее усмешке он понял, что она заметила, и едва она кончила обмерять, он бросился вон. Переодевшись в казарме в рабочую форму, попросил Миронина отнести выходную этой женщине. Вот с этого дня, как писал Серков, жизнь его круто изменилась. Образ этой женщины стал всюду преследовать его. В классе, в лаборатории, на плацу и во сне. К ее образу примешивались и другие. Увидел однажды он кассиршу МТС, она отсчитывала ему деньги и говорила, заманчиво улыбаясь: «Ты не узнал меня, Лешка, зазнался из-за своего паспорта и диплома с отличием, а я ведь Танька Захарьина, в седьмом классе я тебе нравилась». Ну да, соображал он во сне, но как бы наяву, это же красивая Танька! Как же я тогда ее не узнал? И вот уже Танька по шейку в воде, а голова ее с чуть отросшими волосами, и рядом с ней голова человека без волос, а на берегу стоит весь в татуировке Кибитков с пачками денег в руках. Танька, улыбаясь, выходит из воды, протягивает к нему, к Серкову, руки, он хочет обнять ее, но это уже не Танька, а инструктор Усть-Межецкого райкома комсомола Рита Колганова, полная и красивая. Она следила за уплатой членских и даже сама играла роли в пьесах, которые ставили студенты на сцене клуба. Она была старше Серкова, называла его Лешенькой. «Зачем она здесь оказалась?» — думал Серков, но она улыбалась и вдруг закричала строго: «Да что ты делаешь, Серков, как тебе не стыдно, я же инструктор!» И ему так стало стыдно и страшно, он бросился бежать и проснулся. Сержанты и Миронин стояли рядом и смеялись. Они поставили его на ноги, с хохотом стали прикидывать, у кого больше. В назначенный день Серков не пошел за одеждой к той женщине, а послал Миронина. Миронин вернулся с пустыми руками. Сел на койку и уставился на Серкова.

— Сам иди. Не отдает, сказала, должна посмотреть на свою работу. Она на этой же улице живет, в сорок шестом доме. Нести сама она боится. Сегодня после семи часов иди и забери.— И расхохотался.— Слушай, она сказала: ты куколка! Ха-ха! — закатился он.

— Я не пойду.

— Дура деревенская! — вдруг вскипятился Миронин.— Такой бабец! Да из-за нее капитаны дерутся, Киша-Простокиша ты!

Однажды в столовой дали на учении кефир, Серков обрадовался и сказал: «О, просто-

кишу сегодня подвли нам!» Простокишей мать называла кислое молоко. Все за столом засмеялись, и к прозвищу Серый прибавились Киша и Простокиша.

— Что тебе надо? Из-за чего ты пристал ко мне?

И Миронин несколько оторопел, он сам не знал, из-за чего он раскипятился.

— Тьфу, дурак! — только и сказал Миронин.

— Она старая,— произнес Серков, сам не зная зачем.

— Болван! Ей за тридцать лет! А, что с тобой толковать. И разговаривать не хочу с таким болваном. Садо, дай ему по морде. Мне руки марать не хочется. Куколка!

Садо молча ушел из казармы, вскоре принес форму Серкова, положил на кровать.

— Примеряй, Леша,— сказал он.

И брюки, и гимнастерка очень ладно пришлись ему. В субботу, получив увольнительные, Садо, Серков и Миронин отправились вечером в город.

Главную улицу, где гуляла публика, называли Перехваткой. Серков с удивлением отметил, что по мере удаления от курсов Садо изменился: сутулость исчезла, голова откинулась назад. А когда свернули за угол и увидели гуляющих, Садо стал выше ростом, в осанке его появилась какая-то горделивость, заносчивость, будто он бросал вызов всем на какое-то соревнование. Загорелые женские лица, плечи, руки, волосы, смех и возгласы — все это виделось Серкову в каком-то ином свете. И ему вспомнились обширные клумбы цветов на привокзальной площади города.

— Ну, я двинул,— вдруг произнес Садо, отстал и исчез.

Вскоре Миронин помахал трем девицам. Они остановились и рассмеялись, Миронин им что-то говорил веселое, размахивая руками. Девицы пожали руку Серкову, знакомясь с ним, улыбались. Все показались ему красивыми. Только губы уж очень накрашены. Впрочем, и это понравилось. Серков что-то отвечал на вопросы, но просто говорить, рассказывать не мог. Компанией они прошлись туда-сюда, а затем Серков и Миронин отстали от девиц и Миронин сказал:

— Ну, пошли. Они скоро придут. Машка остается одна. Мы прихватим сержанта Колюдина.— И они побежали в казарму.

Сержант Колюдин стал быстро одеваться, а Серков сказал Миронину:

— Я никуда не пойду.

— Что?!

Серков быстро разделся и лег. Ругаясь, обзывая всячески Серкова, в том числе и предателем, Миронин убежал.

К отбою все вернулись и стали переодеваться в гражданскую одежду, а Серков ушел в красный уголок. Там он просматривал газеты, журналы, с каким-то лейтенантом играл в шахматы. И все время видел перед собой черноглазое лицо девицы, которая, пожав ему руку, назвалась странным именем — Зора.

На следующий день, в воскресенье, друзья еще засветло отправились погулять. Купили мороженого, стояли на углу и ели. Миронин сказал Серкову:

— Ты нам не друг. Сейчас вот постоим, и беги в казарму.

А Садо молчал и с гордым видом озирался. Но Серкову уже никак не хотелось уходить. Вскоре подошли к ним вчерашние девицы. Всей компанией посидели в кафе, выпили по стакану сухого вина и полакомились мороженым. Рядом с Серковым сидели Зора и Садо. Зора ничего не говорила Серкову, а Садо ему шепнул:

— Если пойдешь, не пей ничего, а то опоят. До отбоя не успеешь.

— А сколько надо платить? — тихо сказал Серков.

Садо вдруг прыснул и весь затрясся от смеха. И прошептал в ухо:

— Ты на самом деле дурак. С солдат они не берут. Ты им сам нужен, понимаешь?

Когда вышли из кафе, Зора взяла Серкова под руку, и на углу они свернули. Потом он помнил, что они переходили по доскам грязную речку Салгир, похожую на ручей. Оказались на улице, состоящей из домишек, похожих на сараи с плоской крышей из черепицы и без окон, вошли во даорик с низенькими яблонями. И тут он заметил два оконца в домике. В первой комнате пол был глинобитный и застелен половиками, а во второй доски были настелены прямо на землю и прогибались под ногами, что его удивило. В углу стояла огромная бутыль с вином, ведер на пять, как определил он. Серков помог налить вина в стеклянный кувшин, он все видел и соображал, но с трудом произнес:

— Не хочу пить...

Из дворика Зоры он выбежал в начале одиннадцатого. К отбою успел в казарму. Нет, так нормальные женщины не делают, думал он, закутываясь в одеяло с головой. Не пойду больше. Но через день опять стал думать о ней, а в субботу один ушел искать ее и опять побывал в том маленьком домике. И, уходя от Зоры, снова решил, что больше не придет, хотя и договорились, что завтра он придет пораньше, днем, часа в три. И утром был убежден: даже в город не пойдет. Он уже купил себе серые брюки, белую рубашку и парусиновые тапочки. Друзья звали в город, перемигивались, но он отмахнулся и ушел в класс. Бродил по двору, а после обеда быстренько переоделся в гражданскую одежду, вылез в окно, без помощи ящика перемахнул через забор и побежал. Вместо Зоры его встретила в домике какая-то темноглазая блондинка с вывернутыми губами. Играл патефон.

— Зорочки нет,— сказала она приветливо.— Она к матери ушла. Мать заболела. Мать за железной дорогой живет. Мы подождем ее.

Стол был накрыт. Он выпил вина стакан и съел котлету. Зора так и не появилась. Только в три часа ночи Серков ушел от блондинки. Ноги в коленях не слушались и все время подгибались. Он напрягался, тогда его вело в сторону. На воздухе твк вдруг захотелось спать, что лавочки манили его посидеть или полежать хоть минутку. Уже светало, и он думал, что еще рано и присесть нельзя, иначе он уснет. Он постоял под тополем, держась за него, а едва отпустил дерево, его тут же понесло к забору, и ноги подкосились. Речушку Салгир он перепопа на четвереньках...

Когда вернулся из отпуска майор Рестицкий, Серкова приняли в партию. А в конце ноября его демобилизовали. С Мирониным и Садо он не простился: тв задержались на полигоне, и Серков оставил у Рестицкого письмо для них.

ГЛАВА 11

В деревне произошли перемены. МТС ликвидировали, усадьба ее с машинами отошла колхозу. Серков от всей души желал повидать Овчинникова Виктора Федоровича, но тот уже работал в Новогорске механиком в строительном управлении. Замошье с прилегающими лесными деревеньками отошло к образованному Новогорскому району. Колхоз укрупнили, в него вошли в качестве бригад еще девять деревень. Председатель Пименов давно уехал, теперь командовал Пырев Анатолий Николаевич — тысячник, как назвала председателя сестра, уже работавшая в правлении младшим бухгалтером.

В деревню Серков пришел пешком, потому что в Новогорской сошел с поезда рано утром, попутной машины не было. Снег еще не лежал, но дорога была подморожена; он то и дело сворачивал с дороги и шагал лесом по тропинке, засыпанной опавшими листьями. Запах их, запах легкого морозца, тишина заставляли его улыбаться. Он снял ремень с гимнастерки и понес чемодан с подарками за спиной. Километров пятнадцать он проехал на попутной машине, затем свернувшей на Усть-Межецк.

В деревню пришел уже в сумерках, она показалась ему оживленней, чем прежде. В окнах горел свет, возле правления стояли лошади под седлом, три мотоцикла. В магазине толпились люди. Он написал домой, когда должен приехать, но в какой именно день он и сам не знал. Когда вошел в избу, мать сидела за столом и перебирала его письма. Она вскрикнула, обмерла и не смогла встать. Он расцеловал ее, раскрыл чемодан, начал выкладывать подарки. Прибежала от соседей сестра: какой ты стал, Лешка! Он покрутил ее, посадил на скамейку. Сразу приметил, что она, кажется, беременна, но ничего не спросил. От кого же, думал он, о женихе ничего не писала. Мать, отдышавшись, накрывала стол, но, вспомнив о чем-то, покрестилась перед иконой, достала из-за нее узелочек, развязала его и положила на стол тысячу рублей, полученную им три года назад в конторе МТС. А сестра затарахтела:

— Лешка, звграничные костюмы в магазине есть, завтра же купим. Тетя Мани отложила три костюма для тебя. Померяешь, и купим...

Явился Тятин с бутылкой и печеным гусем в корзине.

— А чего худой такой? Не кормили тебя в армии? Ну, давай обнимемся...— И сел за стол, и выпивал, и закусывал молча.

А говорила в основном сестра. Новый председатель вроде хороший — не злой, не орет и даже вежливый; сам он из Ленинграда. Много тысяч таких, как он, из Ленинграда и других городов послали в колхозы, потому Анатолий Николаевич и тысячник... Она получает в правлении четыреста рублей в месяц, а почту разносит теперь младшая сестра Таньки Захарьиной, бывшей твоей Таньки.

— Какой такой моей Таньки?

— А той самой, в которую ты в школе был влюблен, а потом ты ее и не признал, когда она тебе деньги в кассе отсчитывала.

Алексей смеялся.

— Но ты не думай чего,— говорила сестра,— Танька уже замужем, она тоже в правлении работает. Вышла она за младшего брата исколотого Петра Кибиткова. Исколотый Кибитков теперь в Новогорске живет, а брат — тракторист, много не гуляет...

И сестра поведала, что МТС уже давно нет.

— Как так, дядя Иван? — спросил Серков.

— Нету, нету, расформировали. Туда вроде бы и правление хотят перенести...— И замолчал.

— А где же главный инженер Овчинников Виктор Федорович?!

— В Новогорске. У строителей служит...— Тятин положил вилку, отсунулся от стола и замолк. А это значило, что он сейчас ни о чем говорить не намерен. Он не хотел рассуждать при женщинах...

Деревня уже спала, когда Тятин и Серков пришли в избу Тятина. Стол был накрыт, семья спала.

— ...Деньги теперь хотят платить на трудодень,— говорил Тятин, строго поглядывая на Алексея,— на сенокосные трудодни прибавили пять процентов — пятнадцать теперь. Девять деревень прибавили. Оттуда, Лешка, шесть семей уже в наше Замошье переселились. От нас в Новогорск уехали обе мои сестры, участковый Ванин, Кибиткины — двойняшки, все Харины уехали. Вот в их избы и перебрались из Вотеева, Кучинова и Вакуловки. И в Вакуловке уже только три семьи осталось, соображаешь, Леха? У нас капустное поле до самого озера распахали, а в Вакуловке земля прахом пошла, там уже новогорские открыто косят себе... Так и пойдет, Лешенька. Сейчас бабы наши шумят и радуются деньгам и пяти процентам прибавки, колхоз еще три миллиона ссуды получил, а свинарник и силосные ямы еще не готовы.

— До сих пор не построили? — изумился Алексей.— За три года-то?

— Нет. Стены и стропила стоят, а силосные только размечены. На днях рабочие нагрянут, говорят, самому Хрущеву жалобы шли, он всем строителям разгон устроил... Да ведь пустое все это! — вдруг закричал дядя Иван.— Лешка, ну застроимся мы и на усадьбе МТС, да ведь и Вотеево, и Вакуловка, и Кучиново года через три зарастут! — Тятин утер слезы.— Бабы галдят: хороший председатель Анатолий Николаевич, не злой, не орет, пятнадцать процентов давать будет, деньги будем получать! А все лесные-то дальние поляны прахом пойдут! Да года через три все наше Замошье побежит отсюда, Леха!..

Три дня отдыхал Серков дома. Сходил к усадьбе бывшей МТС. Там было тихо, боксы и гаражи и контора закрыты. Сторожиха, пожилая женщина, вышла из жилого домика, с тревогой спросила:

— Тебе кого надо?

— Начальства нет? — спросил он.

— Никого нет. Здесь посторонним не положено ходить.

Он усмехнулся. Сосны окружали двор кольцом, как и три года назад, но дальше бор был вырублен. Сплошные пеньки тянулись широкой полосой до самой болотной низины с сенокосными островками.

На обратном пути на берегу Мошьи Серков и встретился с новым почтальоном. В черных брючках, в резиновых сапожках, с сумкой на боку и с непокрытой кудрявой головой, она спешила, глядя в землю, не замечая его, а заметив, замерла на пару секунд. А он увидел ту самую Таньку Захарьину, с которой учился в школе. Те же тонкие черные брови, тот же румянец и те же красивые глаза.

— Катюшка Захарьиных? — сказал он, улыбаясь.

— Да, она самая.

— Давай сумку помогу донести.

— А она пустая уже. Я все разнесла.— И она пробежала мимо.

На другой день он отправился в Новогорск в люльке мотоцикла нового участкового Меркина, ехавшего по делам в город. Серков хотел стать на партийный учет. И на третьем этаже Дома советов в одночасье решилась его судьба. Он искал общий отдел, мимо прошла полная молодая женщина, симпатичная, как подумалось Серкову, нарядно одетая, в туфлях на каблучках. И что-то знакомое уловил он в ее лице. Он оглянулся, она тоже и воскликнула:

— Серков?.. Лешенька, откуда ты?.. Господи! Какой ты стал! — И она поцеловала его в щеку и потащила в кабинет.

Это была Рита Колганова. Она уже работала старшим инструктором в райкоме партии. В ее ведении, как она сообщила, были три западных куста района.

— ...И не думай, и не гадай: именно ты нам нужен! Да. Сейчас ставка на молодых. Ты, думаю, читаешь газеты... Ваш председатель сельсовета, которого там все зовут почему-то секретарем, он совсем того... зашибает, Лешенька. И его одна могила исправит. А ведь времена новые наступили, Леша... И сделаем так, мы в Меглецах уже так сделали... Но с тобой иначе будет: ты среднее образование имеешь, армию отслужил... Ты формально станешь заместителем этого Листенева, а после Нового года поедешь на шесть месяцев в партшколу. Разнарядка у нас уже есть, Лешка! — Она смеялась и говорила. Говорила всерьез, но быстро.— ...Поработаешь несколько лет председателем сельсовета, а там как сложится: заочно окончишь партшколу. Или на очное отделение поступишь. Как сложится. Гадать не будем... Ах, хорошо, что я тебя встретила!.. Значит так, Леша: подожди здесь у меня. Вот газеты. Я и Владимиру Васильевичу схожу, потом представлю тебя. Только ты не уходи. Жди меня...

ГЛАВА 12

Иван Пахомович Листенев работал председателем сельсовета со времен войны. В округе сменялись председатели, он же был бессменным. Маленького росточка, предельно худощавый, зимой в полушубочке и шапке, а летом, даже в любую жару,— в коротком сером плащике, он не ходил обычным шагом, а всегда быстро семенил, будто вот-вот сорвется на бег. Зачем он так постоянно спешил, он сам не знал. Просто он так ходил. Он знал подноготную всех в округе, точно знал, у кого только затворены брага, пиво, у кого давно готовы, у кого они постоянно имеются; где крестины или свадьба; кто с кем подрался и по какой причине. В основном же он следил, чтоб были уплачены деревенскими страховка, налоги. И нельзя было проморгать подоспевшего к восемнадцати очередного призывника. Уже с утра он бывал под хмельком, но пьяницей никто его не считал, ибо всегда он был на ногах, не слонялся по улице и спал только в своей избе. Начальство городское редко к нему заглядывало, если нужен был, его звали в правление колхоза, в район. На совещаниях в районе он томился, скучал, ибо не все успевал схватить из того, о чем говорили. Когда говорили, что нужно подписать бумагу, тут же подписывал, лишь бы на бумаге уже стояли другие подписи.

Секретаршей и делопроизводителем в сельсовете работала Таисия Трофимовна, уже пожилая, молчаливая и медлительная. В районе Пахомыч никогда не выпивал. Вернувшись домой, он говорил секретарше:

— Фух, отслужился, измаялся.— Садился за стол, извлекал из портфеля привезенную бутылку.— Сколько наговорено было. Что там есть у тебя, Таиска?

У нее в ящике стола всегда имелись хлеб, сало, головка лука.

— Изведусь я весь с этими совещаниями! — И он начинал рассказывать верной Таиске, кого повидал на совещании, кого ругали и за что; кто именно давал подписывать бумаги. Высказавшись, Пахомыч приходил в себя в родных стенах и убегал на деревню делиться новостями.

Молодой Серков думал, что Иван Пахомыч, учуяв, что ему готовится полная отставка, обидится, но вышло наоборот: старик еще более оживился:

— Все сладим, сладим, Лешка! Я тебя не подведу! — И убежал оповещать депутатов сельсовета.

Насобирал он только пять человек, остальные были в отъезде. Пришли — директор школы, две учительницы, фельдшер и бухгалтер правления. После короткого сообщения инструктора из района все проголосовали за Серкова. Учителя и директор, отлично помнившие его, все время улыбались, выступали в его поддержку и поздравляли. Когда уже расходились, прибежал одноглазый колхозный ветеринар Белов, он же секретарь партячейки колхоза.

— Серков, а почему ты на учет до сих пор не стал?

Серков пояснил.

— А ты того,— протянул Белов.— Как же так? Чего же ты в районе на учете зацепился?

Серков пожал плечами и вышел. И пошел слух по деревне, что у Серкова Алексея рука крепкая в районе имеется.

Проводили инструктора. Чуть ли не за руку Пахомыч привел Серкова в сельсовет. Отправил домой Таиску, уже приготовившую закуску, запер двери, задернул серые ситцевые шторки на окнах. Трижды и размашисто перекрестился в угол.

— Это я для души, по привычке,— пояснил он Серкову,— так-то перекрестишься, и будто оно легчает... Я теперь в радости и в подозрении того, что обойдется все в надлежащем виде: мне, видишь ли, без одного годочка уже восемьдесят, а я все помалкивал о таком наличии возраста, и никто не ведал о моих годах: как в начале войны определили, я, мол, по годам воевать не гожусь, с той поры меня и не трогали. А я помалкивал, а то могли из-за возраста уволить. Теперь уж ноги стали болеть, бегать трудно стало, я могу объявиться в полном виде, думаю, и за перевыслугу лет пенсию прибавят. Рублей пятьсот или четыресте дадут. Но ты, Лешка, пока помалкивай, ты поедешь учиться, а я тут с пенсией и начну проворачивать. Но поди уж, Лешка, на будущее скажу тебе: очень не зазнавайся на данной службе. И допрежде всего — не иди на поводу у председателя, ежели он потребует от тебя притеснения народа для усиления дисциплины. А он уже роздал, Леша, бригадирам черные тетради, в которые те должны заносить разные обиды от граждан, упрямство и невыходы на работу. И так, думаю, Анатолий Николаевич намеревается усадьбы отрезать. Припугнуть, значит, этим. И на будущее тебе говорю: не входи в это дело, оно беззаконное, а он до тебя придет: от имени сельсовета! А ты не подписывай — ни-ни! Он вежливый и не матерится, а скажет так: общее собрание и сельсовет приняли решение! Понял? Ни-ни! Не подписывай ничего... А я завсегда тебе подскажу. Из района будет бумага для подписи — валяй смело, подписывай и копию оставляй себе. Я тебе покажу свои копии... У меня их сундук целый. Так же про налоги и страховку, Лешка. Вот Дуська Козлова и ее дочка Верка, они ничего не платят и курей даже не содержат. Дуська-то с войны самой ничего не платит. С мужиком своим, Васькой, она и не жила, он ушел от нее, а когда тот погиб на войне, Дуська явилась ко мне сюда и заявила: дайте мне, Советская власть, нового мужика! А она уж и тогда была дерзкая, никого не слушала и гуляла. Квитки на налоги и страховку за иконой складывала. Ее и в район увозили судить, а она свое: дайте ей мужика, забрали одного, дайте другого! И отпустили, решили, мол, она не в своем уме, а мне сказали: ты, Пахомыч, и не трогай, ну ее к черту, пусть живет, а то ведь только других возбуждать будет. Так и сказали... И я ее не трогал. И ты не

трогай, а то ведь и дочка Верка у нее такая же. Обе они хитрые, за любой пустяк славить начнут во всю глотку, а ничего с ими не сделаешь! Хозяйства нет, работают по соседям в огородах, на болотных островах, а мужики и ребята со всей округи у них в долгах: тот мешок картошки, тот два должен, всего им должны...

Серков слушал, улыбался, казалось тогда ему, что молотит старик чепуху, но много лет спустя, уже седым человеком, писал он в своей комнате-кабинете новогорской квартиры: «Господи, чего только не поведал мне этот очень худой старик с плотными зубами! О моих же односельчанах! У этих же Дуськи и дочки ее Верки сложилась какая-то своя социально-экономическая основа их жизни. И этика своя определилась. Чужим мужикам они «не угождали», а только тем, кого хорошо знали, и даже открыто гордились этим... У соседей аккуратно и быстро работали в огородах, присматривали за их ребятишками. Но сами даже кур не держали».

ГЛАВА 13

Учеба на партийных курсах оставила в голове Серкова два ярких воспоминания. Разоблачение Хрущевым Сталина, когда и все другие курсанты школы и основные школяры ее были сильно потрясены газетным сообщением.

Первые дни после выступления Хрущева Серков не мог ни с кем разговаривать. Даже избегал смотреть в глаза товарищам, будто сам был в чем-то виноват. Но ведь и все были потрясены, потому со временем следы потрясения сгладились. Но зато второе происшествие засело в голове Серкова на всю жизнь. Он запомнил, как недели через две после начала занятий собрали в аудитории старшеклассников и первокурсников. Преподаватель задавал вопрос, кто-нибудь из слушателей отвечал, а затем сообща обсуждали данный вопрос и ответ. И вот на вопрос, как обстоят дела в колхозах нашего сельсовета на сегодняшний день и каково наше личное мнение о перспективе развития колхозной жизни,— аудитория, как водится, первую минуту молчала, а преподаватель обводил взглядом лица. Перед этим на занятии профессор из университета целый час толковал об искренности коммуниста. Наконец взгляд задавшего вопрос остановился на лице Серкова. Видимо, прочел на нем, что Серков хочет высказаться.

— Вот вы,— обратился к нему преподаватель.— Представьтесь, пожалуйста, и скажите нам что-нибудь.

Серкоа встал, по-солдатски оправил рубашку у ремня под пиджаком. Твердым голосом поведал, что после ликвидации МТС как самостоятельной организации, которая обслуживает колхоз, лучшие специалисты в деревне не остались, ушли в город. Ухаживать за техникой некому. Шефы из стройтреста помогают плохо: пришлют на неделю двух механиков и слесарей, а они не выходят на работу, пьянствуют. Так же при уборке картофеля: в лучшем случае процентов тридцать клубней остается в земле. Старики, старухи и ребятишки после шефов выбирают картошку себе — каждый по мешку за день насобирает. А в прошлом году под снегом остались бурты картошки и капусты — шефы вовремя не вывезли. Сказал Серков, что после службы в армии деревенские ребята в деревню не возвращаются. Родители норовят пристроить детей учиться в городе, и кто из ребят умней и расторопней, тот уж в деревню не вернется.

— И красивые девицы не остаются в деревне,— говорил молодой Серков.— Едва обозначится красавица в возрасте, ее тут же увезут в город. Да вот, если говорить, и...— Тут он запнулся, на лбу выступили капли пота. Он хотел сказать, что вот и он сам — закончил техникум, отслужил в армии, работает в сельсовете, но в колхоз не хочет вступать. Но будто кто-то шепнул ему: молчи! И он стиснул зубы, почувствовал, что покраснел.

В аудитории стояла абсолютная тишина.

— Всё? — спросил преподаватель.

Серков кивнул и сел.

— Кто желает высказаться по поводу сказанного Серковым? — произнес преподаватель.

И вот тут-то началось. Вскочила молодая женщина, миловидная блондинка. Она почти кричала резким голосом, что удивлена и поражена словами товарища Серкова! Он выступает против МТС! Неужели он думает, что он умней партии и правительства? Он говорит, что картошка и капуста в их колхозе остаются на зиму в поле, но почему он обобщает? По его словам выходит, что и везде подобное творится! А что сделал сельсовет, чтоб из деревни люди не уходили в город? Что сделал сам Серков?..

Едва эта блондинка села, встала черноволосая, затем полная и уже в годах женщина, фамилия ее была Гедрайтис или Гудрайтис, говорила она с акцентом. И потому запомнилась Серкову. Все они напали на него. «Чем я их обидел? — думал он.— Я же с ними и не разговаривал никогда?» Он ожидал разговора — вопросов, беседы, но не нападок. «Сговорились они, что ли? — думал он.— Но что я им сделал?»

Затем выступил пожилой школяр, спокойным голосом говорил, что условия хозяйствования в стране разнообразны. В деревне Серкова Замошье, должно быть, сложились

особые обстоятельства. Они требуют особого изучения. Конечно же, нельзя так огульно дискредитировать постановление правительства о ликвидации МТС, тут Серков перегнул. И об этом тоже надо говорить более спокойно, а не кричать. В таком же духе закруглил занятие и преподаватель. Но молодой Серков уже никого не слушал. После занятия он ушел бродить по городу. Его мучило и радовало то, что он не сказал о самом себе. И не понимал, почему женщины так набросились на него. Он чувствовал себя одиноким.

В закусочных и даже в пивных ларьках тогда продавали водку. В одной закусочной он выпил водки и пива, в ларьке выпил пива с водкой. И уже где-то на Лесном проспекте, в подвальчике, он выпил стакан водки. Он смирился с мыслью, что его теперь отчислят с курсов. Он вернется домой, найдет в Новогорске бывшего главного инженера МТС Овчинникова Виктора Федорыча. Тот примет его на работу.

ГЛАВА 14

Жил он в общежитии на улице Воинова. В двухместной комнате вместе с неким Балуевым, школяром, которому осталось учиться год. Балуев этот был довольно высок, строен, а в крупных чертах его сквозило нечто монгольское. Вечерами он в комнате почти не бывал, возвращался откуда-то часов в двенадцать ночи. С мрачным видом кивал молча Серкову, раздевался и ложился в постель. Доставал из портфеля бутылку вина «три семерки». Читал газеты, прихлебывая из бутылки, всякий раз опуская ее на пол, суя ее между стенкой и койкой. До Серкова он жил один, и Серкову думалось, что Балуев сердит на него за вселение в комнату.

В тот вечер Серков вернулся домой часов в двенадцать, Балуев уже лежал и читал конспект. Раздеваясь, Серков обнаружил у себя в кармане бутылку водки, вспомнил, где купил ее. Засмеялся, поставил под стол.

Балуев поглядывал на него.

— Разговеться решил? — вдруг спросил он.

— Сам не знаю, чего я решил,— ответил Серков и сел на койку.

Балуев тоже сел, с усмешкой смотрел на него. Но с добродушной усмешкой, как определил Серков.

— Пожалуй, тебе и не грех сегодня выпить. Закуски не прихватил?

Серков пожал плечами. Балуев достал из своей тумбочки банку консервов, хлеб и вскрыл банку. И вынул из портфеля бутылку вина.

Серков оживился — так хотелось поговорить с кем-нибудь.

— А белой, белой выпейте,— предлагал он.

Но Балуев сказал, что сегодня смешивать водку с вином ему нельзя: завтра зачет, а от него будет нести сивухой.

— Дак откуда ты приехал сюда? — спросил он, когда они выпили и закусили.

Серков охотно поведал свою биографию. Балуев с любопытством слушал, лицо его повеселело, мрачность слетела.

— Слушай, Серков, а что ты сегодня на сводном занятии вылез со своими колхозными делами? — так спросил Балуев.

— А вы откуда знаете? Вы были там?

— Заглянул послушать.

— С другими из основного состава были?

— Да.

— Послушайте... как ваше имя и отчество?

Балуев назвался. Но Серков забыл потом.

— И вы слышали, как эти три бабы на меня напали?

— Слышал.

— Послушайте, ну за что они на меня напали?! Я их не знаю, я и не разговаривал с ними никогда, обидеть я их не мог! Я их и не видывал прежде, у нас они не проживали — и так все разом! Ну, пусть бы на производстве дело случилось или в армии я задел бы их за плохие поступки, ясное дело, там в побочных мыслях держать надо кое-что, но тут же школа, что же им набрасываться на меня? Весь вечер я ходил и додуматься не смог!

Балуев вдруг расхохотался, бросился к двери, повернул ключ.

— Ох, развеселил ты меня! А у нас они не проживали! Прежде я их не видывал! — Балуев постучал по своему лбу и по столу.— Да эти Матрены — дуры набитые! Я уже слушал их на общем собрании. Погоди, они тебя на дискуссию будут вызывать. Но ты не связывайся с ними, иначе под монастырь угодишь.

— Что, отчислить могут? — спросил Серков.

— Таких дуралеев не отчисляют... Впрочем, будет про это. Скажу одно тебе, Алексей: толковые люди все знают про эти колхозы. И Америку тут ты не откроешь, а с болванами не связывайся.

— А вы откуда приехали?

Балуев помолчал.

— Это не имеет значения. Значение имеет то, что я заканчиваю школу. Я, брат, на конском заводе работаю. Выращиваем племенных лошадей, а сдаем их на мясо, ясно? Тут, брат, расскажи все — и дуй тогда куда-нибудь в Находку или в Магадан. Так-то... у тебя есть в городе друзья, родня?

Серков рассказал о сыне Тятина Сергее, который учился здесь, а сейчас каким-то научным работником работает.

— Ну, это не то... Знаю я этих односельчан. Он уж и забыл про тебя... А одному здесь плохо... Ты вот что: у меня тут на Кирочной две знакомые подружки живут. В проектном работают. Хочешь, познакомлю? — Серков пожал плечами.— В субботу сходим. Они в одном доме живут. Но в разных коммуналках. Хорошие бабки. Замуж не идут, говорят, нищих плодить не хотят. Думаю, лет до тридцати поерепенятся, а там и выйдут. Но хорошие. Идем?

— Можно.

Балуев дал ему несколько горошин черного перца пожевать утром, и они легли спать.

ГЛАВА 15

На другой день Серков убедился, что молодые женщины, встретившие в штыки его выступление, против него лично никаких козней не держали. И подтвердилось предположение Балуева, что они предложат провести дискуссию.

— Леша Серков! Серков! — услышал он, едва оказался в вестибюле школы.

Блондинка и чернявая с литовской фамилией поджидали его. Они отвели его к окну.

— Леша, мы достали журнал,— говорила блондинка,— в нем говорится, как поссорилась агроном с директором МТС. Она — молодая, он — этакий мастодонт. И она победила! Леша, надо провести дискуссию. Мы с Мариной хотя из маленького городка, но горожанки, а ты, Леша, совсем земляной человек! И вот устроим разбор повести, ты выскажешь свое личное мнение, конечно, искреннее, а мы будем оппонентами! Такая прелесть будет!..

Алексей слушал, смотрел на оживленные лица женщин и странно: совершенно не испытывал смущения. И вдруг, удивляясь сам себе — как это ловко у него получается! — стал врать. Он сказал, что обеими руками — за дискуссию, но у него сейчас нет ни капли времени: он сегодня идет в публичку (о ней он только слышал), ему надо законспектировать одну работу Ленина.

— Да разве в нашей библиотеке нельзя этого сделать? — спросила блондинка.

Но и тут он нашелся, удивляясь своей ловкости, он сказал, что он не только эту статью прорабатывает. Нужно ведь знать, что писали в газетах в ту пору, когда создавалась статья! А таких старых газет в здешней библиотеке нет, а в публичке есть, он уже заказал. И завтра он будет работать в публичке, и послезавтра. Когда он освободится, трудно сказать! Он постарается быть на дискуссии, непременно постарается!

И разошлись они мирно и даже дружески.

«Хорошо, замечательно!» — думал Серков, отделавшись от женщин. И в тот же день записался в публичку для порядка.

В очередную субботу он отправился с Балуевым на Кирочную улицу. И приятельница Балуева, и ее подруга Наталья оказались симпатичными. Приняли они Серкова очень просто, ему даже показалось вначале — холодно и равнодушно. Они не хихикали, громко не хохотали по всякому пустяку. Говорили о своих делах в проектном институте, как-то незаметно и Серков втянулся в разговор. Почувствовал, что женщинам он интересен, стал рассказывать о деревенских делах.

В начале первого ночи Наталья спохватилась идти домой, чтоб завтра не проспать. Серков проводил ее до квартиры в соседнем подъезде. Они договорились о встрече завтра. И до окончания курсов Серков встречался с ней. Главное, как отмечал Серков, учеба на курсах прояснила ему структуру власти в стране. Он даже поразился: затырканный и полуграмотный председатель сельсовета Пахомыч вовсе не должен подчиняться председателю колхоза! И Пахомыч не должен бегать по всякому поводу в правление просителем и даже ответчиком, а Пахомыч должен призывать к себе председателя за упущения того и требовать ответа. И когда Серков представил, как Пахомыч призывает председателя к ответу,— расхохотался. Впервые представил он себе такое во время занятий. Он прыснул, уткнулся в стол и затрясся. Держась обеими руками за горло, давая тем самым понять, что в горле у него что-то случилось, он выбежал из аудитории. И только в туалете, ополоснув лицо холодной водой, успокоился и вернулся.

ГЛАВА 16

Вернулся Серков в деревню в конце июня. Погода стояла жаркая, даже на лесных полянах, где земля была похуже, трава пожелтела, пожухла. Сестра Серкова родила мальчика, от кого — так и не сказала. Серков слышал, как она напевала, качая ребенка

в новенькой коляске во дворе под тополем: «А батька наш вернется, возверне-ется... помотается и возвернется. Папка-то на-аш...»

Тятин недомогал, как он говорил, от солнечного пожара, лежал в боковушке на полу, изредка спускаясь в подпол выпить своей прозрачной браги. Сына его Сергея в Ленинграде Серков не повидал. В отделе кадров университета ему сказали, что Сергей Иванович Титин переведен в Москву. Домой он давно не писал, уже около года, и Серков знал, что по этой самой причине Тятин и занемог.

Председатель был уже новый, Смирновский Владимир Тихонович, тоже тысячник, подполковник в отставке, проработавший два года после службы заместителем директора одного из крупных заводов по хозяйственной части. Он был высок, ходил и сидел так, будто на самом деле проглотил аршин. Глаза казались стеклянными — без малейшего выражения. Неподвижными были и черты лица. Всем этим он крайне удивлял деревенских.

— Таинственность в нем какая-то,— говорила Серкову сестра,— когда сердит, когда он в добром нраве — не понять его, говорят, после какого-то ранения он таким сделался: Пахомыч твой сказывал, такими люди делаются после особых ранений. Не глядит-то на тебя, а таращит зенки. И не сморгнет...

— А как же Пырев убрался отсюда? — спросил Серков.

— А заболел по весне. Ноги остудил. Еще лед стоял, он отправился к полынье, где Мошья-то в озеро вливается. С сеткой на жердине, Тятин ему изготовил. На лед сошел и провалился. Стал кричать, а людей нет аблизи, погодя уж скотница Верка шла к коровнику, услыхала, Пахомыча подняла, Елю-бригадира. А он уже промерз весь. Увезли потом в город...

Иное мнение высказал об отъезде председателя Пырева Пахомыч. Когда Серков в новеньких туфлях на толстой подметке, в белоснежной рубашке с погончиками, стройный и легкий, вошел в сельсовет, Пахомыч сидел за столом, читал газету, уткнувшись в нее носом.

— Алешка-а! — закричал старик истошным голосом, вскочил, взмахнув руками.

Бумаги со стола разлетелись. Пахомыч прижался к груди Серкова левой и правой щекой, заметался по комнате. И застыл у стола.

— Вернулся! Дьявол! Не остался тамотка! А худой чего? И без брюха совсем-то! Возвернулся! Таиска! — затопал он, хотя Таисия уже стояла в комнате и Серков здоровался с ней.— Вернулся! Ах, паразит такой!.. Таиска! Готовь нам и убегай домой, мы свою беседу устраивать будем! — Пахомыч утирал слезы.

Дом сельсоветовский был разделен коридором на две половины. На второй половине размещалась библиотека. Но Пахомыч, выпроводив Таиску, запер и общую входную дверь, и свою. Закрыл плотно окна, машинально задвинул и печную заслонку.

ГЛАВА 17

Председатель Смирновский начал свою деятельность так. Призвал в правление всех бригадиров лесных деревушек. Приглашал к себе в кабинет по одному, подавал лист чистой бумаги. Просил тут же написать короткую автобиографию. Затем расспрашивал о хозяйственных делах в деревне. И каждому после беседы:

— Пока не уходите. Подождите в общей комнате.

На это ушел весь день. Потом призвал в кабинет всех разом, раздал по тетрадке.

— Запишите всех работоспособных вашего отделения. И короткие их характеристики.

Ни один из его предшественников таких поручений не давал. Прямой, высокий, с маской на лице и со стеклянными немигающими глазами, председатель произвел на всех какое-то магическое впечатление. Только один замошьевский бригадир Елин осмелился спросить с недоумением:

— А зачем это все писать, товарищ председатель?

— Я хочу знать ваше личное мнение о вверенных вам людях. Завтра к девяти утра привезете мне ваши записи. Прошу соблюдать дисциплину. Мы с вами начнем с дисциплины. Все свободны.

Бригадиры удалились.

Бригадир Елин, проходя мимо кучки женщин, стоявших на дороге, сказал им:

— Ну, бабы, которые Елю не слушались, теперь вы песенку другую у нас запоете!

На другой день все бригадиры доставили председателю тетрадки. И опять весь день бригадиры толпились в правлении, а председатель поочередно их призывал в кабинет, и они вносили дополнения к характеристике своих работоспособных людей. А дня через три бригадиры увезли из правления пачки запечатанных почтовых конвертов с отпечатанными на машинке приглашениями явиться в субботу к семнадцати часам на общее собрание. Повестки с вежливым обращением «Уважаемый т...» произвели впечатление. Почти все приглашенные явились.

Перед правлением на площади собралась толпа. Председатель стоял на крыльце, по

левую руку от председателя стал бухгалтер Андрей Миронович, который то и дело утирал платком лицо и шею, по правую — бригадир Еля, сделавшийся вдруг правой рукой председателя. Наконец прибежала и стала на крыльце агроном Анна Ивановна, жена Елина, она же секретарь парторганизации.

Председатель говорил о том, что наступили настоящие новые времена. Партия и правительство выделили дополнительные кредиты деревне. Теперь работу всех без исключения колхоз будет оплачивать деньгами. На базар в город возить продукты нет нужды. Все силы и энергию нужно отдавать хозяйству. Нужно поднять дисциплину, а в недалеком будущем колхоз превратится в совхоз, все колхозники станут рабочими. После того как строители устроят силосные ямы, закончат коровник и свинарник, приступят к строительству трех пятиэтажных домов.

— В правлении уже чертеж с домами висит,— говорил Пахомыч,— позавчерась повесили. Комиссия приезжала, место смотрели. За Мошьей место выбрали...

— А как Пырев тонул? — спросил Серков.

У Пахомыча забегали глазки. Он прислушался, поглядывая на двери и окна.

— Тсс... Только тут держи все, Лешенька,— ударил он себя по затылку.— Ты, Лешка, перед властями теперь поднеаольный человек, а Пырев-то уже вышедцы из больницы, заведует конторой, куда свозят с пунктов заготовки грибы, ягоды в корье. И у него везде своя рука в Новогорске, Лешка. До точности полной и в Новогорске ничего не узнаешь, а только слухи говорят: с Гузеевской нашей делянки бревна возили на постройку домов дачных. А кто-то донес, соображаешь? И еще хитрее дело обнаружилось тайное. На свинарнике-то только стены готовы, на коровнике столбы каменные и часть стен. И бревен завезли кубометров сорок. И остановилось дело с той осени. А в понедельник привезут экскаватор, силосные ямы начнут быстро готовить. И бетон потом привезут... А зимой-то открылась хитрая махинация: колхоз-то уплатил по процентовке и за стены, и за крышу на коровнике и свинарнике, ясно? А в сметах, говорят, была записана стоимость бревен, а потому как бревна наши, то строители должны из сметы отдать нам деньги за эти бревна — вернуть их, соображаешь? И наша бухгалтерия выставила счет. В тресте все подписали: им на эти деньги плевать, им план надо было. А колхозу банк наличными выдал двадцать шесть тысяч за эти бревна. А в кассу, Лешка, деньги не поступали. Бухгалтер Андрей Мироныч говорит, он с председателем ездил за деньгами в тот месяц, получал по ордеру для оплаты колхозникам по трудодням, а больше он никакого ордера не видел... Темное дело, Лешка... Молчи... Я тебе ничего не сообщал... Двадцать шесть тысяч!.. И в тресте, говорят, затерялись бумаги насчет возврата денег...— Пахомыч подсунулся ближе к Серкову и зашептал в ухо: — А Пырев-то и не тонул, Лешка. Только молчи, молчи, Лешка, Еле подозрений моих твердых не высказывай: он разнесет везде, а нас потянут — за выдумку клеветы могут потянуть. А я тебе сразу скажу, Лешка: когда я с жердиной прибежал к берегу, то меня тут же странность удивила: стоит он по грудки в воде, шагах в пятнадцати от мостка, кричит, за лед держится, а лед между ним к берегом беленький и снежком припорошен. И следов на нем нет, а?.. Он говорил, лед проломился под ним, а мы с Елей и на лед стали, а он твердый! Он говорил, ноги завязли на дне, вытянуть не мог, а в том месте темные каменья на дне! Ясно? Погодя я вернулся к мостку, обследовал: он, Лешенька, под мостком сошел в полынью, прошагал до конца ее и тогда-то крики поднял, каково? В сапогах он был вот сюда — до пояса и в комбинезоне из брезента, а? А комбинезон — поверх ватника! А? Вот и гляди тут. Он и не промок-то!..

Первый же деловой разговор Серкова с председателем Смирновским закончился взаимной и четкой неприязнью. Серков спешил в школу, где надо было вместе с директором составить перечень ремонтных работ. Огромный экскаватор уже рыл силосные ямы. Из правления выскочил на крыльцо Еля и крикнул:

— Алексей Иваныч, зайдите на минутку к председателю!

Серков свернул. Смирновский встал, подал руку, указал ею на стул, сидел и молчал. Серков тоже молчал, поглядывая на желтоватую маску лица председателя, на стеклянные глаза с голубыми зрачками.

— Нам с вами надо договориться,— начал председатель ровным голосом и смотрел перед собой на дверь.— Дисциплины здесь нет, полная расхлябанность. Уже намечаются семьи, которые к концу года не выработают и сотни трудодней. Перед уборкой урожая мы должны принять предупредительные меры: трем или четырем семьям мы объявим, что, если они не исправятся, не будут лучше работать, совместным решением сельсовета и правления колхоза огороды у них будут отрезаны. К весне они останутся без огородов.— Председатель замолчал.

— В таком решении я принимать участия не буду. Отрезать огороды нельзя. Я против этого.

На губах председателя скользнула усмешка.

— Вам не позволят, молодой человек, возбуждать раздор в моем хозяйстве, вы это понимаете?

— Нет, не понимаю.

— Получается, что вы и не хотите понять? Вы не понимаете ситуацию и не хотите понять?

— Да.

— Что ж, мы поговорим в другом месте. Я не задерживаю вас...

Он не задерживает! Серков вышел. На другой день правление было набито людьми. Женщины толпились возле правления. Выдавали «аванец». В стене бухгалтерии, рядом с дверью, прорезали окошечко кассы с заслонкой изнутри. Шум и гвалт стояли в правлении. В прошлом году начали платить по рублю на трудодень, в этом уже платили по рублю семьдесят пять. Откуда взялась такая расценка, никто не знал. Но не на это женщины обращали внимание, а на то, что получали разные суммы.

— Какой у тебя аванец, Марья?

— Сорок два семьдесят.

— Гляди ты! Мне вот дали только тридцать шесть и сорок пять! Гляди-ко!

— Часов у тебя меньше, видать?

— А с чего меньше? Я всегда выходила!

— Бригадира пытай!

— Бригадира! Де он теперь? Андрей Мироныч!

— Бабы! Мне двадцать шесть рублей только!

— Иди до председателя!

— Мироныч, забирай деньги назад! Мы не согласны!

— Не согласны!

— Тихо! Не мешайте работать! А то кассу закроем! С бригадирами разбирайтесь! Тихо!

— А ты объясни-то сам!

Окошечко закрылось.

Бригадиров не было, председатель куда-то уехал.

Серков протиснулся из правления.

— Алексей Иваныч, ты советская власть, разберись: я все восьмерки отработала, все выходы у меня, по четыре часа только за гузеевские дни, я в тую даль на делянку не ходила по болезни, а у меня шесть ден без восьмерок поставлены!

— Я к оплате отношения не имею.

— А кто имеет?.. Где председатель?!

— Хрущеву писать надобно, бабы!

«Бежать надо отсюда»,— подумал Серков, шагая к сельсовету и оправляя рубашку.

В райисполкоме удалось выхлопотать Пахомычу полставки — четыреста рублей. Председатель исполкома Бирюков, выслушав Серкова, пожал плечами:

— Нет, это жирно будет. Почти невозможно...

Выручила Серкова Рита Колганова. Опять встретил ее в коридоре. В сером костюме, с ромашкой в петличке, спешила она по коридору с бумажкой в руке.

— Леша! Почему не заходишь?.. Знаю, знаю: на курсах все у тебя хорошо, чудесно. Мы знаем, кого посылать. Ты — молодчина! А чем озабочен? — Он рассказал.— Слушай, слушай, а это идея! — Она за руку подтянула его к стене.— Лешенька, ты должен выбраться из деревни. Ты нужен здесь. Да. С Пахомычем твоим постараемся все уладить. Как его фамилия?.. Только, Лешенька, сначала в другом месте, здесь, под Новогорском, поработаешь с годик... Потом, потом поговорим, сейчас ясности еще нет. Новый сельхозотдел будет... еще не все ясно. Пока посиди там, Лешенька...

Домой возвращался он в бодрейшем настроении, пешком, срезая лесными тропинками частые повороты дороги. В крохотном лесном озерке искупался. Три женщины и старик какой-то деревни скашивали вокруг озерка пожухлую от солнца, низенькую травку. Серков подивился: зачем они косят такую траву, что с нее толку? Но, занятый своими мыслями, даже не спросил, зачем они косят. Да ведь он не был хозяином! Да и деревенским-то он уже не был! Он знал,что если вот завтра его переведут в Новогорск,он достанет сена для коровы матери!

Пахомыч, узнав, что в самом райкоме партии будут хлопотать о зарплате ему, походил туда-сюда с гордым видом. Постоял у окна, смотревшего на озеро, и произнес:

— Да, советская власть еще нужна! — И крикнул: — Таиска, приготовь и беги обнхаживать избу свою!

Почтальон Катя Захарьина принесла почту. Стараясь не глядеть на Серкова, вытряхнула ворох конвертов на стол перед ним. С того дня, когда Серков, вернувшись из армии, повстречал ее на берегу Мошьи, образ девушки поселился в нем. Но молода, молода еще, вздыхал он, пусть подрастет... Небрежными намеками выведывал у сестры, не появился ли ухажер у Катюшки Захарьиной? Но тонкие хитрости его для сестры и матери шиты были белыми нитками. И сестра однажды за ужином выложила Серкову:

— Ты, Лешенька, насчет Катюхи не сомневайся: сбережем тебе ее. И Танька, вся сродня ихняя только в ножки тебе поклонятся. Танька сама сказывала мне. И без сомне-

ний она. Только, говорит, пусть он сам уж больно не возвышается о себе, а то сегодня у них одно, а завтра за городской какой побежит!..

За два заказных письма Катя попросила расписаться.

— А чужих писем не свалила ты мне в этот ворох? — спросил Серков, желая задержать ее и поговорить.

— Нет. Чужих нету. Все другие я разнесла, ваши напоследок оставляю.— И убежала.

Серков впервые решил сам просмотреть поступившую корреспонденцию. Содержание первых же конвертов привело его в недоумение. «...Срочно сообщить в Р.О.Н.Х. о состоянии пр-ва и внедрения торфоперегнойных горшочков согласно указанию С.Н.Х. области от 1.8.56 г. ...», «...срочно сообщить о возможности создания на территории сельсовета (с указанием населенного пункта) опытной лаборатории по искусственному осеменению поголовья коров колхозного стада...»

— Искусственного осеменения? — произнес Серков. Пахомыч стоял рядом и ничего не ответил.— Что такое, Пахомыч? Какое еще тут искусственное осеменение?

Старик молча сгреб конверты, положил на другой стол. Быстро все их распечатал. Послания были на плотной белой бумаге, на желтоватой и мягкой. И на похожей на папиросную. Последние Пахомыч отобрал, смял и бросил в топку печки, не читая. Белые сунул в карман пиджака, а желтоватые в ящик Таисиного стола.

— Ты, Лешенька, не определишь сразу ничего. Опыта у тебя мало. Белые я определю дома, а Таиска с серыми управится. Все сделаем. Ты не сомневайся...

ГЛАВА 18

На огромные силосные ямы строители навалились так, что к августу они были готовы. Прислали шестьдесят человек, работали в две смены. Забетонировали днище, стены. На каждой яме — по шесть тяжелых крышек, чтоб весной по отсекам выбирать силос. Но что закладывать в эти огромные ямы на силос? А надо заметить: если трава на полянах от жары пожухла, первый покос обещал быть скудным, то густая рожь сохранила в почве влагу, колос выдался отменный, старики поговаривали, что урожай будет небывалый. И по всей округе даже ученые агрономы говорили — будет от 15 до 20 центнеров с гектара. Но пришло строгое указание из района: едва колосья хлебные достигнут молочно-восковой спелости, рожь убрать на силос. И задача была решена. В Замошье свезли из других деревень сенорезки. Все три ямы забили рожью с нужными минеральными добавками. А когда в конце августа спала жара, но дождей еще не было, уже тогда некоторые деревенские, вставшие до восхода солнца, стали замечать, что над силосными ямами стоит почему-то гуще, чем рядом с ямами. Затем отметили: и когда нет вообще утреннего тумана, над ямами он есть. И уже день настанет, а туман не рассасывается.

Тогда председатель Смирновский дал команду: посмотреть, что творится в ближней к правлению яме. Тяжелую крышку из горбылей и досок вручную и приподнять не смогли, стащили ее трактором. Сверху воды не было, а едва в силосе вилами выкопали маленькую ямку, поняли, что вся яма полна воды. Она была тепловатая, и из нее пробивались пузырьки какого-то газа.

То же творилось и в других ямах. Председатель умчался в Новогорск; спустя два дня прибыла комиссия. И никто не мог толком сказать — что же произошло? Но вместе с комиссией приехал и худенький старичок, уже давно пенсионер, «сидевший» в райисполкоме на различного рода строительной документации. В прошлом сам он был строителем-практиком и, возможно, привязался к комиссии из любопытства. Так вот он сказал, что в данном месте такие глубокие ямы нельзя было строить. И даже подальше от озера нельзя устраивать подобные силосные ямы. И поведал: лет шесть назад новогорский торг устраивал на своей торговой базе в земле железобетонные емкости для квашения капусты. И комиссия четыре раза не принимала у строителей эти чаны, ибо нужно было выполнить особые изоляционные работы от грунтовых вод. И даже шпунт там применили особый — из дуба на особой органической мастике. И год простояли чаны пустыми, покуда не убедились, что вода не проникает в них. А тут, видимо, говорил старичок, строители сделали быстренько и грубо изоляцию из толя, а грунтовые воды здесь высокие, днище и стены, ясное дело, не монолитные. А вода всегда щелочку найдет...

Комиссия уехала, обвинив в составленном акте строителей и проектировщиков.

Что-то неделю спустя Серков докладывал председателю райисполкома Бирюкову о подготовке к зиме школы и больницы в Замошье. Они беседовали на эту тему, но Серков два или три раза спросил, что же теперь делать с ямами и как притянуть к ответу строителей? А Бирюков будто не слышал вопроса или пропускал мимо ушей. И едва Серков в очередной раз начал: но как же быть с ямами, Леонид Иванович, ведь каждая стоит семьдесят пять тысяч... Бирюков вдруг его грубо обрезал:

— Вы с председателем там хозяева, вы — заказчики, куда смотрели? На вас в суд подавать, что ли, тоже надо будет? — И Серков опешил, не нашелся, что именно сказать в ответ. Но он же не заказчик!

Бирюков уже успокоился, заговорил мирным тоном о возможных сильных морозах в этом году, старики, мол, говорят, всегда после жаркого лета бывают сильные морозы. И беседу они закончили мирно и дружелюбно. Но Серков все же заглянул в строительный отдел. Там все ушли обедать, только тот самый старичок сидел в своей крохотной боковой комнатушке с полками для папок с документацией и пил чай с булкой.

— Дорогой мой,— сказал старичок, выслушав Серкова,— да, сельсовет тут и ни при чем, вы же договора не подписываете! А строителей высечь мы не можем: ведь место устройства этих ям было утверждено на совместном совещании райкома и райисполкома. И строители отлично знают от этом!.. Знаете, это у Гоголя вдова сама себя высекла, а у нас никто сам себя сечь не будет.

Серков тут же загнал силосные ямы к побочным мыслям в уголок, находящийся где-то в затылочной части мозга. Почесал затылок и ушел от старичка успокоенным.

А затем в колхозе вот что произошло.

Первый покос травы дал не больше половины того, что обычно заготовляли. На болотах и дальних полянках лесных, где люди полулегально всегда заготовляли себе сено, они пожухлую траву скосили, едва жара унялась. Когда прошел первый же дождик, отава пошла быстрей в рост. И кто-то доложил председателю Смирновскому о болотных покосах. Он съездил туда на одноколке, и затем было объявлено народу: косить будут там отаву на общем положении. И не пятнадцать процентов от убранного люди получат, как обещало правление, а по-прежнему десять. И еще разнеслась весть: кто будет плохо работать, после уборки огородов их отрежут. И для острастки были названы три кандидата на такую воспитательную операцию: Ерохины, Кибитковы-Рыжиковы и... и, к несчастью председателя и бригадира Ёлина, ставшего правой рукой Смирновского, в кандидаты на обрезание попали беспутные мать и дочь Козловы. Они числились в бригаде Ёлина, и он находился в постоянной войне с ними. И тут сразу всем стало ясно, что о болотных покосах сообщил председателю Ёлин. Ведь председатель выделил ему лошадь под седлом. Ёлин ездил на машине в Новогорск за женой Смирновского, которая, приехав из Ленинграда, остановилась в Доме колхозника. И Ёлин же увез ее обратно, когда она, прожив всего три дня, маленькая, худенькая и невзрачная из себя, заявила, что жить без горячей воды и нормального туалета не может и не хочет и никогда не будет. Она неделю прожила в новогорском Доме колхозника, должно быть, ожидая мужа для окончательного объяснения. Но он не ехал, и она укатила в Питер. Ёлин дважды ездил за ней, но возвращался восвояси.

Беспутные мать и дочь давно пели прямо в глаза бригадиру: «Ёля, Ёля, Ёля наш в елочках родился»,— и далее разные пакости: дескать, Ёля не в избе появился на свет, а в лесу, и создали его лесной леший и болотный бес.

Пели они, приплясывая и кривляясь, едва он начинал отчитывать их за непослушание. Когда мать и дочь узнали, что председатель мечтает отрезать у них огород к весне, они рассмеялись. Затем возмутились. Они первые подали мысль: про болотные покосы сообщил председателю, конечно же, Ёля, кто же еще? Подлей его нет в деревне человека! За это председатель дал ему лошадь и седло, а сам на одноколке везде трясется. Но Ёля все же был свой человек. И стрелы свои мать и дочь пустили прежде всего в Смирновского. Прямой и высокий, шагал он от Мошьи к правлению, когда вдруг перед ним появились обе женщины.

Мать загородила ему дорогу, прошлась вокруг председателя, улыбаясь лукаво, и пропела частушки, где были такие слова: «Председатель один ходит, женку выгнал в Ленинград». А дочь спела с противоположным смыслом: мол, не ври, женка сама бросила председателя, потому что он с ней молчит и пупырится, а беседует только с любезным Ёлей — бригадиром.

Председатель был потрясен такой самодеятельностью. Неподвижное лицо его покраснело. Он смотрел то на одну женщину, то на другую. Они проводили его до самого правления, пели про «обрезные» огороды.

Председатель до вечера не выходил из своего кабинета. Вечером беседовал с участковым и бригадирами. Участковый сказал, что наказать этих бабенок он не может. Если б они тронули вас, бросили камень, другое дело. Не надо было пугать их отрезкой огородов — они никого и ничего не боятся. И участковый поведал председателю, как старшая требовала себе от властей нового мужа взамен погибшего за Советскую власть.

— Они обе чокнутые, их ничем не пронять.

То, что они чокнутые, должно быть, немного успокоило Смирновского. А недели через три после этого случая Серков и покинул родную деревню.

ГЛАВА 19

В Новогорске есть Молодежный новый район, выстроенный высокими домами. Во время довольно странного становления служебной карьеры Серкова здесь располагалась большая деревня Ивановская Ямь, которую просто называли Ивановская. Основание ей положили в петровские времена ямщики, возившие почту к Архангельску и Вологде.

Деревня тянулась вдоль дороги километра на три-четыре. Здесь был колхоз «Светоч», имя это и взял позже свиноводческий комплекс, построенный южнее, где развелось ужасное количество крыс.

Почти все избы были обшиты вагонкой, ко многим из них имелись бетонные съезды и дорожки к калиткам. И в таких домах жило даже по два мужика, не считая стариков. Во всех дворах держали коров, свиней, кур и гусей. И основу такого удивительного благополучия положили женщины. Испокон веков Ивановская славилась красавицами, бойкими, могущими всегда постоять за себя. И когда строился Новогорск, подросшие молодайки умело прибрали к рукам шоферов, инженеров, проживавших в общежитиях.

Молодайки сами устраивались на работу в Новогорске. А родители их старели, колхоз хирел, угодья зарастали и списывались. К тому же часть земли колхозной была отнесена для расширения в будущем города. И в конце концов в колхозе остались два коровника по полтораста голов в каждом. Это стадо должно было снабжать молоком Новогорск.

Лет десять руководил колхозом председатель Ямщиков. Из местных, рослый, неутомимый говорун на различных совещаниях, здоровяк, решительный в действиях и любитель женщин.

Лет десять ивановские люди пользовались лесом и покосами на землях, отведенных для будущей городской застройки. Пользовались и списанной землей. И все это ставили на счет их бойкого и великолепного председателя. О похождениях его ходили глухие легенды. И вдруг его жестоко избили между деревней и Новогорском: машину его нашли в овраге, а его самого обнаружили в кустах. Он попал в больницу.

ГЛАВА 20

Однажды Серкову позвонил председатель райисполкома. Расспросил о том, о сем, а потом сказал:

— Ну, что ты, Алексей Иванович, засиделся? Молодая кровь бурлит? Против Смирновского контры начал строить? — Но в голосе Бирюкова Серков уловил не укор и строгость, а даже отеческую ласковость. И закончил Бирюков так: — В четверг к трем часам приезжай ко мне. Серьезный разговор есть. Только не опаздывай, Алексей Иванович.

В Новогорск он приехал пораньше. В Доме советов поднялся на третий этаж, где были кабинеты райкома. Рита Колганова была у себя.

— Ага, Леша,— сказала она деловито.— Садись сюда, голубчик. Садись...— Она не сообщила почему-то, по какой причине председатель оказался в больнице. Сказала, что тот был выпивоха и бабник. Его снимают с работы. На бюро решили, что его место займет Серков.

— Поработаешь, Леша, не более года: все это светочевское хозяйство приберет к рукам химкомбинат. Оно у него будет подсобным. К тому времени решится вопрос с сельхозрайкомами. Окончательно решится. И тогда мы решим с тобой, где и кем ты окончательно будешь работать, понимаешь?

Он кивал, он верил, что Рита плохого ему не пожелает.

— Вот и чудненько,— говорила она.— Ты не женился?.. Нет... Надо бы жениться тебе, Лешка! — Она засмеялась.— Ты не пьешь, Леша, вот это хорошо. И будь там осторожен — сплошь куркули в этой Ивановской! У многих свои машины, у всех дворы от скотины ломятся; Ямщикова там закрутили, запоили и закормили. Одним словом — будь осторожен. И женись, Лешенька, женись...

Почти то же самое говорил ему Бирюков. И вечером на бюро райкома Серкова утвердили председателем колхоза «Светоч». На бюро он слышал лестные слова о себе: «Не пьет, не пьет». «Почему они решили все, что я не пью?» — думал он весело.

Пустующих изб в Ивановской не имелось; несколько ночей он спал в правлении. Потом получил однокомнатную квартиру в Новогорске.

Жизнь в Ивановской поразила Серкова. Коров еще гоняли на выпас. Два пожилых пастуха на рассвете начинали собирать стадо с того конца деревни, который подходил к Новогорску. Серков спал на диване в правлении. Мычание коров будило его. Черно-белой масти и красной, они на самом деле «тучным» стадом проплывали мимо правления. Следом два подростка гнали телят. В полдень хозяйки с ведрами в руках спешили за деревню к ручью сдаивать молоко. Они же и колхозных сдаивали на выгоне вручную, а доярки сдаивали аппаратами утром и вечером. В Замошье даже хозяйки днем не доили!

Но, освоившись, уяснил Серков и другое. Управленцев в колхозе было очень много. Два агронома, два зоотехника, два ветеринара, старший и младший. Старший и младший бухгалтеры, два счетовода и делопроизводитель. Экономист и экспедитор по молоку, два объездчика и сторож.

«Разогнать надо всех»,— думал Серков, но решил посоветоваться с Бирюковым. Тот выслушал его в своем кабинете.

— Дорогой мой, все это я знаю, все мы знаем. И хорошо, что ты пришел ко мне, а не принялся воевать. Черт их знает, как все это там у них сложилось, ясное дело, не без участия Ямщикова, но они круглый год снабжают отличным молоком ясли, школы и детсады. И я сплю спокойно в этом отношении. И картошкой они их снабжают. Пойми, по всей области — только утренняя и вечерняя дойка коров. А они зимой в полдень доят, берут по три, четыре литра молока! Вся эта Ивановская Ямь снабжает Новогорск молоком. На базар несут, в дома несут, летом по вечерам к ним ходят с бидонами. И не надо их трогать, ну их к черту! Дотация по триста тысяч в год. Твое Замошье сейчас берет столько же. А толку что? И через год твой бывший колхоз еще больше брать будет! Нет, ты эту Ямь не трогай. Через годик заберет к себе химкомбинат этот «Светоч», пусть они вожжаются...

ГЛАВА 21

Человек предполагает, а бог располагает... До образования Новогорского района первый секретарь райкома Пермяков Михаил Аверьяныч был первым Межецкого района. А управлял стройтрестом Прокопов Иван Демьянович, мрачного вида худой старик. Когда-то он строил Магнитку, знаменитый в свое время Раппопорт, верховодивший на Беломорканале, был приятелем Прокопова. Все знали в тресте, что у Прокопова в Москве, где жили его взрослые дети, не одна мощная рука, а несколько. На планерках и совещаниях в тресте всех рангов субподрядчики трепетали перед Прокоповым. Сидел Прокопов не за общим длинным столом, а за своим маленьким письменным — в левом дальнем углу от входа. Носил он френч, сапоги и брюки с узенькими лампасами. До пятьдесят шестого года покуривал трубку.

На планерках он в основном молчал и слушал, прихлебывая крепкий чай, приправленный коньяком. Слушал он разные высказывания, а едва спор разгорался, взаимные обвинения в неполадках на стройке переходили в ругань, подавал голос:

— Товарищ Николаев, похоже, не понимает, где он находится. Он думает, что пришел на базар. Пусть он идет на объект и разберется. А мы выслушаем его главного инженера.

И товарищ Николаев немедля уходил из кабинета.

Когда в Новогорске стали образовывать горсовет, появился председатель горсовета и его секретарша, однажды из Межецка приехал Пермяков со своей немногочисленной свитой. Три черные «Волги» подкатили к тресту. Пермяков и его сопровождающие зашли к Прокопову. Тот поздоровался со всеми за руку, не выходя из-за столика. Пермякову было тогда лет сорок. Он заговорил о будущем городе, о месте постройки Дома советов. Старик слушал. Достал трубку, раскурил ее, а потом спокойно произнес:

— Молодой человек, скажите мне, пожалуйста, почему на стройке перебои с молочными продуктами? Мы построили отличный новый рынок, а там ничего не продают. Даже зелени нет. Говорят, из Ивановской через сельпо все закупается и увозится в какой-то город Межецк. Правда это?

«Молодой человек» и «какой-то город Межецк» — эти фразы были произнесены очень спокойно. Но Пермяков стушевался. Он приехал, чтоб заставить трест срочно строить Дом советов. Но произнес несколько общих фраз и откланялся. И больше в тресте не появлялся...

Зная, что скоро коровники и угодья перейдут в руки химкомбината, Серков о своей популярности среди деревенских и не думал. Но вскоре к нему стали относиться с уважением. Колхозный сарай за правлением назывался каретным. Там свалены были старые сани, телеги. Серков заметил у самой стены колею от машины. Оказалось, что там стоит списанный давно «джип». Лошадью Серков вытащил машину. Техник проснулся в нем. Он разобрал машину до винтика. Шоферов в деревне было много, и они приходили посмотреть, как новый председатель копошится в сарае по вечерам и выходным дням. И вся деревня узнали: новый председатель — отличный механик! Кто-то выручил его фарами, лежавшими в запасе, и прочие нужные мелочи несли. И уже через месяц Серков стал своим человеком в деревне и ездил на машине. Познакомился с работниками стройтреста, где он перезаключил договор на поставку в детсад молока и творога.

Телят «Светоч» не держал, их отдавали на выкармливание в соседнее хозяйство, но когда главбух треста заикнулся, нельзя ли устроить так, чтоб трестовские работники хотя бы к праздникам покупали мясо в колхозе, Серков устроил так, что трест стал покупать в том хозяйстве, куда сдавали телят, мясо и цыплят. И даже сам управляющий Прокопов однажды сказал Серкову:

— Послушайте, молодой человек, а помощь от треста не нужна ли вам?

— Нам бы маленький телятник построить,— ответил Серков, хотя до сей минуты о телятнике и не думал.— Голов на сто, не более.

— Что ж, надо подумать,— ответил старик.

Серков тут же умчался в деревню, собрал правление. Среди всех членов правления он выглядел юнцом, мальчишкой. И вот этот мальчишка сказал, что он договорился в Новогорске: трест построит колхозу телятник. Надо выбрать место для застройки, обдумать

условия договора. И к Новому году маленький телятник из шлакоблоков, с деревянными полами и выгребными ямами был готов.

На стройбазе треста встретил Серков Овчинникова Виктора Федоровича. Встреча была теплой. Познакомился с главным механиком треста и с механиком стройбазы. И твердо решил: вот с ними он будет работать в этом огромном хозяйстве. Но... но существовали силы, которые действовали в ином направлении.

В середине мая Рита Колганова по телефону пригласила его к себе в райком.

— Ровно в два часа,— сказала она.— Только не опаздывай. Дело очень серьезное.

Без десяти два он явился к ней.

— Так, Леша... Слушай, Алексей Иванович,— заговорила она деловым и даже немножко заговорщицким тоном.— Ты уже освоился здесь у нас и строителей немножко знаешь... Халтурят они много, каждый год прокатываются на незавершенке. Трижды их уже в газете нашей прокатили, на совещании позавчера их отхлестали. Но с них — как с гуся вода.

Да, она поносила строителей. Но Серков уже был не тот, каким был год назад. Он знал, что со строителями Рита дела не имеет и толкует то, о чем писали в местной газетке.

— И строителей этих, Леша, ничем не пронять: у них главк, у них министерство — вот кого они слушаются. А трест в лице управляющего Прокопова — ну, просто княжество какое-то удельное, а сам Прокопов — князь, понимаешь? И все назначения видных фигур у них идут через главк. А мы, райком, только формально утверждаем после собеседования. Вот отсюда там и вся чехарда. Сейчас у них, Леша, уходит на пенсию начальник отдела кадров Пуличек. Он болен и уезжает к себе в Москву. Он здесь и прописан не был. И многие у них так. По особому статусу живут...

Рита долго и напористо говорила, поглядывая на часы. И Серков узнал, что райком выдвигает его на должность начальника отдела кадров треста. Он смутился.

— Да я...— начал было он.

Но Рита не дала ему возразить.

— Леша, это партийное задание, понимаешь? Секретарь парткома треста Лучкин поддержал твою кандидатуру. Он всеми руками за тебя, понимаешь?.. И он, и мы во всем тебе поможем. Мы приберем к рукам этих разгильдяев. Прокопов ведь закоренелый сталинист! Он только недавно забросил свою трубку! — Она взглянула опять на часы.— Пошли к Пермякову, он ждет.

От Пермякова вышел секретарь парткома Лучкин, приветливо улыбнулся Серкову.

Серков ожидал, что беседа у секретаря будет продолжительной, он выскажется — кем желает работать.

— Вы побеседовали? — спросил Пермяков у Колгановой.

— Да, да. И решили.

— Отлично.— Пермяков встал и протянул руку.— Поздравляю вас, Алексей Иваныч: против вас не было ни одного голоса. Поздравляю.

— Я хотел сказать, что дела этого не знаю...

— Все узнаете. Мы поможем. Всегда поможем. Вы молоды, честны. И характер у вас твердый. Да, Маргарита Николаевна, срочно созвонитесь с Некрасовым, сообщите, что кандидат утвержден на бюро. Даже так: дайте телеграмму, но и непременно позвоните.

В коридоре Колганова поздравила Серкова и тут же убежала. Все так быстро произошло, ну просто мгновенно. И Серков поплелся домой. Только на углу вспомнил о своей машине. Ему так понравились трестовские механики, что он готов был начать работу самым младшим, и вдруг все переменилось! Но в конце концов то, что сам Пермяков считает его честным, обладающим твердым характером, смирило Серкова с необычной новой должностью.

ГЛАВА 22

Управление треста размещалось в двухэтажном бревенчатом доме. На первом этаже — бухгалтерия, партком, отделы главного механика, труда и зарплаты, две машинистки в крошечном закутке с дверью. И отдел кадров в небольшой комнате с окном с железной решеткой.

Весь отдел состоял из одного начальника, Пуличка Анатолия Вениаминовича. Секретаршей считалась молодая женщина Таня, но она в основном сидела в парткоме, где находилась маленькая техническая библиотечка и хранились под ее рукой разные канцелярские принадлежности. Главные отделы треста и просторный кабинет управляющего находились на втором этаже.

Двадцать седьмого августа Серков принимал дела у Пуличка. Не толстый, а какой-то весь припухший, Пуличек страдал почками, теперь вышел на пенсию и уезжал в Москву, откуда был родом.

Они перебрали папки с личными делами работников управлений, сверяясь с реестром, просмотрели две папки с исходящими и входящими бумагами. Пуличек небрежно бросил их в распахнутый высокий сейф.

Серков к этому времени уже женился на Кате Захарьяной, работавшей почтальоном в деревне. Сменил однокомнатную квартиру на трехкомнатную. Он хотел сменить на двухкомнатную, но Виктор Федорович Овчинников подсказал: ковать надо железо, пока горячо: город растет, с жильем будет не лучше, а сложнее, у него пойдут дети. Надо просить трехкомнатную. И Серкову выделили такую.

Все начальники отделов были пожилые. Среди них Серков выглядел мальчишкой. И он стал отпускать усы, чтоб казаться степенней.

— Ну, вот и все,— говорил Пуличек, утирая платком пот, постоянно выступавший на лбу.— Есть еще пачечка документов. Особенных.— Он отпирал ключом отделение в сейфе, достал пачку конвертов, скрепленных резинкой.— Придави плотней дверь, Алексей Иванович, и слушай внимательно. Это доносы на нашего начальника планового отдела Берукина. Пишут, что он не реабилитированный, а выпущен в пятьдесят втором по амнистии. Осужден он был за какие-то махинации с милицейским обмундированием, ясно? С зеками он не работал, а сидел в конторе и там поднаторел в плановых делах. Ясно? Как я тебе сказал, личные дела начальников отделов треста в главке находятся. Ты молод, Серков, не наломай дров, а то сгореть можешь. Эти письма посмотри, и пусть они лежат в сейфе. Непременно поступят еще. От местных и без обратного адреса. Ты сначала покажи управляющему. Старик скажет: «Это не по моей части, пошли они все к черту. Отправь кому следует». Тогда покажи секретарю нашему Лучкину, он посоветует тебе связаться с начальником милиции Рябовым. Вот ты тому позвони и через курьера Полю отправь в пакете и под расписку, ясно? И все. И следующие сообщения анонимные спокойно клади в сейф — пусть такой компромат (Серков впервые услышал это слово) лежит до поры до времени. Положи — и забудь, Алексей Иванович. Иначе,— Пуличек развел руками,— не знаю, что иначе... Понимаешь?

Молодой Серков не все понимал, молчал и краснел.

— И все знают, что он не реабилитированный?

— Не знаю, Алексей. Ничего не знаю. Я мог бы тебе ничего не говорить. Но ты не лез сюда, не подсиживал меня. А я, скажу тебе, очень доволен, что еду домой. И говорю тебе: ты ничего не знаешь, он ничего не знает, мы ничего не знаем! — Пуличек засмеялся, утер пот и похлопал себя по затылку.— Ты знай другое: присутствуй на всех планерках, оперативках, совещаниях. В управлениях бывай. Через год, полтора узнаешь людей. Запрос придет из органов на какого-нибудь типа, не по телефону узнавай в конторе СУ, а тут же поезжай сам, в отделе кадров под каким-нибудь видом просмотри списки. Отпиши письмом и зарегистрируй. И помалкивай...

Беседовали они часов до десяти вечера. Когда вышли из кабинета, только ночной сторож оставался в помещении. Пуличек подал Серкову ключ.

— Запирай дверь своего кабинета,— весело сказал он и широко перекрестился.— Ну, господи, верил бы в тебя, стал бы на колени: скоро в родимой Москве буду! Пошли ко мне, Серков. Жена ждет. Отвальную маленькую устроим!..

Жизнь Серкова круто переменилась. В трест приходил не к девяти, а к восьми утра. Потому что к этому времени у главного механика треста Кудрова собирались на утренние летучки механики РМБ, бригадиры слесарей, механики управлений. Приходил Овчинников Виктор Федорович. Серков только слушал, вникая в суть дела, с Овчинниковым обменивался новостями. В кабинете управляющего оперативки, совещания проводились в основном во второй половине дня. Расширенные совещания, когда съезжались начальники всех СУ, протекали иногда так бурно, с такой руганью, что казалось, люди ненавидят друг друга. Начальник РМБ Косцов, маленький и жилистый, с перебитым носом — он всю войну провоевал командиром танка; как утверждал, из-за своей честности выше звания старшего лейтенанта не поднялся. Так он и при управляющем Прокопове не сдерживался.

На первой же для Серкова расширенной планерке Косцова стали обвинять, что он задерживает на ремонте бульдозеры. Косцов только пофыркивал и ерзал на месте. Один из начальников СУ упрекнул его: обещал в субботу прислать на объект бульдозер, но не прислал. Косцов сунул в рот папиросу и стал жевать мундштук ее, а когда уже перешли к другому вопросу, он вдруг вскочил и заорал пронзительно, тыча незажженной папиросой в того начальника управления:

— Я таких, как ты, стрелял без всякого приказа! Как собак! Во время боя и темной ночью при бросках! А ты у меня больше бульдозера не получишь! Ты сам проверил, когда от меня на трансформаторную твою пришла машина?! До полдня она простояла там без дела, и я снял ее! В гробу я видел теперь тебя и твою трансформаторную!

Почти все начальники прошли через войну. Прокопов благоволил самоучкам — начальникам, не имевшим образования. Серков смотрел на угрюмого старика, а тот и ухом не повел на грубость Косцова. И когда совещание кончилось, Косцов и тот начальник СУ, выходя из кабинета, спокойно беседовали о чем-то.

Заботы производственников были просты и ясны Серкову. Особенности этих людей он наматывал на ус. Но когда собирались начальники отделов треста или плановики СУ и приглашали на совещание Серкова, суть беседы он быстро уловить не мог.

— А дебиторную задолженность по второму кварталу вы учли, Анатолий Николаевич? — говорил один.

— Коэффициент 1,03, установленный три года назад распоряжением министерства за № 634, нам не годится,— говорил другой.— Согласно решению совместной комиссии «Оргтехнадзора», главка и протокола регионального совета при министерстве коэффициент местных условий для Новогорска определен и выделен в параграф особых условий. А в таком случае применять мы должны коэффициент 1,23. И от общей выработки, а не в разбивке по месяцам, понимаете? И если имеются акты на простой из-за погодных условий в августе месяце, то коэффициент 1,23 применим и для всех производственных объемов работ в летнем месяце. А это даст нам только по руднику 645 тысяч рублей к выполнению плана...

Серков хлопал глазами. В технической библиотечке он выбрал пособия для плановиков, работников ПТО. Но этого показалось ему мало. Стал выписывать книги через книгупочтой. В договорном отделе треста брал старые договоры с заказчиками, уносил их домой, изучал. Зачем? И уже много лет спустя, тайно от всех, в том числе и от жены, укорял себя: зачем влезал во все эти расчетные и плановые дела? Зачем?! Ведь есть же мудрая пословица: много будешь знать, скоро состаришься! Исполнять надо было свои обязанности начальника отдела кадров — и только!

Занозой сидел в мозгу начальник планового отдела треста Берукин. Загнать бы сразу мысли о нем в угол, к побочным мыслям, забыть о них... У Берукина был совершенно голый череп, розоватое лицо с провислыми, всегда чисто выбритыми щеками. Носил он пенсне в тонкой золотой оправе, разговаривая с кем-нибудь, смотрел своими совиными глазами поверх стекол. Когда на совещании ему надо было прочесть бумагу, двумя пальцами снимал пенсне, подносил их ближе к бумаге и читал. В тресте всегда был при галстуке, носил не пиджаки, а шерстяные жакеты.

Уже дня через три после вечерней беседы с бывшим начкадров Пуличком на стол Серкова легли два конверта с письмами. Они были одинакового содержания, написаны одинаковым, якобы детским, почерком. Одно из них было адресовано управляющему с пометкой «лично в руки». И на конверте рукой Прокопова написано: «О. К.— распорядиться соотв-о». Вот содержание: «Эй начальники! Чего же вы держите Ваську Берукина за реабилитированного? Он в 49 плыл с нами по этапу по Уде в барже до Удинского лагеря и всю дорогу шестерил среди всех, как самая последняя сука, на него и плюнуть не хотелось, но только в зоне он и дня не был, его тут же отхватили в контору к вольным прорабам и сгинул он с глаз совсем потому как отвезли его в само управление в Уде, где он и находился со строительным документами, а срок он получил за продажу милицейских форм и сапог, когда служил в их заведении старшиной при складах! И в 53 мы вырвались по амнистии, только он до Красноярска улетел на самолете, а то бы его почистили...»

Вместо подписи стояли крестики. Серков отправил одно письмо с курьером в милицию, второе положил в сейф. Старался не думать о нем. Но на совещаниях так и тянуло присматриваться к Берукину. И он заставлял себя не смотреть на него.

ГЛАВА 23

Оклад у Серкова был — три тысячи двести рублей. Жена его Катя первые месяцы жизни в Новогорске нигде не работала, осваивалась. И хотя уже обращалась к мужу не по имени и отчеству, но от выканья еще не отвыкла. Первую же свою трестовскую зарплату Серков положил на стол в кухне. Вечером сидел над книгами. Катя, вернувшись из магазина, сидела на корточках перед кроватью и раскладывала стопочками деньги, соображая, что купить. Потом сообщила о предстоящих покупках мужу. Серков согласился, поцеловал ее и опять уселся за книги.

В конце октября, перед ноябрьскими праздниками, после обеда, Серков прошел в свой кабинет и только сел за стол, появилась кассирша Тося с толстым серым конвертом в одной руке и с ведомостью в другой.

— Распишитесь, Алексей Иванович,— сказала она весело, кладя конверт и ведомость.

— Что это? — спросил он.

— Премия. С утра вы на участке были, всем разнесла, а вам вот в последнюю очередь.

Он расписался, и Тося упорхнула. В конверте было ровно шесть тысяч рублей — премия за сентябрь месяц. Серков удивился такой сумме, сходил к главному механику Кудрову. Тот, как обычно, ругался с кем-то по телефону. Они поболтали, но о премии никто ничего не сказал.

Когда он вечером отдал деньги жене, Катя всплеснула руками. Даже забыла, что муж запретил ей называть его по отчеству:

— Господи, Алексей Иванович! — воскликнула она.— Неужто и мы в люди вышли?! А то я гляжу в магазине: люди покупают китайские одеяла, шубы разные примеряют! — Она пересчитала деньги, расцеловала Серкова, и он заметил, как она, раскладывая деньги, машинально целовала свои руки выше кистей.

Основные объекты Серков уже знал, знал в лицо некоторых мастеров, прорабов. Ему хотелось побывать в их тесной компании. СУ-1 было самым крупным управлением в тресте, оно вело объекты на промплощадке и жилье. Контора его находилась ближе к тресту, чем другие конторы, на Строительной улице. От Виктора Федоровича Овчинникова Серков слышал, что в СУ-1 много молодых мастеров, прорабов. Знал Серков, что это управление дает основное выполнение плана. И Виктор Федорович говорил: в конце каждого месяца, когда прорабы, мастера отчитаются за месячное выполнение, устраивают в конторе маленький сабантуй в ПТО этого управления. Начальник ПТО Хабаров — славный парень, толковый специалист и вообще умница.

— Только смотри,— предупреждал Виктор Федорович,— окажешься в их компании, для начала они постараются тебя напоить.

В последний день октября Серков, часов в семь вечера, переобулся в кабинете в резиновые сапоги, позвонил жене, что опять задержится, и отправился в контору СУ-1. Морозец был еще слабый, всюду стояла грязь. Строительную улицу одну из первых залили бетоном, и она уже была разбита.

Контора СУ-1 размещалась в длинном старом бараке, осевшем в землю. Перед входом огромная лужа. В первой комнате ПТО никого не было. Из второй проникал свет и доносился дружный смех. Человек восемь мастеров и прорабов сидели за столом. Среди них был и Овчинников, он поднялся, раскинул свои длинные руки.

— Кто пришел! Проходи. Садись сюда. Садись.

— Я по делу. На минутку к Хабарову.

— Какие дела?! Завтра дела будут!

— Штрафную надо. Начальству — штрафную!

Серков выпил стакан, закусил яблоком.

— Вот это по-нашенски,— говорил очень худой и рыжий Хабаров.— Ну, продолжай, Киселев,— обратился он к прорабу, которого заказчик, начальник ОКСа химкомбината Пирогов, в глаза и за глаза называл горлохватом.

Киселев скосил взгляд на Серкова.

— Говори, говори! — сказал Овчинников.— Он мужик наш. Я его сто лет знаю: он трепать не будет.

— Ну, что делать мне было? Ведь Прокоп убьет меня, живого сожрет! Велел малярам добавить в краску желтого колера, получилась — зеленоватая. Салатный цвет. По фасаду все филенки входных дверей — перекрасить в зеленые! Послал людей за овраг покопать кустов и елок; тротуар перед домом вымыть из шлангов! На первом этаже двери квартирные снять, сложить штабелями! Чтоб все за ночь было сделано! И ждать комиссию. И начал я тянуть резину: собралась комиссия в нашей конторе, оттуда потянул я всех в трест. А тут и обед. После обеда повел я всех не по Строительной, а по Ленинской и вывел всю эту шоблу прямо на фасад того же восьмого дома! — Два молоденьких мастера, отработавших месяцев шесть после окончания института, прыснули смехом.— Смотрю я: двери зеленью сияют, елки и кустики ровно торчат. И работяги мои снуют в подъездах. И хорошо, что я Вертяева вогнал в эту комиссию. Он, правда, зуб на меня имел, но понял — я в яме, надо выручать. А в комиссии эта была — пышная красавица из райкома — Колганова. В сапожки резиновые нарядилась. Слышу, ей Вертяев и внушает: главное — вентиляция! Проверить надо хорошо вентиляцию, с вентиляцией строители всегда портачат, а потом хозяйки на кухнях задыхаются! А Колганова за ним твердит: да, вентиляцию, вентиляцию надо прежде всего. У нас в доме плохая тяга...

Вошли в подъезд: пронесло! Филенки зеленые и кусты всех надули! Плотники двери навешивают: через час готово все будет, Вадим Захарович! Стали тягу проверять — тянет, аж гудит. Пять подъездов, по четыре квартиры в каждом; на кухне, в туалете, в ванной проверить надо. Газета кончилась, послал я кого-то за газетами на почту; спички кончились...— Ковалев состроил рожу. Хохот взорвался над столом.— Вчера-то я сдавал им этот же дом при солнечном свете, а тут — сумрачно. Включили свет.

— Погоди ты, не тяни: как же с третьим этажом? — спросил Хабаров.

— Продернули сразу на четвертый. Вертяев протянул. Ему надо будет тысяч сорок отрезать на выполнение, ты, Николаич, не забудь... Ну, на четвертом уже полные сумерки. Зажгли свет: мусора нет, все чисто... Вот и все пироги... Как в сказке...

Посмеялись.

— Что он, дважды один и тот же дом сдал комиссии? — тихо спросил Серков у Овчинникова.

Тот кивнул.

— А как же дальше будет? — спросил Серков.

— Да просто: к Новому году отделают окончательно седьмой. И заселят потихоньку.

— Слушайте, а где Николай Еремин? — спросил прораб Киселев, горлохват, глядя на Хабарова.— Дня два его не вижу, почему его нет?

— У него плохи дела. Вторую емкость нефтепродуктов не сдал: сто пятьдесят тысяч повисли у него.

— Как же так?

— А черт знает — как! На резервуары требуется бетон из цемента марки четыреста. А цемзавод отправил в Ленинград двадцать вагонов с этим цементом. На стройбазе запаса не оказалось. Вот и погорел. Думаю, не надо было ему в бутылку лезть перед нашим главным и начальником. Впрочем, толком никто не знает. Ясно одно: тридцать тысяч фонда зарплаты у него накрылись. Я помочь не могу. Ну, пять — туда, сюда, наскрести можно, а тридцать?.. К Гальке своей, должно быть, завалился с горя. Или у Надьки в Ивановской гужуется. Погорел парень.— Но тут дверь от сильного удара ногой распахнулась, вошел рослый молодой мужик с красивым смуглым лицом. Из карманов куртки его торчали бутылки с коньяком. В руке он держал бумаги, свернутые трубкой.

— Что, тризну справляете по Еремину? — вызывающе произнес он.— Держи, Хабарыч.— Он бросил на стол бумаги.— Сегодняшним числом зарегистрируешь, ясно? Вон сколько свидетелей!

Это и был Николай Еремин. Он принес стул себе. Поведал: позавчера в полдень плелся по Ленинской и не знал, что предпринять: морду набить директору бетонного, подать заявление на расчет или запить, как видит: инженер ОКСа комбината Завальков бежит к нему через дорогу. «Слушай,— сказал тихо Завальков,— у нас за третий квартал повисли двести с лишним тысяч. Не освоим. Вчера главная бухгалтерия сообщила. Только между нами: возьмешь этим месяцем? По новому шестому цеху пропустим».— «А смета есть?» — спросил Еремин.— «В том-то и дело, что нету, но чертежи есть. По чертежам наберешь? Только срочно. Вот чертежи...»

— Двое суток просидел я взаперти, но теперь, ха, ха!

Хабаров не верил своим глазам.

— Слушай, как же потом они рассчитываться будут?

— Не знаю, не знаю. И знать не хочу. Завальков что-то о дополнительной смете толковал. Ты, Хабарыч, визируй. Сейчас же. Ставь сегодняшнее число. И завтра главному идиоту нашему на стол. С утра. Пусть пялит глаза. Визируй, Сашка!

Хабаров расписался, сунул процентовки в ящик стола. Помял щеки свои длинными пальцами. Тихо заговорил, глядя на Овчинникова, на Серкова:

— Десятый год я уже здесь после техникума... Елки зеленые! Когда же мы в тартарары провалимся, а?.. Ничего не понимаю! Виктор Федорович?

В ответ Овчинников слабо улыбался.

— А теперь думаю так: нагрянут вдруг воронки в конторы наши, в трест. Арестуют все наши документы и всю нашу компанию. Всех.

— И тебя?

— И меня... Ну, мне года три дадут, что я?

— А Прокопа?

— И Прокопа.

— Его не возьмут. Он заслуженный. У него рука большая в Москве.

— Не в этом дело. Я представляю себе: вся наша шобла на Колыме. Все в робе. И по утрам нас гоняют на работу. И Прокоп во главе нашей колонны, каково?

Все засмеялись.

— Успокоюсь такими мыслями и живу. Ничего.

Опять смеялись.

Серкова так и подмывало крикнуть или спокойно спросить: «Так чего же вы смеетесь?» Но он не произнес этих слов. Какое-то чувство подсказало, что не надо ему сейчас задевать этого вопроса. Ибо между ним и этими людьми тут же возникнет невидимая перегородка. Много, много позже он поймет, что эти люди юродствовали, смеялись над самими собой. От бессилия как-то иначе делать свое дело. План и фонд заработной платы жестко держали их в своих руках. Не выполнять план — стать изгоем. И никто не желал быть изгоем.

ГЛАВА 24

В конце следующего месяца Серков получил в конверте тройной оклад. В январе — столько же за прошедшее полугодие. Расписавшись в ведомости, проводив взглядом кассиршу, он сунул конверт с деньгами в карман пиджака. Дверь парткома была заперта. Он открыл ее, вошел, сам не зная зачем. В углу, рядом с сейфом, стояло переходящее знамя. Ему вспомнился день, когда он в кассе МТС получил 1345 рублей. Вспомнил клятву в том, что вернется после службы в МТС, будет работать с утра до ночи... Сам не зная зачем, Серков стал рядом со знаменем, вытянулся. Кто-то постучал в дверь, он вздрогнул, испугался и отскочил.

— А секретарь Лучкин на месте? — спросила чья-то голова, просунувшись в кабинет.

— Его нет. Нету! — крикнул Серков.

— А когда будет?

— Не знаю! — Он вышел из кабинета и вытер пот со лба.

Когда проходил мимо бухгалтерии, увидел главбухшу Лисакову.

— Алексей Иванович, какой номер вашего счета в сберкассе? — спросила она.

Он не понял ее. Сберкнижки у него не было.

— Не помните? Завтра подскажите мне.

На следующий день он отправился в сберкассу, открыл счет и положил первые девять тысяч рублей. И почему-то, а тогда он и сам не знал еще — почему, ничего не сказал жене.

В конце января из главка ему перечислили премию — шесть тысяч рублей; в следующем месяце — столько же из министерства. Он знал, что и другие начальники отделов получили подобные премии. Будто шпион, он прислушивался: что скажут его сослуживцы об этих деньгах. Но не слышал ни словечка, будто они их и не получали.

Чаще всего Серков общался в тресте с главным механиком Кудровым. Познакомился и с его женой, она заведовала детским садиком. Много читала, толковала о литературе. Всякий раз, когда в книжный магазин поступали новые книги, она узнавала об этом. Давала мужу список, какие надо купить. И Серков ходил вместе с ним и покупал такие же книги себе.

— Слушай, Михаил, а какие показатели легли в основу этой последней министерской премии? — спросил Серков, когда они вечером возвращались из книжного магазина.

— А черт его знает! — небрежно ответил Кудров.— Премия по отделу нашего региона... Межрегиональные какие-то соревнования. А как там они химичат, я не знаю...

В конце года Серков прикинул: в среднем у него получилось по пятнадцать с лишним тысяч в месяц. Невольно подумалось, что главный и управляющий получают по двадцать, двадцать пять. А рабочие получают от тысячи до двух...

Подъезд дома, где он жил, заселен был семьями рабочих. Первое время Серков приветливо беседовал с соседями по площадке. Со временем стал избегать этих бесед. При встрече кивал, глядя в землю, ускорял шаг, будто опаздывал по делу.

Он занимался делами общежитий, мужского и женского, работой трестовской жилконторы. За год он изучил финансовую деятельность треста, управлений, что в обязанность его и не входило. Связи и расчеты с субподрядными организациями, с поставщиками стройматериалов. Ложился спать Серков часов в двенадцать ночи, а к восьми уже был на ногах. И к концу второго года работы, когда какого-нибудь начальника отдела не было на месте, с участков звонили ему, просиля совета или помощи. Дошло до того, что, когда между субподрядчиками и главным инженером и даже управляющим возникали конфликты, субподрядчики обращались к Серкову: как бы тайным арбитром приглашали. Уезжал в отпуск Кудров, начальник ПТО Гвоздев, Серков замещал... Но... но уже спустя три, четыре года он жалел, что проникся всеми делами треста!

Домой возвращался часов в девять вечера. Часто не ужинал, ибо перехватывал в столовой, в буфете после совещания. Говорил жене, что работы много, закрывался в своей комнате. Одна стена уже была закрыта полками с книгами. Он брал что-нибудь, листал, читал, ставил на место и брал другую. Зная, что сон сам по себе не придет, доставал из тумбы письменного стола водку, вино и стакан и наливал поочередно, запивая водку вином, чтоб скорей голова отяжелела, захотелось бы спать.

Ежегодно начальник ПТО треста Гвоздев с первых чисел декабря усаживал всех своих сотрудников с утра и до позднего вечера высчитывать по рабочим чертежам количество металлоконструкций, которые нужны будут в будущем году. На помощь призывал инженеров из управлений. Но ведь и половины чертежей для работы в будущем году еще не было! Не бывало такого, чтоб проектировщики загодя прислали чертежи! И что же в конце концов получалось? Месяц корпели люди над расчетами, составлялась огромная сводная простыня — ведомость, а после всего этого Гвоздев брал число тонн металла, полученного на прошедший год, переставлял цифры сводной ведомости и подгонял к прошлогодней потребности. Машинистки снова перепечатывали простынь-ведомость, расчеты. И вот эту липу перед Новым годом Гвоздев вез в главк, а затем в министерство... Серков ездил с ним. Неделю жили в гостинице, ежедневно бывая в министерстве. Никто там их расчеты и не проверял. И даже не просматривал. Да кто же будет пересчитывать без чертежей? Наконец посидели в ресторане с каким-то Василием Васильевичем, на другой день получили бумагу, что заявка принята, и уехали...

План выработки каждый год увеличивался. На бумагах этот план подтверждается и увеличением поставок стройматериалов. Но на деле существует некая возможность поставщиков, которую даже трудно угадать. И все зависит от ловкости и связей главного снабженца треста Брунштейна. И то, что получает трест, распределяется с криками и руганью на планерках. Серков просчитал, что третья часть всех рабочих ежедневно простаивает. И все простои покрываются приписками мастера, прорабы со второй половины каждого месяца уже идут с липовыми процентовками на приступ заказчика, плановики управлений подают сведения Берукину, тот подбивает результат. Едет в главк, требует срезать план. Из главка звонят и едут в министерство. Круг замыкается, план в конце концов выполняется. И в следующем месяце начинается то же самое! Идет какая-то страшная круговерть, бессмысленная и страшная. «Да, да: когда же провалимся в тартарары?» — думал Серков, вспоминая слова Хабарова. К водке и вину он стал добавлять пиво. И, выпив бутылку водки, бутылку портвейна и буквально высосав бутылку пива, он засыпал в своем кабинете. Утром общая суета захватывала его, день пролетал незаметно.

ГЛАВА 25

В конце своих записок Серков отмечал, что у него стала слабеть память. Многое из недавнего прошлого не мог вспомнить. Но помнил самый конец пятидесятых годов, когда в газетах особенно остро заговорили о хозяйственной реформе в стране. В тресте ходили по рукам газеты со статьями, где злобно толковали о приписках. Тогда же в один из дней управляющий Прокопов вызвал к себе в кабинет начальников отделов. Сообщил, что наконец-то в главке подписали приказ об его увольнении — в связи с уходом на пенсию. Уже назначен даже новый управляющий, прибудет он на днях. В тот же вечер устроили маленький банкет. На другой день управляющего проводили на поезд, а новенькую «Волгу» старика угнал в Москву шофер Коля.

После проводов управляющего явился домой Серков в двенадцатом часу ночи. Обе маленькие дочки спали. Жена Катя возилась на кухне и ждала его. Екатерина Николаевна давно уж не обращалась к мужу на «вы» и по отчеству. Она пополнела и поздоровела. Не желая сидеть дома, а желая быть современной женщиной, закончила курсы кройки и шитья при Доме культуры. Месяца три поработала швеей в новом горпромкомбинате, а к этому времени уже заведовала цехом пошива женской одежды и собиралась принять под свою руку всю мастерскую, которая расширялась.

На ужин она подала мужу вино, куриные котлеты. А свежие болгарские яблоки у них постоянно стояли на столе в большой хрустальной вазе.

— Проводили своего шефа? — небрежно спросила Екатерина Николаевна, когда Серков выпил вина и закусывал.

— Да. Уехал старик. Вместо него какой-то Фудков или Федяков должен приехать. В главке, говорят, бились, бились за своего, но Москва одолела.

— Укатил Прокоп,— говорила жена, как бы рассуждая сама с собой.— Прокопиха его на той неделе прямо на складе торга скупила лучшее из поступившего золотья. Мы уж поняли, что они вот-вот укатят.

— Ты видела, как она покупала? — с раздражением спросил Серков. Он уже слышал от жены, что жены Прокопова, Берукина и других начальников скупают драгоценности.

— Не видела! — с вызовом ответила Екатерина Николаевна.— Но другие видели: сестра Комышевой — Надька, которая галантерейным заведует, на складе в торге работает. А они вместе на Ивановской живут и, скажу тебе, тоже уже квартиру получают в девятом доме. И не где-нибудь, а на будущей городской площади, возле ДК. И только сестра Галька приняла по описи золотье из железного ящика, тут же Прокопиха твоя явилась уже с кассиршей из галантерейного. Выбрала две штучки, уплатила семнадцать тысяч шестьсот рублей. Была она не одна, а с сыночком, который из Москвы приезжал погостить. И ждал ее во дворе торга. Так-то... Все знают, ты один, Леша, ничего не знаешь. И Берукин твой, едет когда куда в командировку, то и жену свою с собой берет, и она покупает. И приятель твой Кудров ездил в командировку в Архангельск, Жанна его, Жанна Матвеевна, взяла три дня за свой счет и с ним съездила и привезла браслет. А ты, Леша, ездить стал тоже, а...

— Хватит тебе ворчать.— Он тогда поднялся и ушел в свою комнату. Он уже знал, что не переговорит ее, что жена распалится, начнет толковать, мол, с утра до ночи она его не видит, ее и детей он не любит. И в конце концов потребует, чтоб он взял ее с собой в очередную командировку, а на время их отсутствия привезет из деревни мать или сестру...

Помнил Серков год, когда заменили деньги — один к десяти, тогда разом буханка хлеба стала дешевле пучка редиски, зеленого лука, укропа. Зелень появилась на базаре; продавали ее у магазинов, возле столовой. В самом Новогорске, вокруг него выросли сарайчики с разной живностью, а при них огороды. И он, Серков, просидев тогда всю ночь за столом в своем домашнем кабинете, написал статью, которую намеревался послать в «Правду». В статье он утверждал, что сейчас самый-самый удачный момент, когда можно и нужно повысить цену только на печеный хлеб в два или даже три раза, и никто не возмутится. Статья получилась большая, с расчетами и доказательством. Машинки тогда еще у него не было, днем он перепечатал статью, запершись в трестовском кабинете. И даже запечатал в конверт и адрес надписал, а затем чего-то испугался: кто он такой? Кого учить, поучать собрался?.. Дня четыре носил конверт в кармане, а затем порвал его. Клочья выбросил в туалет и смыл водой... И вскоре порадовался, что не послал статью: вдруг запретили держать в городах и пригородных зонах скотину. В Новогорске и вокруг него снесли все сараи и сарайчики. Третья часть деревни Ивановской, где Серков когда-то председательствовал, попала в зону застройки. Там даже с помощью милиции изводили скотину. И через год во всей деревне хозяйственная жизнь пресеклась; рынок в Новогорске опустел; цены выросли. Даже за молоком в магазинах стали выстраиваться очереди. Но как раз тогда же, и Серков это отлично помнил, промелькнул светлый и короткий отрезок его жизни.

Трест сдавал последний цех комбината. Управления постепенно перебазировались в Межецк, где нужно было строить завод по переработке древесины на целлюлозу. Главный инженер построенного комбината Шелгуненко, под присмотром которого велось строительство основных цехов, молодой (ему было лет 35) и умница, как считали даже строители, уехал в Москву. Там он вскоре защитил докторскую диссертацию, принял под свою руку научно-исследовательский институт. Место его занял полуармянин Балдаян, присланный из столицы.

Руководил перебазировкой управления в Межецк новый управляющий Федуков. Серков не принимал участия в этом деле, ибо комбинат пригласил работать заместителем директора по кадрам и быту. Серков с радостью дал согласие. Между трестом и комбинатом разгорелась из-за него ссора. Серков обратился за помощью к первому секретарю Пермякову, но того уже переводили руководить областью где-то в Сибири.

— Да что ты, Алексей Иванович! — весело ответил Пермяков, выслушав Серкова.— Мне бы твои заботы! Я сам на край света еду, а ты засиделся в Новогорске, что ли? Рано засиживаться!

У Серкова чуть не вырвался вопрос, который торчал у него в побочных мыслях многие годы: зачем вы меня втянули в компанию начальников? Для чего это было вам нужно? Работал бы я сейчас каким-нибудь старшим механиком и горя бы не знал! Не знал бы всей этой подноготной строителей, знал бы свои обязанности, и только!

Но Серков проглотил вопрос. Колганову он нашел в ее квартире. Там была суматоха — упаковывали вещи. На полу стоял огромный ящик, Колганова закутывала в мягкое одеяло из верблюжьей шерсти большую хрустальную люстру.

— Помоги, Алексей Иваныч! Вот хорошо, что заглянул ко мне, вспомнил! Вон ту вазу китайскую заверни. Только осторожней. Ватой и газетой сначала обложи. Только осторожней, осторожней: лет через пять ей цены не будет!.. И помочь некому! Ох, народ пошел! Совсем недавно — слово скажи, тут же прибегут, а теперь всем некогда! Хоть бы ты прислал пару человек, Алексей Иванович!

— Хорошо, сейчас...— Он позвонил в СУ-2. Вскоре оттуда пришли два пожилых плотника.

До вечера Серков помогал Колгановой упаковывать вещи, а о просьбе своей так и не заикнулся.

Комбинат «провел вопрос о Серкове» через свое министерство, и в столице вопрос был решен в его пользу. Но покуда не пришел приказ, Серков чувствовал себя как бы между двумя креслами; в тресте почти не бывал, помогал новому управляющему Федукову тем, что на станции руководил погрузкой в вагоны, платформы имущества и техники управлений. Тогда же он по вечерам, прихватывая и часть ночи, не вливая в себя ни капли спиртного, писал... Что? Нечто похожее на докладную министру строительства или самому правительству! Во вступлении своей докладной он, извиняясь перед потенциальными читателями, сообщал, что последние годы на совещаниях, особенно когда собираются начальники отделов и представители главка, он, Серков, чувствует себя вором среди воров. Толкуют все о плане, выработке, о перерасходе фонда заработной платы. Но никогда не обсуждают то, что само собой должно сорваться с языка: и год, и пять лет назад производительность труда была крайне низка; сегодня и завтра она будет такая же; никто не знает, кто и когда устанавливал нормы выработки; заданный план никогда реальными поставками стройматериалов не обеспечивается. И в конце концов выходит, что управление треста и главк по сути своей — нечто вроде пересыльных пунктов, через которые приходят договора, проектная документация. Но стоит какому-нибудь управлению допустить несколько раз перерасход заработной платы, руководители его всячески третируются, а потом изгоняются, хотя бы они были и отличными руководителями. И потому всюду приписки и приписки. И тогда в тресте получают премии. И даже от субподрядчиков получают премии. И далее, приведя расчеты, Серков, извиняясь перед потенциальным читателем, высказывал мысль: тресты и главки вовсе не нужны; заказчик должен вступать в прямые договоры со строительным управлением; договоры должны подписывать и старшие прорабы, представители поставщиков. Он приводил схемы какого-то нового устройства строительного дела. Он видел это новое устройство!

Машинка у него уже имелась, вышло около двухсот страниц — вместе со схемами и расчетами. Когда сложил рукопись в папку, громко рассмеялся от удовольствия, быстро заходил по комнате. Заглянула в комнату жена и спросила:

— Леша, что с тобой?

Он смутился.

— Ничего, ничего... Сейчас я к тебе приду. Иди...

Но уже утром какой-то страх и сомнение закопошились в нем. Куда он пошлет свою рукопись? Да ведь его могут принять за доносчика! За клеветника!

Весь день он провел в суматохе на станции, где грузили на платформы технику дорожников. Приезжал новый управляющий Федуков, и Серков вспомнил, что он в рукописи упомяяул, как новый управляющий реализовал еще одну затею: создал внутритрестовский план, который будет способствовать поднятию дисциплины и выполнению госплана. И определены и уже утверждены в главке ежемесячные премии за выполнение этого собственного плана.

Управляющий торопил рабочих, ругался с диспетчером грузовой станции, а Серкову

неловко было смотреть в его глаза. Сославшись на головную боль, он ушел домой. Достал папку с рукописью — это же могут принять за донос! Да и что он, Серков, затеял? В стране столько научных институтов, академий, трестов, главков! И он, боясь, что завтра, через неделю или через месяц в каком-то порыве все же пошлет рукопись, а потом спохватится, торопливо развязал тесемки папки, стал рвать листы. И порвав, сунув рванье в стол, почувствовал облегчение, рассмеялся. Достал из бара заграничного гарнитура (жена его уже дважды меняла мебель. Он спрашивал: «Зачем?» Она отвечала: «Ты, Леша, ничего не понимаешь!») бутылку коньяка и сел обедать.

ГЛАВА 26

Прежде я часто бывал в Новогорске по заданию редакции, и когда строился комбинат, и после сдачи его в эксплуатацию. Семью Серковых знал довольно близко. Во всяком случае, когда дочки Серкова, закончив институт, стали работать на комбинате и выходили замуж, меня телеграммой приглашали на свадьбу. И сами дочки, и их родители. Думается теперь, начало таких отношений положил сам Серков: он с почтением относился к моим писаниям, расспрашивал о жизни журналистов. Но о том, что он сам пишет нечто, я от него не слышал ни разу.

Бывая в Москве, Серковы, особенно дочки со своими мужьями, часто останавливались у меня. Телеграмма о его смерти, дне похорон поразила меня. За гробом Серкова шла огромная толпа людей — почти весь город. Все знали его, уважали. Но знакомый врач поведал мне то, чего не сообщали его родным. Умер Серков в Москве, куда приехал по делам. Пришел в министерство утром, поднялся на лифте на четвертый этаж. И вот там вдруг с криком побежал, отбросил портфель. Уже в вестибюле упал, продолжая кричать, и потерял сознание. Трое суток он не открывал глаз, затем открыл часа на два и закрыл навсегда. Но врачи, крупные врачи, успели обнаружить, что не только кровь его, но и все тело перенасыщены алкоголем, а мозг, исключая небольшие участки и мозжечок, представлял из себя сморщенные маленькие комочки. Московские медики дважды запрашивали данные о Серкове: не могли понять, как это человек, съеденный алкоголем, мог занимать такую должность и пользоваться всеобщим уважением.

Прожил у Серковых я несколько дней. Спал на диване в его домашнем кабинете. Записки обнаружил на подоконнике под стопкой газет, которые машинально перебирал. Заключительная часть записок потрясла меня. Первые год-два работы на комбинате он относил к светлой полосе своей жизни. Ибо тогда он в основном занимался кадрами. Многие строители стали работать на комбинате. Серков организовывал курсы по переквалификации. Возил рабочих на другие заводы для стажировки, устраивал их там. Ездил в училища, отбирал там молодых, привозил их в Новогорск. Устраивал их быт. «Но потом,— писал он,— проклятое любопытство опять сгубило меня! Ах, боже мой! Сколько раз я твердил самому себе: надо знать свои обязанности!! Исполнять их, а в чужие дела не лезть! Но проклятые мысли постоянно одолевали меня! Загонял я их в угол к побочным, я старался молчать и молчать; я делался нелюдимым, но самому куда деться от этих мыслей, если они и побочные?! Прежде всего меня поразило: на комбинате часто случаются мелкие и крупные аварии. Основной цех спекания, где готовится клинкер, может неделю, две оказаться на ремонте. Одна или две наши вращающиеся печи не работают, но план комбинат выполняет. Все управление комбината и начальники цехов получают большие премии. Как заведующий кадрами я знаю, что у нас четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рабочих, которые числятся в основном контингенте, от которого зависит выработка. Еще семьсот сорок два рабочих числятся за подсобными хозяйствами, заработок их зависит уже от выработки основных, т. е. они состоят уже на нашем бюджете. Но по документам, которые и я должен подписывать после директора и главного инженера, пятьсот сорок человек этих же рабочих работают в основном производстве: в цехе спекания, в цехе соды и поташа. А когда пустили новый цементный цех на основе шлама, там оказалось еще сто девяносто пять рабочих, которые заработок получают по ведомостям бюджетных наших подсобных хозяйств. Итого: в натуре почти тысяча рабочих работают на основные показатели, но числятся в подсобниках! Отсюда и великолепные показатели выработки, производительности! И все так сделано, что никакая неожиданная ревизия этого не выявит. Все электрофильтры не работают. Считается, что они работают, но где-то что-то сделано так, что вся масса этих желто-коричневых отходов уносится в трубы. Как только узнают, что приезжает инспекция, электрофильтры начинают работать, затем неделю их прочищают, и они отдыхают до следующей проверки. В радиусе километров двадцать-тридцать от комбината все живое гибнет...

...И зачем я дочерей своих настроил, чтоб они после экономического института приехали сюда?! Пусть бы ехали работать куда подальше, а Зину оставляли даже в Ленинграде, пусть там бы и работала. Виновата жена. Но я ее не виню. Виноват я: я не предвидел того, что творится на комбинате! Зиночка работает в отделе по производству цемента, а муж ее — главный технолог цементного цеха, который можно считать обыкновенным заводом. Олин муж уже стал заместителем начальника основного цеха, где выдают эту самую конечную продукцию — окись алюминия, белый порошок, первооснову получения алюминия. Я все силы свои прикладываю, чтоб не прислушиваться к разговорам своих дочерей и зятьев, когда они толкуют о работе. Я ухожу из-за стола, я перебиваю глупостями их рассказы, я не хочу, не желаю слушать! Я убегаю на воздух, запираюсь в своем домашнем кабинете, выпиваю стакан, два, три, чтоб уснуть и забыться, но от мыслей никуда не уйти! Цемент марки 300 отпускается как марка 400 или 500, марка 100 уходит в совхозы, колхозы по марке 200 и 300. Это же колоссальные деньги идут на прибыль! Пустили шиферный цех, много брака, некондиции, но, как и за цементом, за шифером колоссальная очередь. С восьмьюдесятью процентами брака с радостью увозят кондиционным товаром. Господи! Настоящая основная продукция первого сорта «А» идет только на заводы, которые работают на «почтовые ящики». С поставками другим заказчикам — пересортица ужаснейшая! В газетах стали писать о какой-то мафии, где орудуют спекулянты. Но вот что случилось полтора года назад. Директор наш Балдоян и главный Пискунов уехали в Москву. Я сидел в кабинете Балдояна, замещая его. Секретарша принесла телеграмму из рудничного управления с Кольского полуострова: «Срочно подтвердите телеграфом получение 20.6.86 года сорок вагонов нефелина». Я проверил: ничего мы не получали 20.6.86 года. Я позвонил Балдояну в Москву. Он приказал мне отдать телеграмму старшему экспедитору Кибиткову. Я вызвал Кибиткова, им оказался тот самый мой односельчанин Петька Кибитков, правда, очень исхудавший, изменившийся внешне так, что я не узнал бы его на улице. От жены я знал, что он заведовал в Новогорске заготовительной конторой, потом отсидел года два за какие-то махинации. С таким видом, будто он и не знал меня, Петр Кибитков взял телеграмму и сразу удалился. Я вызвал свою кадровичку Пахомову, которая сидит на карточках личного состава управления. Она сказала: да, Петр Иванович Кибитков, уроженец деревни Замошье, полтора месяца назад переведен из охраны в отдел снабжения на должность старшего экспедитора. И уже на следующий день через отдел снабжения прошли все документы, помеченные задним числом: товарные накладные, ведомости по разгрузке сорока вагонов и прочие... По документам мы иногда получаем то, что никогда не получали в натуре, отправляем, в свою очередь, то, что никогда не отправляли, и получаем подтверждение о получении того, что не отправляли. Я пытался из своего проклятого любопытства выяснить для самого себя: кто все это затеял, устроил, кто верховодит всей этой тайной деятельностью. И я не узнал. Или все, или никто. Балдоян давно уже стал директором. Он поразительный человек: очень подвижный, энергичный, голос у него басистый и очень громкий, по каждому пустяку он таращит глаза, жестикулирует, орет. Кажется, ни в чем он сомнений не знает, он все знает. У него несколько орденов. И единственный недостаток, который он не может скрыть,— он любит лесть. Но не грубую лесть, когда в лицо тебе говорят, какой ты хороший. Надо тонко похвалить порядки на комбинате, и Балдоян тебя запомнит, отметит. Московского корреспондента Б. он давно велел оформить на временную работу художником-оформителем. Б. получает зарплату и даже премии, которые перечисляют ему на московский адрес. Нередко Б. публикует статьи о комбинате в нашей газетке, в областной. Упоминает о комбинате в центральной прессе и часто о нас пишет в нашей отраслевой газете. Парень он приветливый и толковый; своей откровенностью в рассказах о себе, о своих собратьях по перу он пришелся мне по душе. Иногда он ночует у меня; знает массу анекдотов, весело болтает; жена, дочки и зятья, бывая в Москве, ночуют у него. Понятно, подноготной деятельности комбината Б. совершенно не знает, а я о ней и не намекаю ему. Он молод, у него хорошая жена и ребенок. Если я поведаю ему хоть двадцатую долю теневой деятельности комбината, Б. непременно начнет копать глубже, начнет задавать мне вопросики с тайной мыслью — что-то выведать. Я это сразу уловлю, настроение мое испортится, начну глотать стаканами и завалюсь спать, извинившись, что устал, болит голова. Ведь он ничего не изменит своей статейкой, а только испортит жизнь себе и своей семье. Едва-едва он начнет копать, его тут же уберут отсюда. И еще обольют грязью. Все мы грешны в чем-то, а Б. встречается иногда здесь с двумя молодыми дамочками. Одна из них, ясное дело, замужняя, лет до пятидесяти, возможно, будет выглядеть тридцатилетней, а иногда и моложе. Я не знаю в Новогорске более или менее приличного мужика, который бы хоть раз не побыл с ней в укромном месте. Даже я на пороге своего пятидесятилетия, совершенно случайно для себя, побывал с ней в одном из кабинетов ДК, где встречали Новый год. Конечно, Б. не говорит мне о своей связи с ней. Высказывается о ней как об общей знакомой: как умна она, и хороша, и начитана. Как она судит о литературе и даже о политике! И в Москве редко встретишь такую женщину! Наивный по незнанию человек! Как он нравится мне в это время! Мне стыдно признаться, но в эти минуты мне хочется обнять его, расцеловать и пустить какие-то радостные слезы. Кроме детективов, которые эта хорошенькая дьяволица глотает в рабочее время за своим столиком в отделе главного технолога, она ничего больше не читает. Но все, о чем толкуют в беседах, по телевизору, она впитывает в себя моментально, а после во время какой-то беседы моэг ее с быстротой компьютера выбрасывает к моменту нужное. А через минуту она уже не помнит, о чем она только что толковала, ибо основные ее мысли, подвергнутые чувствам,

были заняты совсем другими вопросами и желаниями. И пусть он останется в неведении, а то полетит отсюда вверх тормашками, а то и будет, как некоторые собратья по перу, судя по его рассказам, месяцами сидеть без зарплаты... Но что мне делать с... Не могу больше писать, рассуждать... Я раздет, это перестройка меня раздела: я крепился считать себя гражданином... меня раздели... раздет... страшно...»

И дальше в рукописи начинались каракули и волнистые черточки. Возможно, к этому моменту хмель одолевал его, и Серков только мысленно писал, а рука рисовала каракули и выводила такие линии. Возможно, что он и не пил в этот вечер, но мозг уже не владел рукой, а он даже и не осознавал этого! Последние записи, высказывания родных говорят, что он в быту и на работе стал забывчив. Забывал, что происходило вчера, позавчера, несколько часов назад. И, как животное, он совершал поступки благодаря инстинкту, который мы называем привычкой.

Иногда сотрудников он приводил в недоумение. Секретарша сообщала ему, что его зовет к себе директор, Серков вскакивал, ударял кулаком по столу:

— Меня нет дома! Я же говорил вам: я занят, занят, занят! К черту все!

Когда вечером в квартире звонил телефон, а Серков сидел у себя в комнате, он вдруг выбегал и кричал:

— Меня нет дома! Я занят!

— Это Оленька звонит,— поясняла жена.

Он растерянно смотрел на нее некоторое время и исчезал в комнате.

Екатерина Николаевна говорила мне, что у них в квартире в последнее время часто стали выходить из строя краны на кухне, в ванной. Два раза квартиру заливало. И Серков приглашал слесаря-сантехника. Угощал его, подолгу беседовал с ним, расспрашивая о крысах, которые якобы развелись в совхозе «Светоч».

— Знаете, Борис Владимирович, уж я с работы приду, а они сидят на кухне и талдычат, и талдычат про этих крыс. Сантехник уж языком еле ворочает, а все бубнят. Я уж стала его выпроваживать вон. Дак Алексей Иванович оденется и провожает его. Выйду я следом, а они прохаживаются и все о том же!

Ночью после поминок Екатерина Николаевна не могла уснуть. Я позвонил Оле, и она увела мать к себе. Я тоже не мог уснуть. Господи, как же он жил и работал, этот человек?! А что же мне теперь делать, думал я, о чем мне писать и как жить?! Этот гостеприимный, приветливый человек, всегда с удовольствием слушавший мои рассказы, жалел и берег меня! Что мне теперь делать?! Я метался по квартире. Желая найти еще какие-нибудь его записи, я стал шарить в ящиках стола. Но все они были набиты газетами, папками с вырезками из газет, журналов, какими-то старыми служебными бумагами. А средний ящик правой тумбы я не мог выдвинуть. Он был заперт. Думая, что там еще есть записки, я стал искать ключ в среднем ящике. И нашел два: большой и поменьше. В среднем ящике оказался еще один, металлический, закрепленный шурупами. Маленьким ключиком я открыл его. Я сразу же увидел толстую тетрадь в темном переплете, такую же, в какой он вел записи. Под тетрадкой лежало нечто, аккуратно прикрытое ватманской чертежной бумагой. В тетрадке я сразу увидел записку: «Катя, все здесь ваше. Я не говорил об этом, потому что боюсь за дочерей. У них все есть. Я сам купил машины, когда надо будет, я заменю на новые. И внуки, покуда ты будешь жива, пусть ничего не знают, покуда не станут твердо на ноги. Те сорок тысяч, которые на книжке, пусть лежат. Зиночке и Оле об этом пока ничего не говори, скажешь перед тем концом дней. Извини меня, но я боюсь за детей и внуков. При нужде выдавай по штучке-две. Это я написал, если уйду туда раньше тебя».

И дата: 25.4.85 года.

В тетрадке был список всех драгоценностей, купленных в Новогорске, в Ленинграде, в Москве и других городах, куда ездил Серков по служебным делам.

Первым в списке было ожерелье из русского белого жемчуга с золотым кулоном, купленное в январе 59 года. Последнюю вещицу Серков купил в Караганде, куда ездил с делегацией «по обмену опытом» в феврале 1985 года. Это был браслет с круглым зеленым камнем стоимостью в 746 рублей. И итог был подбит: около 400 тысяч рублей. И тогда я понял, почему эта цифра часто встречалась мне на полях и между строчек последних страничек его записок. Я не выдержал и заглянул в железный ящик, отвернув плотную бумагу. Все драгоценности были с бирками.

Вначале я хотел, дождавшись хозяйки, показать ей, указать, что у нее имеется. Но ведь сам Серков не доверял ей! Это была его страшная тайна, которую он доверял ей только после своей смерти. Он, муж, не доверял ей! Какова же она? Что она будет думать обо мне, о третьем лишнем, узнавшем эту тайну? Судя по газетам, цена на драгоценности подскочила в несколько раз, выходит, в этом ящике лежит что-то около двух миллионов! Нет, таким свидетелем я не желаю быть. Я положил на место темную тетрадь, запер оба ящика. Закрыл дверцу тумбы стола и днем, отметив командировку, уехал в Москву.

Владимир Шалыт

Не может получиться настоящего поэта из стихотворца, который думает: мои стихи не хуже, чем многие их тех, что напечатаны в журналах,— и я так умею, и я так могу.

Поэт — успешно или безуспешно — борется за новое зрение в содержании, в раскопке словесных груд, а пересоздании стиховых форм.

Владимир Шалыт — один из тех поэтов, что сознательно ставят перед собой эту задачу. Он утверждает «свободу зренья». Гибкость и прозрачность поэтической формы, способной вместить всю сложность и бесконечность жизни в ее непрерывном круговращении.

Он не новатор экстравагантного пошиба, того, что принято называть авангардом. Отчасти он стилизует формы восточной поэзии, одной из древнейших в мире и наиболее устойчивой по образной системе. Пользуется традиционными размерами русской с отчетливыми рифменными окончаниями. И все же... Вот строфа ва обращения к только что вырытому в песках колодцу:

— Любимый мой, мне хочется так жить,
Я шел к тебе из времени чужого,
Я шел к тебе, чтоб самым первым быть
Над вечностью колодца молодого.

Это его коренное стремление: шагнуть из глубины времен к молодому колодцу, наполненному вечной влагой жизни.

Это не только декларация, умозрительная посылка. Оригинальным образом Шалыт по своему жизнеощущению пересоздал стихотворную форму. Большинство его строф — трехстрочны с рифмующейся опоясывающей первой в третьей строкой в безрифменной второй, средней. Это, по сути, стиховая модель его чувства времени: вечность, закрепленной обручем рифмованных строк, и открытой текучей средней. Она дает полноту жизненного мгновения настоящего. Его незавершенность и продолженность в будущее.

Можно сказать, что Шалыт создал свою строфу. В русской поэзии это сделать непросто. Сочетание этой строфы с четверостишиями и другие вариации делают стих Шалыта гибким и, будем надеяться, жизнеспособным. Это путь к новому зрению. В этой форме можно осуществить интересные замыслы.

Адольф Урбан

1988

МОЛОДОЙ КОЛОДЕЦ

Светла вода в колодце молодом,
Совсем недавно вырытом в пустыне.
Я шел к нему, покинув отчий дом.

Я шел к нему, забыв отца и мать,
Любимых жен оставив в отдаленье,
Я шел к нему, чтоб главное сказать:

— Любимый мой, мне хочется так жить,
Я шел к тебе из времени чужого,
Я шел к тебе, чтоб самым первым быть
Над вечностью колодца молодого.

* * *

Боюсь я дней — их быстрой пустоты,
Жестокой мимолетности мгновенной,
Беспамятства любви и красоты.

Боюсь я дней — их пестрых шумных лиц,
Где нами управляют тень и вспышка,
Где царствуют границы без границ.

Боюсь я дней — в них будущего нет
И прошлого, и крик о настоящем
Услышан будет через много лет.

* * *

Тень всадника заходит в сад,
Оставив прах в песках горящих.
Среди деревьев настоящих
Пусть нет меня, но есть мой взгляд.

Я ничего не нахожу,
Живу вблизи, а вижу дальность,
Я подчиняюсь миражу,
Но тень моя войдет в реальность.

ПОДВОДНАЯ ВЕСНА

Я не знаю ни места, ни времени
Четырех обнаженных сторон.
В пене мрамора белое пение.

Мы застыли, придя из воды,
Потеряли движение волн.
Продолжение моря — сады.

Океан — продолжение сна.
Все мне снится волнение разума,
И подводная манит весна.

И я не был, быть может, тогда,
Когда умер, рождаясь без имени,
Без названья, чтоб быть навсегда.

МОНОЛОГ ИНКВИЗИТОРА

Бог меня встретил на пятой версте,
И он мне сказал: будь смелым
И напиши мне на черном листе
Грешных, а честных — на белом.

Я два листа разноцветные взял,
Вспомнил — а что мне известно?
Белыми буквами грешных вписал,
Черными буквами — честных.

МОНОЛОГ СЕКРЕТАРЯ СУДА

О, господи, зачем ты дал
Душе беспомощное тело?
Монахи в черном, ведьма в белом,
Палач, церковный трибунал.

Я только секретарь суда,
Безмолвный маятник страданья.
Налево — нет, направо — да.
Минуты мертвые признанья.

Настало время черных фраз,
И я ослепну от безумья,
Чтоб видеть в профиль, а не фас:
Крючки, щипцы, ножи и зубья.

Я вижу в профиль, я спасен,
Я отстранен, я не воитель.
Но приговор произнесен.
Эй, помогите!..



ПАМЯТИ АННЕНСКОГО

На фоне изнурительных пейзажей —
Крылатки и неглаженые брюки.
Один стоят, другой на пуф посажен.
Изнеженные, вежливые руки
Лежат на книжках с жирной позолотой.
Жеманятся. Им, видите ли, жутко.
Стихов дрожит туманное болото.
Желчь намекает на болезнь желудка.

Пикник. Валежник. Дурака валяют,
На дуб залезли. Граммофон, монисто...
. . . . умрет в ночлежке где-то.
. . . . расстреляют.

. . . . убьют болезни.
. . . . станет коммунистом.

А вот лицо, сулящее простуду,
На фоне исторического зданья.
Надменность леденящая... Откуда
В нем гибельная ярость состраданья?

Его пеоны в родниковой пене,
Его строка старинной раной ноет...
Он рухнет на вокзальные ступени...
О Боже, что он сделает со мною!

Анатолий Валентинович Цветаев (род. в 1950 г.) — поэт. Публикуется с 1988 года. Стихи печатались в журналах «Нева», «Аврора», «Дружба», «Юность», в альманахах «Поэзия» и «Молодой Ленинград». Готовит первую книгу стихов. Живет в Волхове.

Владимир Насущенко

Два рассказа

БИНОМ НЬЮТОНА

Мария подарила девчатам две пары капроновых чулок. Девчата обрадовались, сели на кровать мерить. Сонька сказала:

— Жених твой на чулочной фабрике работает?

— Нет, я купила, да велики оказались.

Сонька и Лидка подскочили, ходили в одних чулках по чистому полу, заглядывая во все дырки. Нюхали выставленные на полку куски туалетного мыла. Сонька позавидовала:

— «Карменом» моешься?

— Берите, девочки, у меня в запасе коробка...

— Ой, спасибочки!

Лидка и Сонька стали делить мыло:

— Это тебе, это мне, а это Люське малышей купать.

— Она замуж вышла?

— Какой там замуж,— сказала Сонька.— Помнишь тракториста Алексу?

— Ну.

— Вот и ну... Он Люську бросил, в Махачкалу уехал. Она уже беременной была, еле ноги таскала. Двойню родила. Теперь ее мальцы подросли, хорошенькие такие, на цыганят похожи, носы у них не нашенские — во! — Сонька показала, какие у Люськиных двойнят носы, и ввернула присказку: — Бог делил носы. Русские Иваны больно ленивые, прибежали к шапошному разбору. Бог вывалил и корзину остатки, говорит: «Не обессудьте, робяты, тут до вашего прихода французы похватали лучшие, вам пипочки остались...» — Сонька засмеялась.

Лидка, та похозяйственнее, языком зря не молола, подобрала с пола бумажки, веревочки и отнесла на кухню в мусорное ведерко. Сонька плюхнулась крепким задком на кровать с панцирной сеткой, покачалась.

— Узка койка-то! Хахаля некуда класть.

— Ой, бессовестная, что городишь? Нет у меня никого.

— Ты же писала, что парень у тебя?

— Мало ли что писала... Мы с ним разошлись, как в море корабли...

— А чего?

— Так... Человек он тяжелый,— вздохнула Мария.— Бывало, придет и сидит молчком. Давит чем-то, воздуха не хватает. Будто в комнату вворотили большущий камень-одинец, а я хожу вокруг, не знаю, что с ним и делать...

Мария махнула рукой и отвернулась к окошку.

Лидка внесла кипящий чайник.

— Заварка где?

Владимир Егорович Насущенко (род. в 1930 г.) — прозаик, автор книг «Мартовский лед», «С утра до вечера», «Белый свет», «Дом на канале». Живет в Санкт-Петербурге.

Мария выставила на стол из буфета фаянсовый чайник, расписные блюдца и чашки, чай в красивой обертке, хлебницу с булкой. Лидка достала из дорожной сумки сало, завернутое в марлю, и кулек конфет «Раковые шейки».

Девчата сели за стол. Они приехали прямо с вокзала: у них была пересадка. Обрадовались, что видят подругу, затормошили:

— Мы в дом отдыха ездили. Я на два кило поправилась, пояс пришлось наставлять,— похвасталась Сонька и стала рассказывать, как отдыхали: — Танцы, кино... Как на грех, траур объявили, запретили все мероприятия. Отдыхающие по комнатам сидели, как суслики, боялись нос высунуть. Настроение испортилось. У мужиков рожи кривые от водки: поминали... Через неделю пошло по-старому... Лидка — тихоня-тихоней, а бухгалтера из рыбколхоза захороводила. Яном Казимировичем звать. Дядька солидный, важный... Лид, расскажи, как он тебя в ресторан водил.

Лидка покраснела:

— Отстань, чего привязалась!

Сонька не унималась:

— Скрытная, подруг стесняется.

Лидка еще пуще покраснела:

— За язык тебя тянут?

— А что тут особенного? Подумаешь... Я и сама расскажу... Привел он ее с ресторана в свою комнату, товарища выпроводил. Хотел дверь замкнуть. А Лидка больно привередливая: не понравился он ей, дескать, ручки у него маленькие, то, се... Дверь дернула, вместе с замком выдрала и убежала. Бедный Ян Казимирович по всем этажам ее, дуру, искал. На другой день столяр новый замок вставлял и удивлялся: кто такую надежную дверь расщепил... Ха-ха-ха...— залилась Сонька.

Лидка рассердилась:

— Вот ботало! Она и в поселке кадилу раздует!

— Это когда я кадилу раздувала? — взвилась Сонька.

Мария вмешалась:

— Хватит! Расшумелись, как галки! Лучше расскажите, что в леспромхозе новенького.

— Все по-старому. Узкоколейка на восемнадцать километров в глубь тайги ушла... Бригадиру Панкратову за наши слезы ногу бревном искалечило... Теперь он на приемке вагонов. Морду наел — на мотоцикле за день не объедешь. Из Донбасса вербованные понаехали...

Мария пригорюнилась, вспоминая родные места: мать там похоронена. На ее могилке четыре года не была...

В комнате теплынь. Девчата разомлели, руки мозолистые прятали под стол.

— Хозяйка твоя где? — поинтересовалась Лидка, оглядывая комнату, перегороженную шкафом.

— В отпуске она. Без нее отдохну хоть... Неряха, палец о палец не ударит, все я должна делать. Она меня и пустила с тем условием, что буду квартиру ее убирать... Муж в Германии служил. Трофейного барахла пять чемоданов привез. Тряпок в шкафу — моль не пролетит... Муж ушел от нее, что-то у них не заладилось. Она парикмахершей устроилась, клиентки на дом ходят. Всю квартиру провоняла одеколоном... Любит веселые компании. Иной раз из вечерней школы приду, а у нее гости, дым коромыслом. До трех ночи орут, радиолу крутят...— Мария брезгливо покривила губы.— Бог с ней. Уйду от нее, общежитие обещали дать.

— А ты где работаешь? — спросила Сонька.

Мария не хотела распространяться на эту тему, уклончиво ответила:

— Да так... На складе...— Глянула на часы, подхватилась: — Девчата, девчата, пора двигать: мне на работу.

Лидка и Сонька дружно встали, повязались пуховыми платками, надели плюшевые жакетки.

— Что ж, погостили и хватит...

Мария пошла провожать. До вокзала недалеко. Состав был подан, но проводницы не пускали. Народишко ежился на пронизывающем мартовском ветру. У тамбура стояла старуха, подпертая клюкой. Две ремесленницы-толстухи с медными буквами РУ на петлицах шинелей колотили в дверь:

— Тетка, отворяй!

Военный старшина с фибровым чемоданом оттолкнул ремесленниц, открыл трехгранником тамбур и нахально попер в вагон. Сонька — за ним. Выскочила проводница, что-то дожевывая на ходу, закричала, да поздно, стала отбирать билеты и засовывать их в пронумерованные клапана мешочка.

Мария с Лидкой вошли последними. Вагон был новый, цельнометаллический: винты хромированные, полки дерматином обиты, на окнах маркизетовые занавески. Девчата убрали сумки и сели к окну. Мария распрощалась с ними, пообещав летом приехать, и выскочила на холодный перрон. В депо вот-вот гудок просвистит. Марии надо на работу к четырем, а до сортировочной километра полтора бежать. Склад находился в низине. Хозяйство большое: кругом прожекторные вышки, бурты угля.

Перепрыгивая стрелки, рельсы, добежала до вагончика, открыла дверь. В лицо ударило жарким воздухом. Дежурная баба Алена раскочегарила плиту дармовым углем.

— Пульман прибыл с печерским углем. Я люка открыла,— доложила она, поднимаясь с лавки.— Придется вам шлак убирать на смотровой канаве, Лизавета приболела.— Баба Алена вздохнула, повязала по-старушечьи платок, вышла, бормоча, что ей приказано в ночь выходить: людей нет.

Мария разделась, сняв с себя платье, комбинацию, и влезла в пропитанные углем и мазутом ватные брюки, закрутила их на животе медной проволокой: пуговки не держались, работа все в наклон, в наклон.

Через минуту ввалилась напарница Валька Прохорова и шлепнулась на лавку отдышаться.

— Уф, еле добежала до гудка...

— Вечно ты опаздываешь,— упрекнула Мария, беря истрепанные рукавицы и совковую лопату.

— Ничего я не опаздываю, просто задержалась, как начальник говорит.— Она засмеялась, выставив длинные зубы. Под глазом синяк трехдневной свежести — ухажер приревновал. Не унывает, с нее как с гуся вода. Мария не стала ждать, вышла, хлопнув дверью. Крановщик выглянул из будки парового крана.

— Привет, Мария!

— Привет, Вася! Подгоняй к вагону!

Кран заурчал, бросил раскрытый ковш на кучу угля и загреб. Створки сомкнулись, тросы поползли, и ковш взмыл вверх. Кран крутанулся на пятке, как балерина, и высыпал уголь на бурт, подняв облако черной мути. Уголь был сухой, не надо ломиком долбать. Только успевай поворачиваться. Большие куски приходилось отшвыривать руками, чтобы паровозы не задевали за них дышлами,— за габарит спрашивали строго. Валька отгребала с другой стороны. Если бы не кран, за пять часов не управились. А тут, не прошло и часа, люки можно задраивать. Люки тяжелые, окантованы железом, поднимать — пуп надорвешь. Вдвоем уродовались: одна плечом подпирала, другая ломик совала в проушину, чтобы прижать люк к вагону и закрыть на кованые крюки. Средний люк не вставал на место, пришлось подбивать кувалдой. У Марии от кувалды живот заныл. Валька, та поздоровей, отобрала пудовую кувалду, долбанула по люку, аж пульман качнулся. Наконец закрыли. Обошли вагон, выкинули из-под колес мелочь и сели отдохнуть у дежурки. В конторе горел свет, видно, начальник Миронов еще не ушел, отчеты составляет. Валька достала из-за пазухи зеркальце, стала разглядывать синяк под глазом.

— Ни за что стукнул, паразит... Взял моду драться. Вчера заявился вдребадан пьяный мириться. Я его выгнала. На зло ему в клуб на танцы пошла, пусть все видят... Девками полный зал набит, парни у дверей толкутся, обсуждают: эта криволапа, эта с фингалом, про меня, значит... Я им выдала, они и зенки вылупили... Джаз играл. Вдруг — крик, визг, все врассыпную: лепнина с потолка рухнула. Две сикухи с макаронной фабрики растянулись на паркете. «Скорую» побежал кто-то вызывать, а они, бля, подскочили, машут аккордеонисту: «Играй, Федя!» — Валька засмеялась, хлопая рукавицами по своим толстым ляжкам. Мария слушала вполуха, что-то ей было не по себе, все про дом думала, который,

когда мать умерла, продала за бесценок заезжему цыгану. Мать умирала в муках, кричала: «Господи, господи, за что караешь, я ведь всю жизнь работала!» Вспомнила, и слезы выступили на глазах.

Гулко ударила сталь на горке, где маневровый толкал вагоны. Были видны клубы пара, обволакивающие паровоз, ветер сшибал пар в низину. Надо было идти убирать шлак, пока светло. Потянули жребий. Выпало Марии.

Она взяла лопату и побрела к водозаборной колонке. По бокам рельс скопились горы шлака. Кочегары, когда гребут из поддувал золу, стараются зайти с ветра, чтобы пыль не летела в морду. С какой стороны ветер, с той и шлака больше.

Она спустилась по ступеням в канаву и начала выкидывать неостывший шлак. Колючая пыль першила в глотке, вонзалась в легкие, лезла за шиворот, в лифчик. Мария завязала рот тряпкой, это мало помогало: пыль скрипела на зубах, лицо щипало от пота. Закончив кидать, она вылезла из канавы и отдышалась на ветру. И решила помыться в депо. В умывальнике глянула на себя в облупленное зеркало: чушка чушкой... Под слоем красной пыли и лика не видно, кожу саднило. Нашла черный вонючий обмылок и, тщательно вымыв руки, освежила лицо, вытерлась тряпочкой и пошла через цех, где промывались паровозы, перешагивая шланги и разбросанные провода. Голоса промывальщиков звучали глухо. Пол был заляпан толстым слоем мазута. Тут было страшней, чем на воле: там ветер...

Мария вышла из депо, миновав поворотный круг, спустилась к вагончикам. На складе встала под бункер Эмка. Валентина считала ковши угля и, чтобы не передать лишку, оглаживала лопатой каждую банку. Помощник машиниста Цветков наблюдал из окна паровозной будки, покрикивал:

— Девки, совесть поимейте, каждый грамм дорог, а вы ссыпаете!

Валька добавила три лопаты. Цветков принял десять ковшей, спрыгнул на землю, облапил Валентину, стал ее тискать, мять. Та отбивалась.

— Чо грабки-то распустил? Свою заимей! — закричала Валька и так толкнула его, что он упал в уголь и заругался:

— Силы девать некуда? Подумаешь, фифа какая...

— Рожа твоя бессовестная, следующий раз лопатой огрею! — пообещала Валька.

На шум из конторы вышел начальник Миронов, рыкнул:

— Бардак развели, мать вашу растак! Распустились!

— А чо он за груди хватает? — защитилась Валентина.

— Сами хороши! Премии лишу! А ну, марш в тупик габарит делать! — приказал Миронов, застегнул шинель на все пуговицы и удалился. Цветков полез на паровоз сифонить топку. И некому было дать в морду.

Мария постучала лопатой по будке крана:

— Вася, гони на расчистку!

Кран заурчал, поехал в тупик, вихляя стрелой. Девчата стали подчищать путь. Уже смеркалось. На вышках зажглись прожектора. Паровозов не было, можно и передохнуть. Сели у вагончика на шпалу. Валька завелась:

— Уйду к чертям собачьим, не буду здесь работать! Вкалываешь, вкалываешь, а получать нечего: заем высчитают, бездетность, подоходный, да еще и прогрессивки лишат! Все на тебя орут, командуют. Видеть их не могу!

— Кого?

— Да начальство! Погоны понадевали, господа! При бабах матом кроют, сами двух слов связать не могут. Воистину, знатность по подлости считают... Все они одним миром мазаны. У нас в колхозе председатель матушку мою погубил... Она взяла на колхозном току рукавицу овса кисель сварить: мы траву жрали. Он подкараулил. Суд не посмотрел, что двое ребятишек...— Валька махнула рукой.

Мария сочувственно вздыхала:

— А моя на лесосплаве перебегала по бревнышкам, поскользнулась и упала в воду. Бабы вытащили, она вся обледенела, две недели промучилась, померла...

Темнота сгущалась. Девчата сидели, прижавшись плечом к плечу, горевали. Валька стала рассказывать, почему Миронов на нее злится и придирается к каждому пустяку:

— Сталина хоронили, я на траурный митинг сдуру пошла. Заместитель

начальника дороги выступал. Бабы плакали. А мужики, хоть бы кто одним глазом моргнул: стоят, как бараны, головы понурили. На сортировке паровозы загудели: такой приказ был дан. Котырев ударил себя в грудь, зарыдал, будто родного батьку провожал в остатний путь. Ей-богу! Его с трибуны свели под руки. Гудки смолкли. Со мной рядом машинист Пантелюха бубнит: «Бу-бу! Сволочи, пару сколько зря выпустили в атмосферу!» — Повернулся и пошел. В комнате-то такое боязно произнести... Как на грех, дежурная по станции Епифанова рот открыла: «Что он сказал, что он сказал?» Ах, думаю, стерва! Говорю: «Сказал, что с тобой рядом стоять не можно: от тебя треской тухлой несет, панталоны надо чаще стирать!» Она аж позеленела от злости. Через три дня меня в профком вызвали, полтора часа мурыжили. Оказывается, Епифанова на меня рапорт написала. Я еле отбрехалась: ничего не знаю, ничего не видела, не слышала... У нее свидетелей не было. Пантелюху-то я выручила, а мне выговор. Миронову указали на плохую политико-воспитательную работу... Встречу эту выдру, я ей все выскажу! Тьфу, зараза! Начальника станции из-за нее сняли, помнишь?

— Ох, Валька, не связывайся ты с ней! Начальство за таких горой стоит.

— А пошли они все на три буквы! — огрызнулась Валька.— Вставай, вон паровозы идут, сразу два.

Первый паровоз подкатил к крану. На тендере было намалевано знамя с желтыми кистями. Бабанов, механик, известный на дороге ударник-кривоносовец, слез с паровоза и, нагнувшись, взял горсть мелкого антрацита, зачем-то понюхал и отбросил в сторону. Его лицо, исхлестанное ветрами, помрачнело.

— Опять проклятую АРШу даете? — спросил.

— Другого нет,— отрезала Валентина.

— А этот кому? — кивнул Бабанов на сыпучий уголь, выгруженный из пульмана.

— Это НЗ.

— Так.— Бабанов набычил голову, презрительно сплюнул.— Хорошенькое дельце! — повысил он голос.— Меня состав ждет на сто пятьдесят осей, а вы прелый уголь суете! Завтра доложу, что вы сознательно срываете перевозки государственных грузов, снабжая паровозы испорченным углем! — Он поддел носком сапога кусок породы.— Голая земля!

— Приказано давать АРШу,— не сдавалась Валентина.

Бабанов побагровел.

— Я это так не оставлю! — взревел он.— Вы меня узнаете! Где начальник?

— Нет начальника.

— Кто старший?

— Я,— ответила Мария и, чтобы его утихомирить, сказала:

— Ладно, товарищ Бабанов, известно: вам плохой уголь ни к чему, пусть на АРШе другие ездят, у кого смелости не хватает тяжеловесы брать. Так и быть, ПС берите...

— Это другой разговор! — ухмыльнулся Бабанов, не поняв насмешки.

Машинист Силантьев, ожидавший очереди, спокойно выстукивал молоточком ходовые тяги. По справедливости, и ему надо бы отпустить марочного угля, и Мария решилась:

— Всем так всем...

Кран закрутился. Валька считала ковши. Загрузили оба тендера под завязку. Бабановский помощник Митя радостно завопил:

— Хватит, в будку сыпется!

Машинисты пошли отмечать маршрутные листки. Мария записала тонны взятого топлива, и машинисты, потоптавшись, ушли, оставя после себя запах пота и гари. Валька ввалилась с улицы, честя Бабанова:

— Редька с медной горы! Требует коксующегося угля, а то не видит, что склад АРШой забит! Чертов куркуль, орет как ненормальный! Все ему должны, обязаны... Передовик, с начальством под ручку ходит. Завтра Миронов с нас шкуры сдерет, что хороший уголь израсходовали...

— Да успокойся ты. Не сдерет. Побоится идти против Бабанова,— сказала Мария, зябко ежась.— Давай чайку сообразим, пока тихо.

Она подмела пол, заправила плиту дымным углем. Чайник быстро вскипел.

Валька разлила кипяток по жестяным кружкам, кинула туда по щепотке чая и достала домашние пирожки.

— С капустой. Жрать охота, аж в брюхе урчит... Сахар клади, не стесняйся, еще есть...

В дежурке было тепло. Мария расстегнулась, поглядывая на ходики. Время двигалось к ночи. А надо сбегать на смотровую доубирать шлак: паровозы прибудут, бабе Алене не справиться на два фронта.

Валька кусала пирожки белыми крепкими зубами, шумно прихлебывала чай. Синяк под ее глазом, припудренный угольной пылью, был не так заметен. Она отставила кружку, посмотрела в окно и засмеялась:

— Вот змей, а? Сгорбился и воротник поднял, чтобы не узнали...

— Кто?

— Лешка Никандров в резерв к девкам крадется.— Валька постучала пальцем в стекло: — Эй, эй, куда пошел? Глянь, побежал к Таньке.

Мария устало отмахнулась:

— Ну его...

Ей не надо объяснять, кто куда ходит. В кондукторском резерве живут девки-перестарки, у которых ни кола ни двора. Их в войну мобилизовали на транспорт. Коек в общежитии хватает: кондукторши спят в основном на тормозе — зимой в тулупах, летом в брезентовых плащах. Из поездок не вылезают, вечно ходят квелые от недосыпа. А жизнь свое берет: то одна кондукторша забеременеет, то другая... Сами над собой смеются: беспорочное зачатие на тормозных площадках, ветром надувает. Инка Болдырева недавно померла от криминального аборта. Осудить каждый может.

Мария вздохнула, посмотрела на часы — пора на смотровую. Поднялась и побрела на казнь. Валентина пошла качать мазут из подземной емкости в расходный бак.

Небо было темное. Мороз жал, не похоже, что март кончается. На водозаборной колонке тускло светил фонарь. У выходных стрелок стоял паровоз. Вокруг него ходила с дымными факелами, как похоронная процессия, бригада в черных одеждах.

С чистых колосников в поддувало проваливались раскаленные добела угли.

Мария спустилась в канаву. Опять шлаку набралось. Еще горячий, красный внутри. Мария, стараясь не дышать кислым угаром, стала кидать шлак на сторону, голова кружилась. Уже и не помнила, как выбралась из зловеще-черной ямы. Из глаз текли слезы, в груди хрипело. Она протерла шершавое от пыли лицо тряпкой, думая, что человек — животное выносливое, Лизавета тут каждый день вкалывает и не жалуется...

Когда Мария пришла в дежурку, Валька уже умоталась. На лавке сидела баба Алена, привалившись к стенке, и дремала, видать, не отдохнула: внуки не дали, у ней их двое. Дочка у нее непутевая, дети пригулянные. Бабка их ро́стит, считает каждую копейку, лишние дежурства берет...

Мария сказала, какую сделать работу, что под бункеровку ожидаются пять паровозов.

— Среди ночи придут. Окно будет, сбегай на канаву. Большое я убрала.

Баба Алена заторможенно кивнула, мол, понятно, иди с богом.

Мария сбросила пропитанную гарью одежду, повесила в железный шкафчик и, накинув пальтишко, побежала в деповский душ.

В этот полночный час в депо с огромными воротами было тихо. В тупике парила «кукушка». И было слышно, как кочегар гремел лопатой, заправляя остывшую топку углем.

Женского душа в депо не было, все мылись в одном. Мария закрылась на крючок, разделась. Плечи саднили, натертые рабочей одеждой, лифчик пропитался шлачной стеклянной пылью. Надо бы его простирнуть. Захватив мочалку и сбрую, вошла в душ с осклизлыми трапами и пустила воду. Стенки заросли зеленой плесенью, на скамейке лежала мокрая, развалившаяся газета. Уборщица редко моет здесь: в цеху работает, стружку на горбу носит...

Отрегулировав воду, Мария глянула в осколок зеркала, прилепленный на перегородке, сама себя не узнала: веки воспалены, лицо неживое, как каменная маска. Простирнув лифчик, она принялась тереть лицо и шею мочалкой. Под глазами не отмылось. Завтра в школе скажут: накрасилась девка... Она уже пропустила два занятия, математичка говорила, что будет контрольная. Одна надежда: кто-нибудь даст списать...

От горячей воды тело распарилось, живот, бедра мягко блестели, налитые грудки сиротливо торчали в разные стороны. И Мария с грустью подумала, что ей стукнуло двадцать два, а ни семьи, ни детей...

Домой она вернулась далеко за полночь. В комнате стоял тошнотворный запах одеколона, который никогда не выветривался. Она открыла форточку, села ужинать. Соленая колбаса и черствая булка не лезли в горло. Выпив холодного чая, она потушила электричество, разделась и легла в постель. Через приоткрытую форточку доносились гудки, лязг вагонов. Сон не шел. Она зажгла ночник, взяла с тумбочки учебник Киселева, стала читать бином Ньютона, но ничего не понимала. Отбросив книгу, загасив свет, она стала думать о девчатах: Соньке, Лидке, Вальке, кондукторшах — все они неустроены, ничего хорошего им не светит, не живут, а мучаются... В глазах плыл сыпучий уголь, тело болело, поднимался жар, она металась. Потом увидела себя на лугу, кругом цветы: красные, желтые, синие. Она их рвет, держит в кулаке, боясь просыпать, а на краю поля стоит мать в белой одежде, зовет ее и кланяется ей издали.

Мария очнулась. Кто-то барабанил в дверь: «Марья, Марья, открой!»

Она подскочила, накинула халат, ничего не соображая, открыла. На пороге возникло маленькое горбатое существо, закутанное в платок. Мария в страхе отступила.

— Это я — Паня, вызывальщица из депо, аль не узнала? — воскликнула горбунья.— Собирайся!

— Куда? Зачем?

— На работу. Автобусы не ходят, а ты ближе всех живешь,— клацая вставными зубами, пропела Паня, вытирая обезьянье личико ладонью.

— Я больна, у меня жар,— трясясь, сказала Мария.— Никуда я не пойду, только с работы...

— Ох-ох! Алену задавило! — выпалила вызывальщица.

— Как?

— Шлак она убирала на канаве, облокотилась на рельс, видать, уснула, паровоз и наехал. На полуторке ее увезли в больницу, вся кровью изошла... Ты уж иди, больше некому. Я к Миронову побегу, сообщу.— Паня всплеснула руками и выкатилась за дверь.

Часы показывали четверть пятого. Обливаясь холодным потом, Мария стала одеваться, от волнения не попадая руками в рукава пальто.

На улице мело поземку. Под ногами хрустел ледок. Добежав до депо, Мария увидела, как от колонки гуськом шли люди в шинелях с погонами, наверное, приехал начальник депо и его заместитель.

У тамбура вагончика намело снегу. Она взялась за холодную скобу, с трудом открыла дверь. Печь еще топилась.

Мария лихорадочно переоделась, взяла совковую лопату и, выйдя, стала спускаться вниз, где ожидали паровозы. Прожектора беспощадно светили.

ДВЕНАДЦАТЬ ЦЕЗАРЕЙ

Справка:
В Париже семнадцать тысяч ресторанов и кафе.

В квартире жили одни бабы. На кухне была протянута веревка, на ней сохли комбинации, сбруя и панталоны с желтой мотней. Иван Федорович привык ко всему, не обращал внимания. Любка-соседка выскочила из своей комнатухи, повертела растрепанной башкой, сказала:

— Здрасьте!

Иван Федорович кивнул. Любка с грохотом выдернула из-под кухонного столика эмалированный таз и с каким-то остервенением стала сдергивать белье. Неряха: с утра морду насандалит, сиськи кофту рвут, ноги голые. Пахнет от нее потом, женской секрецией — девка здоровая. Любка свою матушку, Анну Иль-

иничну, похороиила, на другой день привела в комнату прапорщика. Женщины стали ее стыдить. Она за словом в карман не полезла: «Старые бетономешалки, отстрелялись, помалкивайте!»

Любка спит и видит себя замужем за военным. Теперь к ней ходит курсант-артиллерист Сережа. По воскресеньям из ее комнаты доносятся шарканье, пыхтенье, скрежет разбитой тахты, боевые вопли, будто там дерутся врукопашную. Бой длится весь день, с короткими перерывами. Вечером Сережа выходит на кухню во френче, галифе, длинных сапогах, запирается в ванную, моет притупленный штык, потом задирает ногу на ванну, чистит сапоги. Гуталин у него едкий: куплен у цыган. Состав гуталина: скипидар, воск, сажа.

Сережа носит в кармане бархотку, которой и наводит на яловые сапоги последний блеск.

Любка ушла к себе и скоро убежала на работу в универмаг. Зловредная бабка Мелентьевна, похожая на мартышку в юбке, еще в полшестого утра умотала в Никольскую церковь. В квартире тихо. Торопиться некуда. Иван Федорович вчера выписался из больницы. Лечили, лечили, не долечили. Нога плохо поддавалась лечению — закупорка вен. Врач предупредил: «Ни грамма спиртного, ни курева, если не хотите остаться без ноги».

На душе было скверно. Вот бы закурил, да сигарет нет: жена ушла на работу, рубля не оставила. Хоть пропадай!

Кухня выходила окном на завод, сквозь двойные рамы слышался визг циркульной пилы. Летом в окно летят опилки. Марля на форточке становилась черной через неделю. Не дает житья ТЭЦ. Какой-то умник придумал. Возвели огромные котлы. Три трубы коптят день и ночь. Гарь с крыш сыплется из водосточных труб кучками на асфальт, дворники не успевают выметать. Дом надо расселять. Власть, известно, людей не жалеет: десять лет отделывается обещаниями. Кухня пожелтела от газа. На решетке вентиляции лохмотья жирной сажи. Ремонт никто не собирается делать: вдруг дадут квартиры... Столы, табуретки. Нагромождена посуда на полках.

Иван Федорович разогрел макароны, спихнул их в тарелку и, тыча тупой вилкой в тонкие макаронины, ел без хлеба. Мяса нет, холодильник пустой.

Насытившись тяжелой пищей, Иван Федорович пошел в свою комнатуху. Боком пролез между таллиннским шкафом и кроватью к дивану и, подложивши под голову думку, взял с полки «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, давно он ее в руки не брал, решил перечитать про императора Веспасиана. Легши на диван, полистал книгу. Из страниц выпали две красные десятки. Иван Федорович пощупал их, поглядел на свет. Сколько они пробыли в плену? Вспомнил: года три назад на даче отставного полковника батареи отопления проводили с Коляном Петренко. Хозяин угостил перцовкой и по тридцатнику на рыло кинул. Завелись с напарником, еще пол-литра на вокзале в туалете распили. Приехал Иван Федорович домой поздно и припрятал деньги в книгу и забыл в какую. Утром перелистал несколько томов, а «Цезарей» не посмотрел... Деньги теперь были кстати.

Он быстро оделся и хлопнул дверью. Ветер понес его по направлению к торговому центру. Вовремя подгадал: пиво только что привезли.

Шофер в джинсовом костюме лениво вылез из кабины, обойдя машину, распахнул бардачок под цистерной, надел грязные рукавицы, вытащил толстый шланг с медным набалдашником, протянул его к ларьку и, подключив к резервуару, открыл сжатый воздух. Пиво зашумело по шлангу. Маявшиеся с похмелья мужики оживились. Накачав оба бака, шофер уехал. Продавец открыл амбразуру. Было холодно и сухо. Вокруг ларька валялись обрывки газет, рыбьи кости, пробки, окурки. Иван Федорович рассеянно думал, что минимум полчаса стоять: у многих бидоны, канистры. Еще и строители нагло лезли без очереди. Все молчат, никто с ними не хочет связываться, а один против кодлы не потянешь...

Курить хотелось. Спросил у грузного хохла, стоявшего впереди:

— Друг, дай закурить.

— Та на,— сказал хохол и дал мятую «беломорину».

Иван Федорович засмолил папиросу, спички свои были. От первой затяжки голова закружилась — три дня не курил... Очередь медленно подвигалась. Работяги суют в окошечко трехлитровые банки, берут мокрую сдачу. Иван Федорович разменял деньги, взял две кружки желтого пива и, отойдя к подвалу, сел на поребрик. Одну кружку поставил у ног на асфальт, из другой стал прихлебывать. Пиво было кислое. Вторую кружку не осилил, вылил в мусор. На поребрик примостились две замерзшие алкоголички с оплывшими физиономиями.

— Верка,— сказала одна.— Какого, этого самого, тянешь? Доставай, не тяни душу!

Верка вытащила из рваной сумы бутылку портвейна, сгрызла зубами пробку и, выплюнув ее, приложилась к горлышку. Подруга ревностно следила, чтобы Верка не выпила лишнего глотка:

— Эй, эй, куда поехала?

Вырвала из ее прыгающих рук бутылку и жадно приникла к бутылке.

— Что, девки, закладываете? — спросил Иван Федорович.

— Тебе-то что? Отвали,— сказала Верка.

— И спросить нельзя? — обиделся он.

— Тошно, вот и закладываем,— помягчела Верка.

Иван Федорович вздохнул:

— Ох, девки, девки...

За ветром солнце чуть пригревало. Воробьи клевали растоптанный пирожок. Из ДНД вышел участковый инспектор с планшеткой, оглядел двор и покачал головой:

— Пробок-то, пробок накидали...

Девахи невинно на него таращились. Иван Федорович добродушно сказал:

— Пробки государственные, товарищ начальник.

Черт дернул за язык!

Милиционер — маленький замухрышка в мятых штанах — строго глянул:

— Как фамилия? Где живешь?

— Тут, товарищ начальник! Пивка пришел попить,— зависимо сказал Иван Федорович. Хотя его и забирать было не за что, но побаивался: у милиционера много не нагавкаешь. Старший лейтенант устало сказал:

— Государственные не государственные, а разбрасывать не положено! Гадюшник развели...

Иван Федорович хотел сказать, что «гадюшник» тоже государственный, но поостерегся. Девки удрали в кусты. Милиционер вздохнул и ушел. Иван Федорович отнес пустые кружки, стал высматривать спекулянтов с вином. Пропали куда-то. Да и кто их разберет, на лбу не написано. Тут нужен опыт, а Иван Федорович ходил сюда раз в полгода, да и то покупал по талонам. Молодые бездельники стояли кучками, толкались, сквернословили, гоготали в подпитии. Среди них отирались две малолетки с синюшными порочными лицами. Парни цапали их за что ни попало, они взвизгивали, хлопали их по рукам. На суку выморочного деревца сушился стакан. Иван Федорович подошел к компании и задал сакраментальный вопрос:

— Вино есть?

Парень в енотовой шапке дохнул на него перегаром:

— Опоздал, папаша!

Отвернулся и стал тискать пацанку. Та безудержно хохотала:

— Стас, отчепись, вон люди ходят!

Иван Федорович глядел на нее и горестно думал:

«И моя дочечка была такая... Теперь ее нет, умерла...»

Стас повернулся:

— Ты еще здесь, папаша?

— Да, я еще здесь,— ответил Иван Федорович и смахнул непрошеную слезу. Парень вскрикнул, как петух:

— Мужики, поможем человеку? Помрет ведь!

Все засмеялись.

— Да, помрет. Бздроль, сбегай!

Тот, кого назвали Бздролем, безусый мальчишка, протянул лапу:

— Башли гони!

Лицо у него было в дырках от застарелых угрей, весь он был жидкий, худосочный, будто без костей, на ногах — белые мокасины. Иван Федорович заколебался:

— Где гарантия, что он принесет вино?
— Не бойсь, мы тут будем,— заверил старший.
Иван Федорович отдал пятнадцать рублей и отошел в сторонку, чтобы не мозолить глаза. Без курева было тошно. Заглянул за ларек. На асфальте лежал окурок — фильтр в губной помаде, девка курила. Побрезговал им. А подобрал плоский окурок: кто-то по недомыслию на него наступил. Сунул его в губы, стараясь не мусолить, и прикурил. Сладкий дым потек внутрь легких. На пять затяжек хватило. Только растравил себя... Минут двадцать проскочило. Компания куда-то скрылась. Предчувствуя недоброе, Иван Федорович обошел кусты: среди разбросанных ящиков валялась бутылка, стакан исчез. Ясно, что обманули. У ханыг спросил, они засмеялись:
— Это не наши! Наши бы принесли. Кто незнакомым дает?
— Дал, черт подери...— вздохнул Иван Федорович и, как побитая собака, побрел к магазину, надеясь, что ребята там. В торговом зале было полно народу, стояли за маслом и колбасой. Он пошел в мороженицу. Продавщица выскребала ложкой мороженое из бидона, наполняя вафельные стаканчики. За столиками сидели школьники, сбежавшие с уроков. Сигарет не было. Он уже собрался уходить, как увидел пачку «Космоса», завалившуюся за оберточную бумагу. Он вынул деньги.
— Два рубля,— сказала продавщица.
Он расплатился и вышел. Холод жал. По проспекту дули автобусы. Морозы неделю, а машины не мыты, за стеклами не видно людей.
Он побрел к ларьку. Сердце билось отчаянно. Выкурил две сигареты подряд, так что заломило в груди. Он чуть не заплакал. Осталось одно: идти домой. Но в подсознании засела мысль — выпить во что бы то ни стало, забыться. Денег больше нигде не достать, разве только на работу съездить, там наверняка можно у баб стрельнуть...
Он пошел на метро. Ветер бросал в глаза мелкую пыль. Посередине проспекта торчали мачты, натянутые стальными тросами, на них трепетали красные флаги. Раньше тут выставляли уличные портреты партийных боссов, от «лысого до лысого». Однажды Иван Федорович, проходя мимо них, остановился завязать шнурок на ботинке. Как из-под земли появился милиционер и крикнул:
— Проходи, не задерживайся!
— А что, ракетная часть сюда перебазировалась? — спросил Иван Федорович.
— Не положено здесь стоять! Я тебе покажу ракетную дивизию! Допрыгаешься, ПМГ вызову. Прочь поди! — пригрозил блюститель порядка.
Эх, эх, несчастный, ведь ему не сахар торчать на холоде...
У метро было людно. Играл духовой оркестрик. Прохожие бросали в раскрытый чемодан мятые рублевки. Трубы завывали «Очи черные». Девки продавали цветы. Было весело, шумно. В витрине киоска блестели булавки, заколки, карандаши с французской помадой. На прилавке разложены белые женские трусики, образки святых апостолов, открытки с сисястыми заморскими дивами.
— Нехристи! — ругнулся Иван Федорович и турнул мальчишку, заглядывавшегося на красоток: — Пошел отсюда! Я что сказал?
— Пошел сам,— огрызнулся мальчишка и убежал, кривляясь и показывая язык. Из урны тянуло запахом горелой бумаги. Иван Федорович поднялся по гранитным ступеням, толкнул тугую стеклянную дверь. В лицо ударила струя теплого воздуха из калорифера. Щелкали турникеты. Он бросил пятак в щель и поехал вниз. Шахта глубокая — двадцать восемь фонарей. Уборщица тянула по пандусу сырую тряпку. На станции хлынул встречный народ. Мордатый советянин в пальто «на воздушной подушке» двинул зазевавшегося Ивана Федоровича по ногам тяжелым чемоданом и, ощеря холеные усы, сказал с непонятной злобой:
— Осторожней, болван! Ослеп, что ли?
И оглянулся, будто хотел его запомнить.
Иван Федорович только вздохнул. Подошел поезд, двери разошлись с тупым стуком. Он вошел в вагон и вцепился в хромированный поручень. Ушибленная коленка болела. Поезд помчал. В темном туннеле змеились кабели, выскакивали редкие светофоры.

Когда он выбрался из подземелья, солнце низко стояло над плоскими кровлями. Летели со свалки замерзшие в хлам вороны. На крышке теплого люка грелись голуби. Пустынная, голая площадь продувалась насквозь. Когда-то тут было много сирени, потом ее вырубили, опасаясь, что какой-нибудь злоумышленник из хулиганских побуждений метнет из кустов пустую бутылку под колеса бронированной черной «Чайки» персека Романова,— здесь проходила его трасса.
Иван Федорович свернул на тихую улочку к мехаводу. В проходной назвал свой номер и, получив пропуск, вышел во двор. Из вентиляционных жерл тянуло запахом горелого войлока, нитрокраски, кислоты. Отходы летели по ветру на подкормку детишкам во дворы соседних домов. Бродячая кошка, пригнувшись, как во вражеском стане, перебежала дорогу и скрылась в кустах. Дежурный монтер нес на плече стремянку, другой рукой держа длинную коробку со светильниками. Иван Федорович окликнул:
— Здорово, Витек! Никак в столовку идешь палки ставить?
— Не говори... Ставишь, ставишь: ноги от лестницы болят. А ты куда?
— Деньжат раздобыть надо...
— Беги к Граньке, пока она деньги не сдала в центральную кассу. Премию давали сегодня!
— Да ну?
— Честно.
Монтер подбросил на плече стремянку и зашагал в столовую.
Иван Федорович побежал в кладовую, постучал в окошечко.
— Открой, Граня!
Кладовщица, она же кассирша на участке, некрасивая сорокалетняя баба, открыла амбразуру, положила на приступочек ведомость и шариковую ручку. Он поставил свой каракуль, получил десять рублей, шевеля губами, и пробормотал:
— Не хватит, однако... На бутылку.— Так-сяк прикидывал.— Эх, был бы талон, елки-моталки! Одолжи, Граня, и талон, кроме тебя, идти не к кому на поклон. Первого числа отдам.
— В честь чего ты решил выпить? До праздника еще два дня,— поинтересовалась кладовщица.
Он махнул рукой:
— Да ну... Худы мои дела...
— А что?
— Врач сказал: «Тригорьев, пить и курить забудь, а то ноги лишишься!» Вот я и решил напоследок...— Он невесело засмеялся. Небритое его лицо было бледно, глаза слезились.
Кладовщица достала из сумки талон и вздохнула:
— Бедный дядя Ваня, крепись. Не отрежут. Мало ли что врач сказал, им верить — ложись и помирай!
— Твои слова, да Богу в уши...
Он спрятал талон подальше, распрощался и пошел к проходной. На улице стоял раскрытый фургон. Два продавца залезли внутрь фургона, поставили весы.
— Что привезли? — спросил Иван Федорович.
— Кости. Брать будешь? Я тебе лучшие выберу, пока народ не набежал.
Иван Федорович кивнул и вытащил из кармана плетеную авоську, которую таскал на всякий случай. Продавец выбрал из кучи костей несколько штук, положил на весы и подвигал гирьки.
— Ровно четыре кило. Не гляди, что обрезаны заподлицо, навар будет. Супешник сварганишь — пальчики оближешь. Уверяю! Вспомнишь меня. Кто следующий?
Из проходной стали подходить женщины. Иван Федорович расплатился, сложил кости в авоську и пошел в метро. Кости торчали из сетки, задевали за пальто бегущих по эскалатору людей. Он сел в поезд. Все сторонились Ивана Федоровича и брезгливо обходили. Он подумал: «Пусть, ничего страшного...»
И громко рассмеялся. Женщина с блестевшим от крема лицом дернула плечом:
— Потише нельзя?
— Ничего,— сказал он.

Из щелей вентиляции свистел воздух, вагон потряхивало. Он вылез на оранжевой мраморной станции. Все на него оборачивались. На улице по-прежнему было пронзительно холодно.

В девятнадцать ноль-ноль патрульная милицейская машина делала объезд. В кабине сидели старшина милиции Коробков и шофер Пряжкин. Оба были не в настроении: бензин на исходе, а патрулирование ничего не дало, ханурики как сквозь землю провалились. Обычно к этому времени подбирали пять-шесть пьянчуг, они выползали от торгового центра. Объехали аптеку, магазин канцтоваров, свернули на проспект с мачтами и увидели мужика с сеткой. Он был в стельку пьян.

— Брать будем? Или пусть домой идет? — спросил Пряжкин. Ему не хотелось вылезать на холод.

— Нет, он не дойдет,— ответил старшина.— Я ихнего брата столько перевидал, сразу определю: дойдет или не дойдет...

Машина встала. Милиционеры не спеша вылезали, подошли к пьяному. На его лице синел кровоподтек. В руке он крепко держал сетку с костями. Он еле ворочал языком:

— Ребятки, я иду домой...

— Где твой дом? — спросил старшина и повторил: — Твой дом знаешь где?

— Там,— пьяный махнул рукой.

— Сейчас мы тебя подкинем до дому.

— Никуда я с вами не поеду!

— Поедешь!

Старшина заломил ему руку назад и повел к машине.

Мужик стал вырываться и кричать:

— Охломоны, руку сломаете!

«Охломоны» открыли дверцу, свирепея, втолкнули его в закрытый кузов на пол, обитый оцинкованным железом, и захлопнули дверь.

— Сиди и не рыпайся!

Пьяный стучал, колотил по железу и орал о каких-то правах.

Милиционеры сели в кабину. Старшина зажег свет, пощупал палец и выругался:

— Сволочь! Из-за него палец отшиб. Работа треклятая... Каждый день что-нибудь выкинут. Права вздумал качать. Поехали.

Он выключил свет, машина заурчала. Улица была пустынна. Красные полотнища щелкали на ветру.

— Заедем ко мне, чайку глотнем,— предложил старшина.

Шофер затормозил к поребрику, открыл дверцу и спрыгнул на землю. Старшина тоже вылез. Они пошли к дому с застекленными лоджиями.

Через полчаса они вернулись. Дверь кузова была раскрыта, внутри никого не было.

— Удрал! — удивился старшина.— Ты что, плохо закрыл?

— Хорошо. Не мог он сбежать,— почесал в затылке Пряжкин.

— Не мог, не мог! — передразнил Коробков.— Выходит, Святой дух открыл? Ладно, не расстраивайся. Найдем еще кого-нибудь на замену,— примирительно сказал Пряжкин и полез в кабину.

Они поехали. Пряжкин сказал:

— Видал, сколько у него было костей? Полная сетка. Куда ему столько?

— Наверное, собаке,— ухмыльнулся старшина.— Они все чокнутые, кто собак держат, носятся с ними... Да, повезло ему. Небось радуется, что сбежал?

— Еще бы ему не радоваться! На его месте каждый бы радовался,— сказал Пряжкин.— Несчастные они люди...

— Нашел кого жалеть,— сказал старшина.— Я бы их всех к стенке поставил...

Владимир Микушевич

ГНЕВГОРОД

Сей город сумрачный ненастным утром краше,
Чем в полдень солнечный, когда заметней в нем
Рассеянная мгла, как в пиршественной чаше
Осадок вяжущий, зато осенним днем

Нельзя не оценить коварство белой ночи,
Которую во сне увидел демиург,
Чтобы лишил царя небесных полномочий
Тишайший Гневгород, вампирный Петербург.

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез...
О. Мандельштам

До сих пор не поверил бы я, что испуг
Иногда означает уют.
И спокоен я буду, поскольку вокруг
Петербургские тени снуют,

И сегодня приятнее ночь провести
Мне среди безобидных теней,
Потому что живой у живых не в чести
И живому живые страшней,

И надеюсь я, что через несколько лет
Зазвонит, как сегодня, звонок,
И придет в Петербурге к скелету скелет,
И не будет никто одинок.

* * *

Анатолию Шору

Что-то стелется в сумраке сизом,
Затрудняя побег и полет;
По седым петербургским карнизам
Протекает и просто течет,

Все течет, потому наводненье,
Где сменяются нечет и чет,
В роковом непрерывном гоненье
На того, чей приходит черед
Не подать человечеству вида
Средь струящихся в бездну тенёт,
Что влечет его перстень Давида:
Все проходит, и это пройдет.

* * *

Т. Н.

Подернут был закат прозрачной поволокой,
В которой нежилась шершавая кора,
Когда под сенью лип читал я вечера
Санкт-Петербургские, и тусклый мир
морокой

Казался мне вблизи богини волоокой,
Чьи ночи белые тянулись до утра,
И не перечил перст на пиршестве пера
Глаголу голоса, сказавшего: «Не окай,

Философ, заучив наречье деревень
Необитаемых...» Для звуков лес —
палестра,
Где листьям палевым лететь и падать лень

Владимвр Борисович Микушевич (род. в 1936 г.) — поэт. Переводил Кретьена де Труа, Петрарку, Сввфта, Шелли, Гёльдерлвва, Новалиса, Рильке, Нелли Закс. Первая книга собственных стяхов «Крестница Зари» вышла и 1989 году.

На влажные поля, пока листы де Местра
Шуршат и шепчутся, как ноты без
оркестра,
Напомнив мне, что я читаю Вашу тень.

* * *

Брег моря Черного напоминает ложу
Масонскую для масс; повелевает маг
Великий каждому, кто от рожденья наг
И змеем числится, менять на солнце
кожу,

Которая и так похожа на рогожу,
Но получается из кожи белый флаг
Капитуляции, и радуется враг
Паденью крепости: «Не сдашься —
уничтожу!»

Так в сумрачный Эреб влечет меня зеро,
И самому себе я предстаю руиной,
Пытаясь в чешуе чужой найти перо,

Однако плотскою запачканное глиной,
Несокрушимое при гибкости змеиной,
Мое же бывшее спасло меня ребро.

В БЕЗОБЛАЧНОЙ ТЮРЬМЕ

В безоблачной тюрьме
охранницы-красотки
Задами пышными расчесывают пляж,
Но бесконечные повсюду загородки,
Так что коснуться гор моя не смеет
блажь,

Хоть горы видятся из всех тюремных
камер,
И хочется сказать начальнику: Сезам,
Откройся, но божок безбожный в замке
замер;
Он самому себе лишь замарашка-зам,

Которому для черт лица нужна замазка,
Хотя положено творить ему намаз,
Но нет на нем лица, и трескается
маска
Невыносимая, и я глаголю: Аз

Есмь червь, я куколка, я бабочка-секунда,
И здешним специям грош без меня цена;
Но спицею вот-вот пронзит меня Пицунда,
В свою коллекцию включая летуна.

* * *

На каком языке говорят облака?
На каком языке тишина?
У какого лингвиста не дрогнет рука,
Если вместо времен имена?

Потому что различны не только на вид
Вещество, существо, божество;
Человек — не букварь, человек — алфавит,
Каллиграфия прежде всего...

И пространству и времени выплатив дань,
Музицируешь ты, грамотей,
Если только сотрется врожденная грань
Между миром и мыслью твоей.

И тогда остаются с тобою века,
Языки, словеса, письмена;
Только вместо тебя говорят облака,
Только вместо тебя тишина.

* * *

Et in Arcadia ego [1];
Даже в Аркадии я;
Гроб — разновидность ковчега,
Et in Arcadia ego —
Будущий взрыв бытия,
Альфа, я там, где Омега;
Et in Arcadia ego;
Даже в Аркадии я!

[1] Таинственная надпись на гробнице (см. картину Пуссена «Аркадские пастухи»).

Сергей Вольф



Просто Бахус

Рассказ

Единственным, кто посещал, или навещал его в его деревне, был Бахус.

Крошка Марципан поплевал зачем-то на руки, уже поднимая вверх тяжелый колун, развернул его обухом для удара сверху вниз и наконец влепил колуном по уже прилаженному в земле среднего размера дрыну.

Сочетание этих букв — «б-а-х-у-с» — не являлось фамилией. Более того, эта «нефамилия» никак не была связана с невозможным и сверхблистательным Иоганном Эс Бе, и даже второй и не менее почитаемый людьми вариант («море вина разливанное») — был здесь тоже ни при чем: Бахус не пил. Собственно, Бахус — это было двухчастное прозвище, возникшее в ситуации абсолютно не возвышенной, и Крошка Марципан узнал о нем вовсе не от самого Бахуса. Когда-то Бахус (тогда еще никакой и не Бахус вовсе) имел непонятную глупость влезать в спор, но главная глупость была, пожалуй, не в самом факте влезания в спор (тема которого — не важна), а в принятии идиотских его условий. Визави тогда еще не Бахуса спор выиграл, а потому и возникла крайне нелепая ситуация в доме визави и при свидетелях. Проигрыш (и выигрыш) свидетелями были подтверждены, никакой еще не Бахус сел в жесткое, с высокой деревянной спинкой кресло, а визави подошел к еще не Бахусу с открытой и очень опасной острой бритвой,— «Бах!» (так почему-то воскликнул визави),— и один роскошный черный ус будущего Бахуса остался в руке визави. На этом все, собственно, и кончилось. Один ус визави выбросил (или сохранил), тут же скаламбурил, и как-то сразу прилипла к визави милая кличка, прозвище — Бахус. Бес изыска, но все же... Опускаясь до отвратительного разъяснения, можно даже сыграть в эту игру: «бах» бритвой — и уса нет. Но самое томительное заключалось в том, что второй ус, по условиям спора, обязан был оставаться на Бахусе еще целый месяц, день в день, и именно в таком виде Бахус был обязан жить среди людей. Бахус был честен, условия не нарушил и второй ус свой уже сам не «отбахал». Однако (за деньги и, кажется, немалые) ему помогли купить себе бюллетень, месяц он просидел дома и на службу не ходил. Подобный ход при заключении спора не был учтен, и все выглядело в поведении Бахуса честным. Кстати, кем именно служил Бахус, никто, кажется, и не знал, Крошка Марципан, по крайней мере, не знал точно, да и вряд ли это имело хоть какое-то значение. Бахус (с небольшими ночными вылазками в шарфе на лице) провел месяц дома, а потом — день в день — сбрил свой второй черный и пышный ус, да уже и народившийся первый — тоже. После этого он перестал носить усы вообще. Впрочем, для знакомых его (или знающих эту историю) новые возможные его усы (два вместо одного) или их полное отсутствие — все равно оставались зримой причиной для шутливых воспоминаний или просто шуточек, так что никакого особого резона — именно *сбрить* усы — у Бахуса не было, да и прозвище к нему прилипло довольно плотно.

Сергей Евгеньевич Вольф родился в 1935 году в Ленинграде. Прозаик, детский писатель. Автор книг: «Лети, корабль мой, лети» (1964), «Завтра утром за чаем» (1974), «Мы поедем на рыжем коне» (1975), пьес: «Да, тетя. Нет, тетя» (1975), «Лотерейный билет ва пятерых. Домашнее происшествие» (1979) и других. Живет в Санкт-Петербурге.

Только один Бахус и приезжал к Крошке Марципану в деревню, хотя деревней это место можно было назвать только потому, что оно располагалось там, где обычно располагаются деревни; впрочем, когда-то это и была деревня (и название у этого места было вполне деревенское — Нижнее Болотово), но, с другой стороны, никакая это была не деревня, так как на девять всего домов (теперь уже — не дворов) деревенских жителей, то есть — крестьян, какими бы там они ни были, и получался-то один человек, остальными домами владели частные лица, не крестьяне, дачники. И вот Бахус единственный к Крошке Марципану, к дачнику, и приезжал. Что-то в этих приездах было странное и не до конца понятное, — именно в Бахусовских приездах. Среди Крошкиных друзей или приятелей, мужчин и женщин, были и такие, кто любил побаловаться удочкой, а уж собирать грибы или ягоды — норовили многие. К тому же место было глухое, не загаженное, «живописное»: разве что неприезд всех, кроме Бахуса, можно объяснить было только тем, например, что до деревни этой надо было добираться часов десять-одиннадцать. И все-таки довольно странно было, что *никого*, кроме Бахуса, не потянуло преодолеть эту нудную дорогу, к тому же он, Бахус, рыбу не ловил и грибами и ягодами не интересовался. Да и вообще, рюкзак его, с которым он появлялся у Крошки Марципана, выглядел на Бахусе как-то нелепо и несколько чуждо, как и коротенькие, синие почему-то, резиновые сапожки, которые он, хочешь не хочешь, вынужден был привозить с собой. А также привозил он сменную одежду, полукеды, книжку, фотоаппарат «ФЭД», которым, похоже, и не пользовался, кое-какую еду, термосок и некоторое количество бутылок водки, хотя сам он не пил, разве что рюмочку-другую за целый вечер, и водка эта скорее выглядела просто подарком хозяину, да и можно было сколько-то дней не ходить за пять километров в поселок, где, к тому же, водка эта была далеко не всегда. В общем смысле приезд Бахуса означал привоз еды, даримой им Крошке водки и малонарушаемый им покой хозяина: Бахус был ненавязчив, ни присутствием, ни в разговорах, и часто гулял один по полям и лесам.

Крошка присел, откинув колун, покачал дрын (тот не качался) и решил, что диаметр дрына достаточен, чтобы с помощью его одного, а не четырех сходных соорудить пристойный дачный столик.

Великую сладость — марципан — Крошка Марципан полюбил до одури еще в глубоком детстве, и любовь эта была столь неудержимой и до полного исчезновения марципана столь постоянной, что прозвище, которое он получил в старшей группе детского садика, переползло после за ним и в школу, и даже — погодя — и в институт, да что там говорить,— и теперь его, зрелого мужика, все близкие люди звали именно так. Даже те, кто по каким-то причинам *уже* не знал (или — почему-то — *давно* не узнал), что же такое есть марципан. Две части полного Крошкиного прозвища легко и надолго смогли смонтироваться еще и потому, что Крошка в детстве подлинно был *крошкой*, но и потом он им оставался и остался таковым навсегда — не лилипутом, конечно, нет, но мужчиной маленьким. Иногда Крошку ненадолго (так как убедиться ни в этом, ни в обратном было нельзя) занимал для мужчины его склада несколько шаловливый, игривый вопрос: а не эти ли легкомысленные признаки их обоих — клички или прозвища, не они ли, некоторым образом, соединили, если можно так выразиться, *их* жизни — его, Крошки Марципана, к Бахуса. С известной натяжкой, но все-таки можно было здесь подумать о таком реализме их контакта. Да черт его знает! Они с Бахусом как-никак были взрослыми людьми, и в зрелой же компании, их окружавшей, или в каковую они входили, никто никаких прозвищ отродясь (или давно уже) не имел,— почему бы из-за этого незаметно для самих себя и не сблизиться? Если, конечно, то, что у них было, можно было назвать сближением, и в чем Крошка Марципан несколько сомневался. Иногда Крошка, размышляя о своей компании, приходил к выводу, что таковой, в сущности, и нет. В конце концов, думал он, компания — это не три, конечно, не четыре-пять, ну, шесть человек (больше — это уже для более молодых), но так уж получилось, что в его (сомнительную именно по «термину») компанию входило человек десять, к тому же — именно не определенно столько, не ровно десять, но десять-двенадцать-четырнадцать, и вся эта масса, никогда вместе полностью не соединяясь (хотя каждый знал каждого), распалась на буквально группки по пять-шесть человек, и поскольку группки эти были аморфны и по составу непостоянны, нельзя даже было говорить о нескольких компаниях, в которых пребывал Крошка, а скорее же всего и правильнее было все эти десять-четырнадцать человек назвать широким (или узким) кругом относительно близко между собой знакомых людей; вдуматься, так каждый и был сам себе компанией, не более того. Однако же насколько широк был этот их круг, если абсолютно для всех Крошка Марципан был Крошкой Марципаном (а не Веней), а Бахус — Бахусом (имя его Крошка узнал после того случая с отрезанием одного уса, более того, он и познакомился-то с ним, когда тот уже имел счастье называться Бахусом). Нет, по имени их, само собой, редко, но иногда все-таки называли, но уж если «контекст фразы» требовал фамилии — обязательно звучали их прозвища. В этом, пожалуй, был ясный признак того, что вся компания пыталась как-то молодиться: в общих разговорах скорее можно было услышать кое-что о покупке машины, а не о визите в рок-клуб, люди-то были уже зрелые, женатые, с детьми, разведенные, вторично или трижды женатые, имеющие домá и дачи, куда, кстати, Крошка тоже не очень-то и ездил. Сам Крошка был из разведенных, был даже отцом тринадцатилетнего сына, но с женой он (как и она с ним) расстался как-то безболезненно и честно оставил ей старый «Запорожец», забрав себе только что купленный домик в глухом месте, где бывшая жена его так и не побывала. Раньше-то удобно было бы ездить в домик на машине всей семьей, но нелепо ведь было из-за этого не разводиться.

Думая о своем окружении, инженер Крошка отметил и еще одну черту этого окружения: те из него, кто знал кого-то поближе, знали и место работы, и должность этого «поближе», в случаях же менее выразительной близости ограничивались знанием профессии другого,— мол, вполне достаточно. Однако, несмотря на то, что Крошка Марципан и Бахус как-то, пожалуй, даже сблизились (уж если именно и только Бахус и приезжал в его дачную глушь), они тоже ограничились «общей информацией»: для Бахуса Крошка был инженер (какой-то и где-то), а о себе Бахус далеко не сразу, но сказал, махнув рукой, что, мол, так, ничего особенного, ошивается в окололитературоведческих кругах. Работает он или нет, обладая некоей профессией, он не сказал, а Крошка и не настаивал. Похоже, подумал тогда Крошка, кое-что этот Бахус пописывает, где-то там чего-то такое печатает, зарабатывая (судя по внешнему виду и инертному отношению к выпивке) не очень-то много, а большего ему, похоже, и не надо.

Чтобы как-то определить частоту визитов Бахуса в Крошкину глушь, нелишне сказать о том, как часто бывал там сам Крошка. Зимой к себе в домик Крошка не ездил (дом был летний, да и зимнюю рыбалку Крошка практиковал редко), а весной, летом и осенью все выглядело так: не считаясь с дальней дорогой в свою тьмутаракань, Крошка появлялся здесь почти регулярно с пятницы до понедельника и летом же или ближе к осени (грибы) проводил в своей избе две недели, две оставляя для юга (подводная охота и теннис) или Прибалтики (флирт в бóльшей степени, чем на юге, и теннис). Стало быть, двухдневных поездок было за сезон «штук» пятнадцать и одна — двухнедельная. С какого-то момента в половине этих случаев он оказывался там с Бахусом. Бахус всегда охотно откликался на предложение поехать, но даже тогда, когда ощутилось, что гость он у Крошки в общем-то единственный и, пожалуй, желанный, сам Бахус о поездке никогда не заговаривал и в четверг или пятницу или перед отпуском Крошки по этому поводу — не звонил.

Крошка Марципан вбил свой дрын и присобачил сверху к нему тремя гвоздями-двадцатками квадратную «ДСП» вечером в пятницу, так как, отпросившись на работе, уехал в четверг, а в субботу появился утром Бахус с вечным своим побрякивающим водочным стеклом рюкзачишкой. Был он в полукедах, а к рюкзачку были привязаны резиновые сапоги, но не маленькие, как обычно, а болотные, высокие.

Крошкин дом был летним, в сущности, только по состоянию (ни к черту не годилась русская печка, а плиты́ для зимы было маловато), по постройке же он был вполне зимним, и если взойти на высокое крыльцо и открыть главную дверь, она вела в очень длинные сени: в конце их — сортир с лампочкой, справа — дверь в сам дом, слева же по лестнице — в хлев. Но хлев (и при покупке) — был не хлев, а так себе, черт его знает что. Крыши на нем давно не было, и верх его (стены) частично был разобран. Не было в нем и двери с улицы — просто проем, дыра. «Материал» же частичной разборки стен хлева, а точнее — мокрые и подгнившие бревна и доски валялись и стояли внутри хлева, прислоненные к его неполным стенкам — просто торчали в небо. И так же, как Крошка не дал себе труда толково наладить печь-лежанку, так же и за хлев он принялся только в этом году, а точнее — в эту вот пятницу. С утра он повытаскивал наружу все бревна и доски и поставил их, каждую отдельно, к хилому забору, чтобы сохли, а потом уже проверил свою мечту — копанул лопатой землю в хлеву (пола там давно не было). В хлеву росли крупнолистные какие-то травы, вовсе не полевые, и однажды щепкой Крошка ковырнул землю — она была жирной. Вот где будут отменные черви, решил умный Крошка, но в эту пятницу, орудуя уже лопатой, он понял, что трагически ошибся: червей в хлеву, похоже, отродясь не было. Однако глобальную уже свою мечту он осуществил: вбил в середину хлева дрын, прибив к нему «ДСП»,— соорудил стол, засандалил в дальние от дома верхние углы хлева по паре гвоздей-двадцатои, то же, но выше тех углов — в скаты крыши дома, а после (все уже было скроено и сшито по размерам заранее) натянул на четыре крепежные точки на петлях и врастяжку — тент из старого авиационного брезента. Так получилась над хлевом наклонная (чтобы стекал дождь) крыша из туго натянутого брезента. Брезент был немолодым, выцветшим, он легко пропускал сверху свет, чуточку зеленоватый, и еще свет шел из тех пустых углов, которые получились потому, что брезент над хлевом спускался к дальним его углам наклонно, так что в новом летнем помещении было в общем-то светло, вовсе не темно, но уютно даже в серый и дождливый день и приятно, не жарко — в солнечный. Отсутствие в хозяйстве даже табуреток (в доме от старых хозяев остались только лавки), но еще больше — интеллигентские притязания Крошки решили в хлеву и вопрос стульев: какие, к лешему, стулья? — шесть чурбанов, вот тебе и настоящие стулья, куда как проще и элегантней.

Словом, когда в субботу брякающий водкой Бахус приехал в Нижнее Болотово и не увидел на двери замка, а Крошки Марципана — в доме, и покричал его, выйдя из избы, Крошка, с детской открытой гордостью, улыбаясь от совершенного им эстетического и хозяйственного подвига, появился в беадверном проеме хлева и приветственно поднял руку, а другой поманил Бахуса в хлев. Бахус был уже без рюкзака, оставил его в избе, так как уже, видно, знал, с каким вопросом или просьбой он обратится к Крошке, и, похоже, посчитал, что выставленная сразу же водка или просто ее бряканье будут накладывать фон непристойности в поддержку его просьбы. Вообще, если и не Крошке, то заметно было, что Бахус как-то растерян: Крошка стал склонять его к скорому обеду (стало быть, невольно к водке или уж, в крайнем случае, к отказу от нее, то есть напоминанию о ней), если же ему, Бахусу, изложить свою просьбу сейчас, то не слишком ли это скоро после приезда, а потому — бестактно.

И все-таки он ее изложил.

— Да ради бога,— сказал Крошка Марципан чуть ли не восторженно.— А я верно понял? Я в воскресенье вечером, завтра то есть, умотаю в город, а ты будешь здесь?

— Да,— сказал Бахус.— Верно.

— И неделю будешь здесь жить один, а потом и со мной, когда я сюда в отпуск вернусь.

— Да...— сказал Бахус, уже вовсе смутившись.

— Валяй,— сказал Крошка.— Дело простое.

И тогда Бахус сказал то (и такое!), что необходимо было сказать не только потому, что он, Бахус, собирался здесь пожить, но и потому, прежде всего, что это было для Крошки Марципана, похоже, обстоятельством существенным. Но до этого Бахусова объявления Крошка успел спросить:

— А не скучно тебе будет, а? Ты ведь даже рыбу не ловишь.

— Не будет,— сказал Бахус.— К тому же... к тому же...— не знаю, как сказать...— пожалуй, к тебе... идут гости.

— Это как это?! — Крошка растерялся.— Как это... идут? Кто? Почему еще не пришли?

— Идут... две женщины,— сказал Бахус.— Мальчик идет. Одна из женщин, похоже, твоя жена.

— Вот это номер! — сказал Крошка.— Да где же они, и как ты узнал, что жена идет? Ты же не видел ее никогда! Бывшую-то.

— Не видел,— сказал Бахус.— Но фотографию сына — видел: по-моему, это он. Беленький. Высокий.

Крошка обалдело кивнул.

— Одна из женщин вела себя как мать,— сказал Бахус.— В автобусе она расспрашивала, как в деревню пройти, сошли они со мной вместе. Я... почему-то не признался.— Бахус сделал неопределенное движение шеей.

— Так где же они? — спросил Крошка Марципан как бы у самого себя.

— Им объяснили более длинную дорогу, а я пошел тропой, лесом.

— А-а,— сказал Крошка, задумавшись.— А кто же вторая? Кто же вторая-то будет?

— Не знаю,— сказал, накуксившись, Бахус, а Крошка охотно представил себе женщину незнакомую и привлекательную, с лебединой, черт побери, шеей, но, вспомнив про жену, хоть и бывшую, тут же от этой нежной лебединой шеи отказался и решил, что, может, если она, эта новенькая, с шеей, Бахусу и не пара или просто ему безразлична, то хоть как-то расцветит ему пейзаж, как некоторое, скажем, декоративное пятно, пятнышко. Но все эти подпрыгивающие Крошкины мысли, конечно же, были перекрыты главной: что же это такое и зачем сделалось с его бывшей женой, если она без приглашения, без всякого хотя бы обуславливания решила сюда, в его вотчину, в его святая святых за здорово живешь заявиться? Сына, что ли, показать, которого он и без того довольно часто видит, но, правда, не встречался с ним последние полгода... может, Денис здорово за это времечко вымахал? Тоже, если вдуматься, не причина. Иногда (когда надо было повидаться с сыном) он звонил им, говорил с женой — все нормально, пристойно и коротко, никаких углублений в «ну, а ты-то как?», никаких соплей... нет, нет, очень странно, что она сюда пожаловала и идет сейчас где-то по полевой дороге к его дому, да еще с бабой какой-то, и скорее всего неплохой, будь она неладна.

— С вещами они? — спросил он у Бахуса.

— С рюкзаками, маленькими,— сказал Бахус.— Да, у одной из женщин мешок в руке, полиэтиленовый.

— Ты, будь добр, накрой в доме на стол и печку затопи. Сможешь? — сказал Крошка Бахусу.

— Смогу, пожалуй,— сказал Бахус.

— А больше ничего делать и не надо,— сказал Крошка.— Разогреть-то еду потом — быстро. Надо бы их встретить. Я пойду.

— Я все сделаю,— сказал Бахус.

— И хлеба нарежь.

— И хлеба нарежу,— сказал Бахус.

Крошка Марципан спустился с крыльца и пошел по песчаной тропе направо, между огородами соседа-полковника, до дороги, а потом и налево — через небольшую луговину, через кусок леса, опять через луговину, за которой снова был лес, дорога сворачивала в него, уходя от близкой реки, и из лесу выходила на поля. Выйдя на край поля, Крошка действительно увидел вдалеке три фигуры, которые, скоро оказалось, шли ему навстречу. Каким-то образом он отличил, что эта вот одна дальняя фигура — мальчик, не женщина, а которая из двух женских фигур бывшая его жена, он не разобрал, они были одного роста. Не причина, подумал Крошка об их равном росте, просто забыл уже свою бабу, чутье не выручает. Или среди них нет его бывшей жены, и мальчик (если это мальчик) — не имеет к нему, Крошке, никакого отношения: мало ли кто мог ехать втроем в первый раз к соседям? Хорошо бы так, подумал он, и еще он подумал, что, если так оно и есть,— дéла это с памятью его к бывшей жене не меняет: не может он угадать издалека — она это или нет.

Перед глазами бредущего Крошки проплыло полупрозрачное колеблющееся горячее облачко, и, когда оно смазалось и ушло,— все прояснилось: одна из женщин высоко подняла руку. Жена, подумал Крошка Марципан, а вот жест — чрезмерный. Но, когда он поравнялся с ними (а чуть раньше обнял выбежавшего ему навстречу подлинневшего за полгода сына), он и сам попал в нелепое поле этой чрезмерности, поцеловав жену в щеку. Ему стало неуютно: ладно, сделал он это из-за незнакомой ему подруги жены, но сын-то тоже все видел, и перед ним это было ни к чему, ложно.

— Познакомьтесь, пожалуйста,— сказала Крошкина бывшая жена, нелепым каким-то верчением руки как бы подгоняя друг к другу Крошку и свою приятельницу. Ощущая ее длинные прохладные пальцы, Крошка назвал себя, а та сказала: «Рита». Бог ты мой, о чем же сейчас говорить-то, подумал Крошка, не соображая, что неестественность ситуации существует только для него и для его бывшей жены и разрешать ее вовсе не обязательно именно сейчас, но жена тем не менее тут же все и выпалила. Или просто передохнуть решила, а паузу — заполнить: как раз в этот момент Крошка отобрал у этой Риты рюкзак, а у жены — мешок. И никакая не лебединая у нее шея, почему-то с облегчением подумал Крошка, а жена уже пела: «Ты извини нас,— ворковала она.— Мы как снег на голову, ты уж прости. Я знала, что ты тут на выходные, а потом, через неделю, будешь здесь в отпуске, надолго, я и решила — побыть нам на природе до твоего возвращения сюда в отпуск. Не-ет, я позвонила тебе, конечно, дозванивалась, но ты уже уехал».

Неестественно гладя по голове сына (а тот вертел головой и так, и этак, высвобождаясь), она добавила вовсе уж лишнее:

— Продукты мы, конечно, взяли.

— Ну, стоило ли,— кокетнул Крошка.— Отлично, что приехали,— глупо брякнул он.— А у меня приятель тут, веселее...

— А я предполагала,— сказала жена.— Ты ведь говорил, что ездит.

Все чушь, думал Крошка, когда они тронули дальше, все чушь собачья, сколько лет его дому — ни разу не ездила, звонки к нему ничего не объясняют: не та ситуация у них, чтобы, когда не дозвонилась, все же поехать, а вдруг бы он и сам сюда не поехал; или эта подруга — для Бахуса? — не-е, это бред, даже если Бахус для подруги,— все равно бред. Подруга оказалась очень крепенькой, черт побери (блондинка на больших ногах, глазки — омут, лебединая шея, пожалуй, была бы излишком), для такой женихов пока — тьма, да и Бахуса ни жена, ни она не знали. Бред. Жена, наверное, все главное сказала и, надо полагать, понимала, что как-то усилить впечатление от своего «объяснения» приезда — это уже слишком, ненатурально. Дурой она никак не была, и приезд без всякой названной причины выглядел бы глупо (если именно глупо), так что хоть что-то она пролепетала, еще более оглуплять свой лепет — не стала, и, естественно, что-либо вслух следовало теперь говорить ему, Крошке, как-никак в этой ситуации — он был хозяином. И он начал плести что-то такое про погоду, первые грибы, про то, кто клюет из рыб на речке, а кто почему-то нет («Понял, Денис?» — зачем-то строго вставила жена), про то, что, говорят, в двух километрах по реке ниже устроилась жить пришлая медведица с медвежонком и ходить туда опасно: выбежит медвежонок поиграть с тобой, а мамаша-то его и не знает, что ты медвежонку — друг, а никакой не враг... И жена опять очень строго сказала: «Понял, Денис?»

Тут же Рита эта выискала в пыльных кустах возле дороги приличный подосиновик, жена с сыном мигом озверели, стали на ходу шастать по сторонам, и Крошке полегчало. Он даже сказал громко, но скорее всего для собственной ясности:

— Денис ляжет со мной в дальней комнате. Друг мой — тоже. На раскладушке. А вы, дамы, на печке, там просторно и матрасы есть, да и не холодно.

— Очень славно,— щебетнула из кустов жена.

— А на рыбалку пойдем, пап? — крикнул Денис, пробегая мимо него от кустов к кустам; в руке у него был хороший подберезовик.

— Пойдем, сегодня же,— сказал Крошка, давая сыну по ходу шутливый, немного ненатуральный подзатыльник,— этакая якобы радость отца. И тут же на Крошку набро-

сились поганенькие волны разнообразных чувств. Он шел, будто топтался на месте, с их не тяжелым, но противным рюкзачком и мешком, а они, совсем обалдев от негородской жизни и ища грибы, двигались вперед по сантиметрам. И тут же Крошка обмер, обрадовавшись, что не только получается, но и следует идти очень медленно, даже отставая — и глядя на Риту. Именно отставая и глядя только на нее и на ее легкое платьице-халатик. Да не на халатик, черт побери, а на ее до ужаса вдруг оказавшиеся красивыми ноги, особенно когда она наклонялась за грибом или проверяла, гриб ли это. Обмирая, он глядел, даже останавливаясь, на тонкие ее щиколотки, полные, слегка блестящие икры и на то, как резко они сужались под коленками. Выше, когда она нагибалась, смотреть было просто страшно: для Крошки это уже был некий омут. И конечно, тут же набросилась на Крошку Марципана некая рваная волна глухого раздражения: его дразнили, не более того, и так оно и будет до конца, потому что жена тут крутится и будет крутиться все эти дни. Может, и с оттенком ревности, но внезапно он переключился на Бахуса. Вот ведь, углядел в автобусе сына, а сам не признался, что он его, Крошкин, приятель, не вызвался показать дорогу. Если теперь, позже, и они его узнают,— наверняка скукожится и будет прятать глаза и помалкивать.

Неожиданно Крошка вспомнил, что вроде бы и позабыл за ненадобностью смешное свое, случайное и почти детское подслушивание. Как-то он медленно брел по самому обрыву над рекой, в мелких, высоких деревцах, отыскивая подосиновики. Шел он, привычно легко ступая, и его было не слышно. А ниже наклонного обрыва была еще ступенька с метр, потом луговина и скоро — вода, река. И на этой ступеньке сидели — бабка Фаня, единственная крестьянка в деревне, я Бахус — сочетаньице неожиданное. Крошка Марципан отступил слегка назад. Видно, о чем-то они уже калякали, не только что уселись на ступеньку.

— И что же ты,— говорила бабка Фаня,— неужто ты, как и мы, деревенские, когда я помоложе была и в поле ходила, так же — каждый день с утра — на работу, а затемно — домой?

— Да не совсем так,— сказал Бахус.— Не каждый день. Дня трв хожу всего, да и то не с утра, а уходишь — часа в три, в четыре.

— И-и-и! Вот тебе и работа! — сказала бабка Фаня.— Что же это за работа такая?

— Да вроде никакая,— сказал Бахус.— Так, придешь, поговоришь с кем-нибудь, отчетную писульку напишешь, новости там всякие...

— Отче-ет! — сказала бабка Фаня.— Эвона что!

— Да я дома работаю,— сказал Бахус.

— Это я уж вовсе не понимаю,— сказала бабка Фаня.— Ну как бы носки вяжешь дома, в избе, а в правление ходишь их сдавать. Так, что ли?

— Похоже,— сказал Бахус.

— И правда — носки? — Бабка Фаня, прикрыв рот ладошкой, хихикнула.

— Нет, я пишу... всякое...

— Кни-ги?

— Нет, не книги. Я про книги пишу. Кто-то напишет книгу, а я про эту книгу и пишу.

— Нет, это мне не сообразить. Кто сами книги пишут — это понятно. Почитаешь, хоть не нравится, а понятно. Истории разные. Как власть брали. Как раскулачивали. Ужасьти всякие. Или про войну, как помирали. А то попалась: Николай-то наш...не, не царь наш, а космонавт,— улетел на корабле за небо, на чужую замлю, а там тоже живут, вроде как мы, но с хвостами. И три глаза.

— Не читал,— сказал Бахус.— Другие — читал. И вот кто-то напишет книгу, а я пишу — про эту книгу, что в ней хорошо, а что плохо.

— Ой, не понимаю,— сказала бабка Фаня.— Читать — это я понимаю. Да неужто кто книгу прочитали, а еще будут и про эту книгу читать, что в ней правильно прописано, а что нет?

— Ну,— сказал Бахус,— все, конечно, читать не будут, но только кое-кто все же прочтет.

— Да ты постой,— сказала бабка.— Пусть хоть кто-то. Но они ведь, выходит, тоже книгу твою читают и про нее тоже соображают, что в ей правильно, а что — одни поганки.

— Вроде бы,— сказал Бахус.

— Этак получается, что они и про твою книгу опять же могут книгу написать.

— Так и получается,— сказал Бахус.— И пишут.

— Не-е, не дело это,— сказала бабка Фаня.— Какая же это работа? И не нужна она никому. Вон, хозяин твой, Вельямин, что ли...

— Веня.

— Ну, Веня. Он инженер будет. Чё-то там такое сообразит или начертит — машина получится. Это вот работа. А у тебя — нат.

— Я и сам так думаю,— сказал Бахус Фане.

— А раз думаешь, так чего же не бросишь поганку эту, тьфу ты, господи?!

— Другое и не умею,— сказал Бахус.— А за это, иакие ни есть, деньги платят. Есть-то надо.

Бабка Фаня что-то Бахусу возразила, потом стала благодарить за нательный крестик, который по ее просьбе Бахус привез из города и подарил ей (Крошка Марципан слышал об этом впервые), бабка сказала, что старый ее крестик то ли кто-то спёр у нее, то ли сам потерялся, теперь же — все хорошо, спасибочки огромное, и помирать не стыдно. Бахус ей возразил, что помирать ей рано... Словом, их разговор куда-то вильнул, рассыпался, и тихо Крошка Марципан ушел дальше искать подосиновики.

...Четверо, они уже подходили к Крошкиной деревне. Кроме него — все потные, веселые, с грибами. К счастью ли, к огорчению — Рита шла с Крошкой не рядом, а платье ее при спокойной ходьбе казалось Крошке оскорбительно длинным. Луг справа от дороги был не очень большим и — до леса — узким. Хорошо уже был виден полковничий дом, а чуть выше в некрутую гору и подальше — и его, Крошки Марципана, дом. Нелепо было не показать его, хоть и издали, он и показал, и жена его бывшая, и потная, с голыми руками Рита неизвестно чему поохали, а потом еще пару раз: поднявшись на высокое крыльцо, а после — войдя в длинные сени, в главную, большую комнату, где столбом возле стола неловко стоял Бахус. Интересно, подумал Крошка Марципан, глядел ли Бахус на Риту в окно, когда они шли лугом.

С некоторой суетливостью Крошка перезнакомил прибывших с Бахусом, тот, подавая руку, говорил «Евгений», и жена Крошкина тут же заявила, что видела его в автобусе, и добавила, что же вы, мол, не показали нам, как идти в деревню: конечно, разумно добавила она, вы могли и не знать, что мы к Вениамину идем, но название деревни-то слышали...

— Слышал,— сказал Бахус.— Извините. Но вам уже стали в автобусе объяснять, а я знал, что пойду короткой дорогой, она труднее.

— Мы же с вещами были, помогли бы,— кокетливо и добродушно сказала бывшая Крошкина жена.

— Да. Извините,— сказал Бахус.— Я видел, подумал, но...

Более он ничего не добавил. Скукожился, подумал про него Крошка и тут же объявил обед, что-де скоро будет обед, и поставил на плиту, ловко отпихнув ножом конфорки, суп макаронный с тушенкой и второе — тушенку с картошкой, а Дениса вывел на крыльцо, показал ему дом бабки Фани, научил, что ему сказать бабке, от кого он и зачем пришел, а именно — за луком зеленым и за укропом, беги, малыш, наслаждайся, школа не за горами... Женщин Крошка усадил чистить редиску, которую он привез из города, и, когда еда подогрелась и вернулся с зеленью счастливый Денис,— можно было начинать, а обед, как всякое застолье, допускал незамысловатую и несколько расслабляющую атмосферу. Мол, передайте мне, пожалуйста, хлеб, да нет, просто рукой... Спасибо... Пожалуйста... А не могла бы я вас видеть на выставке Филонова?.. Вполне, вполне (и это «вполне» можно было лепить, вовсе не считаясь с реальностью)... Бахус почему-то сказал этой Рите, что видеть она его на выставке не могла, он там не был, но...— нате вам, ай да франт! — вот он привез с собой из города немного водочки, так не желаете ли рюмочку к обеду?..

— Отлично,— радостно закричал Крошка, а Денис робко и уныло спросил папу-Крошку, а как же, мол, рыбалка-то, и Крошка сказал, что все будет «вел»,— напиваться тут никто не собирается. Бывшая жена Крошки, Нелли, разохалась на свою девичью (видите ли!) память и попыталась заставить стол едой, привезенной ею из города, но Крошка начальственно и благородно все отверг, оставив на столе одну из двух баночек кильки, привозу которой нимало удивился и подумал, что либо Нелли его эта... того (чего «того» — он не сообразил), либо и она, умница, привезла с собой водчонки.

Выпили по первой (Бахус только пригубил, а Рита-красавица — краем глаза Крошка держал ее в обзоре — маханула свою рюмку разом). Тут Нелли и сказала, что «Запорожец» ее чего-то расчихался, а то бы они... и так далее, а Рита сказала, нежно облизывая губами белую молодую головку лука, что у них в КБ выступала рок-группа, лидер-гитарист (он же — вокалист) — дрянной, но тексты песен политически острые, раньше бы за такие тексты... Денис спросил, тетя Рита, а что за группа, а та сказала: «Ах, не знаю, Дениска, не хочется сейчас даже пытаться вспомнить»,— и Крошка Марципан подумал, что вот это вот и есть та идиотская, но легкая чушь, которая никого ни к чему не обязывает, но непринужденное общение создает запросто и из-за стола те, кто не знаком, встают как бы уже знакомыми, и хотя это видимость, конечно же,— большего и не надо, лишь бы попроще было. Даже с Бахусом получалось вовсе неплохо, в разговор он вступал редко, а то, что не по его воле, не по Бахусовой,— не имело значения: на свой лад он вполне «общался», и никому от него и за него неуютно не было.

Вторая рюмочка (не для Бахуса, конечно) прошла, как говорится, «соколо́м», третья — «легкой пташечкой», как-то всем (или почти всем) стало уж вовсе легко, и после того, как Нелли убрала со стола тарелки из-под супа, а Рита, мягко покачиваясь, принялась выставлять тарелки для второго, Нелли, бывшая Крошкина крошка-Нелли, совсем уж раскрасневшись, сказала: «Вень, можно тебя буквально на минуточку? Буквально»,— и Крошка Марципан, нежно ей улыбаясь, ответил: «Об чем речь, дорогая! Всегда к твоим услугам! Хоть на минуточку, хоть на сто!»

Она выпорхнула первой, закрыв за ними дверь, в сени, потом на крыльцо, села на

корявую лавочку, Крошка закурил, она потянулась губами к его горящей сигарете, Крошка, устранившись от нее, выдал ей «свежую», она, поджав губы, закурила и, закашлявшись, сказала, зыркая глазками по окрестностям:

— Вень! Все же прости, мне неловко. Не были, не были — прикатили. Без спросу. Да не вдвоем еще. Но я, честно, звонила тебе и решила...

— Тут ошибка,— сказал Крошка Марципан одновременно весело и сухо.— Ошибочка. Я мог не быть и дома, и на работе, но и здесь не быть тоже. Простая логика.

— Ну да, ну да,— сказала Нелли.— Это уж были бы наши издержки. Не в том дело. Именно застали тебя без спросу, прости. Денис тут заскулил, хочу к папе на дачу, хочу к папе на дачу, ребенок все-таки, звонил тебе — всё мимо. А тут еще Рита...

— А что Рита? Женщина вкусная...

— Прекрати!

— Ну да?! Мы с тобой, однако... Да и в гостях ты. Не горячись. Женщина она очень вкусная, но...

— Вот именно, «но»... Оттого и неловко. С мужем она разошлась и буквально два месяца сохнет, бесится буквально, по психиатрам пошла...

— Но приятель-то мой, Бахус, вроде бы тут ни при чем, а? — вдруг вовсе уж строго сказал Крошка Марципан.

— Да само собой, об чем речь. Она же и не видела его раньше. И я не видела, хоть и знала, кто-то у тебя тут может быть.

— Да брось,— сказал Крошка опять вяло и добродушно.— Сын захотел, какие разговоры! Не одному ж ехать.

— Ну да. Но Рита-то...

— Да бог с ней. Мне ее заметные прелести не мешают, завтра я уматываю.

— Но все же! Ты послушай! Сидит у меня целыми вечерами: я не могу больше, туда ее зову, сюда зову, театры-шматры — ничего не хочет, подай ей в кровать ее бывшего мужа, или врача, или лекарств кило, или беседуй с ней часами про ее же мужа, как она с ним... юг, там, Гагры, горные лыжи, кабаки... А тут Дениска про твой домик вдруг заговорил, а она и ляпнула, аж вскочила, ох, мол, вон где рай-то, наверное! Ну что мне было делать?! Ты прости — загибается баба. А баба хорошая.

— Пойдем дообедывать,— плюя на горящую сигарету, сказал Крошка.— Все «вел»,— добавил он, думая о следующей рюмке.

— Спасибо тебе,— сказала Нелли.— А я тоже водочки взяла.

— Колоссально,— сказал Крошка.— Ты — лучшая. Ну, пошли.

Когда они вернулись в избу, Рита как раз начала раскладывать по тарелкам второе, Денис сидел молча и водил пальцем по этикетке водочной бутылки, а Бахус, похоже, заканчивал ответ на чужой вопрос:

— ...я чаще гуляю, брожу... сосредоточиваюсь, что ли. Или рассредоточиваюсь... вот...

Рита, увидев Крошку и Нелли, промолчала, хотя вроде бы собиралась диаложец продолжать.

Крошка, никого не дожидаясь, маханул четвертую порцию водки, тут же — пятую, почти умоляющего взгляда сына он не видел и принялся за второе. На душе у него появилась благодать, все нежно, ровно, завтра уедет, а вернется,— бабья уже тут не будет, хоть она и оч-чень высокого полета — Рита эта, а сейчас — еще пару порций водчонки, да второго блюда навернуть побольше и чайку крепенького — все выпитое на рыбалке мигом выветрится. Он не заметил, как Дениска встал, но почувствовал на своих крепких плечах его руки и как сын ритмично и сильно нажимает ему на плечи, не хочет, видно, подлец, чтобы его папаня пил. Он обернулся и сказал Денису:

— Сейчас чайку — и дунем на рыбалку.

Денис расцвел, сказал, что чай пить не будет, лучше водички, и где же водятся тут черви. Во, сказал Крошка, умница, и объяснил, где лопата, где банка и где копать. Дениска умотал за червями.

Чай пили уже как-то вальяжно, глоточками, разомлев, хлюпала чаем (не разучилась) Нелли, Рита — неожиданно строго; вдруг все замолчали, а о чем только что говорили (да ни о чем), Крошка уже позабыл и вскоре встал из-за стола и вышел на крыльцо, в избе еще кивнув Бахусу. Тот сразу тоже вышел, извинившись перед дамами.

— Я с сыном — на рыбалку,— сказал Крошка Бахусу.— Контра эта, увы, приехала на неделю, до моего возвращения. Не выгнать. Тем более — сын.

Бахус смущенно молчал: какие, собственно, у него уж особенно могли быть претензии? Крошка это почувствовал, но, однако, посчитал, что, чисто по-светски, извинился он перед Бахусом правильно.

— А ты-то что делать будешь? — спросил он у Бахуса.

— Гулять пойду,— сказал Бахус.

— И куда?

— Да туда вон,— Бахус махнул рукой в сторону полей.— Я там бывал раньше... там... красиво. На вторую маленькую речку.

— А зачем ты высокие сапоги-то припер? — спросил Крошка.

— А топко там.

— А рыба в той речке есть? — спросил Крошка Марципан.

— Да я же в этом не разбираюсь.

— А ты удочку возьми, я дам. А червей сейчас сын притащит.

— Да не умею я,— сказал Бахус.— Я так.

— Возьми-возьми,— сказал Крошка.— Вдруг захочется — все веселее.

Он повел Бахуса обратно в избу и стал выбирать ему удочку попроще и объяснять, что к чему. Дамы сурово мыли посуду, и тут началось то, из-за чего Крошке было заранее неуютно.

— А кто куда собирается? — как бы безразлично спросила Нелли.

— Я с сыном — рыбу ловить,— почти сухо сказал Крошка.

— А вы куда? — неуловимым движением вдруг приблизившись к Бахусу, спросила у него Рита.

— Гулять... далеко,— сказал Бахус. Только-то и хватило у него сил на это «далеко», чтобы попытаться хоть как-то отстоять свою здесь обособленность.

— Ой, а можно я с вами? — спросила Рита голоском, за который Крошка Марципан либо ее придушил бы, либо без слов, одним резким движением бросил бы в копну сена.

— Я не буду вам в помеху, правда же,— чуть ли не простонала Рита.

Вот, вот оно, подумал Крошка Марципан, начинается. А ведь тихий-тихий, но откажет, откажет он ей.

— Ну, отчего же... пойдемте,— сказал Бахус с некоторой наигранной теплотой.— Там, правда, сыро, куда я иду.

— Ах, глупости какие,— уже бодро почти сказала Рита.

Ну, вот и другое, подумал Крошка, теперь у меня в компании любимая Нелли: бросать ее одну,— пропади все пропадом,— неудобно, мать твоего ребенка все-таки, а сама она к чужому Бахусу и в помеху несчастной своей сумасшедшей Рите, надо думать, не попросится. Да черт с ними со всеми, завтра уеду.

— А мне с тобой и с сыном на речку можно? — злясь, что Крошка вынуждает ее это произнести, сказала Нелли.

— О! — сказал Крошка.— Об чем речь? Не в доме же сидеть.

— Ах,— сказала Нелли.— Ну почему же. Могу и похозяйничать. И возле дома — рай.

Ну да, хозяйничать; кое-как с ней расстался, чтобы вообще никогда ее не видеть, а она тут вдруг — прыг неизвестно откуда и с ходу — *хозяйничать*, нате вам, радость великая,— потихоньку свирепел Крошка,— только этого нам, твою мать, и не хватало, но тут же вдруг успокоился: возьмет на берегу Фанину лодку, в нее только двое и влезают, а крутая дама с личным «Запорожцем» может и на берегу позагорать. Так-то вот.

Бахус с этой сумасшедшей ушли раньше, как только Дениска принес червей. Не надел свои высокие болотные сапоги, подумал Крошка про Бахуса, шиш он поведет *эту* в дорогие его, Бахусову сердцу, места. Я-то бы повел, с остервенением подумал он, на руках бы понес *такое* тело,— тяжело, да?! — через плечо бы перекинул, но понес.

Вернулся Крошка Марципан ровно через неделю и, еще в Питере, давно перегорев, садясь в автобус, подумал, как же там развивалась в его деревне ситуация и во что развилась. Да ладно, не спалили, дай бог, домишко,— и то хорошо. Далеко еще от Крошкиного гнезда, «на шосьте», на автобусной остановке вся четверка встретила его, ждали, улыбались. Сын, загорелый как черт и какой-то просветленный, обнял его, а после, обхватив поперек, попытался даже оторвать от земли. По дороге к дому царило какое-то идиотское полувеселье, только сын и казался нормальным, да и Бахус — тихим и, как всегда, немного смущенным. Опять собирали грибы, не считаясь с тем, что на Крошке был приличный по весу рюкзак (Бахус же молча шел с Крошкой рядом). Вскоре Бахус попытался рюкзак у Крошки отнять, но Крошка отвертелся и с благодарностью похлопал Бахуса по плечу. Естественно, это была суббота, и, естественно, отъезда гостей, кроме остающегося Бахуса и только, может быть, уезжающего сына, приходилось ожидать лишь завтра, к середине дня, но это так, ерунда, все равно ведь довольно скоро уедут. Избу не спалили — и ладно, а то бы не такие веселые встречали. Некоторую ревность и досаду он испытал, убедившись по возвращении, что новую его комнату в хлеву — уютный этот чайно-водочный уголок — основательно обжили здесь без него, хотя, возможно, и без водки. Но и это — хрен с ним: начали-то все чаевничать под тентом еще до его отъезда. В ожидании и приготовлении обеда все чего-то суетились (не Бахус, конечно), пообедали с водочкой, но и до обеда Крошка почувствовал, что все (опять-таки кроме Бахуса) вели себя иначе, чем до его отъезда, не чрезмерно, конечно, но достаточно вольно и с обидным всеанайством, почти как старожилы. После обеда (от обеда, что ли, и от жары) суета спала, но витали в воздухе даже Крошкиной щекой угадываемые взгляды, какие-то переглядывания, кого и с кем — этого Крошка уточнить не мог или не захотел, просто налепетывал сытым языком какого-то легкого вздора, и тут же они с Бахусом быстро оказались наедине, улегшись на травке за хлевом.

— Ну, как тут... было? — спросил у Бахуса Крошка.

— Ничего, неплохо,— ответил тот.
— Не замотали тебя?
— Да нет вроде,— сказал Бахус, вздохнув.— Ну, были, конечно, какие-то флюиды, немонтаж: так это ведь всегда.
— То есть без острых пиков, без взбрыкиваний? — попытался окончательно просветлить почти уже готовую к выбрасыванию картину Крошка.
— Да вроде бы без,— тихо прошелестел на жаре голос Бахуса, и Крошка Марципан почувствовал, что ему неохота да и неловко уточнять, как именно они тут контачили, наседали на него все, на Бахуса, или только Рита, или, может, и Рита не наседала. В душном, до испарины, полдне разговор не выстраивался, и, в общем-то, и не так уж это было и важно, да и партнер был ясный — Бахус, разве что все-таки как-то хотелось знать, что же здесь происходило или ровным счетом — ничего, дачная неразбериха, тягомотина и общая лень.

Но все прояснилось поздним вечером, когда Денис захрапел, а все отправились в хлев, под элегантный навес — пить водку и играть в подкидного. Крошка вдруг почувствовал беспокойство и тут же отгадал его природу, так как выбрал себе чурбан для сидения — пониже, хотя годный для того, чтобы видеть карты, а на один из свободных поставили горящую свечу,— кроме прочих, на столе,— сказав, что так будет светлее. Свет боковой свечи проникал под однолапый стол, с более низкого пенька это пространство под столом было хорошо обозреваемо, и в мягком полумраке Крошка Марципан неплохо видел длинные, в отдыхе вытянутые и с обнаженными коленями, слегка мерцающие бликами на нежных полноватых икрах — ноги этой Риты, этой, кстати — некстати ли, царствующей тут бешеной субстанции. Лишняя она тут, но очень, ч-черт побери, нужна, подумал Крошка.

Карты (вот ведь номер!) привезла сюда, оказывается, умная Нелли. А она часом позже, когда водка не столько всех подкинула, сколько захмурила (а игра и вовсе стала вялой и совсем уж безразличной для Крошки, хотя он-то, пожалуй, посидел бы еще часок, поигрывая да поглядывая в бешенстве под стол), она же, бывшая его умная Нелли, потягиваясь и будто бы счастливо жмурясь, сказала, что день был жарким, что день был от встречи хозяина-Крошки — чрезмерно волнующим, и даже, пожалуй, крепко водочным, что и перекупались они, надо полагать, и тянет в со-он, и вытащила Крошку «на пару минут» в темноту. Крошка обозлился, но и насторожился и не захотел садиться на крыльцо и беседовать возле дома. Небо было чистым, скоро вполне можно было различать в темноте, и он повел Нелли — как чувствовал — для разговора на светлеющую полулесную главную в деревне улицу-дорогу; правда, сделал он это (такую прогулку) без особого удовольствия: похоже было на старую нежную лирическую блажь, как когда-то, когда они с Нелли могли болтать о ерунде часами и лизаться, как котята.
— Так слушаю я,— сказал наконец Крошка, слегка зверея.
— Ох, нелегко мне об этом,— особо как-то выдохнула Нелли.
— Но ведь ничего же не случилось?! — рыкнул Крошка.
— Да, пожалуй, что и ничего,— сказала Нелли, опять вздыхая и не к месту беря Крошку под руку, а он обозначил, что это лишнее, поэтому и говорить-то непросто.
— Давай-давай,— сказал Крошка.— Снимай с меня нагрузки. Я не для этого здесь один обосновался.— И он отобрал от Нелли захваченную ею свою руку.
— Ну, первое-то просто, он ведь тебе сын, сам бы, наверное, завтра все тебе сказал.
— С ним — что, стряслось чего-нибудь, что ли? — зная, что это наверняка не так, спросил Крошка. Спросил раздраженно: чего она, собственно, вообще трогает сына, если ясно, что с ним все в порядке.
— Дениска вроде еще остаться хочет,— покорно как-то промямлила Нелли.
— Господи, твоя воля. Да пусть живет. И говорил я с ним об этом. Ну и дурь в тебе, красавица!
— А вот Рита...— начала Нелли.
— А что Рита? Что Рита-то?! Прижилась, что ли, а? Ну, давай, давай!
— Похоже, влюбилась она и поэтому...
— Во те раз,— сказал ошалело Крошка,— мигом влезая в идиотскую и зыбкую сферу многообразных чувств.— И что? Что твоя Рита?
— А это я уже за нее говорю, как бы по ее просьбе: она тоже очень хочет остаться на недельку.
Крошка даже многолико ахнул внутри себя.
— Она что, в отпуске? — задиристо сказал он не самое главное и добавил: — Елы-палы, Нелли дорогая! Здесь же какой расклад?! Меня для высокой любви неделю не было, в страсти к нашему ребенку она бы не призналась, значит, объект ее — Бахус? А?
— Да нет, на бюллетене она...
— Знаешь ли,— сказал Крошка Марципан залихватски просто.— Ты, извини, сама на мою голову свалилась неизвестно почему и откуда и еще ставишь передо мной крутые и лишние задачи, а я ведь здесь, уж извини, ото всего отдыхаю, а никак не для решения проблем приехал. Тем более — чужих.

— Да понимаю я,— ну что же...
— А ты пойми еще раз! Сына я оставлю с радостью, Бахус — мой приятель, но даже трое нас — это не то, о чем я мечтал. А уж посторонняя женщина — это же кагал, орава.— Крошка, окажись он на мгновение умнее, понял бы, что щеки его ввалились.— Посмотри, норова, какое небо! Ну, кто она мне, кто? Может, и Бахус в нее втюрился?
— Он — нет,— сказала Нелли.
— Что же, теперь с новым ее горем,— мне о ней всячески заботиться?
— Вроде бы получается именно так.
— Так ни нелепо ли тебе, все соображая, даже заговаривать об этом?
— Да господи! Да я и не хотела. Она же на меня давит!
— Она что — не в себе, что ли?
— Ну, конечно! Будто я тебе не говорила!
— Говорила, говорила. Но те ее закидоны, с мужем — это одно, а шашни с Бахусом — другой коленкор. Она понимает же, должна, что лишняя она здесь, погостила — и будя. Не может, что ли, уехать и дождаться его возвращения? Он же здесь на неделю всего.
— Ну сумасшедшая она, пусть, ладно, но ведь не идиотка полная. Да, может, в городе ей ничего от него и не светит.
— Это *ее* заботы,— почти визгнул Крошка Марципан.— Или ты думаешь, Нелли, что мои это заботы?! Что вот я — хозяин тут, приглашал — не приглашал ее, а принял все-таки, и теперь...
Крошка мотнул головой в сторону (а в другую сторону, убыстряя тем самым виденье, мелькнула в темноте по светлеющему фону дороги зыбкая тень то ли змеи, то ли длинной ящерицы или светленькой острозубой ласки).
— Да что ж говорит,— Нелли вздохнула.— Не твои это вовсе заботы. Да и он вроде не очень-то с ней и считается. Иногда, с утра — шмыг,— и нет его. Без нее уходит. Чуть ли не до вечера позднего. Жратву незаметно за день заготавливает, прячет. Почему-то в высоких сапогах исчезает, а удочку не берет.
— Так что же ты голову мне дуришь? — сказал Крошка.— Чего ей здесь, когда он от нее валом валит?!
— Господи, Вень,— сказала нервно вдруг Нелли.— Но ведь все-то ты сам знаешь и соображаешь. Женщина она психованная, влюбилась: ей и до ночи его ждать хватает, лишь бы увидеть.
— Вот песья жизнь! — сказал Крошка.— И откуда вдруг тучи находят? Чего? Вроде — *мой* дом, желаю побыть один,— на тебе! Ч-черт! Ну ладно, ладно. Выделю я им дальнюю комнату. Пусть!
— Как это — комнату?! Целую? Да Бахусу твоему это вовсе и не нужно.
— А-а-а?! Вон оно куда повело?! Ну да, не сообразил я. Стало быть, ей — *отдельную* комнату, а нас — троих мужиков — в одну?! Вовсе шикарно! Ее я грей, чтобы она была поближе к Бахусу, а его — чтобы он был от нее подальше?!
— Ты уж прости меня,— сказала Нелли.— Ну, влезла я сдуру, влезла. А так, мне — что? Откажешь Рите — так откажешь. Тут ты хозяин.
— Гаду лысому! — подлинно почти завизгнул Крошка.— Надоело. Слабый я человек. Пусть живет. Пусть! Но ты скажи ей: если бедный Бахус вдруг отсюда от нее сорвется — пусть с ним валит!
— Ой, да она и сама, я думаю, не останется,— почти радостно сказала Нелли, опять хватая Крошку под руку, а он уже плюнул на все, не отстранился.— Конечно, Вень, с ним она и уедет. Спасибо тебе, Вень, огромное!
— Но учти, Нелли,— это Крошка сказал уже размеренно и спокойно.— Бахус — система не сладкая. Прижмут его — он может *так* один свалить, что твоя цаца это только назавтра и заметит. Объясни это ей, пусть тогда тоже уматывает. Без слов. Всё. Пошли. Спать хочу.

Из-за того, что Денису, например, ситуация была вряд ли ясна, или, вдруг, она была ясна всем и робкому отроку — тоже, проводы Нелли, только Нелли, на следующий день выглядели натянутыми. То есть все, или почти все, кое-как старались вести себя таким образом, будто все происходящее — нормально, только Бахус едва заметно подрагивал, а Рита эта была на каком-то сизокрылом валете, пыталась шутить, лихо петь, а то и норовила впиться глазами благодарно Крошке в глаза, и как ни было ей худовато, отъезду Нелли она, похоже, радовалась: если не будет никого рядом с ней (а на Крошку с сыном она не рассчитывала) — куда больше вспыхнет у нее смелости выследить, если надо, и увязаться за Бахусом в края болот. Все бред, думал Крошка Марципан, радостно срывая цветочки, которые вскоре должны были сопровождать Нелли,— вскоре и поскорее бы! — все бредятина, а сумасшедшей царице-Рите предстоит с Бахусом то, что нам — нет-нет нет — ни за что не надо. А будет она гулять одна, ему, Крошке,— тягомотно. Или если вдруг засядет в избе, в углу, камнем, и глаза — в одну точечку... Что тогда? В лодку она к ним с сыном не полезет; просекла, надо полагать, за неделю, что это если и не нескромно,

то физически вовсе неисполнимо. А еще вспугивала Крошку одна несложная радостная мысль: останься тут Рита по любым, кроме наглой любви к Бахусу, причинам, и та гадость, что здесь их четверо, а не он один,— мигом бы стерлась, смылась, сыну бы он занятие нашел, Бахус, похоже, и сам его имел, а уж применение неисчерпаемым Ритиным силам с помощью лодки, уносимой течением вниз, «за медведицу», с помощью ах-цветочков и ох-бабочек, высокой травы, сена в копнах на далеких пожнях и кустов он бы, Крошка, вполне нафантазировал. Ну какие у нее ноги! — смотреть страшно. А ведь норовит подарить их, если уже не подарила,— мотыльку-Бахусу, надо же.

Поздним днем, идя тропою к реке вместе с сыном, Крошка столкнулся с бабкой Фаней. Та перла на себе в дом средней величины, но тяжеловатую вязаночку сена: люди из поселка ранние стога с их лужков увезли, а Фаня пошла и нащипала по крохам мелких брошенных остатков, и еще сходит раза два, а то и три, зимой коза тоже исть хочет, как и мышь, как и жирафа, сказала она.

— А твой-то как, гость? — спросила Фаня.— Все книжки про книжки пишет небось?

— Да ничего он не пишет,— сказал, тихо шагая уже с Фаниной вязанкой, Крошка.— Что ж, по-твоему, ты бы в городе только за сеном и ходила?

— И то верно,— сказала бабка Фаня.— Да он же и сам мне говорил, что не дело это — книжки-то про книжки писать. Никакое не дело.

— Вот он его и не делает,— сказал Крошка.

— А что же тогда делает?

— А ничего. Спит, ест, купается, гуляет...

— С девкой гуляет? Да и видела разок. Справная, статная. Платьишко, правда, к пупу ближе.

— Да не с ней он гуляет,— с досадой сказал Крошка, быстро глянув на сына.— Просто так, один гуляет, по полям, по лесам, по болотам.

— Вот уж радость,— сказала бабка Фаня.— Дурные вы — городские.

— И слава богу, что дурные,— сказал Крошка.— А то бы и не доперли сюда, в вашу красу приезжать.

— Думаешь, здесь вы уже и недурные?

— Ай, да и тут дурные, но не до такой степени.

«Степень» Крошкина была бабке Фане уже неясна, а для ясности — не было времени, козы и летом жрать хотят, если и не сена даже, да и Фанин дом был уже рядом, и она спросила:

— А ты тоже по хозяйству? За рыбой, что ли?

— За ней,— сказал Крошка.

— Ну и наловите сколько к столу надо. А лодку мою бери, не стесняйся: я теперь за рыбой, считай, почти и не ходок, сын все в поселке, бабы, да водку жрет, а сетки мои совсем расхудились. Спасибо тебе, что сено дотащил. Дальше я и сама допру. Сын-то у тебя — складный (Денис немного покраснел и отвернулся).

Крошка пристроил Фане сено на спину, и они с Денисом спустились к реке. По реке плыла женская, похоже, шляпка, а то и мужская, и один на всю страну презерватив — так подумал умный Крошка. Единственный презерватив на пустой таежной речке, подумал еще Крошка и додумал: вот писал бы рассказики, как некоторые,— и уже есть неплохое название.

В этот вечер ловилось бойко, они с Денисом надергали много и отменных сыртёй, а Дениске еще и повезло: выудил приличного голавлика. Само собой, ловил он взахлеб, ничего вокруг не замечая, до полной почти темноты: Крошкин план был — вернуться к ночи. Когда они с сыном подбредали к дому, свет в избе горел: Рита и Бахус молча играли в карты. Крошка оглядел Бахусовы высокие болотные сапоги, они были чистые и сухие, то ли Бахус давно вернулся, то ли вообще никуда не ходил один, но фланировал, сдавшись ненаглядной своей Маргарите, получая причитавшуюся ему легкую порцию ужаса от незнания, как быть дальше, хотя наверняка он знал как — *никак*.

Дальше Крошкино цветастое неудобство как-то стабилизировалось. Дни шли быстро и похоже. Крошка с сыном то шастал за грибами по лесу, то ловил рыбу. Вся четверка сталкивалась только за обедом, да и то не всегда. Крошка уступил Рите хозяйство безоговорочно, даже с ехидной какой-то глупой радостью, часто забывая о своем ехидстве, потому что делала она все вовремя и толково. Рыбу, правда, готовил он всегда сам,— никому не доверял. И воду носили только мужики, и чаще — «приучаемый к хозяйству» — мужик-Денис. Обычно поздним вечером, когда Крошка с сыном возвращались, Рита уже спала (если спала) в своей меньшей комнатке, а Бахус — на печке. Или же он молча сидел на длинной лавке, долго глядя в темное окно. Утром было чуть сложнее: либо Крошка сквозь полусон слышал, как Бахусу удается слинять из дома одному, либо, проснувшись вовсе рано, торопился тихо встать, чтобы не разбудить Риту, и уходил на реку сам, с сыном или один, если Денис во сне брыкался и отбивался, не желая вставать. Если же, проснувшись, он слышал, что Рита ходит тихонечко по избе, он чертыхался и не вставал до тех пор, пока не появлялась уверенность, что та ушла. Когда она все же уходила, Крошка знал, что ушла она, бедная и несчастная, одна, так как шагов Бахуса или шепота Риты он не улавливал, и, стало быть, Бахус ушел еще раньше. Иногда он слышал, как Бахус встает тихо первым, но тут же начинала скрипеть дверь Ритиной комнаты, будто она его, Бахуса, сторожила, лежа без сна с самого раннего утра, а то и всю ночь. В этих случаях (условно, правда) можно было узнать, ушел Бахус куда-то все же один или с Ритой,— по отсутствию или наличию болотных сапог. Отсутствие их наблюдалось чаще, но когда Крошка уходил первым сам, он старался не думать, в своей комнате Рита или незаметно ему выскользнула куда-то (куда?) совсем одна. На кой они ему черт, болотные-то сапоги, думал частенько Крошка, рыбу он не ловит, а если там, куда он ходит,— болота, то, опять же, на хрен они ему, полно мест, где болот нет и в помине — чистейший благоуханный бор.

Наступила суббота, и Крошка Марципан воспарил духом: завтра эта нескладная парочка уедет. Неясно было пока с Денисом, захочет ли он еще остаться на неделю или, насытившись здесь, выберет пионерский лагерь: мальчики, девочки, Леночки, Риточки, спорт, флирт, интриги и соревнования в джентльменстве, с соплей беды при неудаче,— но это уже была никакая не проблема, тем более, обратно в Питер ехать и свой дом искать — это не поиски ребенком дома по дороге сюда, да и Бахус выбрал назавтра ночной автобус, то есть сын не один поедет и в любом случае в Питере окажется утром, не ночью.

По тонусу и поведению Крошки можно было легко предположить, что вечером сегодня он склонен крепенько выпить, и так оно и сделалось. Он даже к рыбалке проявил небрежение и как-то умудрился подбить сына улечься спать пораньше.

«Спи, моя крошка, усни!» — несколько даже развязно и уже минут пятнадцать напевал он, нервно и весело сам готовя закуску, а метавшаяся по избе угрюмость одинокой и одичавшей Риты так его нимало и не тронула, не то что «не доставала», к тому же скоро явился и Бахус в своих высоких сапогах. Крошка, ликуя, объявил о позднем ужине с выпивкой, и Бахус вовсе никак не вяло выразил свое полное согласие, мол, устал сильно, да и отъезд завтра — можно и отметить. Рита — не при деле — засуетилась, и через пять минут уже, чтобы не мешать спать ребенку, они втроем уселись на Крошкиных пнях вокруг чудо-столика, под тентом, в хлеву, в раю. Пылали свечи, неспокойные их язычки метались от мягкого теплого ветра, заставляя метаться по стенам резко искаженные тени стаканов, бутылок и стволов самих свечей. Верхом на нерве Крошка быстро взлетел на легкое облачко легких же шуток и анекдотцев и, как хороший наездник, следил за тем, чтоб не переигрывать: ему не хотелось выглядеть радостным будто бы оттого, что он обретает, наконец, долгожданную свободу, а именно это его и радовало. Бахус скромно так иногда улыбался Крошкиным шуткам, а Рита — надо же! — несколько раз умудрилась громко рассмеяться, правда,— Крошка это легко, конечно же, заметил,— она пила охотней и больше обычного. А чуть позже, через полчасика... Ой, елы-палы, а Бахус-то, Бахус — тихий-тихий, а тоже распоясался маленько и рассказал даже, как он, отбарабанивая срок в армии (этого Крошка от него никогда не знал), прыгал с парашютом, его скособочило, унесло ветрами вбок, и он должен был утонуть, так как плавать не умел и не умеет, а парашют норовил приводниться на большом озере, но — вот ведь говорят, Бога нет! — парашют опустил Бахуса на единственный в озере остров, к тому же — малюсенький.

— А то бы, вот, утонул,— сказал Бахус даже как-то горячо и слегка еще больше смелея от собственного рассказа и еще одной, по ходу рассказа выпитой им, дозочки водки.

— Вот вы какой! Отчаянный! — с некоторой даже радостью сказала Рита.

Болтовня, в основном Крошкина, продолжалась, и этот поздний вечер, ночь почти, уже давно был похож не на вечер, не на ужин, не на компанейскую даже шумную беседу, но — прежде всего — на крепкую выпивку, и то, что Бахус был, все же, в играх со стаканчиком традиционно сдержан,— роли не играло: и Крошка Марципан и Рита пили лихо.

— А почему вы — «Марципан»? — смело и впервые спросила Крошку Рита. И Крошка, хохоча, охотно все объяснил, вовсе не думая о том, кто же его выдал — Бахус или женушка-Нелли,— и не обращая внимания на то, что слово «Крошка» в их болтовне тоже вполне фигурирует и небось подчеркивает его маленький мужской рост.

И вдруг — все лопнуло.

Неожиданно и без подсказки, что так будет, хотя — формально и задним числом — подсказка такая была.

Тихо чему-то смеясь, Бахус встал со своего чурбана и вышел наружу. Как-то отнестись к его выходу — смысла не имело: каждый ведь уже разок-другой вставал за этот вечер и вываливался из проема наружу — по нужде. Но через минуту раздался из темноты в тишине чистый и почти громкий, спокойный голос Бахуса:

— Спокойной ночи. Я — спать. С ног прямо валюсь.— И Крошка, да и Рита, конечно, услышали Бахусовы шаги вверх по крыльцу и как потом сначала открылась, а после закрылась за Бахусом дверь в избу.

Разная, но резкая перемена произошла и с Ритой и с Крошкой. Он-то явно почувствовал, что шутить по-прежнему, будто ничего и не случилось,— нелепо, не та у него слушательница, а точнее — и слушательницы никакой у него теперь уже нет, вся вышла. Он

помолчал немного, резко выпил и резко же поставил на стол стакан, потом, не закусывая, встал, подошел к проему из хлева и, опираясь на его края, выдавился,— не вылезая поглядеть,— наружу. Было полно звезд на темном небе, завопила и тут же сорвалась на бормотанье какая-то — со стороны болот — птица. Сдержанно кивнув, Крошка сказал не оборачиваясь:

— Ну что же... Через минутку-другую,— пусть Евгений уляжется,— и... детвора — спать пора.

Одновременно он услышал, как резко и не очень твердо встала Рита, ощутил ее шаги и саму ее рядом и не успел он поставить свою ногу наружу, как Ритины руки развернули его, сразу же она его, Крошку Марципана, обняла, уткнулась ему носом куда-то между щекой и шеей, и он явственно почувствовал, как ее трясет, колотит, и как она глухо воет.

Фарфоровыми ватными руками он обнял ее, а она приклеилась к нему, вдруг запричитав, что же это, что же это, что же это, ведь он ни капельки, ни капельки не любит, не любит, не любит меня. Спасительная Крошкина карючка — мелькнувшая четвертинка мысли, что Рита — не обычное женское существо, но некая субстанция, к которой следует примериваться как бы со стороны, раз уж она неделю назад всего с ума съезжала, что от нее отказался муж, а теперь и вовсе съехала, потому что полузнакомый какой-то человечишко пренебрег ее несказанной глубиной, нет, такая самозащита Крошку толком и не посетила. Каким-то образом он душевно участвовал в возникшей белиберде.

Лебедь эта, ворона пушистая, птенчик наш маленький, с глазами оловянными и от черных слез мокрыми,— она вдавилась в Крошку, и он сплющился и размяк от ее плотного, живого и подвижного тела, хотя он чувствовал вовсе не дарованную ему эту подвижность (таковой и явной — не было), но, скорее, угадывал эту, внутри пульсирующую струю ее плоти по каким-то любому острому глазу незаметным, разновысоким колебаниям. Крошка Марципан млел, он таял, как мед в струе кипятка, и при этом мелкими рывками напрягался, чувствуя ее зыбкий живот и грудь, но одновременно что-то надрывалось в нем, освживало его, потому что грудастая лебедь эта — выла, потому что ей было впору на нож лезть, потому что он был для нее — неизвестно *что*, а к Бахусу она летела всем сердечком (или всеми возможными нервами) и уж, конечно же,— всем своим изгибающимся телом, которым в этот вот момент так явно и так безотносительно к Крошке вся прижималась все же и именно к нему, к Крошке Марципану.

А она подвывала, все прижимаясь к нему и вцепившись в него ногтями, в он совсем уже почти терял себя от необыкновенности ее тела и гладкой, сродни газовой, смеси ощущений, пока она, Большая Маргарита, частично не помогла ему, бормоча, что же делать, что же делать, ведь она совсем погибает, гибнет, ведь она, ну да, да, конечно,— отдалась, отдалась ему, этому Евгению, этому Бахусу, гордо непьющему, этому ангелу, этому чудищу в идиотских и зачем-то огромных сапожищах, да, да, *раз* всего, всего единственный, до боли нежный разик, но отдалась, и уж вовсе ничего не значит, что она сама это с ним сделала, сама его замучила и вынудила, от этого ей только страшнее, а горькое то счастье — близость — она пережила, пережила на полную катушку, *та* и сейчас в ней живет и бродит, а Бахус встал и ушел, сразу, вдруг, просто *спать*, будто ничего и никогда между ними и не было, будто *завтра* и не уезжать вовсе...

Бедный Крошка, попав неожиданно в вертеп этих едких внезапных прыжков, трезвел, трезвел, и это было ему как бы в помощь, но одновременно он чувствовал мерзопакостный привкус озлобления: ему хотелось, пусть так, пусть ограниченно, но *совсем не непереживать* скрытые и резкие плавные качания ее, пожалуй, никогда ему такого не встречавшегося тела. И как в наказание ему за его же в себе неразбериху какая-то рваная железность, жидкий лед и дрожь — отпрянули, заменяясь то ли ватным облаком, то ли периной лебяжьего пуха, то ли какой-то небесной волной, у которой свой двигатель и с какой вовсе не видно земли: не переставая всхлипывать, черная лебедь легла губами в его, Крошкины, губы, мягко и твердо возвращая Крошку к себе, и все в нем нежно так перекосилось, а губы его, совсем твердые и пустые вначале, расправились, согрелись и раскалились, разве что неизвестно было, чувствует это она или нет, потому что сама она целовала его резко, бешено и все глубже и глубже. Крылья ее уже не царапали Крошкину спину, они гладили его всего упрямо и сильно, так что его оторвало вдруг от угла проема и мягко прислонило к древесной стене хлева. Он не почувствовал, удобна или неудобна его спине эта новая опора, уловил лишь, что крылья никак его уже не обволакивают, но через мгновение они снова были здесь, для него, сжимая его шею и подталкивая в глубину его губы. Потом он ощутил перьевый взмах, струйку воздуха, шее стало просторно, а мягкие перышки легли на техасский его ремень, по бокам, а после — метнулись к Крошкиной середине спереди него и вниз, и он обмер, улавливая, как что-то разбрасывается внизу, расстегивается,— трсь-трсь-трсь,— потрескивает, лопается, рвется, что-то приоткрывается, раскрывается и что-то холодит его внизу, и тут же молча всхлипнул, ощутив голые и быстрые Ритины пальцы. И уже не могло так случиться, чтобы он хотя бы на миг прыгнул в свое пионерлагерное изнуряющее детство и увидел себя в сложной свалке образующих темный внутри домик из поседевших и навсегда промокших щитов и особых при них, сугубо щитовидных, поблекших лозунгов, где он, спрятавшись от всего лагеря, стоял, съедая взахлеб то же, что ел и сейчас, только стоял он тогда совсем один, без Ливочек или Риточек,— совсем один на этом, белом тогда, свете.

Что-то сжигало Крошку в двух, таких, казалось, несхожих точках: наверху (губы) и внизу, там, где переливались, постепенно согреваясь, Риточкины обнаженные пальцы, и их он ловил собой куда тщательней, чем вовсе уж горячие и покусывающие его ее губы, напрягаясь, но как-то свободно напрягаясь все больше и больше; к никого не было в этом убежище, в этой недеревенской деревне, на этом ночном и таком темном свете, кто бы столкнул их,— его и Риточку,— и они бы, шатаясь и обмирая, но ушли-таки на какие-нибудь скупо белеющие в ночи жесткие доски, на бугристую землю, на сырой и плотный наклонный лесной песок.

И...— вот он! — Крошка Марципан услышал, не слыша, сдавленный ее губами, вымученный свой радостный вскрик и уже не уловил ее лебединую пушистую дрожь, как она осела вниз, больно сжимая его колени, а потом — исчезла: то ли упала, то ли он, не замечая, ее поднял и подтолкнул... Он увидел ее уже сидящей на земляном полу — щека на его пеньке, а волосы — с пенька вниз, и увидел себя — просто на пеньке, со стаканом в руке, который он плавно, дрожащей рукой, опрокинул в рот и, вило помотав мокрой головой, так же вяло что-то плеснул в стакан опять и погодя снова пустил эту жидкость в рот. Ни теплоты внутри, ни малюсенькой новой силы он не почувствовал, как не ощутил и нового угнетения и новой вялости. Только и было возможного, что сидеть, не падая, и угадать, как потом образовалось что-то иное, какое-то, как под водой, движение, шаги, крыльцо, дверь, дверь, шаги и маленький смазанный прыжок в сон,— это он уже никогда не вспомнил и вспоминать не хотел.

Бахус погиб на другой день, в воскресенье, похоже, приблизительно тогда, когда солнце начало склоняться к закату.

Крошка Марципан спал глубоко и долго, но в пришедшем уже утреннем полусне вставать ни за что не хотел, постанывал и вертелся, стараясь хоть как-нибудь затянуть свой сон и будто бы вспоминая, что сын тормошил его, он, Крошка, отбрыкивался, и теперь, кажется, сына, слава богу, рядом не было. Встал он уже очень поздним утром, чуть ли не днем, когда почувствовал, проснувшись окончательно, что спать уже невозможно, не получается. По вовсе теперь очевидному отсутствию сына и кое-каких снастей он решил, что тот на реке, а Бахус, видно,— на своей затяжной прогулке: болотных сапог его не было. Рита в избе совершенно явно отсутствовала тоже, это и проверять было не обязательно: даже если в своей комнате она лежала не шелохнувшись, тишина была бы совершенно иной. Тупую свою удовлетворенность Крошка обозначил согласным покачиванием головы. Неуют, который заметно разгуливал у него внутри, имел однозначное объяснение: пожалуй, вчера он с водкой несколько перемудрил. Он вышел из дому и поплелся к хлеву. Солнце светило очень свысока и ярко, и когда Крошка, жмурясь, вошел, а скорее, как-то неуверенно втиснулся в хлев, то из-за его полумрака и почему-то слепящего солнечного многоугольного пятна на земляном полу он не сразу разглядел в самом углу Риту на чурбане и с граненым стаканом в руках. Возле ее ног чуть наклонно стояла наполовину живая еще бутылка водки. Всякое соображение и необязательное движение вызывали в Крошке протест, смято как-то он пробормотал некоторое подобие «доброго утра» и, взяв со стола другой стакан, почти подошел к Рите, наполнил его кое-как водкой и, вернувшись к столу и сев, выпил быстро водки и сделал несколько больших из ковшика холодной воды глотков. Закурив и чуть посидев молча у стола, он снова выпил и тут же вышел из хлева в солнечное пекло, решив, что пить достаточно, и вернулся осторожными аккуратными шагами в избу. В избе, на лавке, тупо глядя в окно, он просидел не поймешь сколько долго. Потом явилась вдруг Рита, вошла в свою комнату и, не закрывая двери, тяжело и совершенно расслабленно свалилась на кровать. Минут через десять, когда Крошка заторопился умотать из дома, она вдруг вскочила и быстро вылетела наружу. В окно он увидел, как она, медленно уже и покачиваясь, идет к реке. Он все-таки вышел, сходил в хлев, убедился в предполагаемом: бутылка водки была пуста,— и тут же вернулся в дом. Найдя и развязав Бахусов рюкзак (вновь он увидел его так и не вынутый ни разу фотоаппарат), Крошка достал нетронутую бутылку водки, отвинтил ей голову и выпил с небольшой паузой еще две половинки стакана. Не дожидаясь результата, он быстро скатился с крыльца и побежал по песчаной тропе от дома налево и вверх. Мокрый и тяжело дыша, он остановился только наверху тропы, где она, не песчаная уже, шла через плоский лужок, и принялся рвать по краям его зверобой. Нарвав толстый снопик, он вернулся домой и, разделив снопик на десяток букетов, обмотал каждый проволокой с загибом на конце, повесил их на веревку в Ритиной комнате, к уже висящим, и снова уселся на лавку, тупо глядя в окно.

Мотоцикл он сначала увидел на дороге вдалеке, как он мчался еще до полковникова «особняка», и только потом понял, что едет мотоцикл к его, Крошкиному, дому, потому что тот свернул на песчаную тропу от полковника направо. Но Крошка так и продолжал сидеть, вновь тупо глядя в окно. Он даже отвлекся на постороннюю мысль, что время уже

несколько, хоть и есть солнце, поаднее, обеда *уже* не было, проскочил, Рита, Бахус — ладно, а вот Денис почему-то на обед не явился.

В дверь комнаты наконец постучали, потому что входную дверь Рита, видно, не прикрыла.

— Да,— сказал Крошка.

Вошел мужик лет сорока, седоватый, в ватничке на майку и коротких резиновых сапогах и очках.

— Вы тут хозяин? — спросил он.

— Я,— сказал Крошка.— Садитесь.

Мужик, помявшись слегка, сел на другую лавку, против Крошки.

— Я — лесничий здешний,— сказал он.— По делу к вам.

— Водки со мной не выпьете? — спросил Крошка.

— Нет,— мужик замотал головой,— нет-нет, спасибо.

— Слушаю вас,— сказал Крошка и четверть минуты потратил на выпивание и запивание граммов пятидесяти из чайной чашки.

— Вы бы...— начал мужик.— Одним словом, вот что. Мне сказали, что у вас тут приятель живет. В Верхнем Болотове сказали.

— Живет,— сказал Крошка.

— Как он выглядел? Во что одет? — спросил лесничий.

— А что, собственно, случилось? — спросил Крошка.

— Эх,— да ничего хорошего,— сказал тот.— Да ваш ли это еще приятель? Может, и не ваш.

— Он в высоких болотных сапогах,— немного волнуясь, сказал Крошка.— Куртка зеленая... да нет, скорее, выцветшая, джинсы — старые...

— А на голове что?

— Да шапочка дурацкая такая. Тряпочная, с пластмассовым зеленым козырьком.

— Все совпадает,— сказал лесничий.— Надо бы вам, раз так, поехать со мной и его опознать.

— Как... опознать? — сказал Крошка.

— Он умер, погиб,— сказал лесничий, вставая.

— Как — умер? — С Крошкой что-то сделалось, какая-то внезапная связка отупения, боли, страха, удивления и даже спокойствия при этом и полного неверия.

— Я расскажу по дороге.— Лесничий уже шел к двери, а Крошка, как привязанный, за ним.— С кордона я уже позвонил, через полчаса там милиция будет. Одну речушку мы с вами переедем, а там и пешком недалеко... до места.

Мотоцикл был с коляской, и, когда они вывернули на дорогу с тропы, Крошка остановил лесничего и сказал, что тут совсем рядом его пацан на речке, не взять ли его с собой.

— Пацан? — спросил лесничий.— Лет-то сколько?

— Да тринадцать.

— Не надо бы лучше,— сказал лесничий.— Рано.

— Я хоть сбегаю, скажу, что отлучусь, это мигом.

— Давайте,— сказал лесничий, вырубая двигатель.

Очень быстро почему-то Крошка побежал к реке. Спускаясь по луговому откосу к воде, он уже видел Дениса с удочкой в руках. Тот ловил с мостков, загорелый, почти черный, в одних трусиках, и на мостках же, но у самого берега, сидела, скукожившись и обхватив голые ноги руками, Рита. У Крошки было такое ощущение, что то, что он выкрикнул тогда, он выкрикнул, не то чтобы добежав до самых мостков, но уже начав бежать по склону обратно.

— Бахус погиб! — крикнул он.— Слышали?! Погиб!

Он запомнил, совсем уже убегая, сплющенное, непонимающее лицо сына и какой-то уменьшенный, пискливый, короткий вскрик Риты, когда он, Крошка, был уже совсем на верху подъема.

На мотоцикле они с лесничим быстро проскочили до первой, впадающей в главную, речки, перемахнули через нее (она была совсем мелкой) и скоро начали вязнуть в слегка заболоченной почве. Здесь лесничий остановил мотоцикл, и дальше они пошли своим ходом.

— Я несколько раз видел вашего приятеля издалека,— сказал лесничий.— По следующей речке, где он... как раз условная граница участка проходит. Как это все случилось — сам толком не пойму. Видимо, он шел прямо по дну речки; тут, в низовье, она медленная, не глубокая, но темная, тем более — ночью сильный дождь был, вода помутнела,— наверное, он брел по воде и омута не заметил: речка-то, странным образом, даже не расширяется, а яма глубокая и обрывом, сразу. Но утонул он не потому, что там глубина метра два с хвостиком... Ему одну ногу заклинило между толстых веток под водой, а второй он в капкан угодил. Сколько этот капкан пролежал в омуте и как не перегнил, да еще сработало — один бог знает. Я рядом случайно проходил, сверху шапочку беленькую и увидел, да и его самого сразу же. Еле вытащил.

Из-за цепочки редких кустиков Крошка понял, что впереди них и есть та самая речка.

— Это тут,— сказал лесничий.— Начал ваш приятель давно, с самого верховья, это километров восемь всего, речка короткая. Я его не раз издалека видел. Не будь случая, он бы все сделал вплоть до главной речки. Ему ерунда уже оставалась, сегодня бы и закончил.

— Что бы... закончил? — спросил Крошка.— Что ему оставалось?

— Да сами сейчас увидите. Он всю речку, метр за метром, от верховья до низа почти, от коряг и веток расчистил. Что затонуло, загнило — он все повытаскивал. Да вам понятно станет, вдоль обоих берегов эта гниль валяется.

«Станет, станет...»,— прицепилось вдруг к Крошке. Он подходил к речке, чувствуя, что его как бы тянет, клонит к болотной траве.

— Немного правее,— сказал лесничий.

Крошка прошел еще десятка с два шагов, увидел воду и тут же — Бахуса. Он лежал на берегу, на спине, мертвый.

— Это... он,— сказал Крошка лесничему, стараясь не глядеть в расплывшееся, почти чужое лицо Бахуса.

— Как его звали? — спросил лесничий, доставая маленький блокнотик и авторучку.

— Евгений...— сказал Крошка и добавил потом отчество и фамилию.

— Адрес помните? И где служил.

— В армии где служил?

— Зачем? На гражданке. Место работы.

— Да в какой-то конторе. Не знаю,— сказал Крошка.— И адрес в Питере только глазами помню. Он в коммуналке жил. На Авангардной.

— А родные?

— Нет у него никого,— сказал Крошка Марципан.

Затем он услышал треск моторов мотоциклов, и вскоре к ним подошли два милиционера и двое в штатском, может, следователь и врач.

— Опознали его,— сказал лесничий.— И товарищ этот все, что знал, рассказал. У меня записано.

— Куда вы его денете? — спросил Крошка у одного из милиционеров.

— Куда же девать? В поселок. Потом — в Питер.

— А мне как быть?

— Это вы о чем?

— Я... хоронить его поеду. Больше некому.

— Адрес вы его знаете? — спросил милиционер. Крошка кивнул.— Ну вот, наведете справку в морге в его районе.

— Я вам нужен еще? — спросил Крошка.

— Да вряд ли,— сказал всем лесничий.— И так все ясно.

— Мы заедем к вам, если что,— сказал Крошке второй милиционер.

Не оборачиваясь, Крошка побрел прочь, но все же вскоре обернулся и с досадой и какой-то неосознаваемой неприязнью к себе поглядел в сторону того места, где лежал Бахус, уже невидимый отсюда. Неуклюже Крошка как бы прощался с ним, а то, как мало он глядел на него, мертвого, когда был рядом, так мало, что не увидел капкан, который наверняка был где-то тут же,— это он уже осознал в автобусе, по дороге в Питер.

Он сидел, вроде все время глядя в автобусное окно — сначала еще немного светлое, потом уже — совсем темное, рядом с сыном. Рита сидела от них отдельно. Он все время молчал, а когда Денис задремал у него на плече, он уже и не пошевелился ни разу до самого въезда в утренний город.

Уже когда они вышли из автобуса, он задержался слегка, чтобы кивнуть Рите, та сделала то же самое, и Крошка, резко отвернувшись, быстро пошел с сыном куда-то в сторону.

Город показался ему каким-то нейтральным, мало знакомым — и Обводный канал, и спешащие на работу люди,— как некое чужое, но почему-то не вызывающее интереса место, где он находится проездом.

Леонид Григорьян

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Распогодилось нынче. Но грязь
Точно так же грязна, как вчерась.
И витийствуют психи и псиши
Так, как давеча, только красивше.
Точно так же бубнят ни о чем
Из вчерашнего варева томы,
А лазурной окраски фронтоны
Все равно отдают кумачом.
Как ни силься, а дело труба.
Изголяются окрик и график.
Спозаранку метется толпа
На заводы, в присутствие, на фиг.
До полудня — какая тоска! —
Перекур, анекдот в коридоре,
Час-другой постоим у станка,
Пошуршим чертежами в конторе
И — к гадючнику около двух,
Исторгая: «Навалимся! Ух!»
Отхлебнешь дефицитный дурман,
Чуть послушаешь телевещанье,
И шабаш, и пора по домам,
Как из зоны — на выход с вещами!
(Все суют в потаенный ягдташ
Банку с краской, сверло, карандаш.)
Но застынешь на миг, как шальной:
Как трепещет небесное пламя!
Как пронзительно пахнет весной!
Тополя помавают крылами!
Заглядишься на стройных наяд
И на прочие чудо-восторги...
Мать твою, а трамваи стоят!
Но зато колбаса в коопторге!
У прилавков клокочут бой,
Содрогаются стены от крика.

Боже мой, мы ведь дети Твои,
Отраженье Господнего лика!..

ВИТА НУОВА

Мир этот новый, увы, не нов,
И приближает, увы, распыл.
Пусть он порядком, увы, хренов,
Но по-другому, чем тот, что был.
Как тебе можется там, бретер,
После немыслимых виражей?
Нет, не Голгофа и не костер,
А маршировка вдоль стеллажей.
Вольная волн... Но где восторг?
Бывший невольник — теперь ничей,
Сам себе профорг и парторг.
Что ж пригорюнился без сволочей,
Без искусителей, без врагов?
Здесь, в безопасности, за стеной,
Нету ни вторников, ни четвергов,
Нынче и завтра — сплошной выходной.
Да не дается тебе строфа,
Краска сбежала с твоих ланит,
И вожделенная «Акстафа»
Не утешает и не пьянит.
Поразбежались друзья-врали,
Времени больше никто не крадет.
Поодиночке подруги ушли,
Да и последняя скоро уйдет.
А по ночам затопляют мозг,
Чтобы к утру прошипеть вердикт,
Членистоногое Кафка-Босх
Или Веничка-Венедикт...

* * *

Вот и настал отрезвляющий тур.
Время бессонницы, страхов, микстур,
Хныканья и сожалений.
Время распада. Держись, старина!
Вместе с тобой постарела страна,
Стерся песок поколений.

Не про тебя эта россыпь плодов.
Сколько готовился, а не готов.
Планы остались в наброске.
Негорделиво твое неглиже.
Впрочем, об этом сказали уже
И Ходасевич, и Бродский.

Время сумело тебя приструнить.
И не пристало, как прежде, винить
Глухонемую эпоху.
Чем увенчать неказистый итог?
Разве добавить свой сдавленный вздох
К их величавому вздоху...

Леонид Григорьевич Григорьян (род. в 1929 г.) — поэт. Публикуется с 1966 г. Автор книг «Перо» (1968), «Друг» (1972), «Дневник» (1975), «Пенаты» (1978), «Вечернее чудо» (1988), «Затерянная тетрадь» (1989). Переводит с французского (Камю, Сартр, Шевалье, Кача) и армянского (Эмин, Давоян, Шираз). Живет в Ростове-на-Дону.

ОТКАЗ

Хотя магистраль, а не шаткий мосток,
Но я в заграницы уже не ездок:
Не то чтобы зависть и злоба
Клокочут и тычутся в клетке грудной,
А просто терзает от жизни иной
Стыдоба...

Почто кровосос и щербатый юрод
Играючи взял мой народ в оборот,
То оптом глотая, то розно?
Почто торжествует бесстыдная гнусь?
Пора бы встряхнуться, да только боюсь,
Что поздно.

Не хочет родить опоганенный грунт,
Грозит и пугает бессмысленный бунт
Соблазнами адского рая.
Но с дымного неба на нас неспроста
Без устали кроткие очи Христа
Взирают.

Провинция глухо вериги влачит,
И, пот утирая, угрюмо ворчит
И руки разводит столица.
А где-то восходит Господне зерно,
Да, грустно, что мы разучились давно
Молиться.

Хотя магистраль, а не шаткий мосток,
Но я в заграницы уже не ездок,
Швыряю вам марки и франки.
Они пригодятся — на то и рвачи,
На то стукачи, трепачи, палачи
Охранки.

Эй вы, прикипевшие жадно к рулю!
Я вас не люблю, я отчизну люблю,
А братьев по духу — тем паче.
И вот на ближайшие тысячу лет
Я вам возвращаю иудин билет.
И плачу.

СТАНСЫ

Ты жил от боли трепеща,
От отвращенья к ровным грядкам.
И вдруг — «со всеми сообща
И заодно с правопорядком»?

Но как сыскать слова любви,
Когда убитых не отпели? —
О Господи, в такой крови,
В такой немыслимой купели!

Позавчерашние врали
Галдят хитро и ненавистно.

Отпрянь, смолчи, не говори —
Одно молчанье бескорыстно.

О нет, ты не забыл потрав,
Не поступился дерзким нравом.
Но если оказался прав
Тот, кто наследовал неправым?

Пусть жгутся слезы горячо,
Но ужасает край откоса...
Подставь же хилое плечо
Под немощь мощного колосса.

Александр Фролов

МЕДОВЫЙ СПАС

1

Когда медовыми очами
на нас глядит Медовый Спас,
есть искушенье — мелочами
свести к банальности рассказ;

и от приметы до приметы
брести, качаясь налегке...
Я не об этом, не об этом,
и не на этом языке...

Я не о том, что утром ранним
придет Господь святить плоды;
что август щедр на подаянья,
и всем воздастся за труды;

и не о том слепом величьи,
с каким свели в земле одной
евангелические притчи
с языческою болтовней.

Но я о том, что нас надули:
нам обещали день за днем
цветущий сад, и зрелый улей,
и вдосталь сот и меда в нем.

Нет ничего. Лишь гроздь ошибок;
засохший воск да ржавый гвоздь...
И ты как будто за спасибо
живешь, надеясь на авось.

2

А еще мы вспомним Персефону, а еще
не забудем вестников ее крылатых
в темных гротах, где едва лишь
выход освещен;
их упрямый труд с восхода до заката.
А еще в уме мы держим про запас:
между тайной пчел и тайной медосбора,
между тьмою — там и светом —
здесь, у нас,
существует связь неявная... Но скоро,
скоро осень, друг мой, и чем
ближе к сентябрю,
тем просторней сад и вдумчивей работа.
Эта жизнь тягучему подобна янтарю,
незастывшему, и быстрого не терпит счета
дней, недель, даров, рождений и смертей...
Снова Август ходит пасечником строгим
с дымарем, в броне брезентовой своей,
собирая дань и подводя итоги;
созывает пчел в чудной дощатый дом...

Неужели мы когда-нибудь умрем?

КОМПИЛЯЦИЯ

«Здесь мир стоял простой и целый...»
В. Ходасевич

Скребок зашкрябал по асфальту,
под ногтем пискнуло стекло,
и фановой трубы контральто
в мой мозг вонзилось, как сверло;
пила, визжа, вошла в осину,
под окнами мотор взревел;
и по доске невыносимо
мелок скрипел, мелок скрипел.

Когда-то девочка Психея
с улыбкой светлой и шальной
снимала боль мою шалфеем
и легкой птичьей болтовней...
Я все забыл — вот наказанье! —
не помню губ ее и глаз,
и лишь бубню как заклинанье
в который раз, в который раз:

«Я забываю... я теряю...
Психею светлую... бу-бу...

Александр Вадимович Фролов (род. в 1952 г.) — поэт. Публикуется с 1983 года. Стихи печатались в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева», в альманахах «Молодой Ленинград», «День поэзии», «Истоки». Живет в Санкт-Петербурге.

К щеке платочек прижимаю
и тихо трогаю губу.
Здесь зуб стоял... прямой и целый...
но с той поры... как Бог не спас...
во рту... и в мире есть пробелы...»

...В аду, должно быть, децибелы
визжащих пил достанут нас...

Когда б я знал... Да что об этом!.. —
упасть в разверстую кровать;
зудеть, бубнить, скулить фальцетом
и никого не узнавать...

На стенку лезть!.. Что остается,
тоскливый подводя итог? —
все *ВЕЧНОСТИ ЖЕРЛОМ ПОЖРЕТСЯ...*
Визжит пила. Доска трясется.
Скрипит, скрипит, скрипит мелок.

НА КУРСАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

За рассказом следует показ...
Что за превращенье — вот-те на! —
девушка, надев противогаз,
нам являет дятла и слона

помесь невозможную. Какой
гадкий и трагикомичный вид:
там, где локон вился золотой, —
там резина мерзкая морщит.

Нас окурят. Вас окурят. Всех,
всех в брезентовой палатке охмурят
и удушат под беспечный смех
востроглазых красных дьяволят.

Нас не станет, вас не станет, их,
никого... Один цветущий ад —
воплощенный сказочный триптих:
Питер Брейгель, Босх и Грюневальд.

Кто там — в джинсах — крутит хоботком?
(Где он прячет свой облезлый хвост?..)
С матерком веселым, с хохотком
на последний волокут допрос.

— Будь готов! — кричат.
— Всегда готов!
Страшный сон — еще не Страшный суд...
Не тебя ли, бедный мой Кристоф,
на носилках бледного несут.

ЛЕНЕ МИНДЛИНУ, САН-ХОСЕ, КАЛИФОРНИЯ, США

А еще известно: нельзя дважды войти в реку.
Но мы входим, дрожа от холода, от страха бледнея.
И куда нас несет наперекор миру и веку;
вопреки смыслу куда влечет слепая идея?

Что ж, можно было бы попытаться, но, кажется, поздно.
Жизнь сильна своим непрерывным, тягостным продолженьем.
Под каким небом первого дня очнешься грозным
с незнакомым знакомых созвездий расположеньем?

Под какой крышей — бетонной, может? пальмовой, может?
В термитном домике невесомом на сваях непрочных?
На сто-черт-знает-каком этаже? Что же
нам ждать от бреда нашего, снов полночных?

Может, и правда, плюнуть на все: не родовой же вензель —
в заклад?.. Забыть, забыться, слинять, всех одурачить.
Да не уйти от «великого и могучего», измученного донельзя.
Тут у нас почти все уже говорят: «на́чать».



ИСТОРИЯ

Фрезеровщик Петров никогда не читал Солженицына,
Но фамилию слышал наверняка.
Он тщательно руки обтер захудалой тряпицею,
Не выключая станка,

И поставил корявую подпись под строчками текста,
Сочиненного мною, что он и сейчас, и допреж
Презирал очернителей нашего строя и, дескать,
Коли плохо у нас, так извольте, месье, за рубеж.

Проведение этой ответственной акции
Нам доверил один популярный журнал:
Мне, дежурившей по редакции,
И ему — победителю в смотре за третий квартал.

...Я вспомнила эту историю возле могилы поэта,
Перед шершавой белесой плитой.
Над переделкинским кладбищем шествие бабьего лета,
День золотой-золотой.

Сколько цветов! Их багряное зарево
Греет усталую душу земли.
Их от щедрот покупают на местном базаре
Те, что любили поэта,
И те, что кляли.

Все мы простили себе. И покаянная фраза
Лезет с газетных страниц и трибунных речей:
Жертвы мы, жертвы — террора, застоя, приказа.
Жертвы. И вроде бы нет палачей.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ДРУГУ

Памяти Ю. С.

У самой автостанции — базар.
Точнее, клуб для поселковой знати,
Где главное — общенье, не товар,
И так случайно, вроде бы некстати,

Лежат на досках связки чесноку,
Лук высится оранжевою грудой,
А кто приходит со своей посудой,
Тому нальют на рублик в уголку.

И тетки, откровенно впав в уклон,
Плюются и ругают перестройку
За перебои с сахаром,
поскольку
Здесь в каждом доме гонят самогон.

По праздникам темно и долго пьют,
Спят до полден и маются похмельем —
Один и тот же вековой маршрут.
Все это называется весельем.

Здесь жил мой друг, неволей занесен.
Жил молчаливой, замкнутой улиткой.
На кладбище, под красной пирамидкой,
Теперь навеки успокоен он.

Исконный петербуржец, эрудит,
От города родного отлученный,
Он прянял здешний кров,
и скудный быт,
И тяжкий труд,
и честный хлеб свой черный.

За общею нехваткой мужиков
Он даже бы годился в кавалеры,
Но были здесь смешны его манеры
И знанье иностранных языков.

Теперь погребены и прощены
Все тернии его и все ухабы,
И вспышки той мгновенной тишины,
Когда его разглядывали бабы,

Пока он шел, минуя тот базар,
Судьбой, как жерновами, перемолот,
Всему покорен
и давно не молод...
Какое там немолод!
Просто стар...

НА ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКЕ

Секс-бомба с текстильного — номер один — комбината
Глухою порой, на пустынном трамвайном кругу,
От ветра к плечу кавалера приникла горбато
И словно его заклинала, скользя на снегу:

«Ах, если бы, если в тот день ты прошел стороной!
Еще ты не знаешь меня, а узнаешь — заплачешь.
Как дорого ты за свидание наше заплатишь!
Мой бедный, мой глупый, зачем ты связался со мной?»

С лица у парнишки сползала домашняя иротость,
И скулы твердели в предчувствии крови и драк.
В глаза он заглядывал ей, как заглядывал в пропасть:
Там скалы, обрывы, но сладок погибельный шаг.

А женщина-вамп, роковая красавица Ржевки,
Худая, курносая, в блеске дешевых румян,
Устав до костей от фабричной крутой пятидневки,
С восторгом язычницы свой сочиняла роман.

Она говорила с таинственным тем придыханьем,
Что в фильмах навылет сражает мужские сердца.
То вдруг напевала, то вся наполнялась молчаньем,
То пряталась, как в соболя, в воротник пальтеца.

Ей радостно было, что долго не видно трамвая,
Что дверь общежития ей открывать не сейчас.
Там дует из окон, и к Тоньке-соседке, зевая,
Пришел поночевщик на жесткий казенный матрас.

Ее возвращенье рассердит влюбленную Тоньку,
До собственной койки опять пробирайся, как тень.
...Уехал поклонник, вцепившись в вагонную стойку.
Девчушку из ткацкого тихо кружила метель.

Какие там тайны, откуда? Всего-то, всего
Скучалось по маме, мечталось одеться получше,
И не было денег на хлеб и чулки до получки,
И замуж хотелось до ужаса, хоть за кого...

Лариса Антоновна Никольская — поэт. Впервые опубликована в 1954 году. Первая книга стихов — «Зарницы» — увидела свет в 1964-м. Живет в Санкт-Петербурге.



Сарра Кульнева

СОРЭЛЭ

Посвящается светлой памяти
Наума Яковлевича Левина

Глава I. ОДЕССА

Помню островерхий кирпичный домик и множество ласточкиных гнезд под крышей; чистый двор, посреди которого росла высокая шелковица, вся усыпанная крупными черными ягодами; большую летнюю кухню с глиняным полом; медлительную гнедую лошадь, запряженную в бричку.

Это была немецкая колония в Зельцах, под Одессой, куда меня отдали грудным ребенком и где я росла до семи лет. В этой семье кроме меня было еще восемнадцать детей. Мы с молочным моим братом Петером были самые младшие. Готовила на всех сухонькая, быстрая, легкая старушка — Пессль-Бебль, как мы ее называли.

...Вот мы садимся по росту за длинный деревянный, до белизны выскобленный стол. Первым — отец, молчаливый, строгий человек, за ним — все остальные. Старшим ставилось по стакану молодого вина, малышам — по стакану кислого молока. Пессль-Бебль открывала крышку большого, вмурованного в плиту котла и подавала на стол блюдо, которое мне потом никогда уже не приходилось есть, называлось «нудлах». Такие колбаски из теста, ими прокладывалось дно котла, потом туда нарезалась картошка, свинина, все это закрывалось, томилось и когда подавалось — это было не только необыкновенно вкусно, но и красиво, под румяной корочкой, а запах какой. Пока отец не брал ложку в руку и не начинал есть, никто не прикасался к еде. Он начинал — и мы начинали.

После завтрака старшие садились в бричку и уезжали в поле, на виноградники, а мы играли во дворе и помогали в огороде.

В 1928 году мне исполнилось восемь лет. За мной приехала мамина сестра и увезла в Одессу. Первое впечатление от Одессы: жаркий летний день, я в длинном деревенском шерстяном зеленом платье стою возле трамвайной линии и, разинув рот, гляжу, как мне навстречу с грохотом несется по рельсам трамвай. И не вижу, что сзади тоже идет трамвай. Я оказалась между ними, они со звоном и грохотом разъехались, а ко мне, ошалевшей, в первый раз увидевшей это чудо — трамвай!,— бежит тетя с поднятыми в ужасе руками, кричит что-то...

Дом моих родителей на Базарной улице. Сейчас она, кажется, Кирова. Большая прямая улица. Квартира наша была на первом этаже и состояла из кухни, большой общей комнаты и спальни. Мама, пятилетний мой брат Боря, няня и я жили в общей комнате, отделенной от спальни дверью и плотной шторой. Там, в спальне, находился больной папа. У него был туберкулез легких и гортани, он почти не вставал. Изредка выходил из комнаты, молодой, очень красивый, бледный, смотрел на нас, а потом молча поворачивался и уходил опять в спальню.

Однажды мама с Борей ушли куда-то, няня стирала во дворе. Я была в комнате одна. Скрипнула дверь, отогнулась штора, и папа, в нижнем белье, страшно худой, остановился на пороге. Он долго смотрел на меня, а потом сказал: «Ну, вот и все, Сорэлэ. Нет у тебя папы. Умер твой папа».

Он еще живой и говорит, что умер! Я закричала, выбежала из комнаты, захлопнула дверь...

Через час квартира наполнилась людьми, началась суета, появилась кислородная подушка... К вечеру папа умер.

...Он лежал на полу. В изголовье стояли свечи. Мама и бабушка сидели по сторонам — все это наполняло меня чувством ужаса. Может быть, и не было бы такого ужаса, если бы не те последние папины слова, о которых я никому не сказала.

И на похоронах случилось страшное — папина старшая сестра упала в могильную яму, ее еле вытащили оттуда. Когда по еврейскому обычаю маме разрезали платье — такой символический жест, «шнайдн крие», обозначающий, что все отрезано, я, не в силах больше выносить навалившихся на меня впечатлений, потеряла сознание.

Больше месяца продолжалось тяжелое нервное расстройство. Не могла есть, мучили кошмары.

Когда я первый раз вышла на улицу, было уже лето. Я прислонилась к серой теплой стене дома и грелась на солнце, мне было уютно у этой стены. Прошла соседка, увидела меня и — на всю улицу, с распевом: «Сарра! Твоя мама выходит заму-у-ж?! Ее видели в театре!»

Это было как удар — мама выходит замуж! Я еще не могла поверить, что папы нет, не могла войти в комнату, где он лежал, и когда я услышала, что мама... Я не прощу ей этого никогда!

Вспоминая себя в те годы, я вижу маленькое строптивое существо, постоянно готовое к обиде, мученически принимающее очередную обиду, а вернее — кажущуюся обиду. Я была трудным ребенком! Если мама приходила с рынка и говорила, что сегодня все дороже, чем вчера, я не прикасалась к купленному, потому что эти слова я воспринимала как упрек, что я ее объедаю. Если она мне что-нибудь покупала, я считала, что она меня хочет задобрить, откупиться от меня.

Статная, дородная, с гордым холодным лицом, мама не очень-то пыталась разбираться в моих чувствах. Дети здоровы, сыты, одеты — значит, все в порядке. Да ей и некогда было. Она вела отцовское дело — небольшую кустарную мастерскую. В этой мастерской делали кровати, насосы для бочкового пива. Там было три токарных станка, на одном из которых работал, пока мог, отец. А когда отец заболел, на его станке стал работать другой токарь, по прозвищу Яшка-шкалик. Вот за него-то мама и вышла замуж.

Он был моложе мамы на восемь лет. Приземистый, широкоплечий, силы неимоверной. Он вырос на Молдаванке, среди воров. Мать у него была слепая, я у самого у него было плохое зрение — он носил очки с толстыми стеклами. Окончил он всего четыре класса. Любил выпить — не случайно у него было прозвище «шкалик». Но доброты он был необыкновенной. Его все в нашем доме любили за справедливость. Случалась ссора, драка, спор — шли к Яшке. Что он посоветует, то и сделают. Обворуют кого — опять к Яше. Яша выслушает, пойдет на Молдаванку, скажет: ребята, все должно быть возвращено. И все возвращалось.

Мы с ним подружились в тот день, когда он попросил меня почитать ему вслух «Хижину дяди Тома». Я читала, он слушал, и мы плакали оба навзрыд.

Я рано пристрастилась к чтению. Тогда в моде были Чарская, Желиховская, Вербицкая — слезливое чтиво, которое очень мне нравилось, отвечало моему тогдашнему внутреннему состоянию. Я была без ума от «Княжны Джавахи», сопоставляла свои переживания, в общем надуманные, с книжными и поражалась их сходству. Но самое поразительное было то, что Яша, этот внешне грубоватый, малообразованный человек, тоже жаждал этих чтений. Каждый вечер после ужина мы с ним садились рядом на диван и я ему читала. И каждый раз он плакал как ребенок. Мама не одобряла наших занятий, говорила, что это пустая трата времени.

Годам к девяти, начитавшись книг, я решила, что стану, когда вырасту, актрисой. Подолгу стояла у зеркала, что-то изображала, декламировала. Маме и это не нравилось. Она считала, что профессия актрисы не для порядочной женщины. Вообще ни одно мое желание, ни один мой поступок не встречали у мамы одобрения. От нее всегда веяло на меня каким-то душевным холодом. Если бы не Яша, я бы убежала из дому.

Кульнева Сарра Михайловна окончила в 1941 г. студию при Государственном еврейском театре С. М. Михоэлса. Во время войны была с маленьким ребенком в эвакуации в Башкирии, затем в Ташкенте. С лета 1943 г., вернувшись в Москву, стала вести в студии занятия по художественному слову. С 1949 г. после закрытия студии подрабатывала шитьем. В ноябре 1950 г. арестована, как «социально опасный элемент» получила 8 лет ссылки и была по этапу направлена в Красноярский край, в село Тасеево. В 1955 г. реабилитирована. С помощью К. И. Чуковского начала в Переделкино при библиотеке ставить детские спектакли «Чиполлино», «Доктор Айболит», организовывать концерты. В 60-70 гг. вела культмассовую работу в Доме культуры профсоюзов в Риге. «Сорэлэ» — это ее первая публикация в «Звезде». Активно участвует в работе Латвийского общества еврейской культуры.

Литературная запись Анны Масс.

Анна Владимировна Масс окончила в 1961 году филологический факультет Московского университета, но затем получила вторую специальность — геолога. Около 15 лет работала техником-геофизиком на Мангышлаке, в Калмыкии, в Забайкалье, в Хабаровском крае. Первая ее книга прозы «Жестокое солнце» вышла в 1967 г. Перу писательницы принадлежат также книги «Разноцветные черепки», «Белое чудо», «Круговая лапта».

...В большой комнате стол накрыт белой скатертью. Мама сидит за столом, смотрит в окно, ждет Яшу. Он пошел сдавать заказ. Ему строго-настрого приказано вернуться трезвым и с деньгами.

Вот он идет по двору. Пошатывается. Придерживается за стены. Входит в кухню, кивает на дверь большой комнаты: «Там она?» — «Там».— «Злая?» — «Очень злая».

Он приоткрывает дверь — в него летит вилка. Он ее ловит. В него летит вторая вилка. Он захлопывает дверь, спрашивает: «На сколько человек накрыт стол?» — «На двоих».— «Уже хорошо». Он вытаскивает пачку денег и просовывает руку в дверь. Тишина. Больше ничего не летит. Он смело открывает дверь, входит и кладет на стол деньги. И садится напротив мамы. И тогда торжественно подается завтрак — вкусный, обильный, на красивой посуде. Яша это ценил, его детство прошло в бедности.

И вдруг Яшу арестовали. Это был 32-й год, когда по Одессе прокатилась волна арестов. Брали по подозрению в укрытии золота. Родные арестованного должны были внести за него определенное количество золота, тогда его выпускали. Так выкачивались излишки золота у населения. И вот взяли Яшу, а вслед за ним — маму. Мы остались с Борей одни.

Я хорошо помню: денег у нас было много. Они были уложены пачками в один из ящиков секретера. А золота не было. Ни колец, ни других украшений.

Тюрьма была недалеко от третьей станции, за Чумной горой. Сама станция представляла собой домик в три стенки, где можно было спрятаться от ветра и дождя. Каждую ночь тут собирался народ. У кого термос с горячим бульоном, у кого сверток с едой. Каждую ночь кого-то выпускали, и нужно было этого человека сразу накормить, потому что а тюрьме не кормили и он выходил а таком состоянии, что на него смотреть было страшно. Может быть, поэтому выпускали ночью.

Бывало, выходит из тюрьмы человек и идет, пошатываясь. Все бегут ему навстречу, и я бегу — вдруг это Яша?! Мне двенадцать лет, я проворнее всех, добегаю первая... Нет, не Яша. Подходят остальные, начинают его спрашивать: такого-то вы знаете? Такого-то знаете? Он молча идет к остановке. И вдруг останавливается, поворачивается и говорит: «Слушайте, кто тут спрашивал такого-то?» — «Я, я, я спрашивала!» — кричит какая-то женщина. Он отвечает: «Так это же я!» Так изменился, что жена его не узнала. Да и он до чего дошел, жену не узнал.

Маму держали не очень долго. Она спросила у следователя: «Сколько надо золота?» Он ответил: «На сто долларов».— «Хорошо, выпустите меня, я принесу».

Я в тот вечер к тюрьме не ходила. Уложила Борю, сидела, что-то шила. Позвонили в дверь. Открываю — стоит женщина, страшно худая, изможденная, с блуждающими, дикими глазами. Не узнала маму! К нам иногда приходили те, кто освобождался из тюрьмы, передавали привет от мамы, от Яши, старались помочь, жалели нас. Я подумала — от мамы кто-то. Усадила ее и жду, когда она начнет говорить. А у нее нервный спазм, она не может разжать зубы. И так, со стиснутыми зубами она произносит: «Пить. Пить». И вдруг я понимаю, что это мама. И я ложечкой вливаю ей воду а щелку сбоку, где нет одного зуба, и массирую ей лицо, чтобы освободить от спазма...

На следующий день мама взяла из секретера деньги, купила на них золото, внесла куда нужно за себя и за Яшу, и Яшу тоже освободили.

Я ночью услышала: Яша вернулся! Заплакала от радости. Я же безумно его любила. Он стоял в дверях и говорил: «Не подходите ко мне! Я весь во вшах! Не подходите!» Началась суматоха, грели воду, потом стригли Яшу наголо во дворе, потом поили-кормили, он страшно изголодался в тюрьме...

В школе я училась с грехом пополам, зато с упоением занималась в двух студиях — балетной и детской театральной, которой руководил артист Одесского драматического театра Николай Николаевич Волков. Кроме того, ко мне ходила преподавательница музыки — у нас дома было пианино, и мне нравилось заниматься. Мама прямо заявила: если я пойду в артистки, она меня выгонит из дома. Вот уж этого я меньше всего боялась. Только и ждала получения паспорта, чтобы самой уйти из дома, уехать а Москву, поступить там в театральную студию.

И вот окончены восемь классов. Мне шестнадцать лет. Паспорт получен. Я открыла тайком сервант, где лежали деньги, и взяла пачку — пятьсот рублей. Оставила записку, что деньги взяла я, чтобы не подумали на домработницу. Написала, что верну как только смогу. И никому ничего не сказав, уехала.

Глава II. МОСКВА

Сдала чемоданчик в камеру хранения, взяла в справочном бюро адреса всех театральных учебных заведений Москвы и поехала по этим адресам.

Первая театральная студия, куда я пришла, была на улице Горького, недалеко от

театра Ермоловой. Какой-то мужчина меня принял, я смущалась и, чтобы не показать этого, держалась довольно нахально. «Я ушла из дома,— заявила я с гордостью,— потому что мечтаю стать актрисой вопреки желанию родителей!» Он мне ответил: «Знаешь что, девочка? Дааай-ка, пока нам с тобой от твоей мамы не влетело, бери билет и поезжай домой». Я оскорбленно дернула плечом и вышла. И отправилась по улице Горького вверх, в Столешников, 8, где помещалась Еврейская студия. Поднялась на второй этаж, постучалась в кабинет, вошла. Мне навстречу поднялся худой блондин среднего роста, лет тридцати, в очках с толстыми стеклами.

Я уже без всякой амбиции и без пафоса, а, наоборот, очень жалобно сказала, что, вот, ушла из дому, потому что мечтаю стать актрисой, а дома против.

«Значит, так,— сказал он.— Как выйдешь из дверей, напротив увидишь столовую, можешь там пообедать. Неподалеку — Сандуновские бани, можешь вымыться с дороги. Если нет денег — поезжай на Потылиху, на киностудию, там нужны люди для массовых сцен. Вернешься — скажешь сторожу дяде Фоме, что я разрешил тебе тут переночевать в физкультурном зале на мате. А завтра подумаем, что с тобой дальше делать».

Я поблагодарила, спросила робко: «Вы секретарь?» Он ответил: «Да!» А это был директор студии, Моисей Соломонович Беленький.

Я сделала все, как он сказал: пообедала, сходила в Сандуны, съездила на Потылиху — снялась там в массовке в «Зорях Парижа» (правда, потом, когда я смотрела «Зори Парижа», я там себя не обнаружила). Вернулась и переночевала а физкультурном зале на мате.

Утром выхожу. На подоконнике сидят какие-то парни. Обращаются ко мне: «Мейделе, мейделе!» Они с Западной Украины, плохо говорят по-русски, а я не говорю на идиш. Ну, поскольку я с детства свободно говорила по-немецки, то мы довольно легко смогли общаться. Вместе позавтракали в студенческой столовой, потом они меня проводили в сберкассу, я положила деньги на книжку и снова постучалась а кабинет к Моисею Соломоновичу — что мне делать дальше? — «Поезжай в общежитие. Мест нет, но ты попробуй договориться со студентками, я думаю, они согласятся тебя куда-нибудь втиснуть».

Мои новые знакомые проводили меня в общежитие, на Трифоновке, возле Рижского вокзала. Там же было и общежитие студентов ГИТИСа, вообще небольшой такой студенческий городок. Все очень быстро устроилось: меня подселили к девушкам-студийкам, одна из них, Маня Котлярова, тут же взяла надо мной шефство, стала помогать готовиться к экзамену, до которого оставался месяц. На экзамене нужно было прочитать стихи, спеть песню, сыграть этюд... Маня потом очень смешно копировала меня, как я читала стихи и пела.

И вот приемные экзамены. В зале артисты, преподаватели, студенты. В первом ряду, среди приемной комиссии, сам знаменитый Михоэлс, художественный руководитель театра.

Мой черед. Выхожу. Прочитала стихотворение Ошера Шварца, родоначальника советской еврейской поэзии, погибшего в гражданскую войну:

«Темная мать-ночь разрывается от боли — враг у ворот...»

Наверно, плохо прочитала, а как еще. Я же не знала еврейского языка. Потом спела народную песенку — тоже Маня Котлярова меня научила — «Дор цу гроссе ду зайнен»

Там, где зеленая трава,
Стоит задумчивый колодец,
По утрам приходят девушки,
Поднимают воду и поют песню...

«А ну-ка,— с места сказал Михоэлс,— еще раз спой. Задача такая: первый куплет — ты очень тоскуешь по дому. Второй куплет — ты в портовом кабачке, танцуешь на столе перед матросами. А третий куплет — ты знаменитая артистка. Выходишь на сцену, и тебя встречают овациями».

Я взяла стул, повернула его боком к зрительному залу, села, облокотилась на спинку и спела очень тихо — мне действительно было очень грустно и одиноко, я тосковала по дому. Концертмейстер дает отыгрыш в другом ритме, быстром, я вскакиваю на стул — а я была легкая, ловкая, недаром я в балетной студии занималась — и пою второй куплет. А третий — пою и сама чувствую, что фальшивлю.

Соломон Михайлович встал, поднялся по ступенькам к сцене. Я испугалась, отступила к самому заднику и вцепилась в занавес. Михоэлс повернулся к концертмейстеру, что-то тихо сказал ему, потом подошел к стулу и положил его на пол. Концертмейстер заиграл похоронную мелодию. Соломон Михайлович, не спуская глаз с лежащего стула, шаг за шагом, в ритме музыки, стал отступать, спустился по ступенькам и сел на свое место. Как все это было сделано! Я словно увидела лежащего на полу — свечи в изголовье — человека и так же медленно, не выпуская из судорожно сжатых рук занавеса, стала подходить к лежащему... И за мной потянулся занавес, как крылья. Я подошла — и бросилась, приникла к этому лежащему, обняла, выпустила занавес, и он стал медленно-медленно

отплывать назад. Наверно, это эффектно получилось, хоть я и не думала об эффекте. По залу шепоток прошел одобрительный.

«Саша,— Михоэлс произнес со своего места,— музыку». Сразу похоронная мелодия перешла в задорную, бурную. А я еще оплакиваю, еще в горе! Я поднялась, повернулась к концертмейстеру: «Музыка! Что ты делаешь?!» А музыка еще мажорнее и вдруг переходит в бешеную лезгинку! И я пляшу со всем темпераментом, на который способна, выкрикиваю: «Асса! Асса!»

«Стоп! — сказал Соломон Михайлович.— Выйди. Только смотри, воды не пей».

Возбужденная, мокрая, выбежала за кулисы, бросилась к Мане на шею, реву! «Глупенькая,— Маня говорит,— что ты плачешь? Ты принята».— «Откуда ты знаешь?» — «Принята, принята!»

И замелькали дни, один интереснее другого. Мы жили в общежитии коммуной, четырнадцать девочек в комнате. Я была самая «богатая» из всех: когда я написала домой, что принята в студию, мне каждый месяц стали присылать триста рублей. При стипендии шестьдесят это были большие деньги, но они уходили на всех. И у других так же: посылка из дома на всех. Нет посылки, кончились деньги — ложимся спать с пустыми желудками.

Как мне было все интересно!

Историю театра у нас читал Михоэлс. Его имя тогда гремело, он сыграл Лира, сыграл глухого в спектакле по пьесе Бергельсона «Глухой», поставил «Шуламис» («Суламифь») по пьесе Самуила Галкина, я там была занята в массовых сценах. Мы, студенты, его побаивались, он был очень требователен.

Его неправильные, сильные, резкие черты лица — огромный лоб, выпяченная нижняя губа, приплюснутый с горбинкой нос — были одухотворены таким умом, волей, юмором, что каждый раз возникало ощущение встречи с чем-то огромным, значительным, прекрасным. В своем кругу — с Толстым, с Москвиным, с Зускиным — он любил дурачиться, импровизировать, но с нами был строг. При встречах останавливал, придирчиво расспрашивал, какие мы спектакли видели, чем интересен тот или иной актер, та или иная постановка. Требовал, чтобы мы как можно больше ходили по театрам. Да мы и так очень много ходили — прорывались по студенческим билетам, сидели на ступеньках.

На старших курсах Соломон Михайлович принимал экзамены по мастерству, и когда подходило время показать ему работу — начиналось великолепное волнение! Актерское мастерство у нас на курсе вел Вениамин Львович Зускин, чудеснейший актер и очаровательный человек, он дружил с Михоэлсом, был с ним неразлучен в жизни и на сцене. Но в дни экзаменов и он дрожал как ученик. Да это и было настоящее испытание! У нас были очень интересные ученические спектакли — мы ставили «Блуждающие звезды» по Шолом Алейхему, «Семью Оппенгейм» по Фейхтвангеру, ставили Мольера, Шекспира. Всегда публики было много на показах.

Студия у нас была маленькая, всего пять аудиторий. Мы иногда в пять часов утра прибегали, чтобы занять первыми аудиторию и порепетировать.

Кроме Зускина у нас актерское мастерство преподавала Александра Вениаминовна Азарх, жена Грановского, основателя театра. Сам Грановский остался за границей, когда театр поехал на первые зарубежные гастроли. Александра Вениаминовна вернулась. И вот какое с ней несчастье произошло по возвращении: она попала под трамвай, и ей отрезало ногу выше колена. Женщина изумительной красоты, преисполненная высочайшей духовности. И режиссер прекрасный.

Ее сестра, Раиса Вениаминовна, была женой художника Фалька, который у нас в театре оформил несколько спектаклей.

Много занимались физическими действиями. Танцы, фехтование, акробатика — я все это обожала. Двигалась прекрасно...

В студию к нам часто приходили поэты, писатели. «Ребята! — кто-нибудь объявляет.— Быстро все в первую аудиторию, Галкин пришел, будет читать стихи».

Самуил Галкин очень красив был и большой ценитель красивых женщин, а в студии у нас были очень красивые девушки. Особенно одна... Теперь уже не помню, как ее звали. Про таких говорят: «Народу нужно было трудиться тысячу лет, чтобы создать такую красоту».

Мы собираемся в аудитории, и эта девушка сидит в первом ряду, и Галкин выходит на сцену, начинает читать, обращаясь к ней: «Таере майне, харцике майне...»

Дорогая моя, сердечная моя...
Вот такие мы все — мы ходим и повторяем:
Дорогая моя, сердечная моя!
И трудимся, и суетимся, и на работу ходим, и всех нас объединяет одно:
Дорогая моя, сердечная моя...

А кончается так:

Неужели конец? Неужели все кончено?
Неужели мне никогда больше не увидеть
Чистоту твою, красоту твою?
Пусть твой закат, как твой восход, светит мне,
Дорогая моя, сердечная моя.

Очень красивое стихотворение, может быть, я его не сумела перевести как следует.

Приходил к нам Перец Маркиш — он был тогда в расцвете своего обаяния, таланта. Эти голубые глаза, эта буйная шевелюра, этот сумасшедший темперамент. Его жена, Фира, преподавала у нас французский.

Глава III. НОХИМ

Шел у нас как-то дипломный спектакль — Александра Вениаминовна выпускала курс. И так получилось, что я сидела в зале рядом с нашим преподавателем, Наумом Яковлевичем Левиным.

Спектакль окончился, мы вышли в фойе. Он меня спросил, видела ли я во МХАТе «Мертвые души». «Нет, не видела».— «Хотите пойти?» — «Конечно, хочу».— «Так вот, я вас приглашаю».

Ему было двадцать шесть лет. Он после аспирантуры работал заведующим отделом прозы в еврейском книжном издательстве «Дер Эмес» («Правда»), много переводил. У нас он преподавал эстетику и литературу. Обладал большой эрудицией, был всегда собран, сдержан. Красивым его нельзя было назвать, но он был очень обаятелен. Тяжелые веки, пристальный умный взгляд. Серые глаза. Очень хорошее лицо. Моя соседка по общежитию Ривочка Гуревич отчаянно была в него влюблена.

Прошло несколько дней — Левин действительно меня приглашает во МХАТ. Я в растерянности: идти или не идти? Если пойду — Ривочка обидится, а если не пойду — Левин обидится. Я решила так: нарочно приду раньше назначенного времени, сделаю вид, что не дождалась его, и уйду.

На всякий случай приоделась. Пришла в студию, где Левин мне назначил встречу, и сказала дяде Фоме: «Если меня будут спрашивать (кто будет спрашивать, не сказала, постеснялась), то скажите: я была и ушла». И убежала на Малую Бронную, к нам в театр.

Поднимаюсь по лестнице — мне навстречу спускается Беленький, наш директор, и смотрит на меня очень удивленно: они ведь с Левиным были друзья, и Левин ему сказал, что пригласил меня в театр.

Вхожу в зал, сажусь на откидной стул. Гаснет свет. Вдруг кто-то трогает меня за плечо. Оглядываюсь — Левин. Он меня крепко берет за руку, мы, согнувшись, выходим из зала, бежим вниз по лестнице, выбегаем на улицу, берем такси, едем во МХАТ. Левин ужасно возмущен — так себя не ведут, в театр не опаздывают! Я не могу ему объяснить, что я нарочно так сделала, чтобы не огорчать Риву... Конечно, на первый акт мы опоздали.

После спектакля он повел меня в Столешников, в кафе «Красный мак». Было лето, столики стояли прямо на улице. Нохим (так его друзья звали) заказал кофе-гляссе. А я до этого ни разу его не пробовала и не знала, как пить,— прямо из стакана? А вдруг на носу сливки останутся? Сижу, выжидаю, что Нохим будет делать. Он так посмотрел на меня с юмором, все прекрасно понял, усмехнулся — у него была очень хорошая улыбка, чуть-чуть трогала губы,— взял соломку, опустил в стакан, потянул кофе, сливки осели. Тогда и я сделала то же самое.

Он рассказал мне о том, как он в первый раз меня увидел — это было на приемных экзаменах. Он вошел в зал с опозданием, когда я уже заканчивала этюд. Сел рядом с Беленьким, а тот ему сказал: «Посмотри на эту девочку! И ведь сама не догадывается, до чего хороша».

После Нохим мне признавался, что первое время просто не знал, что делать, о чем говорить с этой девочкой...

Он проводил меня до общежития. И с этого дня мы стали встречаться. Мне было непонятно, чем я могу ему нравиться. Боялась показаться ему глупой и от этого вела себя с ним первое время ужасно скованно. Ведь мало того, что он на десять лет старше, он к тому же — мой преподаватель! А в то же время я к нему с каждым днем все сильнее привязывалась.

Однажды мы с ним гуляли в Парке культуры и отдыха. Я ему рассказывала о том, как ушла из дома, о своих взаимоотношениях с матерью, с отчимом — мне было легко ему открываться. Мы сели на траву под деревом. Вернее, я села, а он лег, закинув руки за голову. Светлая рубашка натянулась, обрисовала стройную фигуру — и меня вдруг неудержимо потянуло лечь рядом с ним и положить ему голову на грудь. Никогда я еще не испытывала ничего подобного. Я казалась самой себе порочным существом, я испугалась, мне стало стыдно, уже слезы вот-вот... Он посмотрел на меня — и все понял. Поднялся: «Боже мой, человек же голодный, а я тут разлегся отдыхать!» Повел меня в «Поплавок», заказал ужин. А я ни к чему притронуться не могу, волнение не проходит, заполняет меня

всю. Подошла официантка, сказала: «Что-то ваша жена ничего не ест». Меня как током пронзило от этих слов.

В другой раз он пригласил меня в гости к своей сестре. Сказал, что она хочет со мной познакомиться. Сестра его жила на Цветном бульваре, недалеко от цирка. Пришли, комнатушка метров десять. Сестры дома нет. На столе лежит записка: «Я вас не дождалась и уехала к тетке в Останкино». И вот я сижу на диванчике, вся настороженная, недоверчивая. Листаю какой-то альбом, но ничего не вижу, изображения расплываются. Нохим накрывает на стол, о чем-то рассказывает... И вдруг замолчал, подошел ко мне и поднял на руки. И начал носить меня по комнате туда и обратно, снова посадил на диван. Я еле слышно: «Пойдемте отсюда!» Он ответил: «Ну, пойдемте». И мы ушли.

Я совершенно потеряла голову и решила, что мне только одно остается: бежать. Спасаться. Как раз наступили каникулы, и я сказала Нохиму, что еду домой. Он удивился — он же знал о том, что я убежала из дома. Но — он ведь умница — понял, что я бегу от него. Через несколько дней приносит мне конверт с билетом в мягкий вагон до Одессы.

Посадил в вагон. Вручил на прощание большой пакет с апельсинами. Когда поезд отошел, я раскрыла пакет: там среди апельсинов лежала маленькая черепаховая сумочка с инкрустацией — веточка с двумя листиками и розочкой. И пластинка с выгравированными буквами: «С от Н».

Дома моему неожиданному приезду удивились. А когда увидели, в каком я состоянии,— испугались. У меня снова что-то вроде нервного потрясения: я плачу, меня лихорадит, у меня температура. Не выхожу из дома, ни маме, ни Яше ни о чем не рассказываю. Только Юдифи обо всем рассказала — это была моя подруга, на два года старше меня. Юдифь говорит: «Ну и что? Из-за этого дома сидеть? Пойдем ко мне, я переоденусь, потом вернемся к тебе, ты переоденешься, и пойдем гулять». Я говорю: «Так я же могу сейчас переодеться!» — «А! — она говорит.— Так больше времени пройдет!»

На мне было ситцевое платье, красное в белый горошек, и такую же косынку я повязала. И мы пошли к ней. Она переоделась.

Возвращаемся к нам — на углу стоит Нохим.

Юдифь потом показывала, какое у меня сделалось выражение лица, я хохотала, но тогда... «Откуда вы?!» — только я могла спросить. «Да вот,— он отвечает,— мимо проходил». Из Москвы в Одессу — это называется мимо.

Я пригласила его к нам, познакомила с мамой, с Яшей. Мама его спросила, надолго ли он в Одессу, он ответил, что приехал по путевке в Дом творчества. Юдифь сказала, что завтра уезжает на пароходе в Николаев.

«А давайте,— Нохим мне говорит,— проводим Юдифь до Николаева?» И очень вежливо маме: «Вы разрешите, Берта Алтеровна?»

«Пожалуйста! — мама сказала со значением.— Под вашу личную ответственность».

Мы провели втроем изумительную ночь на пароходе. Утром приехали к родственникам Юдифи, они нас накормили, и мы целый день гуляли по городу, а к вечеру Нохим пошел за билетами в обратный путь. Юдифь говорит: «Вот увидишь, он возьмет одну каюту на двоих!» — «Ты с ума сошла!» — «Спорим!»

Приходит Нохим и заявляет: «Какая досада: хотел взять одну каюту на двоих — не было!»

Вечером мы сели на пароход. В свои каюты даже не заходили. Снова всю ночь на палубе. Конечно, не спали. В эту ночь — на восьмое августа тридцать седьмого года — Нохим мне сделал предложение. Предупредил, что он очень трудный человек и чтобы я не надеялась на легкую жизнь и как следует подумала, прежде чем дам согласие... Я тут же дала согласие, без всяких раздумий.

Когда мы приехали в город, он сказал: «Знаешь, Соралэ, я не поеду к вам. Ты доберешься сама?» Мне было понятно его состояние. И у меня душа была переполнена. Хотелось побыть одной, осмыслить то, что произошло в моей жизни. Мы распрощались. Он сел в трамвай, идущий к Дому творчества, а я поехала домой. Мама увидела меня и спросила: «Что с тобой? Что-нибудь случилось?» — «Нет, ничего».— «А в чем дело? Что такое?» —«Ничего!» — «Нет, а все-таки?» — «Мне Левин сделал предложение».— «А ты что?» — «А я его приняла».— «Почему же он не пришел сюда к нам? Завтра же поезжай туда к нему на 16-ю станцию и скажи, что мы хотим его видеть».

Утром она мне дала корзину фруктов, и я поехала.

Отыскала его на пляже. Подошла, поставила рядом корзинку. Он меня увидел, улыбнулся: «Как хорошо, что приехала».— «Я дома все рассказала, они хотят вас видеть».

Ему очень хотелось вина — но вина почему-то не оказалось, мы чокнулись каким-то соком и поехали к моим.

Приезжаем — стол уже накрыт. Яша говорит Нохиму: «Пошли, поговорим». Они ушли в спальню, и я слышу, Яша говорит: «Ей еще только семнадцать лет. Она еще десять раз полюбит и десять раз разлюбит». А Нохим: «Вы знаете, Яков Григорьевич, собственно, уже поздно об этом говорить». Он имел в виду, что мы обо всем уже договорились, но Яша по-своему понял: «Ну, если поздно, так о чем говорить».

Нохим остался у нас ночевать. Ему постелили во дворе — август, южный город, а я спала в комнате, между нами было окно, и мы допоздна разговаривали, взявшись за руки. А наутро Нохим говорит: «Пойдем погуляем, узнаем заодно, распишут ли нас».

ЗАГС был напротив Театра оперы и балета. Зашли, а нам говорят: пожалуйста, расписывайтесь хоть сейчас!

«Так что, давай распишемся?» — «Давай!» Взяли и расписались.

Вышли из ЗАГСа, Нохим подошел к театру, встал возле люка для спуска декораций и запел арию из «Суламифи»:

О дер брунем, о дер ейдес зол зайн
О зих швер...

«Пусть этот колодец будет свидетелем моей клятвы...»

Все оглядываются — а он поет! Утро, улицы свежие такие, листва омытая. Мы шли по Дерибасовской, он купил мне огромный букет цветов... Приходим домой, сообщаем: «Мы расписались!» Мама заплакала.

Десятого расписались, а одиннадцатого его вызвали в Москву телеграммой, а я осталась, мне начали готовить приданое, меня окружили портнихи, и приехала я в Москву только через месяц.

Приезжаю — выясняется, что нам негде жить: в ту комнату, которую Нохим снимал на Трубной, вернулись хозяева. Я, честно говоря, даже немножко обрадовалась, что отдаляется «роковая минута»: «Так я поеду в общежитие!» — «Не-ет! — он говорит.— Дудки! Я снял люкс в Метрополе!» Он снял номер в четыре комнаты! Кабинет, столовая, гостиная, спальня, ванная, туалет! В первый раз я видела такую роскошь! Мы там прожили неделю.

А потом начались переезды с квартиры в квартиру. Сначала поселились у писателя Хашина — он впоследствии погиб в заключении, а тогда только что вернулся из-за границы, преуспевал. Немного у него пожили и переехали на Вторую Мещанскую — нас к себе пустили Эмма Казакевич и его жена Галя. Нохим с Эммой дружили, вместе работали в «Дер Эмес», сидели в одном кабинете. Нохим заведовал отделом прозы, а Эмма отделом поэзии. Две молодые пары в одной комнате. Ну, мы, правда, недолго их стесняли. Нохим узнал, что семья писателя Рабина куда-то уехала на два года, похлопотал в издательстве, и нам их комнату на эти два года отдали. Тоже на Трубной, ближе к Сретенке. Комната запущенная, грязная, вся в клопах. Я тут же затеяла ремонт. Все книги сложила в кладовку на лестничной площадке,— а книг было огромное количество,— кладовку заперла. После ремонта открываю кладовку — ни одной книги! Украли! Я переживала ужасно.

Проходит месяц — и вдруг Рабина арестовывают в том городе, куда он уехал. Жена его с девочкой возвращаются в Москву, а нам куда деваться? Попробуй найти новую комнату. И потом мы заплатили за два года вперед. Пришлось эту перегородить на две части с помощью пианино. Отношения создались тяжелые. Тут еще эта история с книгами. Каждую ночь из-за пианино вздохи, плач или тихое ожесточенное: «Сволочи!» А через резонатор громко: «...ч-чи!» — «Кровопийцы!» «...ц-цы!». Сейчас-то я понимаю, что она не нас имела в виду, а тогда я все это принимала на свой счет и злилась на нее.

Наконец мы заняли денег у кого могли и за двенадцать тысяч купили верхний этаж дачи в Битцах. Теперь это город, а тогда было тихое дачное местечко. И там мы прожили лето и осень. Я уже была в положении, ждала Мишу.

Я была так влюблена в Нохима! Тут было все — и женская любовь, и детская привязанность; я отдавала ему всю нежность, которую не отдала матери и отцу и которую стеснялась отдавать отчиму. Я любила его до слез. Буквально. Нет его — плачу. Приезжает — снова плачу, от радости. Иногда я чувствовала себя рядом с ним ребенком, а иногда мне казалось, что я старше. В нем было много мальчишеского, он любил розыгрыши, любил людей, и к нему все тянулись. А в то же время — он весь был в своей работе и, бывало, даже не замечал, что ест, что носит. Я однажды купила ему новые туфли. Он их утром надел, а вечером приходит и говорит: «Странное дело: почему-то стали ужасно жать туфли». Или, например, пока он был на работе, я побелила комнату, вымыла полы. Он приехал, я жду, когда он заметит, как у нас стало чисто. А он говорит: «Соралэ, ты не находишь, что у нас что-то сыростью пахнет?»

Как-то приехали после сдачи номера с Эммой Казакевичем, оба навеселе. Идут по дорожке и несут гуся, один за одну лапку, другой за другую, голова метет по дорожке. Эмма увидел меня: «А-а, теперь я понимаю, почему ты ее прячешь в Битцах!»

Я их быстренько уложила спать, а сама этого гуся разрезала, вытащила тушку, шкурку нафаршировала рисом, изюмом, яйцами, зашила, запекла в духовке, а из тушки сварила бульон. И вот они просыпаются, садятся за стол, и я подаю им на противне этого гуся. Румяный, поджаристый! Эмка аж застонал от предвкушения. Берет вилку, нож, с кровожадным видом вонзает в этого гуся — что такое? Нет костей! Каша одна! Надо было видеть его лицо. Я каталась от смеха. «Протестую!» — кричит. Ну, конечно, все съели, было очень вкусно, и бульон съели...

Конечно, Нохим очень трудно переживал все то, что происходило в этот период, просто он меня оберегал, не рассказывал многого. Иногда я сама узнавала случайно.

Было, например, так. С Нохимом вместе работал Арел Шехтер, журналист и художник. Очень славный парень, мягкий, интеллигентный, я любила, когда он к нам приезжал, и мне даже казалось, что Нохим меня немного ревнует к нему. А я просто любила Нохима и любила всех, кто его окружал.

В 38-м году Арел уехал в командировку в Минск, чтобы выяснить, почему закрываются еврейские школы. Вернулся — Нохим встретил его на вокзале. Они взяли такси и приехали к нам. Арел говорит: «Что же, не могли прислать за мной издательскую машину?» Нохим молчит. Наливает ему рюмку водки: «На, выпей!» Тот пьет. «Закрыли газету». Этот разговор был при мне. А так — я многого не знала, Нохим от меня скрывал. Работал как одержимый. Преподавал, писал статьи, переводил — оглушал себя работой.

А я, несмотря ни на что, была счастлива. Юность, студия, любовь, материнство... И наивная уверенность в том, что уж с нами-то ничего не может случиться. Да, пожалуй, и Нохим многого не знал. Тогда ведь как? Исчезал человек — и все. Правда, был один проблеск — возвращение Андрея.

У Яши, моего отчима, была младшая сестра Аня. Она вышла замуж за крестьянского парня Андрея, могучего, с пудовыми кулачищами. Он кончил мореходное училище, стал капитаном. Жили они в офицерском поселке под Одессой. Вдруг в тридцать седьмом году Андрея забрали. Я была в Одессе, когда Аня с ребенком появились у нас. И я не понимала, почему они прячутся, боятся выходить из дома.

Через восемь месяцев Андрея выпустили. Мы жили в Битцах, вдруг получаем телеграмму: «Андрей возвращается Дальнего Востока через Москву, встречайте». Аня приехала, и мы все пошли его встречать. Выволокли его из вагона вдрызг пьяного. Его и еще одного парня, их вместе освободили. Андрею, когда его выпускали, вернули партийный билет, вернули зарплату за восемь месяцев, и он как сел в вагон, так и запил.

Мы взяли такси и повезли всех в Битцы. И вот эти два мужика — громадный Андрей и тот, другой,— сидят за столом друг против друга, и Андрей говорит: «Ты меня предал! Ты подписал всю эту клевету!» И тот бьет себя кулаком в грудь: «Андрей, прости!» И льются пьяные слезы, и Андрей говорит: «Я тебя — прощаю! Потому что ты этого выдержать не мог! Это только я мог выдержать!» Андрей рассказывал, как его били, подвешивали за половой орган — что-то страшное...

Вскоре они купили путевки и уехали всей компанией на курорт, в Крым. Вот это возвращение Андрея чуть-чуть приоткрыло завесу. А так люди просто исчезали и уже не возвращались.

...Нет, еще один вернулся. Его выпустили перед войной, и он пришел к нам. Он ничего не рассказывал, он пел «Майко Машмо», древнюю еврейскую песню.

Майко Машмо лон дем регв
Вос же лост эр унс цу херн...

Скажи, Всевышний,
О чем говорит дождь, осыпавший оконное стекло,
Как холодный пот осыпает лоб умирающего?
О том, что обувь порвана
И на дворе грязь,
И что скоро придет зима, и нет теплой одежды.
Скажи, Всевышний,
О чем говорят часы?
О том, что они всего лишь сосуд,
Без чувств, без души и без сердца.
Проходит время — они стучат.
Что ни происходит в мире — они стучат...

Бедный парень... Во время войны он стал одним из организаторов восстания в минском гетто, и его повесили на воротах с выколотыми глазами.

Перед самыми моими родами Нохим отвез меня в Москву, к Беленьким. Жена Моисея, Эльша Безверхняя, была актрисой нашего театра, необыкновенно хороша была собой и масса энергии. У меня вечером начались схватки. Мужчин дома нет, я испугалась, а Эльша, решительно: «Одевайся! Пошли!» Я надела свою серую беличью шубку, и мы пошли. От улицы Немировича-Данченко, где они жили, по Тверскому бульвару к Большой Молчановке, где находился родильный дом имени Грауэрмана.

А уже первый час ночи. Две девицы ночью на бульваре, что о нас можно подумать? Подходят какие-то мужчины, начинают приставать. Эльша, возмущенно: «Ах, что вы, что вы, что вы! Уйдите, уйдите, уйдите!» Довела меня до родильного дома, и я там родила Мишу.

Родился сын — надо отметить. Нохим купил вина, пригласил в Битцы кучу друзей. А в доме ничего, кроме яиц. Он все эти яйца вылил на огромную сковороду, пожарил, и — под водку — все съели, только удивлялись, почему вкус такой у яичницы странный. Оказалось, Нохим посолил не солью, а нафталином. Ничего, обошлось, только отрыжка была у всех. Потом долго смеялись, вспоминали, как Нохим отметил день рождения первенца.

Вскоре мы поменяли дачу в Битцах на квартирку в Москве на Большой Коммунистической улице, возле Таганской площади. Первый этаж старинного дома, сводчатые потолки, метровые, как в монастыре, стены... Из-за Миши я пропустила год учебы и окончила студию в сорок первом году. Планировалось, что весь наш курс поедет в Латвию и там организует свой театр под руководством Левина. Но этому плану не суждено было осуществиться. Началась война.

Глава IV. ВОЙНА

В то воскресенье мы были на даче, в Немчиновке. Я расстелила на столе одеяло, чтобы погладить Мишины рубашечки, и вдруг прибежала соседка и сказала: «Война...» Нохим тут же уехал в Москву. А мы с няней собрали ребенка и уехали на следующий день.

Нохим не стал ждать, когда его призовут, сразу же пошел в военкомат. Он ведь вырос в детском доме, все, чего достиг, дала ему советская власть, и у него мысли не было, что он может не пойти ее защищать. 12-го августа я провожала его в ополчение. Школьный двор за чугунной оградой у Кировских ворот. Мы, провожающие, смотрели через прутья. Вместе с ним пошли в ополчение Гурштейн, Фалькович и другие наши преподаватели. Гурштейн вскоре погиб.

Студию — вернее, то, что от нее оставалось, потому что мальчики все ушли на фронт,— эвакуировали в Башкирию. Театр еще какое-то время оставался в Москве, а потом выехал в Ташкент.

Мы сначала приехали в Стерлитамак, а оттуда перебрались в большое село Стерлибашево. Нас с Мишей и Саррочкой Фабрикант приютила башкирская семья, очень добрые люди. Относились к нам по-родственному, жалели, подкармливали. Жили мы в крохотной комнатке за фанерной перегородкой, вместо двери — занавеска.

В этом же селе очутился и Роберт Фальк со своей больной женой. У нее был ревматизм, она почти не ходила, и он буквально носил ее на руках. Сам готовил — жарил тыкву, а она сидела на диване, укутанная в одеяло, поразительно красивая женщина.

Кое-как перебивались, продавали вещи. Организовали концертную бригаду — давали концерты по селам, по клубам, довольно жалкие концерты, по правде говоря. Жили очень дружно — это выручало. Все вместе встретили Новый год. Решили надеть все самое лучшее, стряхнуть с себя на один вечер грустное настроение. И одна наша актриса, Кабанова-Рошаль, очаровательное, неунывающее существо, пришла, помню, в шикарном шифоновом платье. «Девочки, вуаля!» Приподняла платье, а под ним огромные валенки.

Наконец за нами прислали из театра нашего электрика, чтобы помог нам перебраться в Ташкент. Он нас с трудом разыскал. Привез нам письма. Я-то писем не ждала, ведь Нохим не знал моего адреса. Вышла из комнаты. Вдруг: «Левина! Левина! Тебе письмо!» От Нохима! Как?! Оказалось: его из ополчения отчислили, потому что у него призывной возраст. В ополчение ведь шли в основном пожилые люди. Велели ему ждать повестки. Ну, и он в ожидании повестки помогал эвакуировать издательство «Дер Эмес», где работал после закрытия газеты,— машинописное бюро, бухгалтерию — в Красноуфимск. Прислал маленькую фотографию: сидит на бревне в компании сотрудников. Она у меня сохранилась.

Из Красноуфимска его и призвали.

Приехали мы в Ташкент, воссоединились с театром. Студийцев поместили в общежитие в Шахантаури, старом районе Ташкента. Устраивались на работу куда могли — театр ведь не мог впитать в себя всех, он и так помогал тем, кому особенно трудно.

Я, пока не нашла работу, жила у Беленьких. Они очень радушные, очень широкие люди, и потом Моисей же был лучшим другом Нохима. Но мне было очень неловко, что они меня приютили и кормят с ребенком, хотя им самим тесно и голодно — двое детей, Данечке едва годик исполнился.

И поэтому, когда Нохим прислал свой аттестат из армии — 800 рублей, я тут же пошла на рынок, купила мяса — а мясо тогда на рынке стоило 250 рублей кило,— картошки, зелени — в общем, почти все деньги сразу истратила. Принесла все это домой и начала варить, жарить! Настоящий обед! Моисей пришел с работы: «Боже, какой запах!» Эльша заламывает руки — она любила драматические жесты: «Ты понимаешь, что она натворила?! Она истратила сразу все деньги!» — «И правильно сделала! Давай, мети все на стол!» И мы съели все эти 800 рублей в один присест.

Вскоре я устроилась воспитательницей в детский сад, и Миша был там со мной. И переехала в общежитие.

Было очень голодно. Зима холодная, ветреная. Теплую одежду я почти всю выменяла на продукты; денег, получаемых по аттестату, не хватало. Чтобы подработать и Мишу

досыта накормить, ходила сдавать кровь. За четыреста граммов крови давали восемьсот граммов хлеба и по четыреста граммов сахара, риса, масла и колбасы. Целое богатство, но я после этого донорства едва живая ходила, ноги были синие, все плавало перед глазами. Да мне и не доставалось почти ничего, все Мише, все Мише... И постоянные тревожные думы о Нохиме, о судьбе мамы, Яши...

Вдруг получаю телеграмму от Нохима из Москвы: ранен, грозит ампутация ноги, лежит в Боткинской. А в Боткинской работал брат Михоэлса — знаменитый профессор Вовси. Настоящая-то фамилия Михоэлса — Вовси.

Я бегу к Соломону Михайловичу и умоляю его помочь мне уехать в Москву. Он говорит: «Ладно, попытаемся что-нибудь сделать». Он прежде всего дал телеграмму Вовси — каково состояние старшего лейтенанта Левина? И мы получили ответ, что ампутация отменяется, что есть надежда сохранить ногу. Я немного успокоилась.

Михоэлс обещал, что присоединит меня с Мишей к актерской бригаде, которая должна была ехать на фронт через Москву. Я бы с ними доехала до Москвы и там осталась. Но получилось так, что Нохим сам прислал мне вызов. И вот я прихожу на вокзал с этим вызовом, а на вокзале ужас что творится! Громадная очередь, все рвутся в Москву. Чтобы купить билет, надо несколько дней стоять, не меньше. Что делать? Встала, стою в этой бесконечной очереди. Вдруг вижу, наш электрик ходит по вокзалу, ищет кого-то. Я его окликнула. Он меня увидел, подошел: «А я вас как раз ищу! Меня Вениамин Львович прислал. Давайте сюда ваши документы». Он был орденоносец и имел право получить билет без очереди. И Зускин вспомнил обо мне и попросил его мне помочь. Я отдала ему документы, а он мне купил билет.

Я побежала в театр. Вениамин Львович вел репетицию. Дождалась перерыва, подошла, поблагодарила, он меня обнял, поцеловал, мы очень нежно с ним попрощались, и я помчалась в Шахвнтаури в свое общежитие забрать Мишу и вещи. Ну, вещей к тому времени оставалось немного, они все поместились в плетеную корзинку. Взяла буханку хлеба и несколько огурцов на дорогу, студенты меня проводили, посадили в поезд. Это было летом сорок третьего.

Приезжаю с вокзала, вхожу в комнату — на столе записка: «Выписан из госпиталя, отправлен в Горький на переоформление». Открываю шкаф — висят на вешалке две торбочки, одна с сахаром, другая с сухарями. Я как стояла, так и рухнула у шкафа, зарыдала.

Опять устроилась в детский сад на нашей же улице, на Большой Коммунистической. И Мишенька был со мной. Несколько месяцев там проработала, а осенью вернулся театр, вернулась студия — и я вернулась в студию, теперь уже в качестве преподавателя художественного слова. Беленький меня взял. В войне наступил перелом, мы с Мишей ходили на площадь смотреть салюты в честь освобождения городов, мечтали о том времени, когда «папа вернется».

6 мая 45 года утром я одела Мишу и мы пошли навестить Саррочку Фабрикант. Вышли из подъезда, идем по улице. Вдруг слышу: «Сарра!» Оборачиваюсь — Нохим! Без всякой телеграммы! Он прямо из эшелона. Третий Белорусский фронт перебрасывали на Дальний Восток через Москву, и вот Нохим прибыл в Москву с одним из первых эшелонов, и его отпустили на три дня домой.

Я первым делом согрела воды — ванны у нас не было. Усадила Нохима в корыто, вымыла, принесла чистую пижаму. Он ее увидел, говорит: «Вот о чем я больше всего мечтал».

Шестого мая приехал, а девятого, в день Победы, когда вся Москва была пьяная от счастья, я его провожала снова на фронт, и снова неизвестно на сколько. Я была такая зареванная, такая зареванная...

Осенью я наконец смогла поехать в Одессу, узнать о судьбе родных.

У мамы перед самой войной был инсульт, парализовало руку и ногу. Яша работал на ремонтном заводе, в кузнечном цехе. Когда началась война, они никуда из города не уехали — куда бы он маму парализованную повез?

...В Киеве — Бабий яр, а в Одессе — Дальник, место расстрела евреев. Их вели колонной, он маму тащил на себе. Когда он начал отставать от колонны, к нему подошли два солдата, вырвали у него из рук маму, затолкнули ее в подъезд дома, мимо которого они проходили, и застрелили. А Яшу погнали дальше. Когда колонна вышла за черту города, его увидели друзья с Молдаванки: «Яшка, давай в кусты, мы тебя прикроем».— «А какой толк, у меня ни пропуска, ничего».— «Будет пропуск, давай». Они его прикрыли, колонна ушла дальше, а Яшу довели до города и спрятали в подвале какого-то дома, где пряталось еще несколько евреев. Среди них был молодой парень, его девушка жила неподалеку, и он каждый вечер бегал к ней на свидания. И кто-то этого парня выследил и привел немцев к этому подвалу. Начали рваться, а Яша — он же силы могучей, кузнец — уперся спиной в дверь и не давал открыть. Они били в дверь штыками — у него на спине восемь штыковых ран было. Ворвались, вытащили всех, бросили в грузовик — и в лагерь. Он оттуда бежал. Пришел домой, и его до прихода наших прятала русская семья, Бобошко.

Яша мне обо всем рассказывал, и я видела, что его мучает чувство вины, ему стыдно, что не смог спасти маму, а сам остался жив. Он спросил меня о муже. Я сказала: «Муж на фронте». Он так посмотрел на мой живот. Я покраснела, говорю: «Он приезжал, приезжал!» Яша говорит: «А!» Он был тогда уже не один. Рядом с ним была милая сероглазая застенчивая женщина. Муж у нее погиб на фронте, и вскоре после войны они поженились и были счастливы, деночка у них родилась.

В январе сорок шестого я родила Мирочку. А через два дня после того, как я пришла из роддома, открывается дверь и входит Нохим. И говорит: «Я так и знал, что хоть на день, но опоздаю!» Привез мне в подарок кимоно из Японии.

Нохим стал работать в журнале «Эйникейт» («Единение») при антифашистском еврейском комитете. Комитет вместе с редакцией журнала размещался в особняке на Кропоткинской, 10, рядом с Домом ученых. А жили мы теперь недалеко от Арбата, в Трубниковском переулке — обменяли комнату на Таганке. Я часто ходила арбатскими переулками на Кропоткинскую, носила Нохиму поесть. Он сидел на первом этаже, и я прямо в окно ему передавала пакетик с бутербродами.

Очень тревожило меня его состояние: у него на фронте было ранение в голову, и теперь он страдал ужасными головными болями. Врач сказал, что мозоль, которая образовалась на месте заживления, давит на какой-то нерв, и это вызывает боль. Бывали минуты, когда он становился просто невменяемым. Нервы сдавали. Кровь отливала от лица, губы белели. Из-за пустяка мог впасть в такую ярость, что хватался за браунинг. У него был именной браунинг.

Он однажды увидел на своем рабочем столе какой-то сверток. Обращается к сотрудникам: «Кто забыл сверток?» И какой-то молодой писатель с периферии говорит: «Наум Яковлевич, это вам».— «Что тут такое?» Тот мнется: «Это... Маленький подарок... От меня... За помощь...» Тут же этот сверток летит через всю комнату, шмякается о стенку, оттуда вываливается сало, орехи или что там было.

Хуже всего, что он свою несдержанность часто проявлял по отношению к Мише. Миша был нелегкий мальчик, непоседливый, очень упрямый, и Нохим в раздражении мог его ударить. Я плакала, говорила: «Нохим, что ты делаешь, это ребенок!» А он и сам мучился своими срывами, он мне однажды сказал: «Ты думаешь, я его бью? Я себя бью». Как будто ничего еще не происходило, но он чувствовал: надвигается что-то страшное.

Глава V. СМЕРЧ

И вот — сорок восьмой год, январь. Михоэлс — он был председателем театральной секции в Комитете по Сталинским премиям — собирается в Минск. Его сопровождает один из членов комиссии, Голубов. Едут принимать спектакль, представленный к Сталинской премии.

За день до отъезда Михоэлс зашел к актеру Штейну, который его дублировал. Сказал, что будет в Минске тринадцатого. Штейн еще спросил его: «Ты не боишься?» — «Нет,— Соломон Михайлович ответил,— я не суеверный». И еще он зашел к писателю Нистеру, они выпили по рюмочке водки, и потом Нистер поставил бутылку за окно и сказал: «Приедешь — добьем». И с этим Михоэлс уехал.

Все еврейские театры, которые тогда существовали в Союзе, это выходцы из нашей студии. И в Минском, в «Белгосете» тоже, все актеры — наши бывшие ученики, и для них приезд Михоэлса был огромным событием. Его утром торжественно встретили, привели в гостиницу, весь день он был ими окружен, они ему варили кофе так, как он любит, всячески ухаживали. И как это получилось, что вечером тринадцатого Михоэлс вместе с Голубовым ушли из гостиницы без сопровождения, никто потом четко не мог вспомнить. Будто бы они сказали, что приглашены на какой-то день рождения. Предполагают, что у Голубова было задание — вывести Михоэлса из гостиницы. Сейчас уж не узнаешь.

А 14-го января, часов около семи утра, какой-то человек вышел из дому и увидел, что из кучи снега торчит рука. Позвал милиционера, отрыли — это был мертвый Михоэлс. Из-под второго сугроба отрыли Голубова. Предполагают, что его убрали как непосредственного свидетеля. Потом было сказано, что произошла автомобильная катастрофа, что они были сбиты «студебеккером». Но «студебеккеру» там было и не развернуться — в этом узеньком переулочке, в тупичке.

Тела отправили в морг.

Когда в театре узнали о том, что произошло, бросились к моргу, стали требовать, чтобы показали труп, шумели, чуть ли стекла не били. Никого не пустили. Руководителей театра вызвали в органы безопасности, и было сказано: автомобильная катастрофа. Других версий нет и быть не должно, иначе положите партийные билеты. Шимилевич, который видел тело, говорил, что на голове были явные следы ударов, что Соломона Михайловича били железной палкой по голове.

Долго не было некролога. Очевидно, не знали, как это преподнести. Потом появился некролог — трагически погиб народный артист Михоэлс.

Тело привезли в Москву. Панихида была в театре. Гроб стоял перед сценой, перед оркестровой ямой. Сбоку от гробв — семья, Потоцкая с девочками. Народу тьма-тьмущая. Люди шли с Малой Бронной, выходили через кулисную дверь во двор. И все время, пока шла панихида, напротив театра, на заборчике, сидел какой-то еврей и играл на скрипке.

Я была в траурном карауле, стояла в головах гроба, с левой стороны. Лицо Михоэлса было загримировано, мало похоже на его лицо. И прямо над ухом — я это четко видела — вмятина величиной с пятак. Меня сменили, я отошла в сторону. Вижу: Жемчужная, жена Молотова. Ее встречал Зускин. Он был растерян, ошарашен, подавлен. Они встали рядом со мной. Жемчужная не выпускает его руки из своей и говорит — я слышу каждое слово: «Вениамин Львоич, как вы думаете, что это такое?» Он говорит, заикаясь: «К-катастрофа, автомобильная к-катастрофа!» Она похлопала его по руке: «Если бы вы знали, насколько это серьезно!»

Когда мы вернулись домой, Нохим сказвл: «Ну вот. А теперь начнется».— «Что начнется?» — «А!» — не стал объяснять.

Подошло тридцатилетие творчестаа Лейбла Квитко. Отмечали в Доме литераторов. Настроение в зале жуткое. Лейбл сидит на сцене, как под гильотиной, такой у него вид. Я ничего еще не знаю, но настроение зала передается мне. Помню, как прозвучала фраза одного из выступавших: «Жаль, что вы пишете на каком-то там непонятном нам языке». На каком-то там...

Сидим, опустив головы. Смертный страх на душе.

Пришли пионеры его поздравлять — в красных галстуках, с барабаном, с горном, а я сижу, и у меня слезы капают. И тут выходит нв сцену Корней Иванович Чуковский и единственный из всех выступавших обращается к Лейблу Квитко по-еврейски. Говорит о том, что он изучил еврейский специально, чтобы прочитать в подлиннике Квитко. Что слово «милиционер» звучнт по-русски и по-еврейски одинаково, и с зтого слова он и начал изучать буквы языка. Он читает стихотворение Квитко о сливе.

О сладостной сливе, о славе ее
Никто не сказал еще слово свое.
Но скажет когда-нибудь дерзкий поэт
О сливе, которой прекраснее нет:
О пежных прожилках в ее синеве,
О том, как она притаилась в листве;
О мякоти сладкой, о гладкой щеке...

Немного разрядил тяжелую атмосферу.

Вечер кончился, мы с Нохимом выходим из зала. К нам подходит Сарра Давыдовна Ротбаум, заслуженная артистка нашего театра, преподаватель студии: «Нохимка, что происходит, милый? Почему у всех такое убитое состояние?» Нохим говорит: «Выйдем вместе». Вышли вместе. Он взял нас обеих под руки. «Ну, так, Сорэлэ,— к нам обеим обращается.— Не плакать. Не кричать. Не падать в обморок. Взяли Феффера». Прошли несколько шагов. «Взяли Гофштейна». Потом оперся о стену и говорит: «Ну, а теперь держитесь. Взяли Зусю».

Зуся наш... Он был очень нервный, очень эмоциональный человек. Он, например, когда играл бесноватую старуху в «Колдунье» по Гольдфадену, после каждого спектакля бывал на грани нервного срывв, твк он выкладывался, так входил в роль.

После гибели Михоэлса его назначили художественным руководителем театра, и он растерялся. Он не был руководителем по складу своего харвктера. Михоэлс — да, это был великолепный организатор, мужественный, властный человек, умевший увлечь любую аудиторию, а Зускин — сама доброта, мягкость, простота, сердечность. Когда он преподавал у нас на курсе актерское мастерство, то не очень даже умел объяснять, он показывал, но зато как показывал!

Мне иногда казалось, что он робеет перед Михоэлсом. Что он побаивается этого ума, этой мощи. И в то же время он был неотделим от Михоэлса, а Михоэлс от него. Какой это был дуэт всегда! В «Лире» — маленький, согнутый, быстрый шут и могучий король. Да, впечатление было такое, что Лир высокий, мощный, а шут маленький, хотя Михоэлс ростом был меньше Зускина. На авансцене — трон, а в глубине, наверху, как на втором этаже, за раскрытыми створками — тронный зал. И шут, верхом на спинке кресла, в колпаке с бубенчиками, обращается к Лиру: «Фетерел! Фетерел! Папочка, папочка!» Лир медленно, торжественно спускается вниз по лестнице, за ним идет свита, слуги держат тяжелую мантию, а шут — прыг! — и уже сидит на троне, на авансцене. Зал ахал — такой был прыжок. Во время одного такого прыжка Зускин порвал связку на ноге и продолжал играть, никто ничего не заметил. А когда спектакль кончился, он за кулисы вышел и упал.

Они оттеняли друг друга — Михоэлс и Зускин. Неповторим жест короткопалой руки Лира, когда он щепотью с силой бьет себя по темени... А как он умирал!! Он лежа протягивал руку, касался пальцами губ лежащей Корделии, медленно подносил пальцы к своим губам и откидывался навзничь. У него ведь умерла первая жена, мать двух его девочек.

И он говорил, что, когда он прощается с Корделией, он каждый раз заново прощается со своей женой.

А сцена бури! Эти руки, протянутые к небу! Голос! И шут, как зайчик вокруг него,— прыг, прыг! «Фетерел! Фетерел!» И бубенчики на голове...

Они во многих спектаклях играли в паре. В «Путешествии Вениамина III» — Михоэлс идет впереди, гордо поднятый подбородок, острвя борода — и Зускин — Сендерел — семенит рядом с ним.

А еще чудный у нас был спектакль «Разбойник Бойтре» Кульбака, где Зускин играл лесного разбойника. Я его тогда впервые увидела в трагедийной роли. Там по ходу пьесы его любимую девушку выдают замуж за другого, и Бойтре, этот разбойник, приходит в местечко на ее свадьбу и, чтобы его не узнали, выдает себя за одного из музыквнтов свадебного оркестра. Ну на чем может играть рвзбойник? Он бил в барабан. Но как он это делал! Невозможно было удержаться от слез. Или н такая эмоциональная? Я сидела на откидном стуле во атором ряду и, задыхаясь, смотрела на Вениамина Львовича. Как он играл! Он горел! И я, зная, что он должен сейчас уйти со сцены, пригнулась и юркнула из зала за кулисы, чтобы его встретить. И когда он вышел, я бросилась ему на шею, разревелась...

Он говорит: «Сорэлэ, вос вейнст ду вилст шпил Стэркэлэ? Ты хочешь Стерку играть, невесту?» Я говорю: «Да, хочу...»

Его, очевидно, вызывали, вызнавали, каково настроение в театре, кто что говорит, и, вероятно, пригрозили, взяли с него подписку, что он об этом разговоре никому не расскажет. Потому что он несколько раз пытался что-то рассказать Беленькому — и не мог решиться. Подойдет к Моисею: «Надо поговорить». Тот придет к нему — не получается разговора. И я помню, Моисей с раздражением говорил о нем Нохиму: «Трус! Вот-вот-вот у него уже на кончике языка слово — и не может!» Да, он боялся. И психика не выдержала. У него и раньше была не совсем стойкая психика. Его положяли в клинику и лечили сном. Туда за ним пришли... Завернули его в простыню, спящего... И унесли.

Солнышко! Наше солнышко! За что ему был уготован такой конец!

На следующий вечер Адочка Берковская, его жена, должна играть в спектакле. Она игралв уличную танцовщицу. Танцует с бубном и напевает:

Подайте грошик! Подайте грошик!
Был у меня любимый...

и слезы текут по лицу. И мы, массовка, все плачем. Сил нет удержаться от слез. Назавтра ей выговор за нарушение трудовой дисциплины, и ее снимают с роли. А через неделю высылают вместе с доченькой.

Когда она через восемь лет вернулась, ей показали приговор о расстреле мужа.

...И вот мы возвращаемся из Дома литераторов. Нохим говорит: «Ну что ж, Сарра. Надо готовиться». Я закричала: «Как ты можешь такое говорить?! Если бы тебя хотели взять, то уже взяли бы!» «Ай! — он говорит.— Глупая ты! Куда я денусь?»

И вот однажды сидит дома, пишет статью. Приходят двв его сотрудника, журналисты, Шульман — он и сейчас жив, работвет в «Советиш геймланд» — и Люмкис. «Статью заканчиваю. Сарра, свари им там кофе пока».

Я иду варить кофе, слышу такой разговор. «Так что за статья?» — «Я вам сказал, не мешайте».— «Кому ты пишешь статью?» — «Как это — кому? Ребята, слушайте, отстаньте, что вы, сами не понимаете, что когда работаешь...» — «Дурак. Некому писать. Этой ночью ликвидировали комитет».— «То есть как ликвидировали?!» — «Так. Нет комитета. Нет журнала. Так что писать тебе больше незачем и некому».

А было так: подъехало несколько «студебеккеров», оцепили Кропоткинскую от Дома ученых до метро, в особняк вошли солдаты, все бумаги, что там были, погрузили в мешки, мешки покидали в машины — и уехали.

13 января 49 года была годовщина смерти Михоэлса. В этот вечер шел спектакль «Леса шумят» Маркиша. Зрительный зал полупустой. О Михоэлсе — ни слова. Так и прошла годовщина смерти.

Через некоторое время театр закрыли. Мотивировка: за нерентабельностью. А в народе пущен слух, что при обыске в театре (почему должен быть обыск в театре?) обнаружена машинка, которая печатает деньги. Закрыли театр — студия тем более не нужна. И вот квкие-то люди ходят по студии, выносят книги, мебель, выкручивают лвмпочки, срывают проводку... И среди всего этого разгрома, как сейчас вижу, ходит по сцене — у нас крохотная сценка была — нвш студент Шврфштейн, очень способный парень, по дарованию близкий Зускину, ходит и репетирует свою какую-то работу, и слезы текут по лицу...

Почему проводку надо было рвать? Зачем лампочки выкручивать?!

Все! Нет театра, нет студии. Одесский, Минский, Харьковский театры — все закрыли. Мы остаемся без работы. Нохиму удалось устроиться в издательстве «Физкультура и

спорт». Он редактировал книгу альпиниста Абалакова — тот к нам приходил несколько раз, у него были, помню, повреждены руки.

Каждое утро мы узнаем, что кого-то взяли. Бергельсона взяли, Лейбла Квитко взяли — почти сразу после творческого вечера. Утром идет «великий перезвон» — узнаем кого, кого, кого... Брали ночью. Потом и днем стали брать. Завлита театра Добрушенко днем забрали. Поэта Гонтаря прямо на улице. Я его встретила несколько лет назад в Доме творчества. Я его спросила: «Расскажите, хоть как это технически произошло?» Он говорит: «Шел по улице Кирова, какая-то машина медленно ехала рядом со мной, я на нее не обращал внимания, задумался. Потом ко мне с двух сторон подошли двое, тихо сказали: „В машину". Я не сопротивлялся».

Каждую ночь Нохим ждал, что придут за ним. Готовился, сжигал бумаги — у нас была кафельная печь. Снял с петель дверь, разделяющую две наши смежные комнаты, изрубил и тоже сжег. «Это для того,— объяснил он,— чтобы, когда они придут, они не могли отобрать у тебя вторую комнату. А так ты сможешь эту комнату сдавать и на эти деньги както жить». Старался облегчить мне хоть чем-то жизнь, когда я останусь без него.

...Вот уже Маркиша забрали, Моисея Беленького забрали, а его не берут. У него уже нервы не выдерживали. Подойдет к открытому окну — было лето — и кричит: «Собаки! Сволочи! Хотите брать — берите! Зачем мучить?»

Он говорил: «Что я, подлец, что меня не берут?» Этот сильный духом человек — он был хрупкий с виду, но очень волевой — в эти дни у меня искал защиты. Прижмется ко мне...

Помню, мы шли по Арбату вечером. Из подворотни выходили мальчики, провожали нас глазами — все в одинаковых темных пальто с каракулевыми воротничками, в темных шапочках, надвинутых на лоб. Арбат — это ведь правительственная трасса была. Нохим сказал: «Знаешь Сарра, я отдал бы жизнь за идею коммунизма, но, боже мой, как они ее испохабили!» Это его слова.

Раньше всегда в доме был народ — масса друзей. Я не помню дня, когда у нас в доме не перебывало бы 12—15 человек. Утром приходят — я им всем кофе варю, днем кормлю обедом, вечером после спектакля актеры приходят,— а актерский народ, он же голодный,— опять тащишь на стол все что есть, картошки наваришь... Денег хватало, но сбережений, конечно, никаких.

А теперь — никого. Все боятся. Да многих уже нет.

Однажды днем — Нохим был в редакции — вдруг звонок в дверь. «Кто там?» — «Проверка электричества». Какой-то парень. Я его впустила, он проверил счетчик, проводку в комнатах, в коридоре, у соседей... Ушел. Мне стало как-то неуютно от этого визита. Может, ничего особенного, но когда боишься всего... Я накормила детей и пошла к Нохиму. Иду мимо Елисеевского, там, как обычно, водоворот людей. Случайно оглядываюсь — тот самый парень! Я нырнула в Елисеевский — там, я знала, что из булочной есть выход в переулок. Выскочила в этот переулок, оглянулась — его нет. Значит, оторвалась от него. Прихожу к Нохиму. Он спрашивает: «Почему ты такая бледная?» Я рассказала. «Пошли домой»,— он говорит. Идем опять по улице Горького. Я делаю вид, что поправляю чулок, оглядываюсь — опять этот парень! Мы к остановке автобуса — он за нами. Автобус подошел, мы сделали вид, что садимся, в последний момент посторонились, дали сесть этому парню, а сами пошли пешком. Подходим к дому — он стоит в подворотне.

Нохим говорит: «Вот и все». Я расплакалась, говорю: «Типун тебе на язык!» — «Нет, Сорэлэ,— он говорит.— Все». Ночью его взяли.

Он еще имел наивность сказать перед тем, как его увели: «Сорэлэ, постарайся сберечь книги». Я обещала, что сберегу,— тоже надеялась еще на что-то.

У нас оставалась одна-единственная неразменная сотня. Я ему сую ее — он не берет. Я говорю: «Нохим, я завтра же что-нибудь продам, у меня будут деньги, не волнуйся». Он взял эту сотню. Поцеловал меня, детей — и его увели, а обыск шел до утра. Все книги сложили в сундук, а сундук опечатали. И началась моя жизнь без Нохима.

Зарабатывала я тем, что вязала кофты. У меня получалось три кофты в месяц — очень трудоемкая работа. Комнату я сдала сестре композитора Мейтуса. Тоже какие-то деньги. Мне разрешили передавать Нохиму двести рублей в месяц. Я ездила в Лефортово с этими деньгами. Там возле окошечка, где принимали передачи, всегда очередь, и в этой очереди я встречала и Фиру Маркиш, и Эльшу, и Ципу Бергельсон... Мы делали вид, что не знакомы. Глупо, все им про нас было известно.

Фира тоже что-то вязала, мы с ней обменивались рисунками, орнаментами.

Однажды встретила на улице Аню — ту, у которой арестовали, а потом освободили мужа, Андрея. Она меня спросила: «За что Нохима взяли?» — «А ты можешь ответить, за что взяли Андрея?» — «Ну так Андрея же по ошибке!» Андрея по ошибке, а Нохима, надо понимать, за дело.

Что мне ей было ответить? Ничего не ответила, пошла дальше.

Стала подрабатывать шитьем. Я и раньше немного умела шить, так что дело быстро пошло. Первой моей заказчицей была очень милая женщина, Нина, жена одного сотрудника «Комсомольской правды», приятеля Нохима. Я, правда, ее измучила, пока сшила ей первое платье, зато у меня сразу опыт появился, и я уже смело стала брать заказы.

Мы подружились с этой Ниной. Жили они недалеко от нас, на Арбате, в том доме, где диетический. Ее свекровь меня однажды спросила: «Почему взяли Наума Яковлевича?» — «А-а, мама! — сын ей ответил.— Что ты ее спрашиваешь? Его взяли, потому что он Наум Яковлевич, меня возьмут, потому что я Яков Наумович!»

Как-то — уже к зиме дело было — я получила деньги за очередную кофту, что-то продала и купила Мише пальто, Мирочке рейтузики, варежки, куклу и побежала к Нине поделиться, показать, что я купила. Звоню, она открывает дверь... Я сразу все поняла по ее лицу. Да, взяли мужа, Якова Наумовича.

...Когда мне было 13—14, я была влюблена, а вернее, мне казалось, что я влюблена в брата моей подруги, Леву. Он был года на три старше, красивый парень. И я тоже ему нравилась. Он после школы уехал учиться в военную академию. Ну, а я встретила Нохима и поняла разницу между детским увлечением и любовью.

Через год или полтора после замужества я приехала в Одессу навестить своих — и Лева как раз в это время тоже оказался в Одессе, приехал в отпуск из Благовещенска. Мы встретились. Он подхватил меня на руки — шляпка, шарфик, туфли полетели на пол. «Что ты натворила?!» — «Как что натворила? Вышла замуж!» Три дня он меня уговаривал бросить мужа и ехать с ним. Это был такой натиск, такой напор! На четвертый день приехал Нохим, собрал мои вещи и увез меня в Москву.

И вот теперь Лева приехал ко мне из Ленинграда в чине полковника. Он недавно овдовел, остался с маленьким сыном. Каракулевая папаха, вид блестящий, преуспевающий. «Слушай, Сарра, давай о любви говорить не будем, но мы с тобой знаем друг друга всю жизнь; я знаю, что ты сможешь стать матерью моему сыну, а я отцом твоим детям. Давай будем вместе». Я говорю: «Левушка, о чем ты?.. Как я при живом муже выйду замуж? Это невозможно».— «Почему невозможно? Он арестован, ты имеешь право от него отказаться».— «Никогда я от него не откажусь — я не верю, что он в чем-то виновен».— «Ну, раз взяли, значит, виновен».— «Нет. В это я не верю». С тем расстались. Он уехал. Прошел месяц или два — Лева снова приезжает в Москву, уже без папахи, без погон, без всего этого блеска и мишуры. Его выгнали из армии, он никуда не может устроиться на работу. Пришел ко мне, сидим, разговариваем весь вечер. Я говорю: «Ой, Левушка! А что ж ты мне не делаешь предложение?» Он отвечает: «А чем я вас кормить буду?» — «Так как? — я его спрашиваю.— Кто виноват? Кто прав?» Он говорит: «Ничего не понимаю! Ничего не понимаю!» Ну, правда, через какое-то время ему удалось устроиться инженером на заводе, жизнь более или менее наладилась.

Глава VI. ЭТАПЫ

Второго ноября 50-го года я была у своей подруги на дне рождения ее дочки. И я, сидя за столом, бросила такую фразу: «Я соберу всех пострадавших женщин, жен наших арестованных мужей, и мы все выйдем на Красную площадь и спросим: за что взяты наши мужья?»

Через три дня за мной пришли.

Когда позвонили ночью, я успела разорвать все письма, все адреса и выбросить в форточку обрывки.

«Почему не открываете?» — «А я думала, соседка откроет»,— прикинулась я наивной. Мирка сидит в своей кроватке, глазищи огромные, прижимает к себе куклу. Миша стоит — в глазах недоумение: сначала папу, потом маму... Я заявила, что никуда не пойду, пока не будут определены дети. Один из пришедших, полковник, сказал: «Ну, у вас же есть брат, пусть возьмет их к себе».— «Мой брат вернулся с фронта с открытой формой туберкулеза и живет в крохотной комнате с женой, которая работает в туберкулезной больнице и тоже больна!» — «У мужа вашего есть брат». Все они знали!

Сестры Нохима к тому времени уже не было в живых — той самой, которая нас тогда не дождалась и уехала к тетке в Останкино. Она погибла в 41-м году, в родильном доме, с двухнедельным ребенком.

Я говорю: «Да, у мужа есть брат, но он так вас боится, что никогда не возьмет к себе моих детей». (Как в воду смотрела. Когда Миша и Мирочка пришли к нему на следующий день, он их даже не впустил в квартиру.)

Я сказала этому полковнику: «Я понимаю, вы партийные люди, вы — при исполнении своих обязанностей, у вас много таких, как я, но вы же еще и просто люди! Не дайте погибнуть моим детям!» — «Ладно,— сказал он.— Детей устроим, не волнуйтесь».

Когда меня уводили, я сказала Мише: «Береги сестренку и помни: ни папа, ни мама

ни в чем не виноввты».— «Ну-ну-ну!» — полковник насмешливо.— «Да, ни в чем! И пусть это будет для вас как молитва». Мне потом сказала соседка, которая была при аресте в числе понятых, что я хорошо держалась.

Меня привезли на Лубянку. Если идти по улице Кирова вдоль здания, то это будет крайняя дверь, такая очень аккуратная, с чистенькими белыми занавесочками изнутри. Вот туда меня ввели. Сфотографировали анфас, профиль. Взяли отпечатки пальцев. Потом в какой-то комнате я сидела голая, а женщина в военной форме пересматривала, перещупывала мои вещи и швыряла мне обратно трусики, лифчик, рубашку.

Вдруг вошел полковник, тот, который меня брал, что-то спросил у женщины, она ему ответила. Он прошел за моей спиной к двери и тихо сказал: «С детьми все в порядке». Он неправду сказал. Были праздники, все закрыто, и за детьми пришли только девятого. Хотя, может быть, он уже распорядился насчет детей. Не знаю. Уж за то ему спасибо, что успокоил. Пожалел мать. Их отправили в детский дом под Москвой. К ним туда Эльша несколько раз ездила. Вообще Эльша вела себя героически. Очень много сделала для Моисея. Она, например, узнавала, куда его везут, и виделась с ним на этапах — не знаю, как ей это удавалось. К счастью, ее не арестовали.

А потом детей разделили. Мирушку оставили, потому что она там заболела корью, а Мишу отправили в режимный детский дом, под охраной.

Женщина отобрала у меня пояс, резинки для чулок, шпильки, сунула мне мой узел с вещами, а я, когда меня забирали, совершенно не соображала, какие вещи брать, да и откуда я знала, что надо брать в тюрьму? Цветастый плвток с бахромой зачем-то взяла, чулки шелковые, тапочки. Еще этот полковник сунул мне в узел юбку, байковый красный халат... Ну и все, что на мне — пальто, платье,— вот и все мои вещи. Меня отвели в одиночку. У страха глаза велики. Каждое пятно казалось мне пятном крови. Я всю ночь не спала. Что со мной сделают?!

Утром меня повели к следователю. А у меня чулки спущены, волосы растрепаны, висят по всей спине — у меня были длинные, густые волосы, а шпильки ведь отобрали. Следователь рявкнул: «Почему в таком виде? Подобрать чулки! Подобрать волосы!» Я говорю: «А как?» — «Вы у меня спрашиваете — как? Вы — женщина! Приведите себя в порядок!» — и — конвоиру: «Увести!»

Увели меня обратно в камеру. Ну как я могла привести себя в порядок? Оторвала от подкладки пальто завязки, перетянула волосы. Чулки привязала к рубашке, от этого стала негнущаяся походка. Опять привели к следователю. Совершенно не помню его лица и ничего не помню, кроме яркого света, который бил мне в глаза.

Меня вернули обратно в камеру. Сколько я там просидела: день, даа, три — не помню. Состояние тумана.

Я была почему-то уверена, что рядом, в соседних камерах, сидят все — и Фира Маркиш, и Эльша, и Бергельсониха, и Бетя Квитко. У меня и мысли не было, что меня одну взяли. Потом узнала: их тоже арестоваля и отправили в ссылку — кого в Абакан, кого куда, но их отправляли из дома. Им дали сутки на сборы, поэтому у них хоть была возможность взять с собой необходимые вещи.

...Через какое-то время меня вывели во двор Лубянки. Стояла машина, крытый фургончик. Сбоку написано: «Сосиски». Внутри — четыре, а может, больше крохотных камер. Настолько крохотных, что когда меня посадили в одну из них и заперли дверь, то колени мои уперлись в стенку. В другие камеры тоже, судя по звукам, сажали людей, но мы не видели друг друга. Машина тронулась. Я слышала сигналы автомобилей, смех прохожих, шум города, жизнь! А прохожие видят нашу машину и не догадываются, что там нафаршировано людьми. Так нас привезли в Лефортовскую тюрьму.

Два офицера долго вели меня по коридорам, потом приказали остановиться, руки за спину, повернуться лицом к стене. Стоял часовой навытнжку. Я скосила глаза и увидела номер на двери камеры — 49. Один из офицеров открыл камеру, молча сделал мне знак головой — войти. Я вошла. Дверь заперли.

В камере — две койки, столик. Все железное, все привинчено к каменному полу. К двери приделана кормушка, она откидывается как столик. Над ней глазок. Окно на высоте моей вытянутой руки, подоконник косым срезом уходит вверх, в глубину. И пыль на срезе. И я на этой пыли написала дату.

В углу механическая параша и умывальник.

Выдержу ли я? Ведь я изнежена, избалована Нохимом. Что меня ждет? А вдруг — пытки? Избиения? Вдруг не выдержу? Значит, надо искать возможность кончить все одним разом. Как? А вот как — разбить голову об угол железной раковины. Если решиться и удариться изо всех сил... Но не сейчас. Может быть, моя голова еще понадобится Нохиму. Может, я смогу сказать что-нибудь дельное в его защиту.

...Шли дни — меня никуда не вызывали. Странно, но я начала даже привыкать к тому,

что сижу в камере. Стала ежедневно заниматься гимнастикой возле раковины. И для того, чтобы оставаться в форме, и чтобы приучить часовых видеть меня в этом месте. Обливалась холодной водой по пояс. Отмечала дни точками на пыли подоконника. Пыталась лепить из хлеба, чтобы чем-то заполнить время.

Раз в десять дней я получала книжку из тюремной библиотеки. Прочитала Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», сборник рассказов Короленко. Один рассказ назывался «78 дней в одиночке!» — с восклицательным знаком. А я досиживала тогда уже девяносто второй день. Без всякого восклицательного знака.

Раз в месяц брат передавал мне в тюрьму двести рублей. Мне дввали список продуктов, которые имелись в тюремном ларьке, и я могла заказать колбасу, хлеб, сыр, так что к тюремной вонючей пище почти не притрагивалась, спускала ее в парашу. Весила я тогда сорок семь килограммов, но все же еще к тому времени не изголодалась по-настоящему, могла себе это позволить.

Иногда находило отчаяние. Металась по камере, выла без слез. Однажды вот так мечусь по камере, вдруг кормушка с грохотом откидывается. Грубый голос: «Иди сюда!» Я испугалась. Подхожу.— «Руки протяни!» Протягиваю. Пальцы дрожат.— «Не так! Вверх ладонями!» Всовывается миска, и мне в ладони высыпается немножко сахарного песку, остатки...

Когда знаешь, что кругом враги, то как-то еще держишься. Но когда тебя жалеют — слабеешь. И я тогда в первый раз заплакала. Смотрю на этот сахар — горло сжимается. Только и могу сказать: «Нельзя! Нельзя жалеть!»

Прошло несколько дней. Опять кормушка откидывается, опять тот же голос: «Иголкунитку надо?» Я, робко: «А можно?» — «Я спрашиваю: надо?» — «Очень...» Он мне дает иголку, нитки, я что-то себе заштопала, починила. Через какое-то время кормушка открылась, я отдала иголку.

И вот я стала ждать его дежурства.

Тюрьма военно-режимная, в шесть утра по коридору: «Па-адъем! Па-адъем!» — у каждой камеры. А мимо моей, если он дежурит, проходит молча, и я могу полежать подольше. Днем ложиться на кровать не разрешается, а я в эти дни могу полежать на койке и вечером лечь пораньше.

Он дал мне дельный совет — копить сухари на дорогу. Я ломала хлеб и сушила на батарее, а потом складывала в мешочек, который сшила из юбки. Эти сухари меня потом очень выручили.

Ночь под Новый год. Я облокотилась на подушку. Что с Нохимом? Что с детьми?

Открывается кормушка. Голос: «Чего не спишь?» — «О детях думаю».— «Ну, с Новым годом тебя»,— и закрыл кормушку.

Нет, нельзя выдержать, когда тебя жалеют. Я так рыдала, я запихнула в рот угол подушки, чтобы не кричать, каталась по постели, выла...

Наконец меня стали вызывать на допросы. И первым вопросом следователя был: «Ну так с кем именно вы собирались пойти на Красную площадь выяснять, за что арестованы ваши мужья?» То есть слово в слово была повторена фраза, которую я за несколько дней до ареста произнесла в гостях у моей подруги. Там было двенадцать гостей. Кто-то, значит... Не допускаю и мысли, что это могла сделать моя подруга или кто-то из ее родственников. Это интеллигентнейшая семья с глубокими традициями. Предательства там не могло быть. Кто-то из гостей. А кто — не знаю.

Вызывали меня на допросы по ночам. Если следователь был занят, то заталкивали в одну из кабинок вроде телефонной будки, которые стояли возле кабинетов.

Следователей у меня было два. Один средних лет, другой молодой, лет двадцати пяти. Мне раньше не приходилось встречаться с подобными людьми. У меня сложилось впечатление, что это не люди, а бесчувственные, чудовищно равнодушные машины, и ты полностью в их власти. У обоих на лицах — скепсис и презрение, омерзительная улыбка при виде твоих слез. Мне казалось, что основная их задача — не выяснить истину, а унизить, показать, что ты мразь, плевок, а не человек.

К третьему следователю, генералу, меня вызывали один раз, перед приговором, и это была единственная за все время корректная беседа. Видимо, я не представляла для него никакого интереса, все было уже решено. Эти же двое все время пытались поймать меня на слове, и я ловчила, играла, чтобы не сказать лишнего.

Задавались вопросы о работе Нохима, окружении, разговорах. О Михоэлсе — в каких я с ним была отношениях. Что я знаю о Джойнте? А я ничего не знаю, впервые слышу это слово, и они, кажется, поняли, что я не притворяюсь.

Следователь задаст вопрос — я делаю вид, что не поняла или не расслышала. Прикидываюсь дурочкой. Он вторично задаст вопрос, меняет редакцию, тогда мне легче отве-

тить. Конечно, я понимала, что они очень осведомлены, а из меня конспиратор... Например, он говорит: «Назовите друзей!»

Не назвать Беленького я не могу, они были неразлучны. Но я уже знаю, что Моисей получил десятку, и спокойно его называю. «Где сейчас Беленький?» — «Вы лучше знаете».— «Отвечайте на вопрос!» — «Он получил десять лет».— «Откуда вам известно, что он получил десять лет?» — «Из его письма».— «Из какого письма?» У меня все обрывается. Эльша получила письмо — с оказией, не по почте. И там Моисей написал, что его осудили на десять лет. Эльша тогда прибежала ко мне с этим письмом. Я ей говорю: «Эльша, письмо надо уничтожить, могут сделать повторный обыск».— «Что ты! Что ты! Письмо Моисея — ни за что!»

«Так из какого письма?» Судорожно соображаю: я и Эльша, Эльша и я. Третьего при разговоре не было, значит, они могут и не знать об этом письме. Моисей в режимном лагере, имеет право на одно или два письма в год.— «Ну, он прислал жене по почте письмо».

Вот так я крутилась на каждом допросе. Возвращалась в камеру и каждый раз мысленно разговаривала с Нохимом: «Нохим, ну как? Кажется, я никого не подвела?»

У меня все время было ощущение, как будто я нахожусь под водой и мне нужно вынырнуть, глотнуть свежего воздуха.

Показывают мне мое письмо, которое я незадолго до ареста отправила другу Нохима. Я ему писала: «У меня сегодня хороший день, я сдала работу, получила деньги и купила пальто Мишеньке, варежки и шарфик Мирочке. А вообще — трудно. Не знаю, выстою ли я в этой борьбе».— «О какой борьбе вы писали?»

...Фира Маркиш рассказывала, как Маркиш вел себя на следствии. Ей рассказывал об этом Эппельбаум, знаменитый певец, бас, «еврейский Шаляпин» его называли. Тоже был арестован, и вот устроили очную ставку Маркиша с Эппельбаумом.

Маркиш вошел — темпераментный, сильный, и держался раскованно, не угнетенно, не подавленно: «Здравствуй, Эппельбаум!» Следователь ему говорит: «Спокойнее, Маркиш, спокойнее, вы не на спектакле!» А тот ему в ответ: «На спектакле! На спектакле! И все мы действующие лица, и вы тоже». Такой нам был передан посмертный привет от Маркиша. А Эппельбаум в пятьдесят шестом вернулся, а в пятьдесят восьмом умер от рака.

В чем обвиняли Нохима: в том, что он хотел поднять вооруженное восстание на заводе Лихачева. Вооруженное восстание! Он на этом заводе не был ни разу. Это статья 2 — попытка вооруженного восстания, и статья 58-1А — измена родине. И там еще 8-я, 10-я — антисоветская агитация.

Я пыталась как могла его защитить. Рассказывала, что он родился в местечке, воспитывался в детдоме, что отец его был сторожем, что это была беднейшая семья, голь, и все, чего достиг Нохим, он достиг благодаря советской власти. Что он преданнейший советской власти человек. Говорила, что он добровольцем ушел в ополчение. Что он воевал, у него шесть боевых наград, орден Красной Звезды.

«Подумаешь! — следователь мне говорит.— За побрякушки хотел спрятаться».

Месяца полтора меня так таскали на допросы. Наконец один из следователей — молодой — заявляет: «Ну что ж, пора знакомиться с делом». И передает мне толстенную папку.

Первое чувство, когда я увидела это «дело», было чувство любопытства: о чем там можно так много написать? Открываю — ничего не понимаю, идет опись конфиската — детские лифчики, резинки, трусы, чулки... Я листаю, листаю... Перечень облигаций, опять какие-то вещи... Чтобы поскорее добраться до сути, я перевернула сразу все страницы и посмотрела, что написано на последней. Вот тут я допустила ошибку, которую никогда себе не прощу. Надо было набраться терпения и перелистать всю папку. Потому что во всех этих «делах» обязательно имелся донос за подписью. Я потом спрашивала у многих, кому при реабилитации показывали их «дело»,— все знали своих предателей. А я так и не знала предателей Нохима.

На самой последней странице был вклеен маленький синий листочек. И там написано, что Левин Наум Яковлевич по статьям таким-то и таким-то обвиняется в измене Родине. Присужден к расстрелу. Больше ничего не помню...

Очнулась в камере. Какие-то люди надо мной. Очевидно, там все-таки несут какую-то ответственность за жизнь заключенных, потому что мне сделали укол, я услышала: «Успокойтесь, успокойтесь...»

У меня началось какое-то безумие. Мне казалось, что посреди камеры — яма, а в ней расстрелянный Нохим. И я боялась ступить на середину, жалась к стенкам. И сверлила мысль — куда стреляли: в висок? В лицо? В затылок?

Прошла неделя или две — меня повели в суд.

Сидят три человека. Один из них зачитал приговор: восемь лет ссылки по статье

7-37 — социально опасный элемент. Дали подписать. Я подписала. Спросила: «А дети?» — «Детей имеете право вызвать по месту ссылки».

Отвели в камеру. Вечером кормушка открылась — голос «моего» охранника: «Ну — чего?» — «Восемь лет ссылки! И детей мне туда пришлют!» Молчание. И потом: «Ну — славу богу!» Кто он был, этот человек? Я мельком его видела один раз, когда меня вели на допрос. Лет тридцати, рябоватый, широкоскулое татарское лицо. Вот и все, что я могу сказать о нем.

Глава VII. ЭТАПЫ

Меня снова вывели во двор тюрьмы и посадили в «воронок», только уже без клетушек внутри. Привели еще каких-то людей, и нас отвезли к запасному пути, где уже стоял эшелон. Посадили нас не в теплушку, а в обычный купейный вагон, только окна зарешеченные и вместо дверей — металлические сетки, а по коридору ходят вооруженные охранники.

В нашем купе было двадцать два человека. До сих пор, стоит мне попасть в купе, я невольно принимаюсь мысленно рассаживать людей — и не могу усадить двадцать два человека. Люди сидели вплотную на багажных полках, на полу, тело к телу. Каждый раз при смене конвоя идет перекличка. Выкликают фамилию, а ты должен назвать свой год рождения и срок, который ты получил.

В купе ехала беззубая старушка из Западной Белоруссии. Она, когда ее имя называли, отвечала: «Мой шестьдесят шесть, тех двадцать пять». Я у нее спросила: «Бабуля, за что вам дали двадцать пять лет?» — «За веру».— «У нас за веру не сажают!» — «А я сектантка!»

У нее было крестьянское лицо с грубыми морщинами, но каким оно стало вдохновенным, когда она мне начала рассказывать о своей вере! Как у нее сияли глаза! Это была секта, где проповедуют: да не поднимется рука брата на брата. Члены этой секты не имеют права брать в руки оружие. Она мне пела псалмы, читала стихи. Она гордилась тем, что пострадала за веру. Пожалуй, в нашей группе она была единственная, кто знал, за что страдает. В соседнем, мужском, купе ехал ее муж.

У меня с собой было несколько пачек папирос. До тюрьмы я не курила, а там, чтобы тоску заглушить, начала курить. В соседнем купе мужчины очень страдали от отсутствия курева, и я просовывала туда папиросы по одной, через стенку, там была дырочка от выпавшего сучка. Мужчины шумно радовались каждой папиросе. И так же спички я им просунула и коробок разломала на несколько кусочков и тоже передала.

Доехали мы до Челябинска. Там нас на машины и — в пересыльную тюрьму. Но прежде чем развести по камерам, нас долго регистрировали в тюремном вестибюле. Женщин поставили у одной стены, мужчин у другой. Между шеренгами ходит конвойный. За его спиной шеренги стараются приблизиться друг к другу, образуют такой полукруг. И вдруг я слышу: «Левина... Левина... Левина...»

Шепоток такой. Меня? Кто?! Женщина, которая стояла рядом со мной, видно, бывалая, шепнула: «Крутись к краю!» Я потихоньку, стараясь не привлечь внимание конвойного, за спинами женщин подошла к краю, где обе шеренги близко подходили одна к другой.

Какой-то незнакомый мужчина: «Вы Левина?» — «Да».— «Вам привет».— «От кого?» — «От Керлера».— «Где он?» — «Бутырки».— «Что с ним?» — «Ждет этапа, получил десять лет».

Иосиф Керлер, мой друг, мы вместе кончали театральную студию. Когда началась война, он ушел с первым призывом. Все наши мальчики ушли. Все почти погибли. А Иосиф Керлер был ранен. Шел в атаку, и ему разрывной пулей снесло нижнюю челюсть. Он приехал из госпиталя в Ташкент, куда был эвакуирован театр, и я к нему ходила, носила ему кашки — он, кроме жидких кашек, ничего не мог есть и говорить почти не мог. Ему потом сделали пластическую операцию, и внешне стало ничего не заметно, только речь немного затрудненная. Но актером он уже не мог быть. Да он актером был неважным, а вернулся с очень интересной книжкой стихов. И я помню, как в сорок третьем году, уже в Москве, у нас был вечер в студии, Иосиф читал стихи. Маркиш его представил и очень тепло говорил о нем.

После войны Иосифа почти не печатали — кому нужны еврейские стихи? Семью тянула его жена, она работала медсестрой. Бедствовали, конечно, а он продолжал писать стихи.

Я не знала, что его тоже взяли. Он незадолго до моего ареста приходил ко мне поздравить с днем рождения. Он и в тюрьме писал. Вот это, например:

Зверь ломает зубы о железо,
Чуя запахи родного леса,
Глотка зверя злобою клокочет,
От тоски ревет он, как от боли,

Так решетку разгрести он хочет,
Так он хочет вырваться на волю.

За стеной сосед по целым суткам
Роздыха минутного не знает,
Чтобы все соединить с рассудком,
По тюремной камере шагает.

Этот долгий путь в четыре метра,
Этот долгий путь в четыре шага,
Он длинней, чем под свистящим ветром
Снежная дорога по оврагам.

Не грызет решетку он по-волчьи,
Не ломает зубы о железо,
Человек по клетке ходит молча.
Человек на вещи смотрит трезво.

Не сломать замков, не выбить двери.
Человека в клетке держат звери.

Оно было потом напечатано в его единственной книжке, которая вышла в Москве в 57-м году. Книжка называется «Виноградник моего отца», он мне ее подарил с нежной надписью. Там стихи идут под рубрикой «Песни гетто».

Сейчас Иосиф с семьей в Израиле.

Наконец нас отвели в камеру. Когда я туда попала, я подумала, что никакой режиссер не смог бы воссоздать эту обстановку, если бы не побывал тут, не увидел все собственными глазами. Придумать это невозможно.

Народу — битком, наплевано, накурено. Какие-то блатные девки лежат под нарами. Отдельной тесной группой сидят испуганные москвички — актриса Малого театра, адвокат, пианистка. Холодно.

Я взяла веник — он стоял возле параши — и начала подметать. Вдруг у меня голова закружилась, и я упала. И тут же как искра — все же напряжены, все на пределе — зарыдала актриса, за ней еще кто-то, еще кто-то. «Что вы с нами делаете!» — «Изверги!» — «До чего довели женщину! У нее двое детей осталось, она умирает!»

«Тихо! — женщина-адвокат говорит.— Немедленно тихо! Это голодный обморок. У кого чего есть?» Меня положили на нары, кто-то мне сует в рот кусочек шоколада, сырок.

После Челябинской тюрьмы была Новосибирская тюрьма — какие-то жуткие холодные бараки. Когда несколько лет тому назад я была в Новосибирске у Мирочки, я попросила ее мужа сводить меня к этой тюрьме... Но она уже снесена.

Пока шла регистрация, открылась кормушка камеры — и я слышу оттуда: «Левина!» — «Да..» — «А вы?..» — «Я Персова». Ее муж работал в еврейском антифашистском комитете вместе с Нохимом, мы были хорошо знакомы. Я успела спросить: «Что с вашим мужем?» — «То же, что и с вашим». Вот и весь разговор. Меня отогнали от двери.

Очень хотелось попасть в ее камеру, узнать о судьбе общих знакомых, но меня поместили в камеру с уголовницами, проститутками. Это было очень страшно. Дегенеративного вида девки, лесбиянки... Ко мне не приставали, слава богу.

На следующий день меня перевели в камеру, где сидела Персова, но ее уже там не было. Зато я там встретила женщину-адвоката из Челябинской пересылки. Удивительная женщина. Она ни на минуту не теряла бодрости и юмора. Когда нам раздавали на обед селедку — а ее каждый раз делили на три части: хвост, середина, голова — она следила, чтобы тот, кто сегодня получил голову, завтра получил середину, а послезавтра — хвост. И еще при этом учила нас правилам хорошего тона!

Меня вызвали на этап раньше, чем ее. А у меня теплых вещей с собой никаких. В чем ушла из дому и что успела сложить в узелок — это и все. Вещевой передачи не разрешили. А уже зима. И тогда эта женщина снимает с себя свитер и надевает на меня. Снимает белый вязаный шерстяной платок и отдает мне. Достает варежки и надевает мне на ноги. Она была крупная, рослая. Я говорю: «Что вы! А вы как же? И как я смогу все это переслать?» — «Ой,— говорит,— дуреха. Не надо мне ничего пересылать. Я же еду на полное соц. обеспечение!»

Она ехала в режимный лагерь. Я говорю: «Но что я могу для вас сделать?» — «Можешь! — отвечает она.— Можешь сделать. Ты едешь в ссылку, у тебя будет возможность писать. Напиши моим детям, что я в порядке».— «Адрес?..» — «Запоминай: Тверская-Ямская, 20, квартира 20». Сколько лет прошло — я помню.

Из Новосибирской в Красноярскую тюрьму.

В камере человек триста. Слева от меня на нарах — воровка-рецидивистка. У нее четыре имени, четыре фамилии, четыре года рождения. Справа — большая красивая женщина, латышка.

Мы с ней разговорились. Она идет в ссылку повторно. Была несколько лет в Норильске, потом ее освободили и вот по документальным данным снова арестовали и отправили, куда — она еще не знает. Она из крестьянской семьи. В ее семье все музыканты. Сама она играет на скрипке. Она мне рассказывала о своей скрипке и о бычках, которых она выращивала, с одинаковым увлечением.

Каждый день кого-то вызывают — формируется этап для дальнейшего следования. Никто не знает, кого и когда вызовут.

Вдруг эта женщина, латышка, уложила с утра все свои вещи в плетеную корзину и сидит, ждет. Я спрашиваю: «Что вы ждете?» — «Меня сегодня вызовут».— «Как вы можете это знать?» — «Знаю. Я гадала, и мне дух Райниса сказал, что меня сегодня вызовут».

Начали вызывать как обычно, перед обедом. Называют фамилии — литовские, финские, немецкие... Она сидит, слушает очень внимательно. Ее фамилию не назвали. Я не смотрю в ее сторону, чтобы не смущать. И вдруг после обеда, часов уже в пять или в шесть, когда никого никогда не вызывали, открывается дверь и выкликают одну-единственную фамилию — ее. Она поднимается и уходит.

Сидела в камере жена маршала авиации Варвара Петровна Худякова с восьмилетним сыном Сережей. И я не могла без слез смотреть на него, у меня душа болела о своих детях — где они, что с ними? А в соседней, мужской, камере сидел старший сын Худякова от первого брака, Володя. Его родной отец погиб в гражданскую, и Володя шел в ссылку за отчима. Не захотел от него отречься. Парень, прошедший войну. На груди «Красная Звезда». Эту семью взяли прямо из дома, дали возможность собраться. У них было с собой много вещей, даже швейная и пишущая машинки.

Была беспомощная, трогательная пара старичков — актеры МХАТа Шелапутины. Совершенно как два голубка. Их видеть в этой обстановке — это волосы становились дыбом. А взяли их за то, что, когда театр был на гастролях за границей, их сын там остался. Они очень скоро умерли оба. По-моему, не добравшись до места ссылки, где-то между Красноярском и Канском.

Наконец этап сформирован. Нас на грузовиках везут на вокзал, там солдаты с собаками, кричат на нас, как на скотину, вталкивают в товарные вагоны женщин вместе с мужчинами, пинают коленом тех, кто недостаточно ловок. Мужчины помогают женщинам втащить вещи.

В нашей теплушке оказался Владимир Кульнев, высокий худющий человек в тюремном бушлате,— отпрыск старинного русского дворянского рода. За свое дворянство он и поплатился девятнадцатью годами заключения. И вот теперь ехал из тюрьмы в ссылку.

Прибыли в Канск. В тюрьму нас не повезли, а сразу загнали на открытые грузовики. Декабрь, а у меня осеннее пальтишко и варежки на ногах. Варвара Петровна уступила мне кусочек ватного одеяла. Мы сели спиной к кабине, между нами мальчик. Как-то втроем укрылись, а ноги мне некуда спрятать. Ноги торчат наружу.

Напротив меня сидит воровка, та, у которой четыре имени и четыре фамилии. И вот она, ни слова ни говоря, распахивает свою телогрейку, берет мои ноги и сует их себе под мышки. Я бормочу какую-то благодарность, она мне: «Молчи, дура, мать-перемать, а то без ног останешься». И вот так везла меня всю дорогу.

Привезли нас в большое село Тасеево, районный центр. Школа, больница, магазин, конторы химлесхоза, леспромхоза и, конечно, пункт НКВД. На ночь загнали нас всех в какой-то барак, утром выпустили во двор, выстроили. Подошли бригадиры, прорабы, начали разбирать ссыльных. Ну, конечно, каждый старался взять себе прежде всего специалистов и тех, кто покрепче.

Я оказалась в той группе, где были Володя Кульнев, Варвара Петровна с детьми, Юзепчук и еще две женщины — Аня Уманская, бывший секретарь Рамзина, и Вера Гамарник. Вера была дочерью крупного военачальника, который в 37-м году, почувствовав, что не угодил чем-то Сталину, пришел домой и застрелился. Жену его арестовали, и она погибла, а Вера выросла в детдоме. В 50-м году, когда она была уже замужем и у нее было двое детей, ее взяли и отправили в ссылку.

Вокруг Тасеева по радиусам расположены небольшие деревни. И вот пригнали подводы, кого-то отправляют в Машуковку, кого-то еще куда. Нашу группу отправили в деревню Глинную, в двенадцати километрах от Тасеева.

Мы сложили свои вещи на две подводы и тайгой двинулись в эту Глинную, где нам теперь предстояло жить. Я идти не могла — и потому, что не было обуви, и потому, что сил не было. Меня положили на подводу, на вещи. Я лежала, и у меня было полное ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Медленно движется подвода, медленно проплывают над головой кроны деревьев, медленно тянутся люди. Так мы прибыли в эту деревню.

Нас начали посылать на работы. Мы ходили в лес, чтобы подготовить его к весеннему ходу живицы. Впереди шли мужчины и специальными ножами-хеками насекали на деревьях полоски, а мы, женщины, шли следом с кромпонами — деревянными лоточками, воронками, в которые стекает живица. У каждой из нас двести-триста кромпонов. Снег такой, что, если провалишься, с головой уйдешь и уже не выберешься. Сверху наст. Я ползала от дерева к дереву по этому насту по-пластунски. Возвращалась из лесу полумертвая от усталости.

Пожалуй, из всех наших ссыльных женщин я была самая неустроенная, самая непрактичная. В глазах некоторых из них я выглядела просто дурой. Дура, что так остро на все реагирую. Дура, что с моей внешностью не ищу себе подходящего мужчину.

Многие стали создавать подобие семей. Аня Уманская вышла замуж за Федора Семеновича Хорупко, инженера, который прибыл с предыдущим этапом и уже обосновался в селе. Вера Гамарник тоже сошлась с одним из ссыльных, родила, а после реабилитации вернулась с ребенком к мужу и они снова воссоединились.

Пристроилась и Варвара Петровна Худякова, вышла замуж за некоего Мишу Шварцмана. Он в своей вольной жизни работал лесничим, знал лес, землю, и ему тут не страшно было, он был на своем месте. Они уехали за 18 километров от Тасеева, построили хорошую избу, обзавелись коровой, поросятами, жили крепко. Он очень привязался к маленькому Сереже. Потом они разошлись.

Нельзя осуждать. Потому что — очень трудно одной. Очень трудно. И особенно женщине.

Мне помощи ждать было неоткуда. Ну, самое большое — брат пришлет рублей стодвести, больше он не может, сам бедствует. Зима, а у меня ни валенок, ни теплой одежды...

Нас, правда, перестали гонять в лес — Володя Кульнев организовал кромпонную мастерскую, где мы стали работать, но я едва таскала ноги. Мною овладела такая апатия. Жить не хотелось.

Так прошли декабрь, январь, февраль. Где-то в марте Володя Худяков делает мне предложение. Я была года на три старше его, но чувствовала себя очень старой, усталой, опустошенной. И я ему сказала: «Володя! Ведь это вы — с отчаянья! Зачем вам связывать себя? Вам всего пять лет ссылки дали, вы освободитесь молодым, я уверена, что у вас там, на воле, есть любимая женщина».Он вынимает фотографию и мне показывает восхитительное женское лицо, такой чистоты, нежности, красоты, что молиться можно. Я говорю: «А теперь посмотрите на меня — зачем я вам нужна, да еще с двумя детьми?..»

И в этот же день мне делает предложение Володя Кульнев. И я его предложение приняла.

Глава VIII. ВОЛОДЯ КУЛЬНЕВ

Мне было страшно остаться одной — вот главная причина. Ведь мы же сидели вместе с «бытовиками» — ворами, рецидивистами, и где гарантия, что эти люди завтра не проиграют тебя в карты, не пырнут ножом, не изнасилуют. Хотелось какой-то защиты.

Что касается чувств, то никаких чувств у меня к Володе не было. У меня вообще все было мертво. Но я подумала, что мы сможем помочь друг другу. Я попытаюсь создать этому обездоленному человеку хоть подобие домашнего тепла, обстирать, обшить. Володе Худякову я не нужна, он молод и силен, а этот уже пожилой человек, ему пятьдесят лет, и у него после девятнадцати лет заключения нет ничего, кроме того, что на нем: брезентовые штаны, рубашка, бушлат, едва доходивший ему до пояса, и пилотка. Морозы 45—50 градусов, у него уши обморожены, руками он закрывает свое, извините, хозяйство, чтобы не отмерзло...

Отец Володи был царским генералом. Один из первых генералов, перешедших на сторону Красной Армии. Он не был арестован, умер своей смертью.

А предок их, Яков Петрович Кульнев, был героем войны 1812-го года, о нем писал еще Денис Давыдов. И у Игнатьева в его книге «50 лет в строю» можно найти о Якове Кульневе. В Эрмитаже портрет Кульнева висит справа от портрета Кутузова. Володя, правда, не был его прямым потомком — Яков Петрович был холост. Их было три брата Кульневых, так что Володя приходился ему правнучатым племянником.

Он гордился своим дворянством. У него и подпись была барственная, такой размашистый росчерк: «Вл. Кульнев». А протоколы допросов он подписывал так: «Все клевета», «Все клевета». Это несколько раз сходило незамеченным, а потом, когда тюремщики разобрались, они его наказали: инсценировали расстрел. Подняли его на рассвете, подвели к разрытой яме и выстрелили. Такое озорство тюремное. У него с тех пор немножко тряслась голова, и когда он нервничал, это было особенно заметно.

Его арестовали в Бодайбо, куда он подался из Москвы на золотые прииски — была в нем авантюрная жилка. Он сидел в Александровском централе. Потом его везли на какой-то тюремной барке. Потом он одиннадцать лет пробыл в лагере в Норильске, занимал там ответственную должность — заместителя директора по строительной части. Там

ведь тоже нужны образованные люди, а он был крупный экономист, знал несколько языков. Ему какое-то время разрешали жить вне зоны, с охранником.

А потом его дело пересмотрели, а там было написано: «15 лет тюремного заключения». И его из лагеря — опять в тюрьму, в одиночку. Он там пытался покончить с собой, удавиться на простыне. Его семь суток после этого не могли привести в чувство.

Четыре года он провел в одиночке, а потом ему дали пожизненную ссылку...

Мы сняли комнату — там же, в деревне Глинной, и устроили небольшую свадьбу.

Через месяц я раскаялась в том, что сделала. Мне стал противен Володя. Это трудно объяснить. Может быть, потому, что я безумно любила Нохима и невольно искала в Володе то, что сближало бы его с ним. Но Володя был другим по характеру человеком, совсем другим... И когда я пришла в себя, начала оттаивать и увидела, что какая-то жизнь существует даже в этих условиях, я поняла, какую совершила ошибку.

Я заявила, что не буду жить с ним. «А тогда,— он сказал,— дай мне чистое белье, я пойду повешусь».— «Ничего, вешайся в грязном!» — какое-то ожесточение во мне появилось. Этот человек легко шагал по жизни. Странно звучит — «легко шагал». Легко пройти лагеря, Норильскую каторжную тюрьму, где заключенные ходили в полосатых пижамах и с номерами на спине, остаться самим собой, сохранить личность — на это способен только очень сильный человек.

После всего того, что он пережил, ссылка казалась ему почти свободой. В свои пятьдесят лет он был полон жизни и сил, ему хотелось шумных застолий, женщин, азартных игр. В своем сером лагерном бушлате он оставался барином, аристократом до кончиков ногтей. Он умел быть душой общества — остряк, обаятельный собеседник, прекрасный рассказчик. Ко всему в жизни он относился с невероятной легкостью. В этом, конечно, его счастье. Другой бы погиб, не вынес всего того, что выпало на его долю.

Все в нем было мне чуждо. Во мне была другая жизненная сила. Я понимала, что без него погибну, но с ним — не могла.

Кончилось это для меня тяжелым сердечным приступом.

Достали лошадь и отправили меня в Тасеево, в больницу. В сопровождающие дали Асли Монах Кызы, жену грузинского партийного деятеля. Когда подъехали к почте, я попросила остановиться, зайти узнать, нет ли мне письма. Аслима зашла. Выходит: «Да, тебе было письмо, но его утром почтальон повез в Глинную».

Откуда взялись силы? Я слезла с подводы и пошла обратно. Аслима за мной: «Вай мэ! Ты пропадешь! Тебя волки скушают!»

Не трачу сил на разговоры, молча иду назад.

Это было первое письмо от Миши.

Миша писал, что после моего ареста они с Мирочкой пришли к дяде Саше, что дядя Саша вышел на лестничную площадку, куска хлеба не вынес, рубля не дал и сказал, что он их принять не может.

Я не помню, чтобы я плакала, когда прочитала это письмо. Я только слышала как будто со стороны свой дикий, звериный рык. Я каталась по земле, и двое мужиков, Кульнев и Хорупко, подняли меня, уложили, и у обоих слезы были на глазах.

Миша сообщил мне адрес своего детского дома и того, где Мирушка находилась. Я тут же написала, чтобы мне прислали моих детей. И стала ждать. Через некоторое время я получила ответ, что дети вместе с сопровождающим отправлены ко мне.

Я ждала их со дня на день, страшно волновалась, Володя меня успокаивал, и это как-то смягчило мое к нему отношение. Личные переживания отошли на задний план.

Я очень боялась, что с детьми что-то случится по дороге. Ведь все могло быть. Я два месяца со дня их отправления из детдома не имела с ними никакой связи. Потом-то это объяснилось: дети застряли в Канске из-за весенней распутицы. Не могли преодолеть последние 150—200 км. Не было дороги.

Однажды Володя пришел из леса обедать. Я ему подала суп, сама присела. Он ест, а у меня слезы капают в тарелку. Он мне говорит: «Чего сидеть и плакать? Давай пойдем в Тасеево и еще раз спросим, где дети». В это время открывается у нас за спиной дверь. Какая-то женщина: «Левина тут живет»? Я поворачиваюсь к ней: «Дети?!» — «Да».

Оказывается, они тут уже, в деревне. Она их, чтобы по грязи не вести, посадила на завалинку у первой избы, а сама пошла меня разыскивать.

И вот — в халате, волосы распущены, я бегу по деревне, а вслед за мной деревенские женщины бегут и голосят, то ли свое выплакивают, то ли меня жалеют... Бегу и вижу: Мирушка сидит... Мишенька сидит... Как-то все это ужасно захлестывает, и я подробностей не помню. Помню, как Мирушка спросила, как только меня увидела: «Мама, а почему ты какая-то другая?» Помню, что они были ужасно завшивленные. Володя принес

ножницы, мы их посадили и обоих — а у Мирушки были чудесные каштановые волосы — обстригли наголо, вымыли в бане...

Помню, как Миша едва не погиб в первые дни: наелся волчьих ягод. Пришли оба из леса, Мирочка говорит: «Мама, я немного ягод съела, а Миша много, он был голодный». Что делать? Мише плохо. Больница в двенадцати километрах. Лошадь мне не дадут. На себе я его не унесу — ему двенадцать лет. Он уже вымахал выше меня. Вспомнила, что при отравлениях надо пить как можно больше. Поставила перед ним ведро с водой и чуть ли не насильно заставила его выпить банок семь или восемь. Это его спасло. Его вырвало этими ягодами, я его уложила в постель, горячую бутылку к ногам — его трясло...

Как дети восприняли то, что вместо папы — чужой дядя? Да, в общем, как должное. Они много нагляделись за это время и, наверно, поняли как надо. Миша, правда, первое время дичился. Но Володя — он ведь легкий общительный человек. Он очень быстро расположил к себе Мишу, они подружились. Иногда прикрикнет на него, но это никогда не вызывало ни в нем, ни во мне обиды, потому что злости тут не было. Накричит — и тут же остынет. Начал брать с собой Мишу в лес собирать живицу. Мише с ним было интересно, он, возвращаясь домой, рассказывал, что они видели в лесу, как они пили воду из болота — через носовой платок.

К Мирочке он тоже неплохо относился.

Казалось бы, можно как-то сосуществовать. Но я была не в силах жить с Володей. Все во мне восставало, не потому, что он плохой, а потому, что другой. Другой породы.

Во мне умирала и все никак не могла умереть прежняя душа. Никак не хотелось верить, что прошлое отрезано навсегда и что для того, чтобы выжить, нужно учиться быть совсем другим человеком. Всеми силами старалась я оторваться от Володи. Пришла в пункт НКВД и попросила разрешить мне переехать в Тасеево. Сказала, что там школа, а моему сыну надо учиться. Мне разрешили.

Говорю Володе: «Я с тобой расстаюсь!» Он отвечает: «Ладно!»

Я наняла подводу, покидала туда все, что у меня было, посадила детей, поехала. Не проехала и километра — Володя догоняет, кидает на подводу свой рюкзачок и идет рядом.

В Тасееве я сняла угол и он снял угол неподалеку. Он устроился в химлесхозе на строительство МТС, а я стала работать подсобником штукатура. Месила раствор, обивала дранкой стены. Из красного байкового халата сшила себе брюки, так ходила.

Прорабом у нас был Нон Ильич Варшавский. Ему было 64 года, из них 33 он провел в заключении и ссылке. 33 года ему не могли простить, что он был анархистом. Еврей-анархист! Его жена Анна Львовна и дочь, оба врачи, каждый свой отпуск к нему приезжали из Москвы.

Очаровательный, интеллигентный старик. Мы очень с ним подружились. Он видел, как мне трудно одной с двумя детьми, и предложил мне ежемесячную помощь, но я отказалась. Я сказала: «Нон Ильич, вам самому помогают ваши родные — отрывают от себя и посылают вам. По какому праву я буду этим пользоваться?»

А Володя живет рядом, каждый день что-то подбрасывает детям, подкармливает и постоянно мне говорит: «Ладно, мать, не усложняй, чего там, давай жить вместе». Ну и мы снова сошлись.

Глава IX. ТАСЕЕВО

Тасеево — старинное сибирское село, дома крепкие, на сваях, за большими деревянными заборами. Народ суровый — там ведь все бывшие ссыльные, еще с царских времен. Нас они сторонились — их же напичкали, что мы враги, что с нами опасно общаться.

Новые ссыльные постепенно тоже обживались, обзаводились хозяйством. Люди знали, что они приезжают на вечное поселение, что домой они уже не вернутся. Каждый искал близких себе. Латыш искал латышей, немец искал немцев. Были целые улицы — латышские, немецкие, литовские, финские. Братствами такими жили. Сначала человеку устраивали временное пристанище, а тем временем вырубали, корчевали участок для его будущего дома, привозили по санному пути бревна из леса. Весна наступает — прежде всего надо посадить картошку. Картошка — основа жизни. А потом все вместе строят дом — и человек уже на ногах. Легче было тем, кто знал землю. Земля спасет, прокормит.

Там был детский дом, который мы штукатурили. Дети не наши, не ссыльные, а просто сироты. Голодные, сопливые, такие несчастные! И было в этом доме старое пианино, запертое на висячий амбарный замок. Я попросила завхоза снять замок, села за пианино, заиграла. Дети окружили меня — господи, как они слушали! Я, когда только могла, оставалась с ними, играла им.

Как-то иду с работы — по мосту через реку Тасей. Слышу — за мной шаги. Догоняет какой-то человек: «Вы Сарра Левина?» — «Да».— «Еврейская актриса?» — «Да».— «И как же вы могли выйти замуж за гоя?» То, что человек позволяет задать такой вопрос, сразу многое о нем говорит. Я начинаю подыгрывать: «Меня ни один еврей не берет».— «Почему?» — «У меня приданое большое...» — «Какое приданое?» — «Двое детей, а они ведь хотят кушать».— «А вы знаете, мне моя жена разрешила жениться. Я подумаю».— «Ну, думайте, думайте». Такой дурацкий разговор.

Я прихожу домой, рассказываю Володе об этой встрече, он хохочет, гадает, кто бы это мог быть. А недели через две идем — и этот человек идет нам навстречу. Подошел и говорит: «Вы знаете, я передумал».

Вспоминается, как однажды у меня вдруг начались дикие боли внизу живота. Криком кричу. Володя погрузил меня на санки и отвез в больницу. Местная врачиха, молодая женщина, мне говорит: «Что ты орешь, подумаешь, неженка! Больных только нервируешь». А я кричу, не могу сдерживаться.

Подошла хирург, Альбина Петровна Петерс, латышка из ссыльных. Положила ладонь мне на живот, послушала. «Попробуйте объяснить, где и как у вас болит».— «Болит низ живота, как будто я рожаю, а мне нечем». Она снова послушала и говорит: «Разрыв трубы. Брюшина полна крови. Немедленно на стол». И тут движок перестает работать, свет гаснет. Оперировать нельзя. Молодая врачиха говорит: «До утра не дотянет. Сердце слабое». Альбина Петровна отвечает: «Надо дотянуть до утра».

Как уж она меня дотягивала, какими средствами — не помню. Открою глаза среди ночи — Альбина Петровна рядом. В пять часов движок начал работать, меня положили на стол. Молодая — она ассистировала — кричит в коридор: «Машка, мать-перемать! Кончай мыть полы, иди накладывай маску!» Машка пришла, дальше не помню. Очнулась в палате, на животе тяжелая подушка с песком. А меня после наркоза начал душить кашель. Кашлять нельзя — шов разойдется. Я задыхаюсь, сестра решила, что я умираю, побежала за врачом. Пришла Альбина Петровна: «Что?» — «Кашель!» — «Ну хорошо, сейчас покашляем». Положила ладонь на лоб. Удивительная рука, большая, теплая, сразу легче сделалось. «Смотри на меня, будем вместе кашлять. Давай: км-км!» Я смотрю на нее, как завороженная, и тоже: «км-км». И прошел приступ.

Вся ссыльная компания поднялась как один: мне каждый день приносили что могли — и корень женьшень притащили, и продукты, кто что получал с воли. Выходили!

Миша был очень озорной — то залезет на чужой огород за огурцами, то на чердак заберется, потопчет зерно. Нам несколько раз отказывали в квартире. А тут Володя узнал, что на берегу Усолки продается домик за три тысячи. Мы решили его купить. Володин друг прислал 500 рублей из Норильска, сестра Володина из Москвы прислала хромовые сапоги. Мне брат прислал какие-то вещи. Мы продали все что могли, набрали три тысячи рублей и купили домик. Крохотный — три на четыре по внешнему обмеру. Внутри — русская печь занимает две трети всей площади. Но зато большой приусадебный участок — пятнадцать соток.

Мы начали с того, что разобрали печь и поставили небольшую плиту. Тогда поместились две коечки и наш топчан. И начали мы жить в этой избушке. Весной посадили картошку. Поросенка нам подарили, Борьку, и десяток цыплят.

Как-то на огороде пропалываю картошку. Подходит соседка-чувашка, стоит и смотрит. Потом спрашивает: «Что ты делаешь?» — «Картошку полю».— «А ты что же картошку-то вырываешь?» — «Как вырываю?» Поднимает с земли вырванные стебельки: «Так ведь это картошка!» — «А ты же смотришь? Почему сразу не сказала?» — «А я думала, это московская мода такая». Ей и в голову не пришло, что я в жизни не видела, как растет картошка. То есть видела, наверно, но не знала, что это картошка.

Постепенно, конечно, всему научилась.

Однажды Володя пришел с работы пьяный вдрызг. А у меня сидела соседка, латышка из ссыльных, я ее учила вязать и шить. Она увидела Володю, вскочила: «Ну, я пойду». Володя: «Я вас провожу!» Он ведь джентльмен невероятный!

А у меня книга была интересная, я рада была, что он ушел, забралась в постель, дети уже спят, читаю.

Лампа стала гаснуть, садиться. Я посмотрела на часы — три часа ночи! Володи нет. А между нашим домом и их домом — колодец, а там вокруг большая наледь. И у меня мысль — пьяный, поскользнулся, упал, лежит — замерзает... Я из постели прямо влезала в сапоги, накинула платок, телогрейку, бегу. Добежала до колодца — а наш домик был самый крайний, к нам волки забегали — у колодца никто не лежит. А вдруг в колодец упал?!

Подбегаю к дому соседки, стучу в окошко. «Алле-у!» — голос — моего. Я зашла, посмотрела на них... Ничего не сказала, повернулась, побежала домой. Бегу, реву.

Явился к вечеру на следующий день. Но я его понимала. И прощала. Он столько лет был всего лишен. И каких лет! Лучших лет молодости. Да и не придавала я значения его изменам. По сравнению с тем, что со мной произошло, это казалось мне такой мелочью. Это была какая-то совершенно другая жизнь, словно не со мной.

Работал Володя инженером на строительстве МТС. И вот по случаю окончания строительства был устроен большой праздник. Володю приглашают. Я говорю: «Володя, не ходи. Там будут все партийные работники, а ты ссыльный, зачем ставить себя и их в неловкое положение».— «Вечно ты, мать, все усложняешь! Собирайся, пойдем! Ничего». Пришли. За столом дым коромыслом, подвыпили, и начались еврейские анекдоты. Я, не желая слушать этот поток грязи, сказала: «Имейте в виду, что я еврейка». Минутное неловкое молчание — и потом веселье пошло своим чередом. Правда, больше анекдотов не рассказывали. Володя вышел в сени покурить, с ним еще кто-то. Вдруг что-то там падает, звенит — драка. Оказывается, тот, кто с ним вышел, спрашивает его: «Так ты что, жид?» — «Я — дворянин!» — он же гордился этим.— «А чего же ты на жидовке женился?» Ну, и в ответ Володя ему врезал. Такой человек. Его можно было во многом упрекнуть, но юдофобства в нем не было совершенно. С трудом их растащили, я подхватила Володю и увела домой.

Две зимы мы прожили в нашем крохотном домике. Володя предлагал расписаться, но меня все еще не оставляла надежда: вдруг Нохим жив? Вдруг заменили расстрел 25-ю годами — зачем расстреливать?

Я написала заявление в НКВД с просьбой сообщить о судьбе мужа. Но — по совету Володи — не упомянула о том, что я держала в руках приговор о расстреле. Я по всем адресам писала вплоть до сумасшедших домов, потому что у Нохима ведь бывали припадки безумия после ранения в голову, и я подумала, а вдруг он в сумасшедшем доме? Ведь всегда хочется верить в лучшее. И вот весной, в распутицу, за мной приезжает человек: «Вас вызывают». Он верхом на лошади, я бегом за ним. Навстречу Нон Ильич Варшавский. «Сарра, куда?» — «В НКВД».— «Я с тобой». Он предположил, что они хотят меня вербовать в осведомители, и всю дорогу учил, как отвечать, чтобы не попасться им на крючок. Проводил до самых дверей и спустился под горку, к речке — дом стоял на высоком берегу,— сел на бревна ждать меня.

Вхожу к начальнику. «Вы писали заявление по поводу Левина?» — «Писала...» Держит передо мной бумагу. В руки не дает. Я читаю: осужден сроком на 10 лет строгого режима.— «Распишитесь, что вам зачитано». Я расписалась. Выскакиваю — и с этой горы вниз, и к Нону Ильичу на шею! «Жив! Нохим жив! Жив!» Он так гладит меня по голове и говорит: «Сарринька, нету Нохима».— «Но я же собственными глазами!..» — «Нету Нохима». Он знал, что я держала приговор о расстреле. Заревела, не поверила, побежала на почту и написала открытку Эльше: «Эльшинка, Нохим жив, как со мной будет — какая разница, главное, что Нохим жив».

Растерянная, счастливая пришла домой. Володя говорит: «Мне трудно тебя убедить. Но ты должна мне поверить: его нет в живых». И он, и Нон Ильич больше моего пережили, они бы не стали меня убеждать, если бы не знали точно. Откуда? Да просто люди, прошедшие тюрьмы и лагеря, становятся опытными в этих делах. За строчкой лжи читают правду.

Несколько лет спустя я держала в руках бумажку о реабилитации: «За отсутствием состава преступления, посмертно...» Есть версия, что его забили на допросе. И это могло быть. Он ведь такого мог им наговорить...

К тому времени, как Ирочке родиться, мы с Володей расписались. Пришли в сельсовет, он говорит регистраторше: «Всем невеста хороша, только немножко беременна...»

Ирочка родилась 24 декабря 52-го года. Четверо суток мучилась с ней. Опять попала в руки Альбины Петровны. Это было уже после «дела» врачей, и ей помогал принимать роды знаменитый ленинградский хирург Момушин. Могучий, сильный старик, он орал там на все это больничное начальство, он плевать на них хотел. Не знаю, дождался он реабилитации или умер там. Многое ведь зависело от характера человека, от того, насколько он испуган, сломлен. Ну, этот не был сломлен.

Альбина Петровна, знаю, дождалась и вернулась в Ригу. Работала в большом старинном родильном доме на проспекте Мира. Я с ней потом виделась.

А вот Бибиковы, муж и жена, не дождались. Он был профессор-лингвист, она — преподаватель немецкого языка. С ними было так: он умер, она его обмыла, одела, сложила ему руки, поставила свечу, сама помылась, привела себя в порядок, встала перед ним на колени и ввела себе морфий. Вместе их там и похоронили.

Был Реске, старик. Говорил, что он один из трех, которые подписывали первые наши советские деньги. Тоже не дождался.

Тасеевский рынок — как большой клуб, туда съезжались из всех деревень. Я там познакомилась с молодой женщиной-ленинградкой. Она работала до ссылки на киностудии директором картины. Собственно, сослали мужа, а не ее, но она все бросила, положила партийный билет на стол и поехала вслед за ним, взяв с собой двух детей-погодков, двух и трех лет. Муж тяжело болел, работать не мог. Они буквально голодали. Я ей старалась помочь чем могла. Носила ей картошку, хлеб, отдала ей свои валенки — я тогда ждала Ирочку, ходила мало.

Володя никогда не возражал. Ну, он широкий, щедрый человек. Сам мог снять с себя последнее для друга. Правда, в то же время он мог прийти домой и съесть все, что было съестного, не подумав, осталось ли что-нибудь другим.

Они получили право уехать где-то уже в 54-м году, раньше нас. Вернувшись в Ленинград, с трудом получили комнатку, очень бедствовали — она потом приезжала ко мне в Ригу, рассказывала. И вот как-то утром муж говорит: «Пойду куплю папирос».— «И соли»,— она его еще попросила. Он вышел и исчез. Спустя много времени она узнала: он встретил на улице свою первую жену, которую он когда-то оставил с месячным ребенком. Теперь эта женщина преуспевала, стала модной портнихой, у нее была и дача, и квартира. И он ушел жить к ней. А ту, которая все бросила ради него, с двумя детьми оставил в нищете...

К тому времени, как Ирочке родиться, мы к нашему домику сделали пристройку: две комнаты, верандочку и кухню. Нам помог ссыльный писатель Виктор Леонидович Петровский. Он здесь работал плотником. Сколотил бригаду, и очень быстро нам все сделали.

Вот и у нас свое хозяйство: дом, картошка, зелень, поросенок. Копаюсь на огороде, завариваю пойло... Иногда казалось: я ли это? Была ли другая жизнь? Но вдруг эта жизнь напоминала о себе.

В Тасеево был сослан, уже после нас, художник Осипов с женой. Меня к ним привел Нон Ильич. Старенькие. Крохотная комнатушка. Они прибыли не из тюрьмы, и поэтому у них были кое-какие домашние вещи. Настоящие маленькие фарфоровые чашечки. Картины. Уютно, тепло, сердечно. Мы вспоминали, вспоминали, Москву, театры, друзей... Отодвинулись стены, ушла тайга... На какое-то время все вернулось.

Однажды зимой к Володе зашел огромного роста мужчина, латыш, лесоруб, с огрубевшим от мороза лицом. Они говорили о своих делах, потом я накрыла на стол, налила им по тарелке супа. Он поел и ушел.

Через несколько дней снова пришел. Я говорю: «Владимира Георгиевича нету дома».— «А я не к нему. Я к вам». Лезет за пазуху, достает оттуда и протягивает мне на ладони крохотный зеленый кустик с гладенькими блестящими листиками, как у фикуса. Зима, мороз 45 градусов. Подарил — и ушел.

Я потом узнала, что отец этого человека был знаменитый в Латвии цветовод. И сын тоже, очевидно, понимал в растениях, знал, где можно под снегом откопать зеленый кустик. Не помню его фамилии, но этот крохотный кустик в огромной ладони — никогда не забуду.

А еще Гольдин был у нас, ссыльный. Без руки. Я тогда только родила, морозы стояли страшные, я боялась надолго уйти из дома, а булочная была далеко, на другом конце деревни. И вот — стук в дверь. Открываю — стоит Гольдин, продрогший, в рваном бушлате, с обмороженными щеками, и держит в единственной руке каравай хлеба для меня.

Такие вещи не забываются...

Вскоре после рождения Иришки Володю перебросили на другое строительство — в деревню Сухово, опять строить МТС. Там нам дали половину дома — три комнатки. Мы продали домик в Тасеево за 12 тысяч и купили корову. Как я первое время Маньку свою боялась! Поставлю ей два ведра с пойлом, сяду вот на таком расстоянии — и дою. Она была с норовом. Молока она давала немного, всего десять литров. Нальешь в банку — а там сливок почти половина банки. У меня был маленький сепаратор, я масло сбивала. Творог получался прекрасный, сметана. На огороде — своя картошка, капуста, огурцы, помидоры. И, кроме того, я все время вязала и шила на продажу.

...Хороший солнечный день. Картошка собрана и разбросана на поляне, проветривается. Я хожу и переворачиваю ее, сортирую и складываю в ведра. Какую покрупнее — для еды, помельче — для коровы.

В этот день прибыл новый этап.

Каждый этап мы встречали. Во-первых, среди приехавших могли оказаться знакомые, да и помощь людям надо было оказать — мы-то уже чувствовали себя крепко.

Среди приехавших был человек... Когда я потом читала «Один день Ивана Денисовича», мне казалось, что Солженицын списал своего героя с него. Простое крестьянское лицо, заросшее седоватой щетиной. Ноги обмотаны бумагой и веревками. Тюремный бушлат. Выражение лица хмурое, одичавшее. С таким встретишься один на один — испугаешься.

Потом-то он нам рассказал о себе. Он из Белоруссии, работал до войны рабочим на молочном заводе и, когда пришли немцы, продолжал там работать. За это его и посадили. Отсидел свои десять лет, думал, что его освободят и он вернется домой, а его в ссылку на бессрочное поселение.

И вот он, голодный, опухший, прибыл с этапом в нашу деревню. Ночевать негде, как он тут будет жить, где устроится — ничего не знает. Подошел к нашей избе. Видит — лежит картошка. Он, не нагибаясь, ногой переворачивает одну, другую. Я понимаю ход его мысли — он поработает, поможет мне, а я его за это накормлю или дам что-нибудь. Но он еще не знает, как я на это посмотрю, а гордость не позволяет просить, и он молча ходит и переворачивает картошку, сдвигает хорошую к хорошей кучке, плохую к плохой.

Пришло время подоить корову. Я подоила и — так, чтобы он видел,— поставила на крыльцо пол-литровую банку молока. И ушла в комнату кормить Иришку. Думаю: возьмет? Не возьмет? Смотрю в окно — взял, выпил молоко.

Я вышла, взяла два ведра с картошкой, тащу. Он подошел, отобрал — все молча. Я, тоже молча, подвела его к подполу, он высыпал картошку. Так мы вместе всю картошку перебрали, он ни слова. Потом я ему говорю: «Пойдемте, борща покушаем».

Тоже молча пошел, сел боком к столу, снял шапку, утерся ею, положил на колени, молча выхлебал борщ. И ушел.

Когда вернулся с работы Володя, я ему говорю: «Слушай, Володя, тут дядька один появился с последним этапом, в очень плохом состоянии. Придумай для него что-нибудь».

И Володя его устроил на первых порах водовозом. И стал этот дядя Гриша возить воду с реки в дома. Жить определился по соседству с нами, а к нам приходил помогать по хозяйству. Ягоды нам приносил, чистил стайку, навоз носил на огород, только что корову не доил. Говорил: «Я бы подоил, да бабы засмеют!»

У нас он стал своим человеком. Первое время я его старалась подкармливать. Ел он скупо, с большим достоинством. К зиме мы сумели организовать ему самое главное — валенки.

Дети к нему привязались как к родному, и он к ним. Бывало, Мирочку посадит на край бочки, сам рядом идет, а она правит. С детьми он оттаял постепенно...

Когда ему пришла реабилитация, вернулся к себе в Белоруссию. И вот, уже в Москве, мы получаем от дяди Гриши письмо о том, что он хочет жениться, устроить свою жизнь. Пишет: «Я тебе, Володя, все опишу, а ты отбей мне телеграмму». И перечисляет, что есть у него — и капуста, и картошка, и овцы, и корова, и что есть у его невесты. Мы посмеялись, и Володя дал телеграмму: «Женись».

Год спустя дядя Гриша приезжает в Москву, останавливается у нас. Володя спрашивает: «А жена где?» — «Так ты ж, Володя, не позволил!» — «Как не позволил?! Я же тебе отбил телеграмму: „Женись!"» — «Нет, в телеграмме было написано: „Тянись". Я понял, что держись, мол, не надо». Ну, опять посмеялись, а потом он уехал и вскоре женился. И они с женой переехали в Одессу. Я останавливалась у них, когда приезжала туда в 70-м году.

Смерть Сталина мы встретили радостно. Бегали из дома в дом по всей деревне. «Вы слышали?! Вы слышали?!» Было предчувствие, что дальше так продолжаться не может. Что-то должно измениться, лопнуть как нарыв.

Он умер пятого марта, 11-го была первая реабилитация — Соломона Михайловича Михоэлса. Передали по радио, напечатали в передовой «Правды»!

Я тут же написала письмо на Кузнецкий, что, судя по моему допросу, я и мой муж были взяты по делу Соломона Михайловича Михоэлса. И поскольку его реабилитировали, то я прошу пересмотреть наше дело.

Но прошло еще два года, прежде чем я получила реабилитацию. Это понятно: обработать за короткое время такое количество дел они просто не были в силах.

Миша окончил семь классов, ему исполнилось пятнадцать лет. Через год ему получать паспорт, а я не хотела, чтобы он получал его в Тасеево, чтобы у него был «ссыльный» паспорт. И я его отправила в Кемерово, в горный техникум.

Весной 55-го пришла мне реабилитация. Но я понимала, что, пока не реабилитирован Нохим, положение у меня непрочное: я оставалась женой «изменника родины». Что касается Володи, то он и не желал подавать на реабилитацию. Не желал — и все: «Меня взяли как дворянина — я был, есть и буду дворянином. Как сына генерала царской армии — я был, есть и буду сыном генерала царской армии».

А люди постепенно разъезжались. Бывало так, что первыми освобождали мужей, которым дали по 15—20 лет лагеря, а женам еще не прислали реабилитацию — мол, потерпят, ссылка не тюрьма. Мужья приезжали, находили своих жен и увозили.

«Как?! Что?! Не имеете права без документов».— «Пришлете документы вслед! До свидания!»

Я решила съездить в Москву и добиться реабилитации Нохима и Володи. Володя проводил меня в Канск, усадил в поезд. Я вошла в купе, и первая мысль была: как же мы, 22 человека, тут размещались? Сейчас в купе кроме меня ехали молчаливый пожилой мужчина крестьянского типа и молодой парень, который решил за мной приударить. Его только не устраивало мое имя: «Сарра! Почему — Сарра?» — «А почему не Сарра»? — я ему говорю.— Катя вас больше устроила бы?» Пожилой хмуро смотрел в окно, молчал.

На одной из станций прямо напротив наших окон остановился вагонзак. Зарешеченные окна. Я не знаю, что отразилось на моем лице. Наверно, что-то в нем было такое, потому что я вдруг услышала пощелкивание языком. Оглядываюсь на соседа, того, хмурого, отвечаю тем же. Он встает, выходит из купе. Через несколько минут возвращается — у него три граненых стакана и пол-литра водки. Молча разливает по стаканам. А парень сидит, глаза удивленные, ничего не может понять: «Почему пьем? По какому поводу?» Тот смотрит на меня, поднимает стакан и говорит: «Ну что ж, давай выпьем за то, чтобы он не узнал того, что мы с тобой знаем». Выпили.

А что это за знак? Это вот что: в военно-режимной тюрьме, когда ведут по коридору заключенного, то один из конвоиров или стучит ключом по пряжке, или щелкает языком, чтобы впереди знали, что ведут заключенного. Чтобы двое заключенных не могли встретиться. Если навстречу тоже ведут заключенного, то одного из них ставят лицом к стене.

В Москве я не стала ни к кому заезжать, чтобы не подводить людей, и сразу пошла на Лубянку. Там я в один кабинет заходила как Левина, а в другой как Кульнева. Оставила документы и, не задерживаясь,поехала обратно. Купила, конечно, всем подарки — рубашки китайские для Миши и Володи, костюмчики для девочек.

Возвращаюсь — и в тот же день приезжает Миша из Кемерова. Худой, голодный, грязный! Оказался совершенно не приспособленным к самостоятельной жизни. Стипендию проедал в первые два дня — не мог есть один, если рядом голодные, это уж мой характер. Ну, а помочь я ему особенно не могла. Что делать? Я его вымыла, одела, накормила, он ожил немножко и уже в техникум не вернулся.

Глава X. МОСКВА

В 56-м году у меня в руках было три реабилитации. Мы продали все что могли и поехали в Москву.

Те, кто попал в первую волну реабилитации, получали огромные деньги, им возвращали квартиры, выплачивали ссуды на восстановление, на мебель. Но когда власти увидели, сколько народу хлынуло, стали давать возвратившимся двухмесячную зарплату и ставить в спецочередь на квартиру. Так что жить нам было негде, и мы временно поселились у Володиного сына Игоря, которого Володя оставил, когда тому было девять лет. Первая жена Володи умерла, а этот Игорь был совершенно спившийся человек. Запущенный, несчастный, выглядел старше своего отца. Жил он в коммунальной квартире, в комнате, поделенной пополам. В одной половине жила его бывшая жена, официантка из «Националя», в другой — узкой и длинной, как пенал,— ютились мы все.

Образования Игорь не получил, жил тем, что продавал фамильное кульневское серебро и пропивал. Но — добрейшей души.

У него 15 апреля день рождения, ему исполнилось тридцать три года. И я решила устроить ему семейный праздник. Купила в подарок рубашку, приготовила обед, испекла что-то. Он был так счастлив! Он так не привык к вниманию! У него сияли глаза...

Необходимо было прежде всего получить жилплощадь. Но для этого нужно было прописаться. А для того чтобы прописаться, нужно было, чтобы кто-то, у кого есть лишние 45 метров жилой площади, дал согласие нас у себя прописать. А у кого тогда в Москве было лишних 45 метров, чтобы прописать семь человек?

В районной милиции мне в прописке отказали. Я обратилась в областную. Там два раза в неделю принимал какой-то начальник по этим вопросам. Выстояла ночь, записалась, попала. У меня в руках три реабилитации — моя, Нохима и Володина.

Вызвали меня. Вхожу. За столом огромный генерал. Щеки чуть ли не в плечах. Три подбородка. Китель расстегнут. Сидит. Ни «пожалуйста», ни «садитесь». Я подошла, протянула документы. Взял. Перелистал: «Вот же тут написано — отказать! Ну и все».— «Нет, не все! Я не за этим к вам пришла! Меня не ставят в очередь на получение жилплощади, потому что я не прописана, прописку мне не разрешают, потому что у меня нет жилплощади — этот круг можно только разорвать. И вы его разорвете!»

Он говорит: «Не повышайте тон! Я вам не дам никаких скидок!»

Меня захлестнуло. «Дадите! Дадите скидки! За ни за что расстрелянного мужа! За троих детей, которых некуда деть!» И кулаком по столу перед самым его носом.

Он: «Да я а суд на вас подам!» — «Подавайте! Пусть суд разберет, кто из нас праа, кто виноват».— «Я, что ли, виноват а том, что произошло?!» А у меня сразу перед глазами пригоаор Нохима за подписью трех генералоа. И тут сидит такая вот ряшка передо мной. «Может быть, вы, кто вас знает!» — «Я, что ли, мало пережил?!» — «Не похоже! Если бы вы хоть что-то пережили, аы бы подумали, куда мне деваться с тремя детьми!»

Мне было так больно — получается, что я спекулирую судьбой мужа. В который раз мне приходится повторять, что Нохим расстрелян, а это произнести очень трудно, а обстоятельстаа вынуждают...

«Ну ладно,— гоаорит этот генерал.— Найдите где-нибудь 15 метров — по три метра на человека, аоенная норма,— я аас пропишу».— «И мне эту канитель начинать сначала? Опять асю ночь стоять в очереди, чтобы записаться к вам на прием?!» — «Придете без записи. Я отдам распоряжение».

Я аышла на улицу, уткнулась в стенку — я так ревела, я не могла прийти в себя... Нет, я не ждала, что меня будут приветствовать барабанным боем и фанфарами, что передо мной будут расшаркиваться. Но хоть какая-то элементарная тактичность, я уж не говорю — желаиие мне помочь. Ведь это мое праао — получить хоть что-то из отнятого.

Назавтра Володина тетка дала разрешение прописаться у нее, я пришла с заявлением, отдала секретарю, и мне тут же аыдали разрешение на прописку.

Но еще мы несколько месяцев ждали, когда нам дадут комнату, а до того времени продолжали ютиться у Игоря. И наконец получили воале ВДНХ комнату 25 метров. Могли бы получить небольшую двухкомнатную квартирку а 27 метров, если бы у нас была породистая собака. На породистую собаку полагается даа метра. А так как собаки у нас не было, то мы получили одну комнату и очень скоро поменяли ее, переехали тоже в коммунальную квартиру, но в район, дорогой мне по воспоминаниям — на Метростроевскую улицу. Жизнь налаживалась, я даже начала заниматься гимнастикой в группе Алексеева, ходить в плавательный бассейн «Чайка».

В первый раз пришла в этот бассейн, погрузилась в воду — снег идет, музыка играет, огни разноцветные,— а я плыву и плачу, захлебываюсь от слеэ. В ссылке держалась, редко плакала, а аернулась — и словно растопилось что-то. Ослабела. Иду по улице, под ногами московскяя мостовая, над головой московское небо — плачу. Все вызыаало слезы, возвращалась острота чуаств.

Ходила на концерты, в театры, радовалась встрече с каждым уцелевшим, вернувшимся оттуда человеком и горько думала о том, что Нохима нет и никогда не будет.

Помню, в кинотеатре повторного фильма шли «Искатели счастья». Там же Зускин играет! Я купила 80 билетов. Адочка Берковская с дочкой пришли на этот фильм. Это было и радостно — увидеть его, услышать его голос, и горько, и больно... Она смотрела асе сеансы, все дни, пока шел фильм. Потом фильм шел где-то за городом — она туда ездила каждый день. Записала его голос на пленку. Она была тогда уже очень больна. Ей удалили грудь, и она вскоре умерла. И когда я приехала на похороны, я ее не узнала, так вымучила ее болезнь.

Умер, года не прожив после возвращения, Нон Ильич Варшавский — от рака горла. Родной человек! Когда мне было очень тошно, я прибегала к нему, у него всегда находился для меня стакан крепкого чая, сухарь, он меня усаживал, что-то рассказывал, что-то я ему рассказывала.

Умерли старички Осиповы, тоже от рака. Почему-то именно тогда, когда человек, столько пережив, возвращался домой, его настигала и уносила эта болезнь.

Как мне хотелось встретиться с Моисеем Беленьким! Обнять его, выговориться, излить душу. А кому, как не ему? Он был самым большим другом Нохима.

Мы встретились с ним а ВТО на каком-то вечере... Я бросилась к нему, я думала — мы обнимемся после стольких лет, таких лет... А он холодно кивнул и прошел мимо. Лучше бы отхлестал по щекам, покрыл матом — я бы считала, что так оно и должно быть. Но такое демонстративное равнодушие меня потрясло. Он не мог мне простить, что я вышла замуж. Я ему еще из ссылки написала обо асем и просила помочь мне, найти каналы, по которым можно хоть что-нибудь узнать о Нохиме. Он мне ответил: «Какое тебе сейчас дело до Нохима?» И еще там было про Эльшу: «Эльша — саятая женщина».

Я всю ночь не спала. Рыдала. Ведь он для меня был частица Нохима. А я любила и люблю только Нохима, живого, погибшего — все раано. Он единственный на всю жизнь. Не знаю, смогли бы мы снова быть вместе, останься он жив. Думаю, нет. Но он бы меня понял и не осудил. А Моисей осудил.

Я написала ему большое письмо. Впервые обратилась к нему на «ты». Как ты, мужчина, проделав тот же путь, что и я, можешь меня осуждать! Меня, женщину, которая пережила Лефортово, у которой забрали детей, которая держала в руках приговор о расстреле мужа. Эльша — святая женщина, но она спала все эти годы на своей постели, рядом с ней были дети, она была окружена родными, она получала от тебя письма и знала, что ты жив. Что ж ты равняешь меня с ней?

Больше мы с ним не встречались.

А вот с профессором Фальковичем мы совсем по-другому встретились.

Он у нас а студии преподаaал еврейский язык. В 48-м году студия еще существовала и я там вела занятия по художестаенному слову. Мы с ним шли по улице Горького, я провожала его домой, он жил за телеграфом. Мне хотелось узнать его мнение о моих преподаательских способностях. И вдруг я замечаю — эа нами пристроились два молодых человека. Одинакоаые кепочки, выправка... Я говорю: «Хавер Фалькович, ме гейт нох унда. За нами идут». Он отвечает соаершенно спокойно: «Пусть они идут! Это их работа! Они за нее деньги получают!» Мы дошли до его подъезда, и я его спросила: «Хавер Фалькоaич! Что вы скажете о моем преподавании?» Он говорит: «Нарел! Глупенькая! О чем вы говорите сейчас? Сейчас вы должны думать о том, как вы будете кормить двух детей. Нас не станет скоро. Мы уйдем». Он имел в виду Нохима, себя...

К счастью, его не вэяли. И аот, когда я вернулась, я поавонила Фальковичу. «Ой, Сорэлэ, кум цу мир! Заходите!»

Я пришла к нему. Семь часоа мы с ним сидели. Я ему рассказывала. Он плакал. Я плакала. Успокаивали друг друга. Пили чай. Опять разговаривали. Я от него ушла такая облегченная, такая обновленная, выплеснула, выговорила — и легче. Иду по улице и опять плачу — почему же мне эту горькую радость не подарил Моисей?! До сих пор не могу этого понять...

Володя был далек от всех моих переживаний. Удивительный человек! Для него этих лет заключения как будто не было! Высокий, стройный, подтянутый, брюки наглажены, рубашка накрахмалена, галстук аывязан — денди с голоаы до ног. Только тросточки не хватало.

Мы, когда вернулись, получили довольно много денег — я за себя и Нохима двухмесячные оклады, около трех тысяч рублей, и Володя около одиннадцати тысяч — у него был большой оклад на золотых приисках перед тем, как его взяли. Но у нас ни кастрюли, ни ложки, ни белья постельного — ничего, эти деньги на обзаведение бы использовать. Вместо этого у Володи ежедневно улетает 600—800 рублей на вино, на карты. Встречи с друзьями, застолья — в общем за месяц-полтора денег у нас не стало. Мне стыдно было его остановить — человек столько лет ничего не видел, ничего не имел.

Он устроился юрисконсультом в крупной организации, стал получать больше трех тысяч рублей в месяц, но ни разу — ни разу! — не принес зарплаты домой. Один раз принес букетик фиалок, я обрадовалась: «У тебя что, зарплата?» — «Да! Это — вместо».

Как он играл! Обычно а преферанс играют на полкопейки — в его компании играли на десять копеек. Там были огромные выигрыши и проигрыши. Если он выигрывал, он мгновенно все проматывал — в ресторанах, на бегах. Если проигрывал, занимал у меня и тоже все просаживал.

Я тянула семью полностью на своих плечах. Купила сразу по возвращении чехословацкую машинку «Ладу», очень удобную, и гнула спину с утра до ночи. Володя тратил все. Был у нас холодильник — мы в нем держали книги, потому что из еды туда прятать нечего было. Эти его загулы! В пятницу вечером Володи нет. В субботу нет. В воскресенье нет. В понедельник звоню на работу. «Алло-у»,— барственный голос. «Ты жив?» — «Да, а что?» Я кладу трубку.

А то пришел часоа в шесть утра, пьяный, принес огромный торт, перевязанный черным капроновым чулком. Стоит и мотает этим тортом перед моим носом. Ждет, когда я проснусь. Я проснулась, этот торт взяла и — как шваркну об стенку!

Нервы не выдерживали. Мы постоянно ссорились. Постоянно.

Он ведь так и не отдал долга челоаеку, который когда-то помог нам купить домик в Тасееве. Сколько раз я ему напоминала! Он отвечал: «Да брось ты! Плюнь и не думай!»

Этот человек однажды пригласил нас в гости. Я гоаорю: «Володя, где хочешь, как хочешь, доставай эти пятьсот рублей, надо ему отдать».— «А, брось, у него и так много денег».— «Меня это не касается. Мы ему должны, и надо отдать».— «Ладно, займу, буду кому-нибудь другому должен».

Мы догоаорились, что я зайду к нему а конце рабочего дня и мы пойдем вместе. Он работал на площади Пушкина, за «Известиями». Прихожу. «Ну что, достал деньги?» Показывает наручные часы, большие, позолоченные: «Вот они!» — «Как?!» — «Я на них купил часы! Не могу же я пойти в гости без часов!»

Миша отслужил в армии и вернулся с женой, с деаушкой из крестьянской семьи. Поступил было учиться на физмат — бросил, пошел работать на «Шарикоподшипник» — и это бросил и уехал с женой на север, зарабатывать на кооператив. Там, а Норильске, работал наш друг по ссылке, он устроил Мишу на работу, дал им жилье.

С Володей в лагере работал Ефим Уряшзон. У него там начался процесс в легких, и его сактировали, поскольку он уже был обречен. Володя забрал Ефима к себе и отправил его на остроаа. Там Ефима откармливали собачьим салом. И вылечили. Ефим теперь часто приходил к нам а Москае. И он мне как-то сказал: «Вы знаете, Сарра, если Володя мне

скажет — прыгни с седьмого этажа, я прыгну. Но Бог видит, как я хочу, чтобы вы расстались. Для вашего блага».

Володю нужно было принимать таким, как он есть. Но мне было очень тяжело и физически, и морально — я только успевала закрывать какие-то прорехи.

Шила, шила, и это мне уже — поперек горла. А куда деваться? В театр я вернуться не могла, дисквалифицировалась, да и не существовало уже еврейского театра.

И тут мне помогла Бетя Квитко. Она узнала, что Корнею Ивановичу Чуковскому требуется человек для работы в его детской библиотеке в Переделкино.

Глава XI. КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ

Ранней весной 60-го года Бетя привезла меня в Переделкино. Волновалась я ужасно. Подошли к калитке. Табличка с надписью: «Здесь злых собак нет». Это меня рассмешило, я почувствовала себя чуть посвободнее.

Корней Иванович меня очаровал. Высокий, стройный, с седой головой, в глазах молодые чертики — ну само обаяние! Он сразу почувствовал мою скованность и так приветливо со мной говорил, словно всю жизнь меня знал. Подвел к библиотеке. Дощатое длинное строение, все разрисованное персонажами из его сказок. Тут и крокодил, который солнце проглотил, и чудо-дерево, и доктор Айболит... Познакомил меня с Ольгой Васильевной, заведующей библиотекой, с Кларочкой Лозовской, своим секретарем, и пригласил меня пообедать. За обедом рассказал, какие у меня будут обязанности: организовывать детские праздники, ставить с детьми спектакли.

Перед его прибором стояла рюмочка, и он, лукаво на меня глянув, выпил, крякнул и сморщился. Увидел, что у меня глаза округлились, засмеялся и таинственно сообщил, что это не водка, а желудочный сок. После обеда спросил: «Ну как? Что вы решили?» Я ответила, что решать мне нечего, что я счастлива тут работать. И я начала работать у Корнея Ивановича.

Первое время я каждый день к десяти часам ездила из Москвы в Переделкино, а потом Корней Иванович сказал: «Вам, наверно, трудно так. А вы берите детей и поселяйтесь в домике». У него при входе на участок был маленький домик типа гаража. Корней Иванович долго возился со ржавым замком. Открыл. Там маленькие сени и комната. В комнате две койки. Пахнет сыростью. Корней Иванович говорит: «Надо протопить». Набрал бумаги, щепы, напихал в печку, зажег — дым пошел в комнату, но потом наладилась тяга, и в печке загудело. Надо было видеть, как обрадовался Корней Иванович: «Горит! Горит! Нет, вы посмотрите, как хорошо горит!»

Пошел в контору, договорился, что этот домик отремонтируют, оштукатурят, но когда он мне сказал, сколько это ему будет стоить, я ужаснулась и заявила, что я сама приведу домик в порядок. Почему он должен на меня тратиться?

Я рано-рано вышла, замесила в корыте глину с песком, кизяков набрала, стала в это корыто и давай мешать раствор — вспомнила свою ссыльную профессию. Поднимаю голову — стоит Корней Иванович и меня фотографирует! У меня до сих пор сохранились фотографии, он мне подарил. «Вы знаете, у вас так прекрасно получается!» И стал вспоминать, как он когда-то лазал по крышам, малярничал.

...Промазала, подштукатурила, побелила, вычистила домик — и поселилась с девочками и стала работать. Ставила с детьми спектакли — «Чипполино», «Доктора Айболита». Государство мне платило 45 рублей, а Корней Иванович доплачивал 70...

Я однажды сказала ему, что мне для работы неплохо бы иметь пианино. Он как-то неопределенно развел руками. Через какое-то время я повторила свою просьбу. Он ответил: «Не могу, Сарра Михайловна!» Ну, раз не может... Как-то мы гуляем, он мне говорит: «Сарра Михайловна, вы на меня обиделись?» — «За что, Корней Иванович?» — «За то, что я сказал, что не могу купить пианино. Вы, наверно, подумали, что этого быть не может! Сарра Михайловна! Всех Чуковских я содержу! Всю родню!» — «Вы меня не поняли, Корней Иванович, я думала — взять напрокат». Ну, а потом мне Ольга Васильевна сказала, что он не любит музыки. Она ему мешает работать.

Первого апреля был его юбилей — 80 лет! Он его отмечал тридцать первого марта: «Не хочу быть обманщиком».

Киносъемочная группа приехала. Работники кондитерской фабрики подарили ему огромный торт. Гигантский! Мы решили — съемка кончится, мы нарежем этот торт на куски, сделаем чай и угостим всех детей.

Он к тому времени уже инфаркт перенес. И его одного не пускали гулять, всегда кто-нибудь сопровождал. Для меня каждая прогулка с ним была как праздник. Он так очаровательно рассказывал! И самое очаровательное было то, что он сам над собой иронизировал.

Мы много с ним ходили, и я ему рассказывала о том, что я пережила. Он жадно слушал. Говорил: «Сарра Михайловна, об этом надо написать! Напишите!» — «Корней Иванович, я не могу. У меня нет сил снова туда возвращаться».— «Но все-таки напишите! Вы должны написать!»

Когда приезжали гости, он всегда приводил их в библиотеку похвастаться. Деревенские детишки сбегались со всей округи, рассаживались прямо на ковре. Гости рассказывали, потом начиналось чтение стихов.

Помню, приехал Роберт Фрост. По возрасту они одинаковые, но наш в 80 лет был еще весь огонь, жизнь, темперамент, а этот уже успокоился, ходил чинно, слушал безучастно, и мы все радовались, сравнивая их,— наш-то до чего хорош! Особенно когда мантию надевал — она ему шла необычайно: черная, на красной подкладке, и шапочка с кисточкой. Он сразу становился царственный, красивый. «Сарра Михайловна, принесите мне, пожалуйста, мантию!» Я принесу, помогу надеть. У него на лице ребяческое удовольствие!

Он садился работать чуть ли не в четыре утра, потом снова ложился. А днем — паломничество гостей: люди не понимают, что он устает, что у него мало времени, идут и идут. Мирка однажды написала: «Корней Иванович нездоров и занят, просим щадить его время» — и приколола к калитке. А Корней Иванович увидел и говорит: «Мирка! Напиши — умер!» — «Что вы, Корней Иванович! Народу набежит!»

С Миркой он очень подружился и очень помог ей через несколько лет, когда она окончила школу и подала документы в полиграфический институт. Написал туда письмо, что она очень одаренная девочка и что он ее рекомендует на факультет журналистики.

В библиотеке он бывал каждый день. Знал всех ребят по именам, знал, как они живут, как учатся, чем интересуются. Стоило ему появиться на улице — он тут же обрастал ребятней. Буквально висели на нем. Он с ними бегал наперегонки! Мы всегда боялись, что он устанет, одергивали ребят, но это его только сердило.

А какие чудесные праздники он ребятам устраивал! «Здравствуй, лето!», «Прощай, лето!» Мы с ребятами рисовали афиши, готовили подарки лучшим исполнителям. И вот праздник объявлен, и со всей округи, из Москвы начинают стекаться дети. И каждый несет с собой плату за вход — десять шишек.

Собирались на поляне в глубине сада, там амфитеатром стояли скамейки — постоянное место праздников. И заранее для костра все готовили.

Однажды приехала воинская часть с духовым оркестром, приехали Сергей Образцов, Агния Барто, Николай Доризо, Лев Кассиль. Корней Иванович надел настоящий индейский головной убор из перьев, подарок вождя индейского племени. Образцов выступил с куклами, Кассиль чудесно рассказывал, дети сыграли одноактную пьесу, которую я с ними поставила. Потом под музыку зажгли костер. И только начали хоровод — вдруг дождь. Да какой! Стена воды! Маруся, экономка Корнея Ивановича, бежит по саду с огромными галошами и большим черным зонтом. Все попрятались — кто в доме, кто в библиотеке, кто под деревьями. А какая-то девчушка забралась на скамейку, раскрыла над собой зонтик и читает «Мойдодыра». А перед ней, тоже под зонтом, единственный слушатель — Корней Иванович. С зонтов льет! А на сосне сидит фоторепортер и снимает этот кадр. Ну, потом дождь кончился, снова разожгли костер — покидали шишки туда...

Красивый праздник! И чудесный человек. Я очень благодарна судьбе, что подарила встречу с ним.

Володя совершенно запутался в долгах. Летом 62-го мы приехали отдыхать на Рижское взморье — он и тут играл. Про меня говорили — это та дама, у которой муж так азартно играет.

Вдруг у него возникла идея поменять Москву на Ригу. Сменить обстановку, вырваться, убежать от долгов. Представилась возможность обмена: комнату на Метростроевской, 33 метра, на трехкомнатную квартиру в Риге.

Глава XII. «...И ВМЕСТЕ С НИМИ ИСТАИВАЕТ МОЯ ЖИЗНЬ...»

Как я не хотела уезжать из Москвы! У меня было такое чувство, как будто снова обрываются все корни. Единственное, из-за чего я согласилась переехать,— я надеялась оторвать Володю от игры, думала, что здесь он как-то успокоится.

Ничуть не бывало! Играл как раньше. Проигрывался. Я мучилась: где достать денег, чтобы отдать долги? Он говорил: «Мать, ну что ты ворочаешься, что ты не спишь? Пусть не спят те, кому я должен!»

Стал работать заместителем управляющего Промтехмонтажа, на Кирова, 23. А я устроилась в Доме культуры РВЗ — вагоноремонтного завода — заведующей культмассовым сектором. Проводила тематические вечера, организовывала выступления писателей,

артистов, устраивала по субботам традиционные встречи «У камина» в зале, где стены затянуты черной кожей.

Опять приходилось вязать и шить на продажу — а куда денешься, надо же кормить семью. Счастье, что ремесло в руках. Постепенно и тут образовалась клиентура.

И все-таки денег не хватало. Мы ссорились. «Расходились»: он уходил в одну комнату, я с детьми в другую. Третью мы сдали молодой девушке. И вот утро, он готовит на кухне завтрак. Ставит на подносик копченую колбасу, кофе со сливками и несет демонстративно мимо нашей комнаты, у девчонок слюнки текут...

Новый год. Иришка дома, Мирочка в зимнем пионерском лагере. Я убрала квартиру, накрыла на стол, жду Володю — Володи нет. Бегаю по городу, ищу его. Боюсь, что случилось несчастье. Идет густой-густой снег, все празднуют, а я бегаю по городу и реву. Платок драный, пальтишко вытертое — всем шью, а сама...

Он встречал Новый год в компании с этой девицей, которая снимала у нас комнату. Мне было так обидно — девчонка, она ему во внучки... Пришел пьяный, потерял зубы! Трагедия! Сидел и плакал. Иришка бегала по улицам, искала его зубы. Потом они нашлись — в его пиджаке, в кармане, завернутые в салфетку. Кто-то положил.

А выгнать его я не могла. Не могла! Если бы мы сошлись с ним где-то в других обстоятельствах, наверно, выгнала бы. Ну, а с годами... Он однажды сказал: «Знаешь, мать, мы с тобой постарели».— «А что?» — «Разводиться перестали...»

В 68-м году я заболела. Долго не решалась обратиться к врачу. Успокаивала себя: сорок восемь лет, возрастные явления.

Мне назначили шестьдесят облучений и четыре кобальта. Кобальт — страшное лечение. Сорок восемь часов лежишь в боксе, нашпигованная радиоактивным железом. Три раза в день сестра со счетчиком Гейгера открывает дверь, сует тарелку с едой и торопливо убегает. Через двое суток кобальт удаляют, тебя на каталке отвозят в палату и дают немного отдохнуть. Потом снова. И так четыре раза.

Я пришла в больницу сравнительно крепкой, подвижной, энергичной. Выписывалась развалиной. Выпадали волосы. Мучили приступы удушья.

Володя был на высоте. Каждый день навещал, носил икру, гранаты. Приехал за мной на такси и дома очень ухаживал. Я первое время ничего не могла делать, сразу уставала. Медленно-медленно восстанавливались силы. И было чувство, что мне недолго осталось и что надо, пока жива, попрощаться со всем тем, что я любила в жизни.

Я поехала в городок, где родился Михоэлс. Это здесь, в Латвии, Даугавпилс. Мне показали его домик. Там сейчас детский сад. Доска небольшая: «Здесь жил народный артист СССР Михоэлс (Вовси)». Я купила букет цветов и положила на подоконник, около доски.

Поехала в Москву и там навестила все дорогие места. Особняк на Кропоткинской, Арбат, Столешников... Постояла возле нашего театра. Теперь в этом здании процветал театр на Малой Бронной. У подъезда толпился народ. Это нормально, что на обломках старого возникает новое. Но это и больно до слез.

Да, все сломано, все исковеркано. Конечно, я многое приобрела за эти годы, познала людей, многому научилась. Но нельзя платить такой ценой ни за какие познания. Нельзя.

Из Москвы я поехала в Ялту, где теперь постоянно жил мой брат Боря с женой. И с ними простилась. Оттуда морем в Одессу. Я там не была с сорок пятого года. Тогда она была сильно разрушена, а теперь это снова был прекрасный город. Прекрасный, но не похожий на город моего детства. Никого не осталось из друзей. Юдифь, которую мы с Нохимом когда-то провожали на пароходе до Николаева, погибла еще в войну. Другие умерли, разъехались.

Я навестила дядю Гришу. Он жил с женой и ее матерью в двухкомнатной квартирке недалеко от моря. Я сидела у них допоздна. Меня оставили ночевать. А ночью вдруг начался приступ астмы. Дядя Гриша поволок меня на море, думал, что мне там легче будет дышать, а мне еще хуже стало. Я у него прямо умираю на руках. Помню белый-белый туман над морем, как молоко. Дядя Гриша сам догадался притащить меня в санаторий, и там дежурный врач что-то мне дал, мне стало легче.

Из родных был еще жив мой дядюшка, мамин старший брат. Я пришла к нему, стучусь. «Кто там?» — «Ваша племянница».— «Какая племянница?» — «Бетина дочка».— «Какая Бетя?» — «У вас была сестра Бетя?» — «Была, так что?» — «У нее было двое детей: Боря и Сарра. Так я — Сарра». Чуть приоткрылась дверь, выглянул дряхлый старик. Долго с недоверием меня разглядывал. Наконец впустил. «Садитесь, пожалуйста. Ну и какая же вы мне племянница?»

Я рассказываю все сначала. Вдруг он меня прерывает: «Слушайте! Ваш муж работал в „Дер Эмес“?» — «Да!» — «О! Отсюда будем танцевать!» И появилась рюмка наливки, и холодное крутое яйцо, и ломтик засохшего сыра, и он уже не знал, чем еще меня угостить, чем порадовать.

В 73-м году Володе исполнилось семьдесят лет. Ему дали на работе путевку в Дзинтари, в «Селгу». Наглаженный, накрахмаленный, как всегда, положил в портфель тапочки, смену белья, книгу и отправился. Я проводила его до вокзала, он чмокнул меня в щеку. Это было 23 августа.

Вернулась домой, убрала квартиру, постирала, легла в постель с книжкой. Вдруг телефонный звонок: «Вы Кульнева?» — «Да».— «Ваш муж Кульнев?» — «Да».— «Он умер».— «Как умер?..» А было так. Он приехал, зашел в универмаг, купил шляпу, купил на рынке виноград, потом сел в парке играть в шахматы. Он ведь одержимый, всегда во что-то надо было играть. Было около четырех. Вдруг он сказал: «Что-то сердце защемило». И упал. Вызвали кардиологическую бригаду, три часа боролись за жизнь — ничего не помогло.

Как бы трудно с ним ни жилось, я его смерть восприняла очень тяжело. Потому что плохое, тяжелое, трудное — но это было мое. И потом, позади такие годы. Такие годы...

Ирочка очень на него похожа — высокая, стройная, голубоглазая. Она после школы очень быстро вышла замуж, родила Катеньку. Женя, ее муж, учился в Институте гражданской авиации, и они жили у меня. Ира поступила на факультет журналистики, на вечерний. Потом Женя кончил институт, и они все уехали на Чукотку.

Мирка после института обосновалась в Новосибирске, работала в журнале «ЭКО». Вышла второй раз замуж за чудесного парня, он усыновил Славика, полностью заменил ему отца. Родился Данилка.

Миша в Караганде.

В общем, дети отпочковались и я осталась одна. У меня было такое чувство, словно я не живу, а доживаю. Пустота. Единственное, что отвлекало, поддерживало,— работа. Ко мне там очень хорошо относились, с большим теплом. Немножко продолжала шить, чтобы занять себя, заполнить как-то время. И все равно — дикое одиночество. И так шли годы.

Первого апреля 78-го года у нас в Доме культуры был вечер юмора. Я договорилась с бюро пропаганды Союза писателей, и мы пригласили очень любимого у нас в Латвии писателя, автора коротких юмористических рассказов Яниса М. Он пришел, читал свои вещи, очень всем понравился. Когда вечер кончился, я вышла, поблагодарила его. Мне было очень неловко, что не могу преподнести ему цветы. У нас ведь ограниченные возможности: если выступление бесплатное, то руководство выделяет деньги на цветы, а если платное, то деньги платит бюро пропаганды, а Дом культуры уже ни копейки не выделяет.

Назавтра он мне позвонил и неожиданно говорит: «Сарра Михайловна! Хотите пойти в театр?» А я давно уже нигде не бывала. Не хотелось одной. И я сказала: «Да, хочу». Как раз в Риге были гастроли МХАТа, и мы смотрели «Соло для часов с боем», грустный спектакль, тоже об одиночестве.

Потом он проводил меня до автобуса и ушел, оставив очень приятное впечатление. Через несколько дней он снова мне позвонил. И мы стали встречаться. Мне было пятьдесят восемь, ему шестьдесят восемь. Наверно, со стороны это смешно — роман двух старых людей. Он был вдовец, жил с дочерью и маленькой внучкой, которых обожал. Мягкий, обаятельный человек. И у меня вдруг опять что-то забилось, заволновалось в душе. Я начала оживать.

Однажды он мне сказал: «Поедемте к нам на дачу». Это под Ригой, что-то вроде небольшого Дома творчества для сотрудников журнала «Дадзис».

«А это удобно?» — «Да, это удобно. Мы там сегодня празднуем день рождения одного нашего писателя, будут шашлыки». Мы поехали. Чудный фруктовый сад, а глубине — стол, скамейки, и действительно жарят шашлыки. Меня очень приветливо встретили, усадили. И как только Янис уходит за хлебом или за посудой, ко мне подсаживается кто-нибудь из женщин и начинает говорить: «Если бы вы знали, какой это изумительный человек!»

Я так давно не сидела в саду у костра, не общалась с такими людьми. Давно мне не было так хорошо. Янис подарил мне вечер, который унес меня далеко-далеко, в самые счастливые воспоминания. Я чувствовала, что и ему хорошо со мной, но я боялась ошибиться, боялась быть смешной в его глазах, держала дистанцию, чтобы можно было с достоинством отступить.

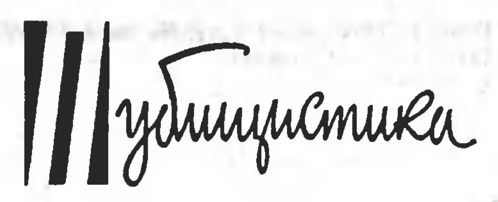
А через некоторое время он мне сделал предложение. И в декабре 79-го мы расписались.

Мне очень хорошо с Янисом, очень тепло, я чувствую себя защищенной и нужной ему. У меня такое чувство, что жизнь подарила мне большую-большую радость как награду за что-то. Но я боюсь радостей. За каждую радость мне приходится дорого платить. Наверно, я родилась под несчастливой звездой.

Недавно Саррочка Фабрикант отмечала свое 70-летие. Я не смогла поехать к ней в Москву, болела. Она мне потом написала. Пришли Моисей Беленький, Эльша, Маня Котлярова, еще немногие из тех, кто остался. Сарра пишет — было так грустно... Она пела песню «Мильнер» — о мельнике. Там припев:

«Колеса крутятся, годы бегут, и вместе с ними истаивает моя жизнь...»

Как Моисей плакал! Как все плакали!



М. Л. Левин

ПРОГУЛКИ С ПУШКИНЫМ

I

До войны физфак был куда меньше, чем теперь, и к началу второго семестра мы все, поступившие в 1938 году, более или менее перезнакомились друг с другом. А тут еще начал работать физический кружок нашего курса, куда ходили человек 20—25. В их числе и Андрей Сахаров, который сразу выделился неумением ясно и доходчиво излагать свои соображения. Его рефераты никогда не сводились к пересказу рекомендованной литературы и по форме напоминали крупноблочную конструкцию, причем в логических связях между отдельными блоками были опущены промежуточные доказательства. Он в них не нуждался, но слушателям от этого не было легче. Один из таких рефератов (об оптической теореме Клаузиуса) был настолько глубок и темен, что руководителю нашего кружка — С. Г. Калашникову — пришлось потом переизлагать весь материал заново.

Мне кажется, что Андрей искренне и простодушно не осознавал этой своей особенности довольно долго. На учебных отметках она практически не отражалась, ибо глубина и обстоятельность его знаний все равно выпирали наружу. Но зато из-за нее он абсолютно не котировался у наших девочек во время предэкзаменационной горячки, когда другие мальчики вовсю натаскивали своих однокурсниц. Правда, был особый случай. Одна из наших девочек по уши влюбилась в молодого доцента-математика. Ей было мало его лекций и семинарских занятий, и она стала ходить на предусмотренные учебным регламентом еженедельные консультации, которые, естественно (в середине семестра!), никем не посещались. Загодя она разживалась «умными вопросами», и, когда подошла очередь Андрея, он придумал ей такой тонкий и нетривиальный вопрос, что консультация, вместо обычных 15—20 минут, растянулась — на радость нашей Кате — часа на полтора.

Сам Андрей вгрызался в науку (физику и математику) с необычайным упорством, копал глубоко, всегда стремясь дойти до дна, а все узнанное отлагалось в нем прочно и надолго.

Сейчас я, конечно, плохо помню, что рассказывалось на кружке, но он сыграл определяющую роль в наших отношениях с Андреем. Дело в том, что мы учились в разных группах и в обычные дни мало пересекались. А кружок начинался ближе к вечеру, и после окончания заседания все расходились по домам. Андрей и я жили неподалеку друг от друга (он — в Гранатном переулке, я — у Никитских ворот), так что нередко шли вместе пешком от Моховой до «Тимирязева», иногда прихватывая бульвар или кусок Спиридоньевки. И довольно скоро в тогдашних наших разговорах прорезалась тема, линия которой пунктирно протянулась на пятьдесят лет.

Началась эта линия так. С. Г. Калашников, опытный педагог, предложил перечень докладов, имевший целью углубление и расширение лекционного курса. Нам же хотелось поскорее ворваться в новую физику — теорию относительности и квантовую механику. Калашников, ссылаясь на Эренфеста, втолковывал нам, что и Эйнштейн, и Бор любили и до тонкостей знали классическую физику и именно поэтому осознали вынужденную необходимость отказаться от нее. Понимание новой физики не сводится к правилам и формулам, ее надо выстрадать и пережить, как говорил Ландау. Ворча про себя, мы покорились. По дороге домой Андрей сказал:

Левин Михаил Львович (род. в 1921 г.) — профессор, доктор физико-математических наук. Заведует теоретическим отделом Московского радиотехнического института АН СССР.

— Сергей Григорьевич прав. Не надо уподобляться Сальери.
— При чем тут Сальери?
— Вспомни:

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Нельзя бросать, а потом бодро и безропотно следовать. Разрыв со старым должен быть мучительным.

Не будь этого случая, Пушкин все равно возник бы в наших разговорах. Еще не сошла на нет огромная волна пушкинского юбилея 1937 года. Печатался по кускам роман Тынянова, переиздали Вересаева, шел спектакль, в котором Пушкин говорил стихами Андрея Глобы; в другом спектакле пушкинский текст был подправлен Луговским. Зощенко написал шестую повесть Белкина «Талисман». Все это занимало нас. В сборнике стихов, сочиненных учениками Антокольского, Андрей напоролся на обращение:

Ты долго ждал, чтоб сделаться счастливым...
Теперь сосредоточены, тихи,
Районные партийные активы
До ночи слушают твои стихи.

Четверть века спустя он вспомнил это четверостишие:

— Драгоценное свидетельство современника, как сказал бы Пушкин. А ведь действительно в тот страшный год всюду проходили и такие активы. Единственные в своем роде — после них все участники расходились по домам.

В другом стихотворении описывалось, как Наталья Николаевна укатила во дворец на бал, а Пушкин остался дома поработать. Но ему не пишется, одолевают ревнивые мысли:

Сейчас идешь ты, снегу белей,
Гостиною голубой.
И светская стая лихих кобелей
Смыкается за тобой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей.— Как мог Антокольский включить такое? И неужели он не знает, что жена камер-юнкера не могла быть на придворном балу без мужа?

Сам Андрей в свои 18 лет это хорошо знал. Он не просто читал и перечитывал Пушкина, он как-то изнутри вжился в то время. Много лет спустя он сказал мне, что кусок русской истории от Павла I и до «души моей» Павла Вяземского [1] существует для него в лицах. Но и 18-й век Андрей знал очень хорошо. Когда в 1940 году МГУ получил новое имя (мы поступали в «имени М. Н. Покровского»), Андрей сказал сразу, что основателем и куратором университета был граф И. И. Шувалов, хотя первоначальная идея шла, конечно, от Ломоносова.

Тогдашние суждения Андрея о Пушкине запомнились мне своею независимостью и нестандартностью. Он, например, категорически не соглашался с расширительным толкованием строк:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа,—

вырванных из реального контекста стихотворения, написанного в 1818 году. Эти две строки перекочевывали из одной юбилейной публикации в другую, а в наше время вошли уже в названия статей и книг, не говоря о миллионах школьных сочинений. Почему Пушкин, гордящийся 600-летним дворянством и столь щепетильный в вопросах чести, декларирует свою неподкупность? Откуда у 19-летнего юноши самоуверенная претензия быть эхом народа? На самом деле все объясняется просто. Стихотворение было написано в честь императрицы Елисаветы Алексеевны. Произведения подобного жанра обычно вознаграждались (скажем, табакерками с алмазами). Поэтому Пушкин сразу отметает такое оскорбительное предположение. Любовь народа к царствующим особам была общим местом мировоззрения того времени, и эту народную традицию отражает (эхо!) голос ни

[1] «душа моя» — из шуточного обращения Пушкина к маленькому сыну П. А. Вяземского: «Душа моя, Павел...»

на что не претендующего молодого поэта. И нечего притягивать сюда замыслы будущих декабристов отдать Елисавете трон ее мужа.

Точно так же Андрей относился к рассуждениям о том, что заключительная ремарка «Бориса Годунова» передает навеянный сочинениями декабристов взгляд Пушкина на глубинную совесть и нравственные устои народа. В законченном накануне восстания и принятом с восторгом в Москве 26-го года «Борисе» народ не безмолвствоаал, а кричал: «Да здраастаует царь Дмитрий Иванович!» Такими были тогда взгляды Пушкина, и к такому финалу вели законы трагедии, которым он учился у «гениального мужичка» Шекспира [1]. А безмолвствие появилось лишь в беловой рукописи 30-го года, представленной цензору.

Кстати, много лет спустя по случаю очередного некруглого юбилея в газете напечатали «Слово о Пушкине», произнесенное одним из литературных генералов. И там были слоаа о народном осуждении убийства *детей* Бориса. Андрей засек этот ляп и с горечью сказал:

— Ну ладно, он может и не знать, что Ксения досталась на потеху Самозванцу. Но почему он не дал себе труда прочитать пушкинские тексты, мыслями о которых он счел нужным поделиться?

В «Юбилейном» Маяковского, которое тогда было у всех на слуху, Андрей с ехидством отметил, что предрекаемая Дантесу участь никак не связана с убийством Пушкина, а опирается только на происхождение (Ваши кто родители) и занятия до 17-го года. По этим правилам отбора и Пушкина с Лермонтовым мы тоже «только бы и видели». И тут он вдруг добавил, что мальчиком долго не мог преодолеть барьер имени, начиная и бросая читать «Графа Монте-Кристо» [2].

Неожиданной для меня оказалась его неприязнь, переходящая в ненависть, к Данзасу. Как тот мог допустить?! Бывшие в то время в ходу объяснения и оправдания — доверие Пушкина, нехватка времени, дворянские понятия о дуэльной чести — Андрей отмел с порога:

— Иван Пущин был человек чести, а он уверенно писал, что не допустил бы дуэли. И особого ума тут не требуется. На Черной речке лежал глубокий снег. Данзас должен был подать Пушкину заряженный пистолет со взведенным курком. И тут он мог оступиться, падая, «нечаянно» спустить курок и ранить самого себя (в ляжку, а не в бок!). При кровоточащем секунданте дуэли быть не может, д'Аршиак бы не согласился. Поединок откладывается, потом друзья успевают вмешаться... [3]

Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном литературном событии того времени. В школе мы проходили «Сказки» Салтыкова-Щедрина и «Пошехонскую старину». Саерх того читали, конечно, «Помпадуров» и «Историю одного города». Но вот где-то на третьем курсе наш однокурсник и мой близкий друг Кот Туманов открыл «Современную идиллию». Читая ее каждый у себя дома, мы целую неделю обменивались в университете находками. Андрей гордился тем, что первым нашел в росписи расходов менялы Парамонова пятиалтынный «на памятник Пушкину» и больше тысячи «в квартал на потреотизм...». Лет двадцать тому назад, уже во времена опалы, мы смотрели телевизионное выступление некоего седовласого ученого мужа, несшего высокопарную ахинею. Андрей, тщательно выговаривая фонемы, сказал:

— Сумлеваюсь, штоп сей старик наказание шпицрутенами выдержал,— и был доволен, когда я сразу подхватил:

— Фтом же сумлеваюсь.

Еще раз он вспомнил «Современную идиллию», прочитав «Зияющие высоты» А. Зиновьева. К сожалению, сделанное им тогда тонкое замечание полностью может быть оценено только физиками. Он сказал, что «Зияющие высоты» обладают свойствами пластинки с голограммой и в этом (но не только в этом!) схожи с «Современной идиллией». Кусок в 30—40 страниц обеих книг дает хоть и бледноаатую, но полную картину замысла и средств автора, а дальнейшее чтение лишь делает эту картину более четкой и яркой.

Однокурсников Сахарова часто спрашивают об его общественно-политических взглядах довоенных времен. В моей памяти сохранились только две истории, имеющие сюда отношение.

Главный инженер МГУ подрядил студента нашего курса Стасика Попеля выкопать большую яму на заднем дворе, а когда работа была кончена, отказался заплатить обещанные деньги (уговор был устный), утверждая, что яма рылась в порядке общественной нагрузки. Долгое препирательство кончилось тем, что Стасик врезал ему по морде. После

[1] Слова А. С. Пушкина о Шекспире, записанные Кс. Полевым.

[2] Настоящее имя героя романа Дюма — Эдмон Дантес.

[3] «Базовые» люди всегда отмечали редкое сочетание в Сахарове таланта физика-теоретика с гениальностью инженера-конструктора. Программа действия для Данзаса свидетельствует, что конструктивные решеиин были свойственны Андрею задолго до «базы».

этого деньги были сразу отданы, но инженер накатал телегу в партком, напирая иа политическую окраску и разрыв в связи поколений строителей коммунизма: комсомолец избил и ограбил члена ВКП(б). Дело разбиралось на факультетском комсомольском собрании. Вузком настаивал па исключении, после чего, разумеется, автоматом следовало отчисление из студентов. Старшекурсники и аспиранты, пережившие собрания 37-го года, поддерживали вузком. Мы же вовсю отбивали Стаса, казуистически доказывая, что была пощечина, а не мордобой. Андрей очень переживал эту историю и, сидя в коридоре (он не был комсомольцем), расспрашивал выходящих покурить о ходе судилища. Еще перед началом собрания он предупредил об уязвимости нашей линии защиты: отрыв яму, Стасик настолько заматерел, что пощечина по намерению вполне могла оказаться мордобоем в исполнении. Но все кончилось благополучно. Стасик отделался строгачом с предупреждением, и больше всех радовался Андрей, поздравляя Кота Туманова и меня с тем, что нам удалось оттянуть часть наказания на себя (нам обоим влепили какой-то мелкий выговор за безобразное поведение на собрании).

...Летом 86-го года в первый час нашей встречи, когда мы укрывались от моросящего дождика под навесом почтового отделения в Щербинках и разговор был рваным и скачущим, Андрей засунул руку в карман моего плаща. Я крепко сжал его замерзшие пальцы и неожиданно для самого себя спросил:

— Что ты чувствовал после того, как врезал Яковлеву? (Проф. Н. Н. Яковлев — автор книги «ЦРУ против СССР».— *М. Л.*)

Андрей ответил коротко:

— Знаешь, я вспомнил Стасика Попеля.

В физпрактикуме работал ассистент Туровский, резко отличавшийся от своих коллег непонятной робостью. Если по коридору шла навстречу ему ватага студентов, Туровский прижимался к стенке. Задачи практикума, даже явно сляпанные на халтуру, он всегда принимал с первого раза и всячески избегал и тени возможного конфликта со студентами. Кто-то из них однажды повел себя слишком нагло, вышла тягостная сцена, а потом Андрей со слов своего отца рассказал мне о тайне Туровского. Его родители были Троицкие, после революции эту поповскую фамилию поспешили сменить на «Троцкий», а десять лет спустя с еще большей поспешностью ее переменили на нейтральную «Туровский». И теперь он больше всего боится любых событий и обстоятельств, могущих потревожить в отделе кадров его личное дело, содержащее графу об изменении фамилии. По этой причине он, кажется, и не пытался защитить диссертацию.

— Только ты никому не говори об этом. Не дай Бог оказаться камешком, породившим страшную лавину.

Я и не гоаорил все пятьдесят лет. Но теперь об этом можно рассказать.

В том, что наши разговоры происходили, как правило, на ходу, не было ничего удивительного. В довоенной Москве, с ее коммунальными квартирами, и товарищество и долголетняя дружба завязывались и развивались во дворах и в переулках. За три года студенческой жизни я всего несколько раз забегал на Гранатный взять или отдать книгу из домашней научной библиотеки отца Андрея и из всего, сказанного мимоходом Дмитрием Ивановичем, запомнил только одно, поразившее меня сообщение: во двор моего дома, оказывается, выходили окна квартиры О. Н. Цубербиллер — составительницы знаменитого математического задачника! И Андрей тоже несколько раз заходил ко мне — у нас было довольно много книг о декабристах, в частности, успевшие выйти до разгрома «школы Покровского» первые тома Следственного Дела... В сентябре 1968 года Андрей попросил меня рассказать о Вадиме Делоне и Павле Литвинове, которых я знал с их малолетства. Когда-то Вадим подарил мне тетрадочку своих стихов. В нее был вложен листок с переписанным от руки будущим знаменитым шлягером «Поручик Голицын». С орфографией у Вадима всегда были расхождения, и Андрей сраау же споткнулся о «корнет Абаленский». Потом сказал, что ведь некоторые декабристы, да и сам князь Оболенский в собственноручных ответах на вопросы Следственной Комиссии тоже писали кто — Аболенский, кто — Обаленский, а кто совсем как у Вадима. А Бестужев-Рюмин вообще просил разрешения писать ответы по-французски. То был век богатырей, слабых в русской грамоте.

И тут он вдруг взял несколькими октавами выше:

— Знаешь, я ведь имел дело и с генералами, и с маршалом. Все они жидковаты в сравнении с Алексеем Петровичем Ермоловым. В сношениях с начальством застенчивы.

Андрею очень нравился этот ермоловский оборот, и он не раз метил им своих коллег по Академии наук. Например, после появления знаменитой статьи 11 прим Уголовного кодекса.

В моем рассказе о студенческих годах Андрея Сахарова пропорции, конечно, не соблюдены. О физике и математике речь, разумеется, шла чаще, чем о Пушкине. Но разговоры о науке относились к ее учебно-методической стороне (за три года мы не дошли даже до классической электродинамики) и поэтому плохо удержались в памяти.

II

Война и судьба развели нас на пятнадцать лет. Встретились снова среди деревьев большого двора, окаймленного жилыми домами ЛИПАНа на 2-м Щукинском. Андрей быстро заметил, что мне мешает тактичное присутствие «секретаря», и поаел к себе домой знакомить с женой и дочками. Тут разговор пошел вольный, вольнее даже, чем в былые времена, но Андрей больше спрашивал, чем рассказывал сам. Сказал только:

— Теперь я и академик, и герой. Такой герой, что о мореплавателе не может быть и речи.

И действительно, за морем он побывал лишь три десятка лет спустя. А данный им обет молчания свято исполнял до последнего дня жизни. И все, что я знаю о подводной части научного айсберга «Сахаров», имеет источником общефизический фон, начало которому положили слухи, возникшие сразу же после академических выборов 1953 года.

Андрей сказал, правда, что все последние годы он по горло в неотложных текущих делах, так что нет ни времени, ни сил на чистую теоретическую физику. А там есть чем заняться. Обнаружив мое дремучее невежество (в Тюмени не было никаких физических журналов, кроме «Физика в школе» и разрозненных тетрадей УФН), он объяснил мне сложное и запутанное положение вещей, существовавшее тогда, то есть до знаменитой работы Ли и Янга. Уже в середине этого объяснения, происходившего за чайным столом, я внезапно осознал, что манера изложения Андрея не имеет ничего общего с той старой, довоенной. Все было логично, последовательно, систематично, без столь характерных для молодого Сахарова спонтанных скачков мысли. Я подивился вслух такой перемене.

— Жизнь заставила,— ответил Андрей.— Чтобы добиться того, что я хотел, надо было многое объяснять и нашему брату физику, и исполнителям всех мастей, и, может быть, самое трудное, генералам разных родов войск. Пришлось научиться.

— В Ульяновске он этому еще не научился,— вмешалась Клава.— Он ведь предложил мне руку и сердце не на словах, а в письменном виде. Не от робости или застенчивости, а чтобы я все правильно поняла. Может быть, я единственная женщина в России, которой во время войны сделали предложение совсем как в старинных романах!

Потом Андрей подробно расспрашивал о Тобольске и Ялуторовске — декабристских городах Тюменской области. И по-саежему, как будто только вчера об этом узнал, огорчился из-за пушкинского «неразлучные понятия жида и шпиона» в дневниковой записи о встрече с Кюхельбекером.

— Слава Богу, это писано им только для себя. Это подкорка той эпохи, а не его светлый ум! А и слово «шпион» звучало тогда иначе. Как у Фенимора Купера.

На моей памяти Андрей неоднократно возвращался к «черному пятну» (его слова) в дневнике Пушкина. Последний раз во время анти-Синявской кампании, раздутой Шафаревичем:

— Игорь Ростиславович и его журнальные друзья и единомышленники, аидимо, давно не брали в руки Пушкина. А может быть, и вообще прочли только какой-нибудь однотомник. А то бы они не упустили возможности пойти с такого козыря.

Андрей был очень опечален деградацией И. Р. Шафаревича. Когда раскрылось авторство первоначально анонимной «Русофобии», я сочинил ехидные стишки. Прочитав их, Андрей сказал:

— Тебе что, у тебя с ним шапочное знакомство. А мне обидно и противно... «Он между нами жил...»

Публицистические страсти, в которых оба лагеря «пушкиноведов» размахивали как хоругвями каждый своим Пушкиным, вызывали у него грустную усмешку. Опять вырванные из реалий писем 1836 года цитаты. Одни повторяют: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», не прочитавши начала предложения, говорящего о тяготах ремесла журналиста. Другие напирают на «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество...», забыв, что письмо Чаадаеву могло, по расчетам Пушкина, пройти через перлюстраторов, а может быть, даже — не дай Бог! — попасть в руки жандармов. Так что в нем многое не сказано. Но никто не вспомнил про письмо Вяземскому 1826 года, посланное незадолго до казни декабристов. А в нем: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России?»

Сейчас передо мной томик Пушкина, а тогда Андрей наизусть проговаривал почти половину письма, вплоть до «удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница». И добавил, что это письмо аедь читали все охочие до подробностей интимной биографии Пушкина: в нем конец так называемой «крепостной любви». Или им остальное неинтересно?

А вот как читал пушкинский текст сам Сахаров. В конце 69-го года, когда Клавы уже не было в живых, я зашел к Андрею на Щукинский. При мне был недавно изданный том откомментированной пушкинской переписки 1834—37 годов с закладкой на письме графу Толю, посланном за день до дуэли. Мои умствования, связанные с этим письмом, заинтересовали Андрея, и он внимательно прочитал его. Потом стал листать страницы и вдруг спросил:

— А ты заметил, что все январские письма этого и предыдущих годов Пушкин датирует «январем» и только в письме к Толю стоит «генварь»? Я уверен, что в письме Толя, на которое отвечал Пушкин, тоже стоит «генварь». Ведь генерал Толь учился русской орфографии у военных писарей!

Дома я заглянул в 16-й том Большого Академического Собрания, содержащего и письма к Пушкину. Толь действительно писал «генварь», а в ответе Пушкина первоначальное «январь» переправлено на «генварь». Андрей был очень доволен, когда я сообщил ему это по телефону. Мне кажется, что у него вообще был повышенный интерес к слову как к кирпичику мысли, к поворотам смысла, связанным с игрою слов. Он был в восторге от набоковской находки: старый анекдот о двойной опечатке в газетном описании коронации (корона-ворона-корова) может быть один к одному переведен на английский язык (srown — crow — cow). Как-то а разговоре на тему «может ли машина мыслить?» Андрей заметил, что она может острить методом отсечения. Например, в четверостишии Веры Инбер времен нэпа «Как это ни странно, но вобла была,/И даже довольно долго,/Живою рыбой, которая плыла/Вниз по матушке-Волге» отсечение двух последних строк дает ехидно-ностальгическую сентенцию нашего времени. Когда я безо всякой ЭВМ вырвал из некрасовской «Кому на Руси...» кусок

...Поверишь ли? Вся партия
Передо мной трепещется!
Гортани перерезаны,
Кровь хлещет, а поют! —

он позавидовал моей находке и сказал, что короли эпиграфа — Вальтер Скотт и Пушкин купили бы эти строки за большие деньги, приведись им писать о 37-м годе. А потом добавил, что у Некрасова есть эпиграф к сочинениям о Дубне и других оазисах науки: «А под ногами-то косточки русские...»

Другой раз Андрей попросил рассказать о детской группе, в которой моя дочь занималась живописью. Услышав фамилию одного из мальчиков — Алеша Ханютин, он прервал меня на полуслове:

— Если бы нынешние драматурги давали, как это делалось в 18-м веке, смысловые имена, то герой-физик получил бы как раз такую фамилию [1].

Сразу же после появления письма сорока действительных членов АН я сочинил поэму «Сорокоуд». В ней было куда больше злости, чем таланта, и Андрею, как мне казалось, понравилось только примечание к названию: в допетровской России «сорок» — единица счета «мягкой рухляди» (ме́ха), а «уд» — член. Отдавая Андрею тетрадку с «Сорокоудом», я похвастался маленьким открытием: на листке календаря от 29 августа 1973 года отмечена юбилейная дата Ульриха фон Гуттена, одного из авторов «Писем темных людей». Обычно Андрей подсмеивался над моей любовью к совпадениям подобного рода [2], но тут он сказал:

— Странные бывают сближения... А ты когда-нибудь задумывался, почему Пушкин, узнав о смерти Александра I в Таганроге, вдруг стал перечитывать «слабую поэму Шекспира»? Не хроники и не трагедии, где столько королей теряют короны и головы, а «Лукрецию». Потому что в них один король сменяет другого. А «Лукреция» о конце царства и начале республиканского правления. Пушкин хранил черновики, а вот от «Графа Нулина» их не осталось... Это неспроста.

Кстати, о «Графе Нулине». Андрей довольно равнодушно относился к актерскому чтению пушкинских стихов. Еще до войны он жаловался, что Качалов испортил ему «Вакхическую песнь». А вот «Нулина» в исполнении Сергея Юрского с озорным жестом в стихе «Стоит Параша перед ней» он вспоминал с удовольствием. В последние же годы ему очень нравилась Алла Демидова в телевизионной «Пиковой даме». Раньше он считал, что рассказчик в «Пиковой даме» обязательно должен быть мужчиной... Как читал стихи сам Сахаров? К счастью, я могу ответить на этот вопрос просто и коротко: очень похоже на то, как читает С. С. Аверинцев. Смысл и форма, без каких-либо фиоритур и педалирования. В молодости круг поэтического чтения Андрея определялся домашней библиотекой Дмитрия Ивановича. Во всяком случае, до войны ни Андрей, ни я не знали ни одного стихотворения Осипа Мандельштама. Новая поэзия его не занимала и, как мне кажется,

---

[1] В формуле для энергии фотона $E=h\nu$ Андреи произносил постоянную Планка на иемецкий лад — «Ханю». Думаю, что это у него было от отца, получившего образование еще до первой мировой войны, когда международвым изыком физиков был немецкий. Л. И. Мандельштам тоже говорил «ха».

[2] Впрочем, его позабавил в марте 1980 года мой рассказ о статье к юбилею нижегородской ссылки Короленко, напечатавиой в горьковской газете как раз 22 явваря 1980 года. А семь лет спустя я порадовал его указом о награждении Толстикона орденом, опубликоваином сразу после присуждевия Бродскому Нобелевской премии.

пришла к нему только после женитьбы на Люсе. Но и тогда при упоминании того или иного имени Андрей обычно говорил:

— Это не по моей части. Вот Люся, она все знает.

Пушкин же всегда был совсем особая статья. Не кладовая памяти и не печка, к которой ему нравилось пританцовывать. Иногда у меня возникало ощущение, что, кроме реального пространства — времени, в котором мы жили, Андрей имел под боком еще один экземпляр, сдвинутый по времени на полтораста лет, где как раз и обитает Пушкин со своим окружением. И мне повезло, что еще в молодости Андрей впустил меня в этот свой укрытый от посторонних мир... В Горьком, после рассказа Андрея о злоключениях Бори (Бориса Львовича) Альтшулера, я мимоходом заметил:

— АДС своею кровью начертал он на щите.

И Андрей тут же откликнулся:

— Знаешь, когда я был мальчишкой, папа дразнил меня: «АСП своей кровью начертал ты на щите!»[1]

После случайного разговора о стихотворении Твардовского на смерть Сталина

Покамест ты отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползет на грудь...

Андрей, пожалев, что слишком долго жил с моделью «царь-батюшка добрый, а министры — злые», спросил, когда у меня появился надлом в отношении к Сталину:

— В 44-м на Лубянке или в 48-м, когда арестовали твою маму?

— В 37-м.

— Неужели ты тогда был умнее Эренбурга и Симонова[2]? Или из-за расстрелянных полководцев гражданской?

Я объяснил, что ум и маршалы тут ни при чем. В 37-м погибла подруга моей мамы Ата Лихачева, женщина поразительной красоты и колдовского обаяния. И я в свои 16 лет, сам того не понимая (старше меня на 20 лет!), был безумно влюблен в нее. Помолчав, Андрей сказал:

— Как Пушкин в Катерину Андреевну... (Карамзину).

По-моему, это был наш первый и последний разговор «про любовь».

При всей внешней сдержанности Андрея его влюбленность в Люсю всегда выбивалась наружу. В начале семидесятых я случайно встретился с ними в Тбилиси. Побродили по городу, посидели в духане, а поздно вечером, уже в гостинице, я рассказал, как года за три до войны меня познакомили с Севой Багрицким, и возникла хрупкая, отрешенная от реальной жизни дружба. Мы шатались по московским переулкам, читали друг другу стихи (Севка иногда свои) и — совсем как Верлен! — заказывали в питейных подвалах за отсутствием абсента по стаканчику «Шато-Икема». И я узнал про ленинградскую девочку Люсю, раз в месяц приезжавшую в Москву делать тюремные передачи. Показав ее фотографию, Севка пожаловался, что у него гибнет стихотворение: он придумал великолепную рифму parole d'honneur[3] — Боннáр, но Люся наверняка не примет переноса ударения.

— Поэтам это разрешается,— утешил я.— В прошлом веке рифмовали Байрóн.

— Одно дело Байрон, другое — моя Люся! — ответил Севка. Пошли воспоминания о довоенных годах. Потом Андрей сказал:

— Теперь в тебе я могу быть уверен. В отличие от многих, ты не ошибешься, произнося фамилию моей жены.

И вдруг добавил:

— Как жаль, что ты не рассказал мне про Севу еще тогда, где-нибудь на Спиридоньевке. И я узнал бы о тебе,— это уже к Люсе,— на тридцать лет раньше.

Столь свойственное Андрею высокое остроумие ломоносовского толка («сближение далековатых понятий») поражало меня и в разговорах около физики. Не мне писать о научных достижениях Сахарова, тем более вряд ли кому интересно, что и как я понял в его объяснениях и рассказах. Поэтому ограничусь парой общедоступных примеров. Когда американцы долетели до Луны, Андрей сказал:

— Наконец-то $H \gg R$. А то было лишь соревнование титулов: астронавты, космонавты! Как «чемпионы мира» по французской борьбе в старом провинциальном цирке. Астрозвезды, космос, колумбы Вселенной... Это при $H \ll R$. В 15-м веке было без бахвальства... Если $L \ll R$, то каботажное плавание, а вот у Колумба действительно $L \sim R$ (Здесь R — радиус Земли, H — высота, L — расстояние до материка.)

Весною 1971 года (сужу по автореферату) мы оба были оппонентами на защите докторской диссертации. Произошла какая-то задержка, и в ожидании начала мы болтали, сидя на подоконнике в широком коридоре МИФИ. А МИФИ — базовый институт Средмаша, так что добрая половина проходивших мимо нас профессоров и доцентов были совместителями и — хотя бы в лицо — знали Сахарова. Одни проходили, устремив взгляд строго вперед, другие — прижимаясь к дверям на противоположной стороне коридора, третьи (редкие) отклонялись в нашу сторону и здоровались с Андреем, кто за руку, кто кивком, а кто лишь движением глаз. Потом он заметил:

— Можно оценить не только знак и величину заряда, но и отношение e/m...

Диссертант нервничал, опасаясь срыва защиты, и Андрей стал его успокаивать:

— Все будет в порядке. Чтобы отвлечься, попробуйте решить задачку. Я ее придумал для нового издания задачника моего отца. Что будет происходить с цистерной при вытекании жидкости?

И нарисовал на чистом листе тетрадки с моим отзывом цистерну с дыркой в дне, но не посередине, а ближе к торцовой стенке. Слегка обалдевший диссертант убежал, не поняв, как мне кажется, о чем вообще идет речь, а Андрей сказал, что этой цистерной он уже загонял в тупик некоторых своих академических коллег, специалистов в области административной физики.

— Так какого черта ты дал ему задачу на засыпку?

— Ну, он же хороший физик. Я ведь прочитал его диссертацию.

Андрей всю жизнь любил придумывать задачи и испытывать на них собеседников. В этом было что-то от переписки ученых 18-го века с их брахистохронами и цепными линиями. Однажды Люся позвала нас с женой на пироги, и Андрей похвастался, что, когда он рубил сечкой капусту для начинки, ему пришла в голову прекрасная задача о предельном значении среднего числа углов. (Она приведена в юбилейном сборнике, посвященном его 60-летию...)

Слово «однажды» надо здесь понимать в самом прямом смысле. За четверть века между XX съездом и началом афганской войны я был дома у Андрея считанное число раз, а он у меня и того меньше. Уже повсеместно господствовала культура кухонных посиделок, и мы оба по отдельности принадлежали этой культуре (см. стихотворение В. Корнилова про вечера на кухне у Андрея Дмитрича), но наше приятельство оставалось уличным. Когда появились привезенные из-за бугра «Прогулки с Пушкиным», Сахаров заметил, что так можно было бы назвать наши студенческие хождения от Манежа до Бульварного кольца. Поэтому я позволил себе украсть у Синявского название. Надеюсь, что Андрей Донатович простит мне это.

III

В марте 1980 года в Горьком проходила конференция по нелинейной динамике. По старой памяти устроители пригласили и меня, и я поехал в надежде навестить Андрея. За два месяца, прошедшие с начала горьковского пленения, развеялись все иллюзии, первоначально созданные казенными источниками. Изоляция была полной: дверь квартиры охранялась милиционером, а контакты вне стен дома (в том числе и научные) подпадали под некий негласный, но высочайший запрет, которому без сопротивления покорствовали все тамошние ученые. Время же фиановских командировок к опальному старшему научному сотруднику теоротдела еще не наступило. А самодеятельных визитеров «фирма» перехватывала и отправляла назад, в Москву.

План мой был прост и бесхитростен. Мы должны были случайно встретиться у киоска «Союзпечати», в вестибюле Дома связи, что напротив мухинского памятника молодому Горькому. Там же находился и переговорный зал междугородного телефона, откуда Сахаровым иногда удавалось поговорить с Москвой (домашнего телефона, как известно, не было). Так что поход Андрея на телеграф не нуждался в наружном сопровождении. Моя партия не уступала в естественности: где еще есть столько открыток с видами города для моего младшего сына? Все это я передал Люсе, которая тогда еще могла совершать челночные наезды в Москву. И единственная принятая предосторожность состояла в том, что я никому не похвастался своими намерениями.

В назначенное время, в предпоследний день работы конференции, я успел купить пять открыток, прежде чем почувствовал дыхание над ухом. Мы вышли на площадь, и я повел Андрея в сторону шары, потом переулками и наконец в пустом проходном дворе мы обнялись и поцеловались. Первый раз в жизни, как заметил потом Андрей. Оба были взволнованы. Андрей вдруг начал бормотать: «Мой первый друг, мой друг бесценный...» Я неуклюже отшутился:

— Какой из меня Пущин? Да и тебе Бог не дал пушкинского таланта дружить. А если упорядочить наших физфаковских, то для тебя первым будет Петя Кунин. А я потяну разве что на Горчакова:

[1] Переделка стиха «А. М. Д. своей кровью...» из баллады Франца в «Сценах из рыцарских времен».

[2] При первой нашей встрече в 56-м году Андрей спросил, заметил ли я симоновский фортель на 150-летнем юбилее Пушкина. Чтобы не прогневить Сталина, Симонов, декламируя «Памятник», опустил «...друг степей калмык».

[3] Честное слово (*фр.*).

Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

— Горчакова надо еще заслужить,— неожиданно осадил Андрей.— Горчаков предложил Ивану Пущину заграничный паспорт и место на корабле! Да и «фортуны блеск холодный» совсем уж не про тебя.

Часа два мы пробродили по городу. Зашли в Кремль, Андрей купил билеты на концерт и окончательно уверился в том, что за нами нет хвоста: огромный кремлевский двор перед кассовой сторожкой был пуст. Разговор шел рваный, с перескоками и ассоциативными ходами. Я хорошо знал старую часть города и вполне справлялся с обязанностями гида. После какого-то моего воспоминания Андрей сказал:

— Вот сейчас я понял, какой я был сволочью, что даже не пытался найти тебя, когда проездом оказывался в Горьком. Как раз в твой последний, безнадежный год здешней жизни...

— У тебя тогда хлопот был полон рот... Это Женькины слова, он тоже казнился, что долг и запреты взяли верх.

— Когда ты видел Женю? Где?..— вопросы Андрея поразили меня настойчивой заинтересованностью. Он ведь многие годы работал вместе с Женей Забабахиным, а я после 1941 года видел Женю всего один раз. Позднею весною 57-го, когда Кот Туманов, случайно встретившись, затащил его к себе и тут же вызвал меня по телефону. Андрей попросил подробностей. Среди них была и такая. В студенческие годы Женя жил в общежитии, иногда уезжая к родным в подмосковную Баковку («Забабахин в Забабаковке живет...»). Во время застолья у Туманова, будучи уже навеселе, мы стали раскручивать футурологический сюжет: Забабахин получает вторую Звезду, на родине дважды Героя сооружают бронзовый бюст, и его имя присваивают единственному баковскому предприятию союзного значения. Оно, конечно, печатает картинку этого бюста в качестве фабричного знака на бумажных упаковках своего изделия, и Забабахин становится самым популярным Героем для взрослого мужского населения страны...

— А в расширенном и пополненном издании бодуэновского словаря появится глагол «забабахнуть»,— безынерционно завершил мой рассказ Андрей. Несмотря на уникальное воспитание, его не коробили ни истории боккачиевского жанра, ни, скажем, натуральная речь министра Ванникова. И в неделинской байке «укрепи и направь» его оскорбила не скабрезность, а наглая циничность отношения имеющих власть к создателям ее могущества. Однако его огорчала натужная и ярочитая матерщина Я. Б. Зельдовича. В ней Андрей видел, вспоминая при этом «Маугли», желание и цель показать генералам и иже с ними: «Я — ваш! Мы одной кроаи!»

От Забабахина разговор, естественно, перешел к «нашим». Андрей всегда жалел об обрыве непрочных связей университетской поры, но только здесь, в Горьком, стал расспрашивать про однокурсников. И тут меня, в который раз, поразила быстрота его реакции. Рассказывая о гибели в горах Кота Туманова, я упомянул, что потом при разборе его бумаг нашлась старая тетрадь с изложением нашей крамольной теории. Суть ее, в переводе с эзопова языка тетради на современный, состояла в следующем. Творцы научного коммунизма (да и утопического тоже) рассматривали лишь равновесное состояние «рая на земле», оставляя в стороне — по причине математического невежества — вопрос об устойчивости этого состояния. Между тем, если в ансамбле идеальных людей, исповедующих принцип «человек человеку — друг, товарищ и брат», возникнет как флуктуация злодей с тираническими намерениями, то все остальные своей доброжелательностью будут способствовать его возвышению, и от первоначального однородного благоденствия ничего не останется. С другой стороны, в мире, живущем по гоббсову закону «человек человеку — волк!», любой выскочка осаживается соседями и конкурентами, и ансамбль — хотя бы в малом — устойчив. Вся эта ересь камуфлировалась уравнениями, относящимися к перевернутому и обычному маятникам и к пучкам гравитирующих или отталкивающих, по Кулону, частиц.

Я рассказал, как мама Кота уговаривала его друзей кончать с альпинизмом, а потом, уже на улице, Рэм Хохлов сказал:

— Чтобы выдержать год партийно-начальственной суеты, мне необходимо хотя бы полтора месяца пробыть в горах.

— Хорошо, что ты запомнил эти слова,— обрадовался Андрей.— Теперь я понимаю, почему Хохлов казался мне белой вороной в высшем эшелоне управляющих наукой. Он был смелым человеком не только в горах.

Стоял сырой и промозглый мартовский день. Я пришел на свидание уже простуженным, Андрей тоже слегка продрог, а пойти было некуда [1]. В ресторане или кафе — если и попадешь — не рассидишься в обеденное время. Да и какой разговор, когда столы на четверых и рядом сидят чужие люди. Но тут меня осенило, и я повел Андрея во Дворец партпроса на улице Фигнер. Там не было ни души, и, не дойдя до библиотеки, куда нас с радостью пропустила вахтерша, мы нашли уютный загончик неработающего буфета с пустыми столиками и уютными полукреслами.

— Ты — гений! — воскликнул Андрей.

А когда позже мы спустились в кафельно-фарфоровое великолепие, рассчитанное чуть ли не на сто персон, он ахнул:

— Пятый сон Веры Павловны!

Поднимаясь обратно в цокольный этаж, я понял, что с сердцем у Андрея совсем неважно. По городу мы шли не торопясь, но без остановок, а тут ему требовалось постоять посреди лестничного марша.

В буфетном загоне было чисто, тепло, светло, и за все время — а мы просидели там часа три — мимо нас не прошло ни одного человека. Подкрепившись бутербродами, захваченными мной на случай возможного провала, мы наслаждались неторопливой беседой. Андрей похвастался изящным решением матричного уравнения, расспросил о моих занятиях и в ответ на мой вопрос сказал:

— Моя заветная мечта — дожить до того времени, когда все будет ясно с временем жизни протона...— и стал детально объяснять проекты гигантских экспериментов по определению этого времени.

Потом разговор снова перекинулся на людей. Его ужасно огорчал академический сервилизм, обусловленный не смертельным страхом, как в былые времена, а обычными карьерными соображениями, желанием обезопасить «выездной» статут или руководящее кресло.

— Тогда в ФИАНе обстановка напоминала контору домоуправления. В ЖЭКе не выдают никаких справок, пока не предъявишь расчетную книжку с уплаченной квартплатой. А у нас не выдавали характеристик ни для защиты диссертации, ни для загранкомандировок, пока не подмахнешь квитка с осуждением Сахарова. Только Виталию Лазаревичу удалось уберечь наш отдел от этого унижения.

Незадолго до нашей встречи проходило общее собрание АН, на котором, согласно Уставу, члены АН обязаны присутствовать, и эта их обязанность всегда подчеркивается в пригласительном извещении. А тут Сахарову сообщили, что его участие не предусмотрено.

— Зачем Президиум АН берет на себя полицейские функции? «Не предусмотрено» совсем иными инстанциями, а дело АН, четко определенное Уставом,— известить!

Андрей стал обсуждать со мной придуманную им акцию. Пусть двенадцать академиков (ему почему-то хотелось, чтобы их было именно двенадцать) в официальном порядке возбудят чисто процедурный вопрос об отказе Президиума выслать положенное Уставом извещение действительному члену АН. Кто согласится? Капица, Леонтович, наши — Андрей и Женя (Боровик-Романов и Забабахин), еще несколько имен... Дюжина не набиралась. А в других городах? Вот в Ленинграде Жорес Алферов — прекрасный физик. Я засомневался, вспомнив Казариновскую историю. Жена физтеховского теоретика устроила на квартире выставку работ левых художников. Сам Казаринов в дни выставки — от греха подальше — не жил дома. Руководство Физтеха (Тучкевич, Алферов и др.) не только уволило его, но и провело через ученый совет ходатайство в ВАК о лишении ученых степеней и звания. ВАК, правда, оказался менее кровожадным и не удовлетворил просьбу ленинградских физиков.

— Не угадали родители,— сказал Андрей.— Им следовало, раз уж так хотелось французского, назвать сына не в честь пацифиста Жореса, а дать ему стандартное имя Марат.

И снова, уже не неожиданный для меня, скачок в другое время:

— Какая жалость, что Пушкин сжег «Автобиографические записки». И есть только маленькая заметка о Будри. А в «Записках», небось, эта тема была развита со всей многогранностью. В Лицей, первоначально затеянный для обучения младших братьев царя, берут профессором брата цареубийцы Марата! Ты помнишь пушкинскую запись о Скарятине и Жуковском? Убийца отца императора мирно беседует с воспитателем наследника престола... А ведь Лицей ничем не был отгорожен от Царскосельской резиденции! У них, значит, совсем не было отдела кадров. А вот в ЛИПАНе кадровики в два счета уволили Давыдова только за то, что его жена раньше была замужем за аккомпаниатором Вертинского. Не зря хлеб ели!

Разговор вернулся к двенадцати академикам. В глубине души Андрей любил свою Академию, и ему очень хотелось, чтобы к ней вернулось былое чувство собственного достоинства. Пусть она заступается за своих сочленов, а не спешит угодить начальству. Я не разделял его надежд. В разгаре словопрения я неосторожно ляпнул, что оно напоминает исторический телефонный разговор Сталина с Пастернаком, когда Сталин говорил, что писательский союз должен грудью стать на защиту собрата по перу, а Пастернак отвечал, что этот союз уже давно таким делом не занимается. Андрей опешил:

[1] Я вспомнил присловье моего горьковского друга Миши Миллера: «Кругом бардак, а пойти некуда». Очень оно понравилось Андрею.

— Значит, я в роли Сталина, а ты — Пастернак? Ну, спасибо. У юристов такое называется: добавить к ущербу оскорбление.

Часов в шесть мы покинули Дом партпроса. У Андрея была бумажка с адресом Марка Ковнера, там остановился приехавший из Москвы Алик Бабенышев. О его намерении прорваться к Сахарову я слыхал краем уха недели две тому назад. Андрей совсем не знал улиц Горького, и я проводил его до подъезда. Но мы не успели попрощаться. От дверей дома к нам подошел мужчина в коротком пальто. Это был, как потом объяснил мне Андрей, его куратор — капитан Шувалов. Шувалов сказал, что он не имеет права задерживать Андрея, но если тот войдет в квартиру Ковнера, то находящийся там москвич будет немедленно увезен на вокзал, так что встреча все равно не состоится. Затем Шувалов повернулся ко мне, но Андрей мгновенно перехватил его:

— Тогда, конечно, я не пойду к Ковнеру. А могу я пригласить к себе домой старого друга... старого университетского товарища,— поправился Андрей,— которого я случайно встретил сегодня на улице?

— Вы специально приехали к Андрею Дмитриевичу? Вы работали вместе с ним в Москве?

— Нет,— не дал мне ответить Андрей.— Мы никогда вместе не работали. Мы вместе учились еще до войны, он — мой старый университетский товарищ, он приехал в Горький на конференцию, и мы случайно встретились на улице.

Шувалов попросил показать командировку, став под уличным фонарем, внимательно прочитал и ее и пригласительный билет участника конференции, задал еще несколько уточняющих вопросов (тут уж отвечал я), а потом сказал, что не и его власти разрешить посещение. И отошел. Ковнер жил рядом с магазином «Научная книга», и Андрей предложил мне зайти туда. Внутри, около книжных полок, Андрей сказал, что теперь понятно, почему не было хвоста. Они знали конечную цель его похода в город и спокойно ждали в точке прихода. Как в кинетической теории газов, неведомой для них, они законно пренебрегли возможностью двойного соударения!

Магазин закрывался, а у выхода нас поджидал Шувалов. Он попросил еще раз посмотреть мои бумаги и вдруг сказал, что мне разрешается навестить Андрея Дмитриевича дома.

— Спасибо,— ответил Андрей.— Но сегодня мы уже договорились, да и время позднее. Так что Михаил Львович лучше воспользуется вашим разрешением завтра или в следующий приезд, когда моя жена будет в Горьком.

Шувалов ушел.

— Тут у него машина с рацией,— сказал Андрей.— Но хвост за нами, конечно, пойдет.

По дороге к остановке автобуса на Щербинки мы условились, что если я не разболеюсь за ночь, то утром в 11 буду внутри маленькой почты рядом с домом 214 на проспекте Гагарина. А уж оттуда Андрей повезет меня к себе домой. Так будет надежнее.

— А что тебе говорили Александры Иванычи? — вдруг спросил Андрей.

— ?

— Ты что, забыл, как Александр Иванович Тургенев говорил Пущину: «Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским и духовным?»

— У меня не было Александра Иваныча. Я даже Наташе не говорил о своих планах. Чтобы она не волновалась.

— А вот Бабенышев, к сожалению, рассказал, должно быть, самым близким друзьям. И пошла диффузия...

В последние минуты, на автобусной остановке, когда, казалось, все уже было сказано, Андрей как-то отстраненно произнес:

— Все-таки я был прав и к тебе можно отнести стихи, написанные Пущину. Те, что до 14-го декабря:

На стороне глухой и дальной
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил...

Где ж молодость? Где ты? Где я?

Ночью у меня было 38°, а утром, ни свет ни заря, примчался перепуганный заместитель директора института — организатора конференции. По его словам, некий высокий чин из КГБ устроил ему выволочку за то, что московский участник имел встречу с Сахаровым. И пригрозил прикрыть все последующие мероприятия с участием москвичей. Я ответил, что не считаю себя вправе разрушать научное благополучие горьковской физики. И поэтому не буду искать встреч с Сахаровым, находясь в Горьком по приглашению института. Это обещание я сдержал. Три последующие встречи с Андреем произошли в мое отпускное время, когда я гостил у друзей в деревне под Горьким.

В августе 1980-го наше свидание вначале в точности шло по мартовскому сценарию. Но потом пошли отступления. Андрей сказал, что Люсе очень хочется принять меня по-человечески, дома, и предложил такой план действий. Я еду автобусом до Щербинок, где Люся поджидает меня в открытой лоджии их квартиры на первом этаже. Она окликает, и мне остается лишь перемахнуть перила лоджии.

— Тут нет ничего незаконного. В любом государстве мужчина имеет право пройти к знакомой даме — если она его приглашает! — не в дверь, а через балкон. Как Ромео к Джульетте. Претензии могут быть только у мужа или родителей... А я приеду следующим автобусом.

Приехав в Щербинки, я обнаружил, что «донны Лючии на балконе» нет, а дверь из лоджии во внутренние покои закрыта. Оконные стекла неосвещенной квартиры не позволяли разглядеть, есть ли кто в комнатах, да и не для моих глаз такое занятие. Я вытащил данную мне Андреем бумажку с планом местности, но не успел свериться. Передо мной возник милиционер:

— Что вы здесь высматриваете?

— Пытаюсь понять, где живет мой знакомый.

— Кто?

— Андрей Дмитриевич Сахаров.

— Пройдите со мной в опорный пункт. Вам там все объяснят.

В опорном пункте милиции, окна которого выходили как раз на лоджию Сахарова, дежурный начальник, изучив все страницы паспорта, спросил:

— Вы что, не знаете, что к Сахарову нельзя?

— Слухи об этом до меня доходили. Но вот несколько месяцев тому назад мы с Сахаровым встретили на улице его куратора, и Шувалов сказал, что я могу навестить Андрея Дмитриевича дома.

— ?!. Подождите...— и начальник с моим паспортом ушел в другую комнату. Ждать пришлось около часа. Через окно я увидел подъехавшую машину, вошел сам Шувалов, узнавающе кивнул головой и провел меня мимо вскочившего у своего столика милиционера в сахаровскую квартиру. И до сего дня я не знаю, как согласовать весенний испуг горьковских физиков и поведение «благородного злодея» Шувалова. Мне хотелось думать, что служебный долг не смог помешать Шувалову испытывать к Сахарову чувство глубокого уважения. А может быть, и симпатии. Позже, уже в Москве, Андрей ответил мне так:

— Как некоторые чиновники, приставленные к Сперанскому во времена его ссылки? Может быть, ты и прав. Не только крестьянки чувствовать умеют.

Когда я, сидя на казенном стуле и у казенного стола в казенной сахаровской квартире, рассказал о пребывании в опорном пункте (там и днем горел свет, так что они видели меня сквозь стекла окон), Андрей сказал, что он проиграл в уме всю ситуацию и процентов на 60 рассчитывал именно на такой исход. Только он не думал, что все будет так быстро. И упрекнул и меня и себя, что мы сходу не «продлили разрешения» на следующие разы.

— Ладно, будем считать, что тогда он сказал не «навестить», а «навещать».

Я не буду пытаться воспроизвести здесь беспорядочный разговор во время застолья. Тем более, что вели его в основном Люся и я, а Андрей явно наслаждался, слушая жену, и только изредка вставлял реплики. Не помню уж, в связи с чем я процитировал «Сон Попова», и вдруг выяснилось, что Андрей даже не слыхал раньше про это произведение. У них дома было лишь дореволюционное издание А. К. Толстого.

— Прочти что помнишь,— попросил Андрей.

Я не раз читал «Сон...» моим и чужим детям и практически знал его наизусть. По окончании моего сольного выступления я еще раз подивился тому, что Андрей не знал «Сна», ведь его передают иногда по радио. Запись исполнения Игорем Ильинским.

— Теперь существует еще одна запись! — засмеялся Андрей и, показав пальцем в потолок, добавил, что и эта запись достойна широкой аудитории.

Нам было хорошо сидеть за столом, уставленным люсиными выпечками и припасами, неспешно вспоминать старое, немного судачить об общих друзьях и не принимать в расчет реальность, дежурившую за дверью и окнами. Андрей удивительно точно выразил это:

— А помнишь, как в «Татьяниной Церкви» (старый клуб МГУ) Анатолий Доливо пел: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать...»

Мне надо было еще заехать за женой и детьми. Люся тоже в этот вечер уезжала в Москву, и они начали спорить: Андрей хотел посадить ее в поезд, Люся настаивала на проводах до автобуса — ей не хотелось, чтобы Андрей один возвращался ночью в Щербинки. Когда я уходил, спор еще не кончился.

На вокзале, выйдя из вагона покурить, я увидел у подножки Андрея и Люсю. Оказалось, что касса предварительной продажи в Москве и ветеранская броня Люси свели нас чуть ли не в соседние купе. Пришла Наташа, и мы вчетвером минут пятнадцать постояли на перроне. Остальные провожающие сидели внутри вагонов со своими уезжающими.

— Для меня такое «не предусмотрено»,— сказал Андрей.

К 60-летию Андрея, уже зная, что летом буду снова гостить под Горьким, я послал ему через Люсю «Подражание Канцоне, написанной в мае 1931 года».

Неужели я увижу скоро —
Слева сердце бьется, лейся слава —
Прядь волос над полысевшим косогором
И услышу голос твой картавый?

Словно в перевернутом бинокле
Еле различу я пункт опорный.
Красный цвет и желтый не поблекли,
Но всего устойчивей цвет черный.

Этот город был моей отрадой,
Несмотря на беды и обиды.
За окном видны дома-громады,
Где была лишь деревушка-гнида.

Не уложишь в ямбы и хореи
Тракт с тюрьмою старой, Арзамасский...
Я скажу «селям» куратору Андрея
За его малиновую ласку.

И припомню, чтобы подивиться,
Сколько у истории завалов —
При Елисавет-императрице
Был уже куратором Шувалов.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

На столе фисташки, мед и творог —
Выложено все, что было в доме...
Неужели разменяли сорок,
Сорок лет, что мы с тобой знакомы?

Лишь держатель акций знает сроки
Птиц широкогрудых перелета.
От меня ж на память эти строки,
Прозорливцу дар от стихоплета.

— Никому, кроме нас с тобой, не понятно,— сказал при встрече Андрей,— но все равно возникает ощущение прошлогоднего чаепития в Щербинках.

Эта третья встреча, летом 1981 года, тоже началась у киоска «Союзпечати». Только на этот раз со мною пришла жена, а на площади в перегнанной к тому времени из Москвы машине ждала Люся. Мы посидели часок в сквере у памятника Горькому, покатались по городу («в пределах строгих известного размера бытия»,— вспомнил Андрей Вяземского), а потом надолго, до глубокой темноты осели на Откосе. Если не ошибаюсь, Сахаровы были здесь в первый раз, они освоили лишь берег Оки в окрестностях Щербинок.

Андрей расспрашивал о последних месяцах жизни незадолго до этого скончавшегося Михаила Александровича Леонтовича, сам рассказал про привлечение Леонтовича к работам по управляемому термоядерному синтезу. Именно тогда, от Андрея, мы узнали, что Берия действительно произнес фразу: «Будыте слэдыт, не будэт врэдыт», которую раньше считали апокрифом. Настроение у Андрея и Люси было подавленным. Их очень мучила вся ситуация с Лизой Алексеевой, и мы долго проигрывали различные варианты ее вызволения. И для меня впервые прозвучала мысль о голодовке. Тогда, правда, еще в предположительном наклонении, как о возможном крайнем средстве.

На Запад уже полетели первые ласточки дезинформации о благоденствии Сахарова в Горьком. Андрей с горечью сказал мне:

— Не хватает, чтобы мы с Люсей стали распевать куплет Василия Львовича:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов![1]

Дом, где мы с женой остановились в Горьком, стоял на Откосе, у меня в кармане лежали ключи, но... Я вспомнил «честное купеческое слово», данное на другом волжском откосе.

— Не переживай,— утешил меня Андрей.— Надо уметь входить в обстоятельства друзей. Особенно если они для пользы Дела, а не личные, как у Якова Борисовича (Я. Б. Зельдовича.— *М. Л.*). Сейчас я, пожалуй, не подал бы ему руки...

---

[1] Рефрен послания В. Л. Пушкина к нижегородцам в 1812 году.

Мы проводили Сахаровых до машины, оставленной на параллельной Откосу улице. Постояли около нее с полчаса. Кругом ни души.

— Будем считать, что на этот раз нас не зафиксировали,— сказал Андрей.

Через пять лет нас с женой снова пригласили провести часть отпуска под Горьким. За эти годы положение круто изменилось. Прошли голодовки. Несмотря на поездку для операции в Штаты, Люся оставалась ссыльной, и все каналы связи были наглухо перекрыты. Поэтому в день отъезда Наташа и я с утра поехали в Щербинки, надеясь на удачу. День был пасмурный, моросило. Улица и двор были пусты. Мы постояли около лоджии, обошли дом, понимая, что на втором круге нас скорее всего засекут из окна опорного пункта. И удача нам улыбнулась! Оса запуталась в веточках домашнего цветка, и Андрей вышел в лоджию, чтоб выпустить ее на волю. Наташа окликнула: «Андрей Дмитриевич!..» Он махнул рукой, и мы отошли под навес соседней почты, куда он выбежал в одной домашней куртке.

Минут сорок мы простояли незамеченные, беспорядочно разговаривая обо всем сразу. Андрей опасался, что нас могут растащить, и начал расспрашивать про Чернобыль. У него была лишь официальная информация[1]. Я мало что мог добавить к ней. Еще Андрей попросил исправить его ошибку: во время недавнего приезда фиановцев его спросили, не хочет ли он снова заняться термоядом. Он ответил отказом, мотивируя тем, что давно отстал от этого дела, а тем временем термоядерная наука ушла далеко вперед. Сейчас же, взвесив все, он принимает это предложение. (В теоротделе ФИАНа очень обрадовались, когда я сообщил им о согласии Сахарова).

Было сыро и зябко. Андрей пошел за теплой курткой и, вернувшись, сказал, что Люся, несмотря на нездоровье, сейчас выйдет. Но еще раньше появилась «обслуга». Они прошмыгивали около нас, некоторые с фото- и киноаппаратами, и не таясь, в открытую щелкали и жужжали.

— Поставщики Ви́ктора Лу́я,— определила Люся.

Сахаровы всегда произносили Викто́ра Луй на русский лад. Ударение, впрочем, иногда, ради рифмы, переносилось: Луя́.

Обслуга не унималась, и Люся предложила попытаться сесть в машину и уехать. Нас не задержали, хотя плотно проводили до машины. Поехали в Зеленый город — главную зону отдыха горьковчан. По дороге на маленьком рынке купили огурцы и помидоры, в магазине, кроме хлеба, нашлись и сметана с творогом. Дождь кончился. Сахаровы утром не успели поесть, и Андрей с удовольствием предвкушал «завтрак на траве». «Трава» обернулась грубо сколоченным столом с двумя лавками, такие столы заботами горсовета были раскиданы по роще Зеленого города, слава Богу, на большом расстоянии друг от друга.

Наружное наблюдение утратило прежнюю наглость. В ближних кустах и за деревьями Андрей засек пару «статистов». Время от времени мимо нас медленной походкой проходили какие-то штатские. Может быть, и обыкновенные прохожие. Парень приволок велосипед со спущенной камерой, выпросил у Люси автомобильный насос и, расположившись у нашего стола, полчаса «накачивал» камеру в режиме воздух-воздух.

В этой роще мы и провели несколько часов. Им было что рассказать о пяти прошедших годах... Сейчас обо всем этом можно прочитать в двух книгах воспоминаний Андрея и в Люсином «Постскриптуме». Настроение шло по синусоиде. Радость встречи чередовалась с глухой тоской от нынешней безнадеги. У меня и сейчас звучат в ушах Люсины слова:

— Нас тут уморят до смерти, а на Западе все еще будут крутить проданные Луем кагэбиные фильмы. И зрители возрадуются — вот как хорошо живется Сахаровым в Горьком!

— Да и вас с Наташей могут теперь показать на американском экране. Так что и тебе недалече до Луевых гор! — добавил Андрей, и я обрадовался отсылу к Пушкину[2]. Значит, не сломали его эти годы.

Напоследок покатались в дозволенных режимом границах. Перед отъездом в Москву Наташе и мне надо было навестить больного М. Миллера. Сахаровы довезли нас до его дома. Прощание было долгим и трудным.

Мы сидели в машине, говоря какие-то последние отчаянные слова. Андрей опять, как при первой нашей встрече, повторял пушкинские строки к Пущину. У Наташи в глазах стояли слезы. У меня сорвалось: «Промчится год, и с вами снова я», но тогда в это не верилось.

---

[1] Сколько административного идиотизма в том, что в предельно «нештатной» ситуации в Чернобыле никто — ни министры, ни академики! — не подумали (или не решились?) привлечь к ликвидации аварии Сахарова — мастера нетривиальных технических решений. А вот во время армянского землетрясения выпускали ведь из тюрем. И ничего, потом все выпущенные вернулись.

[2] Луевы горы недалече от корчмы на Литовской границе. («Борис Годунов».)

Мы пересекли улицу, прошли сквозь арку дома. Сахаровская машина оставалась на месте...

Через час, уйдя от Миллера, мы сразу напоролись на милиционера, сопровождаемого штатским. Милиционер проверил документы, штатский показал свою книжечку и без обиняков спросил:

— Есть ли у вас какие-нибудь бумаги, переданные Андреем Дмитриевичем и его женой?

— Есть. Елену Георгиевну выпроваживали из Москвы с такой поспешностью, что она не смогла взять ряд вещей домашнего обихода. Она передала мне их список. Для отправки почтой. И еще она впопыхах увезла с собой сберкнижку мужа, на которую перечисляется его академическое жалование. Эта книжка живет в Москве, с нее снимаются деньги для больного брата Андрея Дмитриевича.

— Я не буду проверять, есть ли у вас еще что-нибудь, но хочу предупредить. Сейчас Сахаровы пытаются всеми правдами и неправдами передать за рубеж лживые и клеветнические сообщения и призывы. И если в ближайшее время на Западе появится что-нибудь новенькое, то у нас не будет сомнений относительно источника. Вы свободны. Можете идти.

В моем кармане лежала согнутая пополам трехкопеечная ученическая тетрадка. На ее внутренней обложке Андрей, сидя за столом в роще, нарисовал картинку. По старой памяти, как в студенческие времена, когда я завидовал его умению рисовать. Вот эта картинка. Каждый волен понимать ее по своему разумению.



IV

На другой день после исторического звонка Горбачева я позвонил в Горький. Пересказав разговор, Андрей добавил:

— Сегодня у меня знаменательный день. Первый раз за семь лет без месяца я переступил порог научного учреждения. И не простого, а академического! Привозили в Институт прикладной физики на свидание с Марчуком. Так что сдавал меня один президент, а принимает другой. Подробности при встрече.

— Когда?

— Боюсь, что не очень-то скоро. Надо ведь, чтобы Люсе отменили ссылку. А юристы торопиться не любят.

Получилось, конечно, скоро, и началась московская круговерть в жизни Сахаровых. Только через несколько недель они выкроили — уж не знаю как! — целый свободный вечер, и мы снова вчетвером сидели за столом, теперь уже в четырех стенах. Разговор был куда веселее, а харч побогаче, чем в Зеленом городе, и Андрей мог подогревать свою долю на газовой плите. Сахаровы были полны планов и намерений. Люся даже показала длинный список неотложных дел, по моей оценке, месяца на три. Я пошутил, что им еще надо отдать мне четыре визита.

— Домашний только один! — осадил Андрей.— А уличные набегут сами, если считать поштучно.

— Нет уж, тогда считай по чистому времени.

— Дай Бог, наберу и по сумме всех.

За отпущенные Андрею еще три года жизни сумма t, я думаю, набралась. А вот домашний визит так и не получился, хотя Андрей не раз вспоминал о своем «долге». И однажды, забежав ко мне на несколько минут, подчеркнул уходя, что «это не считается».

Речь за столом шла и о Чернобыле. Андрей за это время успел запастись кое-какой информацией, а я принес ему нечаянный плод моего касательства к предыстории катастрофы, о котором я говорил еще в Горьком. Летом 86-го дачные знакомые — механики Г. И. Баренблатт и А. А. Павельев обратились ко мне с неожиданной просьбой найти у Шекспира слова леди Макбет: «Известно всем, что безопасность — всех смертных самый первый враг». Эта цитата, «подтверждая извечный принцип единства и борьбы противоположностей», венчала статью академика В. А. Легасова, В. Ф. Демина и Я. В. Шевелева «Нужно ли знать меру в обеспечении безопасности?», напечатанную в журнале «Энергия» в августе 1984 г. В статье утверждалось, что вовсе не следует стремиться к максимальной безопасности в ядерной энергетике. Безопасность, математически характеризуемая ценою риска, должна входить как слагаемое в суммарный баланс различных факторов (экономический эффект, расходы, зарплата и т. д.), и надо искать оптимум соответствующей суммы. Ведь люди ценят не только продолжительность жизни, но и ее полноту, приятность, качество. Иначе они не летали бы на самолетах, не занимались альпинизмом, не рисковали бы жизнью ради богатства. «Затраты на защитные мероприятия отвлекают средства из других областей, в частности, тех, где формируется качество жизни». Все эти рассуждения, разбавленные формулами, графиками и специальной терминологией, и подводили читателя к диалектической мудрости леди Макбет.

Но ни в одном русском переводе таких слов леди Макбет нет. Не говорила она их и по-английски. Однако в подлиннике есть эти слова: «And you all know security Is mortals chiefest enemy». Только произносит их не леди Макбет, желающая мужу успеха, а предводительница ведьм Геката, стремящаяся погубить Макбета. И говорит она эти слова по делу: в любом комментированном издании Шекспира отмечается, что в его время security означало легкомыслие, самонадеянность, а вовсе не безопасность, как теперь.

Эти шекспировские изыскания сделали меня соавтором антилегасовской заметки, посланной нами под заголовком «Еще раз о культуре перевода» в «Литгазету». Там, конечно, учуяли мину и посоветовали обратиться в «Литучебу»...

Прочитав нашу заметку и ксерокс легасовской статьи, Андрей сказал, что рассуждения трех авторов — Легасова и соавторов — пошлый и подлый софизм. Человек вправе рисковать собственной жизнью ради удовольствия, наслаждения или выгоды. В «Египетских ночах» трое мужчин — у каждого своя причина! — даже не рискуют, а сразу отдают жизнь за ночь Клеопатры.

Другое дело — увеличивать «качество жизни» одной группы людей, в частности, свое (награды, звание, служебное положение), ценою риска для других людей. И даже если последние тоже что-то выигрывают, то все равно необходимо получить их согласие на риск. Смешивать все это в одну кучу — то же самое, что приравнивать героев книги нашей юности «Охотники за микробами», рисковавших собственной жизнью, к «врачам» концентрационных лагерей, ставившим опыты на заключенных.

Особенно разозлила Андрея еще одна литературная аргументация статьи:

«Человек, озабоченный исключительно своим здоровьем, уподобляется во́рону из калмыцкой сказки, рассказанной Пугачевым в назидание молодому дворянину. Большинство людей отвергает такой стиль жизни».

— Как они смеют тянуть себе на подмогу Пушкина! Я бы на вашем месте включил в заметку ответ Гринева: «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину». В назидание ученым мужам, привыкшим любое одеяло тянуть на себя.

— Но они хоть помнят «Капитанскую дочку». А я вот встречал академиков, полагавших, что «ежовы рукавицы» появились в русском языке лишь в 37-м году.

— Врешь! — и через минуту: — Послушай. Забавно, что истинный смысл «ежовых рукавиц» и лукавое толкование Петруши для немца-генерала относятся друг к другу так же, как истинные задачи III Отделения и наказ императора Бенкендорфу: «Утирай слезы вдов и сирот!»

Я не знаю, пригодилась ли Андрею наша заметка на тех заседаниях по ядерной энергетике, в которых он принимал участие. Но он вспомнил о ней, когда стало известно о самоубийстве Легасова:

— Хорошо, что тогда не напечатали вашу заметку. А то бы тебя мучило: вдруг она стала той маленькой гирькой, которая потянула коромысло весов в сторону страшного решения... Знаешь, у меня один раз был затяжной приступ черной тоски. Такой, что если бы не дети и жена...

Андрей не кончил фразы, а я не решился задать вопроса.

Не надо думать, что Пушкин был для Сахарова чем-то вроде иконы, на которую можно только молиться. Добросовестное неприятие пушкинских взглядов и осуждение его поступков всегда вызывали у Андрея глубокий интерес и желание отцедить для себя крупицы истины. Еще в юности он предпочитал язвительного Писарева восторженному Белинскому. Да и сам Андрей не раз спорил с Пушкиным.

Пока Андрей жил в Горьком, в Москве скончался знаменитый математик — академик Иван Матвеевич Виноградов. У него не было родных, и с его наследством вышла очень некрасивая полууголовная история. Часть утвари и библиотеки разобрали и разворовали, завещание оказалось сомнительным и чуть ли не подделанным. Личный архив покойного, состоящий в основном из писем, запихали в чемодан, отвезли в Стекловский институт, директором которого был Виноградов, а на другой день сожгли на заднем дворе.

Вернувшись в Москву, Андрей узнал все это от кого-то из академических знакомых и спросил меня, не знаю ли я подробности и причины. Его особенно возмущало сожжение архива. Жгли его не кадровики, для которых такое занятие является рутинным, а доктора наук, причем, как выразился Андрей, «из хороших фамилий». Подробностей я не знал, а о причинах мне рассказывали приятели-математики. После войны Иван Матвеевич заболел антисемитизмом. Причем не абстрактным, а весьма действенным: Виноградов обладал огромной властью в научно-административной сфере, намного превосходящей его институт, стерильно очищенный не только от евреев, но и от мужей евреек. Люди, бывавшие у него дома, рассказывали, что зачастую, когда речь заходила о каком-нибудь математике, хозяин вытаскивал из ящика стола письмецо этого математика, сообщавшее, что автор — стопроцентно русский человек и крещен там-то и тогда-то, а вот у его конкурента на должность или академическое место мать жены — еврейка. И только ради спасения чести цвета отечественной математики стекловские доктора наук сожгли — не читая! — все письма, хранившиеся Виноградовым.

— Собачья чушь! — отрезал Андрей.— Неужели эта кучка сикофантов составляла цвет нашей математики? Не Сергей же Новиков и Людвиг Фаддеев сочиняли такие доносы. Все куда проще. Небось у самих докторов или у их дружков-приятелей было рыльце в пушку! А ведь они сожгли, может быть, и письма великих: Харди и Литтльвуда, Шнирельмана и Гельфонда. Но и блевотину эпохи нельзя жечь — она нужна истории. А те, кто придумал такое оправдание, они не ссылались на Пушкина? Мол, Пушкин радовался, что Мур сжег дневники Байрона. Тут Пушкин абсолютно не прав! Написал он это, я думаю, сгоряча, обидевшись на Левушку, читавшего в столичных салонах сугубо личные письма брата. И потом, за всю оставшуюся ему жизнь он ни разу не повторил эту мысль. Напротив, он больше всего ценил чужие дневники и воспоминания и кого только не тянул, чуть ли не силком, писать их. Слава Богу, Жуковский не сжег тетрадь, где написано, что дежурный офицер, увидевший голую жопу императрицы в ее последний час, имеет все основания писать мемуары... Забавно, в письме о Байроне Пушкин пишет, что не следует показывать великих людей на сýдне, а годы спустя сам каламбурит про Екатерину Великую:

> ...флоты жгла,
> И умерла, садясь на сýдно.

Острое чувство слова проявлялось у Сахарова и в его интересе к каламбурам. В горьковские времена он получил записку с утешением: нет пророка в своем отечестве. Я тогда вспомнил два стиха из лагерной поэмы моих друзей:

> Что ж, дайте срок, дождетеся пророка...
> Пророку бы не дали только срока!

— и Андрей несколько раз повторил вслух эти строки, передвигая ударение каждый раз на другое место.

Были у него и куда более серьезные упреки Пушкину. За «Записку о народном воспитании» и стихотворения 31-го года, названные Вяземским «шинельными». Имперская позиция, по мнению Сахарова, как эстафетная палочка передавалась через поколения. От Пушкина и Тютчева до П. Л. Капицы.

— Имперский дух им всем подгадил! Но они всегда с уважением говорили о противниках. Как и «бард британского империализма» Киплинг. Ведь баллада о Востоке и Западе написана про Афганистан, войну с которым Англия проиграла. А наши теперешние доморощенные киплинги только и умеют что обливать врагов грязью и дерьмом. И все это в сочетании с глупой трусостью. Как в твоем рассказе о Шерлоке Холмсе [1].

А к антисемитизму у Сахарова была жесткая и абсолютно бескомпромиссная ненависть. Любое, даже косвенное или зачаточное его проявление вызывало мгновенный

[1] Во время одной из наших встреч в Горьком я рассказал Андрею, что в телевизионном «Шерлоке Холмсе» по требованию начальства произвели переозвучивание. При первом — хрестоматийно знаменитом — знакомстве Холмс сразу угадывает, что Ватсон вернулся из Афганистана, где как раз идет война. Велено было заменить Афганистан на «восточные провинции».

отпор. Тут и чувство юмора изменяло Андрею. Вскоре после начала работы Первого съезда он спросил меня: видел ли я по телевизору Станкевича? Говорят, что у него очень похожая картавость. Так ли это? Ведь человек своего голоса по-настоящему не знает. Я брякнул, что картавят люди моей породы, а они со Станкевичем грассируют. И получил от Андрея форменную выволочку.

К С. Станкевичу и еще нескольким молодым депутатам он относился с какой-то трогательной надеждой.

— Ведь он старше моего Димки всего на пару лет! Их поколению расхлебывать старое и сооружать новое. А наше долго не протянет... Помнишь, сразу после войны привезли песенку стариков-фольксштурмистов:

> Wir, altee Affen,
> Sind neue Waffen [1].

Впрочем, когда начали заниматься neue Waffen, я был вполне молодой обезьяной. Как нынешний Болдырев... А Пушкина в Лицее звали «смесь обезьяны с тигром»... — нырнул Андрей в начало прошлого века.

Модные сейчас рассуждения о глубокой религиозности позднего Пушкина Андрей не принимал всерьез. Конечно, Пушкин восхищался Библией, перечитывал ее и знал лучше иного богослова. Еще в Михайловском — «Шекспир и Библия». Без Библии не было бы не только стихотворений последних лет, но и «Анчара». Однако в 25 лет он написал цикл «Подражания Корану», а позже гениальное «Стамбул гяуры нынче славят...», пропитанное мусульманской нетерпимостью. Почему бы тогда не утверждать, что Пушкин склонялся к исламу?

Когда айятолла Хомейни приговорил к смерти писателя Рушди, чем-то оскорбившего любимую жену Пророка, некоторые наши патриоты, считая, конечно, смертный приговор чрезмерным, с пониманием отнеслись к оскорбленным религиозным чувствам иранских фанатиков и полностью одобрили их праведный гнев, близкий по духу к инвективам литроссиян против Синявского. В связи с одной из публикаций такого толка Андрей заметил:

— Рушди — теленок по сравнению с нашим Пушкиным. Во всей мировой литературе нет произведения более кощунственного для истинно верующего христианина, чем «Гавриилиада». Божия Матерь прямо перед тем, как понести от Святого Голубка, с охотою отдалась Лукавому и Архангелу! А у Рушди всего-навсего намек на неблаговидное поведение Айши. Нашим «хомейни» следовало бы предать сочинителя «Гавриилиады» вечному проклятию, а заодно пригрозить смертью всем издателям его сочинений. И я понимаю, что Пушкин был навсегда благодарен Николаю за то, что тот закрыл «Дело» и спас его от пожизненного заточения в монастырь. Полежаева ведь за обыкновенную студенческую похабщину отдали в солдаты... А какие стихи! Все гаремные описания в «Бахчисарайском фонтане» — бледная тень по сравнению с тем, что в «Гавриилиаде». И сколько озорства! Забавно [2], что почти в одно и то же время Пушкин одалживает у Крылова «самых честных правил» для «моего дяди», а «Шестнадцать лет... бровь темная...» в описании Марии заимствует из «Опасного соседа» своего дядюшки! И заметь, что Пушкин всюду снижает небесное начало Богородицы — «с сыном птички и Марии»! — и подчеркивает ее земную прелесть. Вот и в «Мадоне» ему хочется иметь картину «без ангелов». Само сравнение невесты с Пречистой Девой достаточно греховно. Пушкин страстно торопил свадьбу с Натальей Николаевной вовсе не для того, чтобы на нее молиться... В дневнике есть запись: «Я очень люблю царицу». Я думаю, что в приступах поэтического воображения он бывал неравнодушен и к Царице Небесной. Так что стихи

> Не путем-де волочился
> Он за матушкой Христа

— упрек не только рыцарю бедному, но, в какой-то степени, и самому Пушкину... А эти, вместо живого, противоречивого Пушкина, пытаются сотворить новый миф. Раньше все время напирали на народность. Теперь — на православие поэта. Того гляди дойдут и до последнего члена уваровской триады — самодержавия.

Кстати, о мифотворчестве. В «Книжном обозрении» напечатали статью Г. Ханина о пробуксовывании нашей науки, статью хорошую и дельную, но, к сожалению, с перехлестами. Например, утверждалось, что к антисахаровским заявлениям принудили практически всех членов АН, не поддались только П. Л. Капица, И. Е. Тамм, В. А. Энгельгардт и еще два-три академика. Я написал письмо в «КО»: не замаралась бóльшая часть списочного состава АН, что же касается названных поименно, то правильно указан лишь Капица. Конечно, Тамм не принял бы участия в такой недостойной кампании, но он умер за два года до ее начала. А Энгельгардт подписал обе академические коллективки — «сороковку» и «нобелевскую».

[1] Мы, старые обезьяны, и есть новое оружие *(нем.)*.

[2] Андрей часто употреблял это слово. По его наблюдению, мы оба заразились «забавно» от М. А. Леонтовича.

Узнав, что моя заметка не пошла в печать (из-за переполненности портфеля редакции), Андрей сказал:

— Миф всегда выигрышней и понятнее действительности... «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...» Лет через десять станут писать, что Комитет поддержки объявившего голодовку астрофизика имел предметом не доктора Хайдера, а академика Сахарова. И что председатель этого Комитета не на командировочные тысячи летал в Вашингтон, а за свой, кровный четвертной купил туда-обратный билет в Горький... Я тогда очень переживал поведение Энгельгардта. Какой великолепный человек скурвился! Интеллигент высшей пробы. Патриций... Евгений Львович рассказывал прелестную историю. В газетах писали про открытие новой частицы, предсказанной теоретиками, и в перерыве общего собрания АН Энгельгардт спросил об этом Д. В. Скобельцына. Тот выставил замену — стоявшего неподалеку Е. Л. Фейнберга. Когда членкор Фейнберг закончил объяснения, академик Энгельгардт повернулся к академику Скобельцыну и с легким поклоном сказал: «Спасибо, Дмитрий Владимирович!.. Слава Богу, у „Илиады" не болел живот [1]».

Сахаров был прав — мифотворчество продолжается. Не прошло и года со дня его смерти, а уже в «Известиях» можно прочесть: «Николай Вавилов, Петр Капица, Николай Семенов, Андрей Сахаров своими позициями и поступками спасали честь отечественной науки». Семенов — великий ученый, на счету которого немало добрых дел, но его подпись стоит под обоими поносными письмами, в которых Сахаров клеймится как раз за то, что сейчас называется спасанием чести нашей науки. Так что столь близкое соседство в обойме на четверых не удивит лишь людей с очень короткой памятью.

— Самое противное в академическом начальстве — это сочетание сервилизма по отношению к высшей власти со шляхетским высокомерием к тем, кто является настоящим костяком науки,— сказал Андрей, узнав о реплике «Чернь пытается навязать нам свою волю», отпущенной одним из вице-президентов во время мятежа академических институтов. И добавил:

— Сейчас у нас вместо кухарок вице-президенты Академии наук. Каждый рвется управлять государством. Лезут через все щели в народные депутаты. Один даже через Общество шведско-советской дружбы.

В разгар выборных баталий мне вспомнились пушкинские стихи:

Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.

— Времена меняются,— ответил Андрей.— Но все равно попридержи язык. «Сейчас не время помнить...» А то подхватит какой-нибудь газетчик.

В своих публичных выступлениях, в том числе с самых высоких трибун, Сахаров часто пользовался привычным обращением «товарищи!» Честно говоря, я не замечал этого, пока не начала жить «Московская трибуна». Уже на первом учредительном собрании, с легкой руки Л. М. Баткина, основной формой стали «коллеги!» И иногда «друзья!», в особых случаях «господа!», а если кто и говорил «товарищи!», то сразу же поправлялся. Один только Андрей оставался «со товарищи». Позже он ответил мне, что эмоциональная окраска слова, его ± значение образовались у него в детстве. И «товарищ» пришел к нему не с газетных страниц, а из «Капитанской дочки», «Судьбы 120 товарищей, братьев...», «К Чаадаеву»...

— Что ж, теперь прикажешь читать: «Коллега, верь: взойдет она...»?

А вот слово «патриот» до сих пор существует для него в двух ипостасях. Французская, из «Марсельезы» и Виктора Гюго,— со знаком плюс. А на русской стоит клеймо «Господина Искариотова» и щедринского «потреотизма».

Запинки и сбои в речах, принимаемые многими за легкое косноязычие, на самом деле всегда имели причиной поиск максимально точных слов для выражения мысли. Он стремился к этому даже в самых экстремальных ситуациях, например, в момент червонописской истерии зала. Задолго до нее, еще во время первых нападок на канадское интервью, Андрей заметил, что стрелять в сдающихся солдат могли, вообще говоря, и без особого приказа сверху. Потому как по военному Уставу и по Уголовному кодексу добровольная сдача в плен есть величайшее преступление. Недаром во всех художественных произведениях, очерках и статьях на темы последней войны все положительные персонажи не сдаются, а попадают в плен в бессознательном состоянии. Сразу после ТВ-показа кремлевского звседания я вспомнил об этом разговоре и заглянул в старый УК, изданный в 1938 году. Там не оказалось отдельной статьи о плене, а в статье 193 [22] была вполне разумная формулировка: «...самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой...», замененная сейчас на «добровольную сдачу в плен по трусости или малодушию».

---

[1] «У „Илиады" болит живот» — концовка античного анекдота о богаче, который завел живой цитатник из обученных рабов.

Сообщив это по телефону Андрею, я справился о его самочувствии.

— Не волнуйся. Мне не привыкать к нападкам. Я же мог отбиваться и, по-моему, успел сказать главное. Не то что последние месяцы в Горьком, когда я чувствовал себя как мышь в стеклянной банке, из которой постепенно выкачивают воздух.

Стремление к предельной словесной точности никогда не оставляло Андрея. В газетах появились сообщения о том, что В. Боярский, пыточных дел мастер сталинских времен, после 53-го года с успехом подвизался в аппарате президиума АН. Причем не в отделе кадров или иностранном отделе — законных вотчинах органов, а в респектабельном редакционно-издательском совете, где он командовал научно-популярной литературой и даже достиг известных ученых степеней. Прочитав мне стишок:

АН была когда-то царской...
Теперь в ней дух царит боярский.—

Андрей извиняюще добавил:

— Тут, конечно, есть маленькая неточность. АН была не царской, а императорской. Но это простительная поэтическая вольность.

Приведу еще один стишок, сочиненный нами вместе после опубликования мерзкой карикатуры, на которой выдворенного А. И. Солженицына встречали с распростертыми объятиями Иуда, Брут и Кассий. Автор ее явно подпал под влияние Данте, начисто забыв о традициях русских, да и не только русских, романтиков, для которых Брут был героем-тираноборцем. Больше часа мы пыхтели над переделкой пушкинского «К портрету Чаадаева». Андрей придирчиво отбирал каждое слово из принадлежавших нам двух строк, и в результате получилось:

Он вышней волею Небес
Рожден в России. Выдворен оттуда.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес.
У нас он тоже Брут... И Кассий, и Иуда.

Другой раз мне посчастливилось стать первоначальным толчком, вызвавшим поэтический порыв Андрея. Мы случайно встретились во дворе ФИАНа, зашли в «Академкнигу», где я купил том Б. Рыбакова об авторах «Слова о полку Игореве», а потом, не торопясь (Люся была в отъезде), побрели в сторону метро «Ленинский проспект». Дорога шла под горку и поэтому нравилась Андрею. Где-то на середине пути я вспомнил, что у меня в кармане лежит листок с текстом ходившей тогда по Москве эпиграммы. Вместе с листком наружу вытащились осводовские «корочки», служившие обложкой для проездного билета. Андрей поинтересовался:

— Что у тебя общего с ОСВОДом?

И я объяснил, что «корочки» — шальной подарок моего молодого приятеля, возглавляющего — для ради отметки об общественной работе — ОСВОД в своем научном заведении. Андрей стал расспрашивать, ему всегда хотелось побольше узнать о следующем за нами поколении. Потом мы несколько минут шли молча. Мне показалось, что губы Андрея слегка шевелятся, и я подумал, что он проговаривает про себя только что прочитанную эпиграмму. И тут он сказал:

— Смотри, что у меня получилось.

Ловкость, богиня, воспой Леонида, слуги Посейдона,
На Воробьевых Горах он возглавляет ОСВОД.
Плещучи крыльями, Дева-Обида от Синего Дона
Мимо Каялы-реки мертвых ведет хоровод.

Части, правда, не стыкуются, но ведь и в самом «Слове» такое не редкость.

Я пришел в восторг: гекзаметр, да еще рифмованный, что на Руси большая редкость. А Андрей со скромной гордостью обратил мое внимание на то, что в четверостишии есть еще и внутренняя рифма!

Последняя наша встреча была 8 декабря, на похоронах Софьи Васильевны Калистратовой. Из Коллегии адвокатов на Пушкинской, где проходила гражданская панихида, в церковь Илии Пророка в Обыденском переулке катафалк шел большой петлей, проезжая Никитские Ворота. Андрей, Люся и я ехали сзади в одной машине, и всю дорогу продолжался рваный разговор, начатый еще на Пушкинской. Воспоминания о покойной перемежались спонтанными ассоциациями. Андрей пожаловался, что запамятовал прежнее название кинотеатра повторного фильма. «Унион»,— подсказал я, и он как-то по-детски обрадовался. А в виду Мерзляковского переулка он сказал, что проучился в 110-й школе (тогда 10-й) совсем недолго, никого там толком не знал, но вот сейчас, как ему передавали, бывшие ученики этой школы вовсю рассказывают фантастические истории о маленьком Сахарове, его успехах и тогдашнем всеобщем восхищении. Вот так и рождаются мифы.

Я спросил, видели ли Андрей и Люся любимый мною памятник мальчикам из 110-й, погибшим на войне. Пять скульптурных портретов в полный рост, работы их одноклассника Даниэля Митлянского. Узнав, что доски с баснями Крылова на Патриках тоже его работы, Андрей стал уточнять местоположение памятника, и я объяснил, что он стоит не у старого здания школы в Мерзляковском, а около слепой стены нового — как раз напротив Храма Большого Вознесения. Тут Андрей прервал меня:

— В этой церкви не только Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Там венчались и мои папа и мама. А маленьким мальчиком меня приводили сюда причащаться.

Должно быть, Андрею было приятно это легкое пересечение собственной жизненной линии с линией Пушкина. Так мне тогда показалось...

8-го декабря исполнилось три года со дня смерти Анатолия Марченко. Во время отпевания многократно повторялись имена новопреставленной рабы Божией Софии и приснопоминаемого раба Божия Анатолия... Позже, когда служба кончилась, Андрей сказал:

— Как хорошо это поминальное объединение Софьи Васильевны и Толи!.. Оба они... «за други своя»...

Через несколько дней, перебирая в памяти подробности похорон, я сообразил, что часа за три до отпевания было еще одно объединение Софьи и Анатолия. На гражданской панихиде один из выступавших очень правильно сравнил Софью Васильевну с великим русским юристом Анатолием Федоровичем Кони. Я решил обязательно сказать это Андрею. Но не успел...

Утром 15-го декабря я последний раз видел вблизи лицо Андрея. Спокойное лицо спящего. Только лоб и губы были холодные. И в углу рта, а может быть, мне показалось, запеклось маленькое белое пятнышко. Когда тело увезли, мы с Наташей ушли из дома, где уже начались похоронные переговоры с начальством.

Вечером стало известно, что посмертную маску привезли снимать Митлянского. И я вдруг вспомнил, как еще в студенческие годы Андрей говорил, что он больше верит гипсу посмертной маски Пушкина, чем стихотворному описанию Жуковского. Ведь Пушкин так мучился перед кончиной...

Но я видел лицо Андрея и верю, что он умер легкой смертью.

В. Г. Безносов

И ВЕЧНЫЙ БОЙ?

Нравственно-психологическое состояние нашего общества вызывает обоснованную тревогу: очень мало терпимости и милосердия, да и проявления любви в человеческих отношениях становятся все более редкими. Место любви занимает ее вечная спутница — ненависть. В обществе и в человеческой душе накапливаются раздражение и нетерпимость.

История нашей страны не подготовила почву для созидающего, творческого сознания. Всей историей и сегодняшней действительностью мы ввергнуты в политическую борьбу и в погоне за тактическими успехами далеко не всегда склонны, да и способны нравственно оценивать свою деятельность. Пишем и говорим о моральном разложении человека, аппарата, общества, вскрываем всю страшную историю нашего общества... Однако все еще робко говорим о *подлинных нравственных* причинах нашей трагедии. А ведь то, что происходило в нашей стране, не могло не изувечить нравственность человека и общества.

Борьба стала самоценной, вот что остается сегодня нравственно уродливым. Соображения политические, социальные, соображения пользы (общественной) и интереса отодвинули на задний план соображения духовные, нравственные.

Мы даже вопрос не ставили: а нравственно ли вообще отрицать, устранять, разрушать? Иногда все же оговаривались: да, не совсем нравственно, но другого выхода нет, приводили соображения исторические, социальные, классовые. идеологические, соображения нравственные в их историческом и социальном звучании и преломлении. Историзм, социальность и классовость в морали сочли настолько великим завоеванием марксистской мысли, что стали забывать, что такое мораль. Нечто аналогичное произошло с искусством и с другими формами духовной культуры. А между тем игнорирование моральной скрепы духовной культуры освобождает в человеке и человеческом обществе стихию разрушения, тотального нигилизма. Об этом говорит опыт революций, это очень остро понимал И. Кант, и гениально показал всю опасность «диалектики» в морали Ф. М. Достоевский. И этот великий опыт — социально-исторической практики, теории морали, художественно-философской, нравственной поверки идей — мы не имеем права не учитывать.

Впечатляющее подтверждение этому дала передача Ленинградского телевидения «Общественное мнение», посвященная проблеме смертной казни. Более 70 % (!!!) высказались за сохранение смертной казни в нашем законодательстве! И более 80 % из них (это уже запредельно!) согласились бы *сами* привести смертный приговор в исполнение. Это — объективное свидетельство, лакмусовая бумажка невероятной деформации человеческой души.

Мы спокойно можем посягнуть на права человека, его достоинство, даже его жизнь, о чем кричат последние события — Тбилиси, Баку, Фергана, Ошская область, а теперь уже и Литва, Латвия, Осетия. Проблема прав человека — это пока *не наша* проблема, так как в бесправном обществе, безусловно забывшем о праве личности, не может серьезно и глубоко стоять проблема прав человека. Она чужда такому обществу. Реформа власти сегодня и должна явить на деле восстановление в правах личности, ее свободы и достоинства.

Отдаем ли мы себе отчет, знаем ли мы, что произошло с нашей моралью — индивидуальной и общественной? Понимаем ли, что не в любой ситуации можно все перестроить, воссоздать? Если мы перейдем черту, то окажемся в таком качественном состоянии, возврат из которого в прежнее будет уже невозможен.

Нам надо взглянуть на нашу ситуацию совестливыми нравственными очами и без истерик и надрывов. Чтобы перестать быть теми, кто мы есть, нужно проявить подлинную волю к тому, чтобы стать иными. Серьезно исследовать, какие нравственные деформации наше сознание, наши души, наш дух претерпели в результате долгого приоритетного, освобожденного от критики и ответственности существования некоторых идеологических, партийных, нравственных (точнее — безнравственных) установок.

Мы свыклись и не могли не свыкнуться с безнравственными условиями нашей жизни. И даже если мы все ОСОЗНАЕМ, мы не освободим себя от этих условий, они в нас, они как вериги висят на нашей душе. Видимо, всю безнравственность ситуации, в которую мы попали, по чужой и по своей воле,— словами не передашь, не выразишь. Слова лишь указуют на нее, намекают. Мы сейчас только выясняем, точнее, называем причины, которые привели нас в такое состояние, но его исследование — еще впереди.

Настроенность на борьбу затронула все слои нашего общества, никого не минула. События последних лет ярко высветили эту черту, далеко не безопасную в духовном, нравственном плане, ставящую под сомнение сами условия существования человечества. Установка на борьбу, упоенность борьбой была настолько сильной, что блокировала сам вопрос о ее последствиях (нравственных, духовных, социальных и прочих). Сомнение в нравственности самой борьбы казалось изменой идеалам, человеку, народу, Идее.

Признание равноценности иных позиций, концепций, программ объявлялось просто безнравственным. И опасность состоит в том, что даже в здоровых силах, включиашихся в борьбу против консерваторов, бюрократов, партократов и пр., неумолимо всплывает на поверхность все негативное, что заключает в себе борьба. Мы ею духовно заражены и поражены. XX век показал, что ТОТАЛЬНАЯ борьба нас всех заведет в пропасть и никуда больше завести не может.

Так что же, не бороться? — спросит читатель. Ждать сложа руки, когда современные неосталинисты, радетели «застоя», различного рода и цвета разрушители сомнут здоровые силы общества, по-настоящему духовно болеющие за судьбы мира, человечности?

Сложить руки невозможно, потому что совесть протестует и против преступлений большевизма-сталинизма, и против современных преступлений (Афганистан, Чернобыль, Тбилиси, Баку, Карабах, Прибалтика), и против убогости нашей жизни, нашей несвободы. И однако — та же совесть, нравственное чувство говорят: не борьба, но утверждение, умножение ДОБРА, ЛЮБВИ, СВЕТА — вот что нам сегодня нужно. Служение по закону совести, не обязательно громкое и тем более крикливое,— вот чего нам сегодня недостает. Кстати, это как раз то, чем на Руси занимались монастырь и старцы, с которыми мы всегда боролись тоже. Монастырь и старцы — это в первую очередь собирание духовных и нравственных сил, СОБИРАНИЕ, очень не простое, мучительное, самоценное. И порвав эту преемственность духовного, нравственного опыта, мы его растеряли и растранжирили в борьбе. А без собирания опыта духовное возрождение невозможно, да и просто немыслимо.

Какие приоритеты, какие нравственные постулаты нам необходимо восстановить? Прежде всего — самоценность личности — высший этический, гуманистический критерий. Исторически у нас так случилось, что революция была объявлена высшим нравственным мерилом, критерием, сама

Безносов Владимир Григорьевич (род. в 1946 г.) — кандидат философских наук. Автор статей о Достоевском и русской философии. Живет в Санкт-Петербурге.

же она выведена из-под «традиционных» нравственных оценок. Неудачи революции, революционного строительства объявляются всего лишь ошибками, просчетами, даже жизнь и смерть становятся перед Революцией незначащими. Сомнение в оправданности, а тем более в безнравственности Революции — считается нравственной аномалией или изменой Делу Революции, контрреволюцией. Нам нельзя забывать, что вирус революционности так глубоко проник в наши души, что может еще раз «до основанья» сотрясти нашу страну. Именно поэтому так важно осознать, что главная цель развития общества — это человек. Каждый человек. И необходимо вернуть приоритет нравственных оценок над социальными, классовыми, политическими. Нечаевщину и революционное бесовство отделяет от истинного революционера не бездна, не пропасть, наивно так думать, а именно доведенный до предела тезис о том, что могут быть более значимые ценности, нежели человек.

А если мы утверждаем самоценность личности, если это для нас — фундамент морали, значит, для нас самоценной должна быть и личность с иными взглядами. Нравственность — это прежде всего терпимость.

Сейчас мы говорим о правовом государстве, о реальной демократии, и многие люди, искренне жаждущие этого, стали активно бороться за демократию, против тоталитаризма. Однако ориентация на бескомпромиссную борьбу может привести с психологической неизбежностью к сталинизму новому, к сталинизму наоборот. Большевизм и сталинизм как его крайнее, уродливое выражение — это и есть отрицание свободы и личности, НЕТЕРПИМОСТЬ, отрицание других взглядов, концепций. Это и есть БОРЬБА против несогласных и во имя придуманных нами (или до нас) великих целей и идеалов.

Необходима иная нравственная парадигма, парадигма УТВЕРЖДЕНИЯ, а не БОРЬБЫ. И в ее созидании мы должны максимально учитывать опыт нравственной философии, с таким упорством отвергаемый нами.

* * *

Возможно ли такое нравственное отношение к злу, которое было бы социально-исторически конструктивным? Экономическая и национальная разруха привели к тому, что мы уже не умеем жить без ненависти, гнева и раздражения.

Перестройка оказалась на сегодняшний день нежизнеспособной по целому ряду причин. И одна из причин видится многими в том, что ей оказывается мощное сопротивление, идет саботаж, вредительство. Значит — надо принимать меры к вредителям, чтобы перестройка окончательно не провалилась? Нет. Именно сейчас, когда становятся все более призрачными шансы на успех нашей попытки возрождения, нет более значимой задачи, нежели проявить христианскую волю к добру и любви.

Мы оказались заложниками большевистской установки на тотальную борьбу и должны найти в себе силы не поддаться искушению, чтобы хватило нравственного чувства не запустить маховик ненависти, теперь уже с другим знаком, ненависти справедливой. Этот маховик может уничтожить любую правду, ибо он разрушает мораль.

Не хотелось бы даже представлять, что будет с нами со всеми, если еще раз будет приведен в действие механизм революционного насилия. На румынском варианте мы остановиться не сможем, мы пойдем дальше, а дальше нас может ждать лишь небытие.

История наша такова, что мы судить и наказывать научились, а вот прощать, миловать и проявлять терпимость — нет. А это и есть собственно моральное дело, в этом и состоит проявление нашей моральности или ее отсутствие.

Борьба неконструктивна. С точки зрения высшего понимания жизни, все имеет высокую цену, большой смысл как в мире природы, так и в человеческом мире. Ничего нельзя исключить, вычеркнуть. Поэтому неоправданна и борьба со злом. Нам надо учиться жить в мире непреходящих ценностей, и тогда органически появится соответствующий стиль и способ жизни и мысли.

Созидание гуманной культуры, воплощение идеи нравственной организации человечества и духовного назначения человека возможны только в том случае, если мы признаём безусловные основания морали, ибо тогда мы получаем общую платформу для человечества, для человечества как морального субъекта. Главным образом в силу этих причин христианство было и остается самой совершенной моральной доктриной.

Религиозная вера как бы достраивает сознание, душу человеческую, наполняя ее высоким смыслом, давая ей надежду и решая проблему осмысленности человеческого существования. Мы более чем сполна заплатили за небрежение к пророчествам своих великих мудрецов.

Изменить мир может только преображенный человек, и это будет органическое изменение, человечески, нравственно ориентированное. Оно учитывает духовную природу человека и творится во имя осуществления духовных целей.

Духовная работа по обретению терпимости, добра и любви — вот что нам надо, что мы утратили. Поэтому необходимо восстанавливать нравственную атмосферу нашей жизни, чтобы возродилась наша великая страна. Возрождение христианских истоков отечественной культуры и жизни — в этом путь к нашему спасению.



Х. Ортега-и-Гассет

ЭТЮДЫ О ЛЮБВИ

Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) — один из ведущих философов, эстетиков и культурологов XX века, произведения которого оставались до недавнего времени неизвестными русскому читателю. Между тем духовную и интеллектуальную жизнь Запада невозможно представить себе без таких его работ, как «Дегуманизация искусства» (1925) или «Восстание масс» (1930), переведенных на многие языки мира. Идеал Ортеги — гармоничный тип личности, гармоничный тип философии, гармоничный тип исторических перспектив. Он считал себя интеллектуалом, а не эрудитом и не идеологом. Одно из лучших осуществленных им периодических изданий называлось «Наблюдатель», а не «Исследователь» и не «Пророк». Ортега-и-Гассет — «наблюдатель» милостью Божьей. Он именно наблюдал и запечатлевал то, что видел его острый аналитический ум, и что ему подсказывало вглянуть его артистическое чутье. Как и другим его современникам, ему выпала миссия быть свидетелем кризисной эпохи. При этом, и даже скорее — *для этого*, он стремился сохранить ясность ума в беспристрастность «показания». Он очевиднейшим образом избегал иррационализма — весьма авторитетного в кризисные эпохи типа мировидения,— а также столь же притягательной для интеллигенции в подобные эпохи безысходности конечных выводов.

«Этюды о любви» (1939) — одна из самых популярных книг Ортеги, одно из наиболее ярких и типичных для него произведений. Острота художественного видения мира сочетается в них со способностью к глубоким обобщениям. Четкий понятийный аппарат позволяет придать доказательность образному метафорическому способу постижения природы любви, унаследованному им от Платона. Как по затрагиваемым темам, так и по методике анализа «Этюды о любви» находятся на пересечении эстетики, психологии, философии и даже социологии любви. По счастью, ныне мы имеем возможность сопоставить ход рассуждений и выводы Ортеги-и-Гассета с идеями русских философов — Вл. Соловьева, Розанова, Бердяева, Франка.

Вс. Багно

ПРИМЕТЫ ЛЮБВИ

Поговорим о любви, условившись, что о «любовных историях» мы говорить не будем. «Любовные истории», самого неожиданного свойства, то и дело случаются между мужчинами и женщинами. Им сопутствует множество обстоятельств, усложняющих их развитие до такой степени, что эти «любовные истории» уже невозможно называть любовью. Что может быть заманчивее для исследователя, чем психология «любовных историй» со всей их пестрой казуистикой, однако нам будет непросто во всем разобраться, если сначала мы не определим, что же такое любовь сама по себе. Кроме того, мы сузили бы тему, сведя ее к рассмотрению любви, которую испытывают друг к другу мужчины и женщины. Тема неизмеримо шире, и Данте полагал, что любовь движет Солнце и другие светила.

Всеволод Евгеньевич Багно (род. в 1951 г.) — переводчик. Окончил Ленинградский государственный университет. Член Союза писателей. Кандидат филологических наук. Работает в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Автор книг «Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании» (1982) и «Дорогами „Дон Кихота“» (1988). Издал сборник «Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры» («Искусство», 1991). В его переводах выходили произведения М. де Унамуно, Х. Л. Борхеса, Д. Китса, а также других авторов, главным образом испанских и латиноамериканских.

Даже если мы воздержимся от столь вселенского охвата, нам следует учесть все многообразие проявлений любви. Не только мужчина любит женщину, но и женщина любит мужчину; мы любим также искусство и науку, мать любит своего ребенка, а верующий любит Бога. Огромное множество и разнородность объектов, подчиняющихся законам любви, сделают нас осмотрительнее и не позволят счесть присущими любви те особенности и свойства, суть которых скорее в природе всевозможных любимых кем-либо объектов.

Последние двести лет очень много говорили о любовных историях и очень мало о любви. И если все эпохи, начиная с добрых времен Древней Греции, создавали свои великие теории сердечных чувств, два последних столетия ее лишены. Античный мир вначале предпочел всем другим доктрину Платона, затем — стоистическую. Средневековье освоило теории Фомы Аквинского и арабов, XVIII век усердно штудировал теории душевных волнений Декарта и Спинозы. Все дело в том, что в прошлом не было ни одного великого философа, который не считал бы себя обязанным предложить собственную доктрину. В новейшее же время не предпринято ни одной выдающейся попытки систематизации чувств. И лишь недавние труды Пфендера и Шелера достойно продолжают тему. Между тем наш духовный мир становится все сложнее, а эмоциональные переживания — острее.

Поэтому-то мы не можем уже довольствоваться этими старыми теориями аффектов. К примеру, то определение любви, впитавшее древнегреческую традицию, которое мы находим у Фомы Аквинского, очевиднейшим образом ошибочно. Согласно ему, любовь и ненависть — два проявления желания, влечения, стремления к чему-то. Любовь — это стремление к чему-то хорошему, к хорошему в нем — concupiscibile circa bonum, ненависть, или антистремление,— это неприятие чего-то злого, именно злого в нем — concupiscibile circa malum. Мы видим здесь смешение влечения и желания с чувствами и эмоциями, которым грешила вся старая психология вплоть до XVIII столетия. Смешение, которое напомнит о себе в эпоху Возрождения, впрочем, претворившись уже в эстетическую категорию. Так, Лоренцо Великолепный утверждал, что l'amore è un appetito di bellezza [1].

Это и есть одно из существеннейших отличий, которые надлежит осмыслить, чтобы от нас не ускользнуло то, в чем заключается своеобразие любви и ее сущность. Наш душевный мир особенно щедр на любовные порывы; не будет преувеличением даже счесть их символом щедрости как таковой. К любви восходит многое из того, что присуще человеку: желания, мысли, волевые акты, поступки — все это, порождаемое любовью, как урожай семенами, самой любовью не является, однако подтверждает ее существование. Бесспорно, что так или иначе нас влечет то, что мы любим; однако столь же очевидно, что нас влечет и то, чего мы не любим, что не затрагивает наших чувств. Хорошее вино влечет нас, но любви не вызывает; наркомана влечет наркотик и в то же время вызывает отвращение связанными с ним опасными последствиями.

Но есть еще одна, более веская и тонкая причина разграничивать любовь и желание. Собственно говоря, желать чего-либо — это значит стремиться обладать им, причем под обладанием так или иначе понимается включение объекта в нашу жизненную сферу и превращение мало-помалу в часть нас самих. Именно поэтому желание умирает тотчас после того, как удовлетворено; обладание для него смерть. Напротив, любовь — это вечная неудовлетворенность. Желание пассивно, и желаю я, в сущности, одного — чтобы объект желания устремился ко мне. Я живу в надежде на притяжение ко мне всего сущего. И наоборот — в любви, как мы еще убедимся, все проникнуто активным началом. Вместо того чтобы объект приближался ко мне, именно я стремлюсь к объекту и пребываю в нем. В любовном порыве человек вырывается за пределы своего «я»: быть может, это лучшее, что придумала Природа, чтобы все мы имели возможность, преодолевая себя, двигаться к чему-то иному. Не оно влекомо ко мне, а я к нему.

Августину Блаженному, одному из тех людей, раздумья которых о любви отличались особой глубиной, по своему душевному складу, быть может, наделенному наивысшей силой любви, подчас удавалось преодолевать понимание любви как желания и влечения. В минуту вдохновения он сказал: Amor meus, pondus meum; illo feror, quocumque feror.— «Любовь моя, бремя мое; влекомый им, я иду повсюду». Любовь — это притяжение к любимому.

Спиноза попытался избежать ошибки и, оставив в стороне влечения, искал любовным порывам и ненависти эмоциональное объяснение; согласно ему, любовь — это радость познания предмета любви. Любовь к чему-то или к кому-то — это якобы не более чем радость и одновременно сознание, что рады мы благодаря этому чему-то или кому-то. И снова перед нами смешение любви с ее возможными последствиями. Разве кто-нибудь сомневается, что предмет любви может принести радость любящему? Однако столь же верно, что любовь бывает печальной, как смерть, безысходная смертная мука. Более того, истинная любовь лучше познает самое себя и, если угодно, свою цену и свои масштабы в страдании и мучениях, которые она приносит. Влюбленной женщине огорчения, причиняемые ей любимым, дороже бесстрастного прозябания. В письмах Марианы Алькофорадо, португальской монахини, встречаем следующие признания, адресованные ее неверному соблазнителю: «...в то же время и благодарю вас в глубине сердца за отчаяние, которому вы причина, и я ненавижу покой, в котором я жила, прежде чем узнала вас»; «...я нашла хорошее средство против всех этих зол, и я быстро освободилась бы от них, если бы не любила вас более; но, увы! что за средство! Нет, я предпочитаю страдать еще более, чем забыть вас. Увы! от меня ли это зависит? Я не могу упрекнуть себя в том, чтобы хоть на одно мгновение пожелала не любить вас более; вы более достойны сожаления, чем я, и лучше переносить все те страдания, на которые я обречена, нежели наслаждаться убогими радостями, которые даруют вам ваши французские любовницы». Первое письмо кончалось словами: «Прощайте, любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук». Минуло два века, и сеньорита де Леспинез писала: «Я люблю вас так, как только и стоит любить — безнадежно».

Спиноза ошибался: любовь и радость не одно и то же. Тот, кто любит родину, способен отдать за нее жизнь, и верующий идет на мученическую смерть. И наоборот, ненависть и злоба нередко находят удовлетворение в самих себе и хмелеют от радости при виде беды, обрушившейся на ненавистного человека.

Учитывая, что эти известные определения полностью нас не удовлетворяют, думаю, стоит попытаться проанализировать чувство любви столь же непосредственно и скрупулезно, как это делает энтомолог с пойманным в лесу насекомым. Надеюсь, что читатели любят или любили кого-то либо что-то и способны ныне взять свои ощущения за трепетные крылышки и устремить на них неторопливый внутренний взор. Я перечислю основные, самые общие признаки этой жужжащей пчелы, которая умеет собирать мед и жалить. Читатели сами решат, насколько мои выкладки соответствуют тому, что они познали, вглядываясь в себя.

Для начала согласимся, что у любви действительно много общего с желанием, поскольку его объект — предмет или человек — действует на него возбуждающе. Волнение, которым охвачен объект, передается душе. Таким образом, это волнение по сути своей центростремительно: оно направлено от объекта к нам. Что же касается чувства любви, то возбуждение, побуждая, предшествует ему. Из ранки, нанесенной нам стрелой волнения, пробивается любовь, которую неудержимо влечет к объекту: а значит, движется она в направлении, обратном по сравнению с возбуждением и любым желанием. Путь ее от любящего к любимому, от меня к другому — т. е. центробежен. В этом — в постоянном душевном порыве, в движении к объекту, от моего «я» к сокровенной сути ближнего — любовь и ненависть сходятся. Ниже речь пойдет о том, в чем они отличаются. При этом не нужно думать, что в нашем стремлении к предмету любви мы добиваемся лишь близости и совместной в бытовом плане жизни. Все эти внешние проявления как следствия любви и в самом деле порождены ею, однако для выяснения ее сути не представляют особого интереса, и посему в ходе нашего анализа мы будем полностью их игнорировать. Мои размышления касаются чувства любви в его душевной сокровенности как явления внутренней жизни.

Любящий Господа устремляется к Нему не телом, а все же любить Его значит стремиться к Нему. В любви мы забываем о душевном покое, теряем рассудок и все свои помыслы сосредоточиваем на любимом. Постоянство помыслов и есть любовь.

Дело в том — отметим это,— что мыслительный и волевой акты мгновенны. Мы можем замешкаться на подступах к ним, но сами-то они промедлений не терпят: все происходит в мгновение ока; они молниеносны. Если уж я понимаю фразу, то я понимаю ее сразу, в один миг. Что же касается любви, то она длится во времени. Любят не вереницей внезапных озарений, которые вспыхивают и гаснут, как искры в генераторе переменного тока; любимое любят непрерывно. Этим определяется еще одна особенность анализируемого нами чувства: любовь строится как родник одухотворенного вещества, как непрерывно бьющий ключ. Употребив метафору, на которые столь щедра интуиция и которые столь близки природе интересующего нас явления, можно сказать, что любовь — не выстрел, а непрерывная эманация, духовное излучение, исходящее от любящего и направленное к любимому. Течение, а не удар.

Пфендер с исключительной проницательностью подчеркивал текучесть и длительность, присущие любви и ненависти.

Любовь и ненависть одинаково центробежны, в мыслях они движутся к объекту, наконец, они текучи и непрерывны — таковы три общие для них приметы или черты.

Теперь можно определить и коренное отличие между любовью и ненавистью.

Устремленность у них общая, коль скоро они центробежны, и человек в них стремится к объекту; при этом они проникнуты противоположным смыслом, преследуют различные цели. В ненависти стремятся к объекту, но стремятся ему во зло; и смысл ее разрушителен. В любви также стремятся к объекту, но ему во благо.

Размышление и желание лишены того, что можно назвать душевным жаром, в одинаковой степени присущим любви и ненависти. В отличие от раздумий над математической

[1] Любовь — это алкание красоты *(ит.)*.

задачей, от любви и ненависти исходит тепло, они пылают, более того, накал их бывает различным. Не случайно в быту весьма метко об одном говорят, что он, влюбившись, охладел, а другой жалуется, что возлюбленная холодна и бесчувственна. Эти рассуждения о теплоте чувств невольно приоткрывают завесу над любопытнейшими сферами психологических закономерностей. Мы могли бы обратиться к отдельным аспектам всемирной истории, если не ошибаюсь, обойденным до сих пор вниманием в области этики и искусства. Речь могла бы идти о неодинаковом накале различных великих цивилизаций и культурных эпох — о холоде Древней Греции, Китая или XVIII столетия, о жаре средневековья или романтизма и т. д. Речь могла бы идти о роли в человеческих взаимоотношениях различной для разных людей степени их душевного горения: первое, что ощущают при встрече два человека,— это присущий каждому из них эмоциональный накал. Наконец, мы могли бы обратить внимание, что теплотой в той или иной степени характеризуются различные художественные, в частности, литературные стили. Однако было бы опрометчиво мимоходом затрагивать столь обширную тему.

Не удастся ли нам приблизиться к пониманию этой теплоты, присущей любви и ненависти, если в поле нашего зрения попадет также объект? Как воздействует на предмет любви объект? Издалека или вблизи, чем бы он ни был — женщиной или ребенком, искусством или наукой, родиной или Богом,— любовь печется о нем. Желание упивается тем, что ему желанно, удовлетворяется им, но не одаряет, ничем не жертвует, ничем не поступается. У любви же и ненависти нет ни минуты покоя. Первая погружает объект, на каком бы расстоянии он ни находился, в благоприятную атмосферу ласки, нежности, довольства, одним словом, блаженства. Ненависть погружает его с не меньшим пылом в атмосферу неблагоприятную, вредит ему, обрушивается на него как знойный сирокко, мало-помалу разъедает его и разрушает. Вовсе не обязательно, как я уже говорил, чтобы это происходило в действительности; речь идет о намерении, которым проникнута ненависть, том ирреальном деянии, которое лежит в основе самого чувства. Итак, любовь обволакивает предмет любви теплотой и довольством, а ненависть сочится едкой злобой.

Эти противоположные намерения в их действиях дают о себе знать и иным образом. В любви мы как бы сливаемся с объектом. Что означает это слияние? По существу, это слияние не в телесном смысле, да и вообще не близость. К примеру, наш друг — определяя качества, присущие любви, не забудем и дружбу — живет вдали от нас, и мы ничего о нем не знаем. Тем не менее мы с ним связаны незримой нитью — наша душа в, казалось бы, всеобъемлющем порыве преодолевает расстояния, и, где бы он ни был, мы чувствуем, что сокровенным образом соединились с ним. Нечто подобное происходит, когда мы в трудную минуту говорим кому-нибудь: можете рассчитывать на меня — я целиком в вашем распоряжении — иными словами, ваши интересы для меня превыше всего, располагайте мною, как самим собой.

И наоборот, ненависть, несмотря на свою неизменную направленность к предмету ненависти, отдаляет нас от объекта в том же символическом смысле — она, разверзнув между нами пропасть, делает его для нас недосягаемым. Любовь — это сердца, бьющиеся рядом, это согласие; ненависть — это разногласие, метафизическая распря, абсолютная несовместимость с предметом ненависти.

Теперь мы имеем некоторое представление о том, в чем заключается эта активность, эта ревность, которую мы, смею думать, выявили в любви и ненависти и которая отсутствует в пассивных эмоциях, таких, как радость или грусть. Не зря говорят: быть радостным, быть грустным. Это и в самом деле не более чем состояние, а не деятельность, не радение. Грустный, будучи грустным, пребывает в бездействии, равно как и веселый, будучи веселым. Любовь же в мыслях достигает объекта и принимается за свое незримое, но святое и самое жизнеутверждающее из всех возможных дело — утверждает существование объекта. Поразмыслите над тем, что значит любить искусство или родину: это значит ни на одно мгновение не сомневаться в их праве на существование; это значит осознавать и ежесекундно подтверждать их право на существование. Не так, впрочем, как это делает судья, знающий законы, приговоры которого поэтому бесстрастны, а так, чтобы оправдательный приговор был одновременно и поиском, и итогом. И наоборот, ненавидеть — это значит в мыслях убивать предмет нашей любви, истреблять его в своих помыслах, оспаривать его право на место под солнцем. Ненавидеть кого-либо — значит приходить в ярость от самого факта его существования. Приемлемо лишь исчезновение его с лица земли.

Думаю, что у любви и ненависти нет признака более существенного, чем только что отмеченный. Любить что бы то ни было — значит упорно настаивать на его существовании; отвергать такое устройство мира, при котором этого объекта могло бы не быть. Заметьте, однако, что это, по существу, то же самое, что непрерывно вдыхать в него жизнь, насколько это доступно человеку,— в помыслах. Любовь — это извечное дарение жизни, сотворение и пестование в душе предмета любви. Ненависть — это истребление, убийство в помыслах; к тому же, в отличие от убийства, совершаемого один раз, ненавидеть — значит убивать беспрерывно, стирая с лица земли того, кого мы ненавидим.

Если на этой высокой ноте обобщить те особенности, которые нами выявлены, то мы придем к выводу, что любовь — это устремленность души непрерывным потоком к объекту, который она обволакивает жизнетворным теплом, превращая нас с ним в единое целое и утверждая бесспорность его существования (Пфендер).

ЛЮБОВЬ У СТЕНДАЛЯ

I

Придуманная любовь

В голове Стендаля рождалось много теорий, однако теоретиком он не был ни в коей мере. Этим, как, впрочем, и многим другим, он напоминает нашего Бароху, у которого любая человеческая тема незамедлительно претворяется в систему идей. При поверхностном взгляде и того и другого можно принять за философов, по ошибке ставших писателями. Между тем все как раз наоборот. Весьма красноречиво обилие созданных ими обоими теорий. У философа не бывает больше одной. И в этом — коренное отличие между истинно теоретическим темпераментом и тем, который его лишь отдаленно напоминает.

Теоретик выстраивает систему, побуждаемый к этому неодолимым стремлением адекватно передавать реальность. А это обязывает его быть в высшей степени осмотрительным и, среди прочего, поддерживать в строгом и стройном единстве переизбыток своих идей. Поскольку действительность ошеломляюще едина. Какой ужас испытал Парменид, осознав это! Между тем наши мысли и чувства отрывисты, противоречивы и многообразны. У Стендаля и Барохи идеи воплощаются в ткани языка, литературном жанре, посредством которого и происходит лирическая эманация. Их теории — песни. Они мыслят «pro» и «contra» (вещь невозможная для мыслителя), любят и ненавидят в понятиях. Вот почему они столь щедры на теории, которые кишмя кишат, разнородные и взаимоисключающие, обязанные своим возникновением сиюминутному настроению. Будучи песнями, они несут правду, но не о сути вещей, а о певце.

Поэтому-то я не склонен их осуждать. В сущности, ни Стендаль, ни Бароха не претендовали на то, чтобы их считали философами; и если я привлек внимание к этой неоднозначной черте их духовного облика, то только из доставляющей радость потребности видеть всех такими, какие они есть. Их принимают за философов. Tant pis! [1] Но они ими не являются. Tant mieux! [2]

Если с Барохой в данном случае все более или менее ясно, то со Стендалем дело обстоит несколько сложнее, поскольку есть тема, на которую он философствовал вполне серьезно. По стечению обстоятельств та же, которой отдавал предпочтение Сократ, патрон всех философов. Ta erotiká: вопросы любви.

Трактат «De l'amour» [3] — одна из самых читаемых книг. Представьте, что вы входите в будуар маркизы, актрисы или же просто светской дамы. Осматриваетесь в ожидании хозяйки. Первыми, конечно, внимание привлекают картины (и почему это на стенах непременно должны висеть картины?). И почти всегда — ощущение прихотливости, оставляемое живописным полотном. В данном случае картина такова; однако она с успехом могла быть и совсем иной. Нам так не хватает того щемящего волнения, которое охватывает при встрече с чем-то предугаданным. А потом взгляд скользнет по мебели, по книгам, лежащим тут и там. Задержится на обложке — и что же на ней? De l'amour. Полагаи, что им надлежит разбираться в любви, маркиза, актриса и светская дама обзаводились источником просвещения, подобно человеку, который вместе с автомобилем покупает и руководство по двигателям внутреннего сгорания.

Книга читается с упоением. Стендаль всегда повествует, даже когда он рассуждает, обосновывает и теоретизирует. На мой взгляд, он — лучший из всех рассказчиков, архирассказчик перед лицом Всевышнего. Однако достоверна ли его теория любви как кристаллизации? Почему никто не посвятил ей серьезного исследования? О ней судачили, но никто не подверг ее тому анализу, какого она заслуживала.

Неужели она того не стоила? В сущности говоря, любовь, согласно этой теории, не что иное, как порождение фантазии. Не в том дело, что в любви свойственно ошибаться, а в том, что по природе своей она сама есть заблуждение. Мы влюбляемся, когда наше воображение наделяет кого-либо не присущими ему достоинствами. Впоследствии дурман рассеивается, а вместе с ним умирает любовь. Это еще определеннее, чем объявить, по обыкновению, любовь слепой. Для Стендаля она больше чем слепая — придуманная. Она не только не видит реальности — она ее подменяет.

---

[1] Тем хуже *(фр.)*.
[2] Тем лучше *(фр.)*.
[3] «О любви» *(фр.)*.

Достаточно приглядеться к этой доктрине сегодня, чтобы уяснить время и место ее создания: это типичное порождение европейского XIX столетия. Она отмечена двумя его характернейшими особенностями: пессимизмом и позитивизмом. Теория кристаллизации идеалистична, поскольку во внешнем объекте, на котором сосредоточены наши помыслы, она видит всего лишь проекцию субъекта. Со времен Ренессанса европеец предрасположен к взгляду на мир как на эманацию духа. До XIX века этот идеализм был преимущественно радостным. Мир, который проецирует субъект, по своему реален, доподлинен и значителен. Между тем теория кристаллизации пессимистична. Цель ее — доказать, что естественные, по нашему убеждению, душевные порывы — не что иное, как особые, из ряда вон выходящие явления. Так, Тэн пытается убедить нас, что нормальное восприятие — всего лишь освященное временем коллективное заблуждение. И это типично для теоретической мысли минувшего столетия. Нормальное познается через анормальное, возвышенное — через низменное. Достойна удивления потребность доказать, что мироздание — абсолютное quid pro quo [1], самодовлеющая глупость. Моралист пытается убедить вас в том, что альтруизм — это затаенный эгоизм. Дарвин методично опишет ту деятельность по упорядочиванию жизни, которую проводит смерть, и увидит основу жизни в борьбе за существование. Карл Маркс сходным образом представит классовую борьбу как движущую силу истории.

Между тем истина настолько далека от этого непреклонного пессимизма, ей удается подчас укорениться и в нем самом, хотя мрачный мыслитель об этом и не подозревает. Пример тому — теория кристаллизации. Из нее в конечном счете следует, что человек любит только то, что достойно его любви. Однако не найдя ничего подобного в действительности, он прибегает к своей фантазии. Именно выдуманные достоинства и порождают любовь. Куда как просто счесть иллюзорным нечто совершенное. Однако тот, кто так поступает, забывает об одном самоочевидном факте. Если нечто совершенное не существует, откуда мы знаем о его существовании. Если в реальной женщине нет тех качеств, которые способны вызвать у нас пылкую страсть, на каких чудесных ville d'eaux [2] мы видели призрачную женщину, способную покорить нас?

Заключенная в любви доля обмана очевиднейшим образом преувеличивается. Заметив, что подчас качества любимого человека в действительности совсем иные, нам надо спросить себя, не является ли вымышленной сама любовь. Психология любви должна весьма недоверчиво относиться именно к подлинности исследуемого чувства. На мой взгляд, самая сильная сторона трактата Стендаля — это предположение, что есть любовные истории, которые таковыми не являются. Что же еще означает известная классификация родов любви: amour-goût, amour-vanité, amour-passion [3] и т. д. Вполне естественно, что если зарождающееся чувство отнесено к любви по ошибке, то ложным будет все, что с ним связано, и прежде всего объект, который его вызвал.

Истинной, по Стендалю, является только «любовь-страсть». Думается, что и это понятие слишком широко. «Любовь-страсть» также поддается дальнейшей дифференциации. Причина ложной любви не только в тщеславии или в goût. Есть и иной источник подлога, более непосредственный и исконный. Любовь — это эмоциональная деятельность, снискавшая наибольшую хвалу. Поэты испокон веков украшали ее и прихорашивали своими косметическими средствами, наделяя при этом странной, беспредметной реальностью, отчего, еще не испытав, мы ее уже узнаем, о ней размышляем и готовы ей себя посвятить, как какому-либо виду искусства или ремеслу. Итак, представьте себе мужчину или женщину, для которых любовь in genere [4], а некоей абстракции, идеал их жизненного поведения. Они будут постоянно жить под знаком мнимой влюбленности. Им не нужно ожидать, пока заструится ток любви от определенного объекта; они довольствуются первым попавшимся. При этом любят саму любовь, а тот, кого любит, а сущности,— всего лишь предлог. Человек, с которым это происходит, если он не чужд размышлений, наипрезвеннейше придумает теорию кристаллизации.

Стендаль — один из тех, кто любит любить. В своей недавней книге «Интимная жизнь Стендаля» Авель Боннар пишет: «От женщин он требует лишь подтверждения своих иллюзий. Он влюбляется, чтобы не чувствовать одиночества; впрочем, по правде говоря, его любовные отношения на три четверти — плод его собственной фантазии».

Есть два типа теорий любви. Один из них составляет расхожие представления, общеизвестные истины, не вытекающие из реальности привлекаемого в доказательство материала. Другой включает более глубокие взгляды, основывающиеся на личном опыте. Таким образом, в наших умозаключениях о любви проглядывают контуры любовных отношений каждого из нас.

Случай Стендаля абсолютно ясен. Речь идет о человеке, который не только никогда по-настоящему не любил, но которого также никогда не любили. Его жизнь была заполнена

[1] Одно вместо другого *(лат.)*.
[2] Водах *(фр.)*
[3] Любовь-влечение, любовь-тщеславие, любовь-страсть *(фр.)*.
[4] В главном *(лат.)*.

псевдолюбовью. Между тем псевдолюбовь оставляет в душе только горький осадок подлога, воспоминание о том, как она испарилась. Если вглядеться в стендалевскую теорию и проанализировать ее, то окажется, что все в ней поставлено с ног на голову; кульминационная фаза любви представлена здесь как ее финал. Как объяснить то обстоятельство, что любовь умирает, хотя ее объект остается все тем же? Следовало хотя бы предположить — как это сделал Кант в теории познании,— что не объект наших любовных чувств управляет ими, а как раз наоборот: наша взбудораженная фантазия созидает объект. Любовь умирает, если она родилась по недоразумению.

Эмоциональный опыт Шатобриана привел его к прямо противоположным выводам. Вот человек, неспособный на большое чувство, который был наделен даром вызывать истинную любовь. Немало женщин встретил он на своем пути, и все они сразу и навсегда были охвачены любовью. Сразу и навсегда. Шатобриан, пожалуй, был обречен на создание доктрины, согласно которой истинная любовь бессмертна и рождается в мгновение ока.

II

Сразу и навсегда

Сопоставление любовных историй Шатобриана и Стендаля с психологической точки зрения в высшей степени продуктивно и поучительно для тех, кто легковесно рассуждает об образе Дон Жуана. Вот два человека, наделенные огромной творческой силой. Никто не назовет их волокитами — нелепый образ, к которому был сведен тип Дон Жуана в представлениях примитивных и недалеких людей. И тем не менее оба они щедро тратили душевную энергию на то, чтобы кого-то полюбить. Вполне понятно, что им это не удавалось. Видимо, самозабвенное упоение любовью не для возвышенных душ. Тем не менее они упорно к этому стремились и почти всегда проникались убеждением в своей влюбленности. Любовные истории значили для них неизмеримо больше, чем творчество. Любопытно, что только творчески бесплодные люди убеждены, что к науке, искусству или политике следует относиться серьезно, а любовные истории презирать, как нечто низменное и пустое. Мне в данном случае все равно: я ограничиваюсь констатацией того факта, что великие умы человечества были, как правило, людьми не слишком серьезными, если исходить из petite bourgeoise [1] точки зрения на эту добродетель.

Однако для осмысления донжуанства немаловажны отличия между Стендалем и Шатобрианом. Именно Стендаль окружал женщину неослабным вниманием. Между тем истинный Дон Жуан — полная его противоположность. Дон Жуан не таков; он выше треволнений, погружен в меланхолию и, вероятнее всего, ни одну женщину не удостаивал вниманием.

Самое большое заблуждение, в которое можно впасть,— это искать сходства с Дон Жуаном в мужчинах, которые всю жизнь домогаются женской любви. В лучшем случае так будет определен пошлый и вульгарный тип Дон Жуана, однако куда вероятнее, что эти наблюдения выведут нас на совсем иной человеческий тип. Что если, желая дать определение поэту, мы сосредоточим внимание на плохих поэтах? Коль скоро плохой поэт — не поэт, ничего, кроме бесплодных потуг, усердия, бешеной активности и рвения, мы в нем не обнаружим. Плохой поэт компенсирует отсутствие вдохновения привлекающей внимание мишурой: шевелюрой и экстравагантными галстуками. Точно так же Дон Жуан-труженик, который ежедневно подвизается на ниве любви, этот Дон Жуан, как две капли воды «похожий» на Дон Жуана, в действительности лишь его отрицание и его оболочка.

Дон Жуан — не тот, в ком женщины пробуждают страсть, а тот, кто пробуждает страсть в женщинах. Вот она, одна из бесспорных истин о природе человека, над которой следовало бы поразмыслить писателям, обратившимся в последнее время к столь важной теме донжуанства. Не секрет, что некоторых мужчин женщины одаривают особо благосклонным и неослабевающим вниманием. Вот где богатая пища для размышлений. Чем объясняется столь удивительный дар? Какая тайна жизни кроется за этой притягательностью? С другой стороны, наивно, да и непродуктивно критиковать тот или иной неясный образ Дон Жуана, плод чьей-то досужей фантазии. У проповедников есть одна давняя слабость: придумывать глупого манихейца, дабы без труда опровергать манихейство как таковое.

Стендаль сорок лет посвятил разрушению бастионов женского пола. Он выпестовал целую стратегическую программу с первопричинами и отдаленными следствиями. Отступая, он снова шел вперед, упорствовал и отчаивался, упрямо преследуя цель. А результат равен нулю. Стендаль не снискал любви ни одной женщины. И это не должно особенно удивлять. Такова участь большинства мужчин, хотя часто, скрадывая горечь неудач, сплошь и рядом за большую любовь они склонны принимать весьма пресную женскую

[1] Мелкобуржуазная *(фр.)*.

преданность и покорность, результат многих и многих усилий. Перед нами та же картина, что и в области эстетических впечатлений. Мало кто из живших на свете людей изведал радость от встречи с искусством. Тем не менее условились считать таковой ту дрожь, которая охватывает нас во время вальса, или интерес к интриге, возбуждаемый беллетристикой.

Любовные истории Стендаля были псевдолюбовью подобного рода. Абель Боннар в своей книге «Интимная жизнь Стендаля» на этом особенно не настаивает, что побудило меня написать эти строки. Подобные уточнения немаловажны, поскольку они объясняют коренной просчет стендалевской теории любви. В основу этой теории был положен ложный опыт.

Стендаль полагает — в соответствии со своим опытом,— что любовь «создается» и умирает. И то и другое свойственно псевдолюбви.

Для Шатобриана же, наоборот, любовь — это некая «данность». Ему не приходится прилагать усилий. Стоит женщине познакомиться с ним, как она сразу оказывается во власти некой таинственной электризующей силы. Она отдается безоговорочно и всецело. Почему? Вот она, та загадка, которую должны были бы разгадать исследователи донжуанства. Шатобриан некрасив. Невысокий и сутулый. Вечно раздраженный, мнительный и замкнутый. Его привязанность к любящей его женщине длилась восемь дней. Между тем женщина, испытавшая страсть в двадцать лет, до восьмидесяти хранила любовь к «гению», даже если ей не суждено было больше его видеть.

Один из многих примеров: маркиза де Кюстин, «самые роскошные волосы» Франции. Она принадлежала к одной из знатнейших семей и отличалась редкой красотой. Во время революции ей, почти ребенку, грозит гильотина. Ее спасает любовь, вспыхнувшая в некоем сапожнике, члене Трибунала. Она эмигрирует в Англию. Время возвращения на родину совпадает с публикацией «Аталы» Шатобриана. Она знакомится с автором, и тотчас ее охватывает безумная любовь. Следуя прихоти Шатобриана, известного своими причудами, она должна была купить замок Фервак, старую родовую усадьбу, в которой Генрих IV провел одну ночь. Маркиза, кое-как поправив свои дела, расстроенные за годы эмиграции, собирает необходимую сумму и покупает замок. Однако Шатобриан не торопится навещать ее там. В конце концов он проводит там несколько дней, часы, исполненные блаженства для этой охваченной страстью женщины. Шатобриан читает двустишие, нацарапанное Генрихом IV на камине охотничьим ножом:

> La dame de Fervaques
> mérite de vives attaques [1].

Счастливые часы проходят быстро и невозвратно. Шатобриан уезжает, чтобы больше, в сущности, и не возвращаться: его влекут новые острова любви. Проходит месяцы, годы. Маркиза де Кюстин близка к семидесяти. Она показывает замок некоему посетителю. Оказавшись в комнате с огромным камином, тот спрашивает: «Так вот оно — то место, где Шатобриан был у ваших ног?» Она же, вспыхнув, изумившись и даже как будто оскорбившись, в ответ: «Да что вы, сударь, что вы, нет: я у ног Шатобриана!»

Эта разновидность любви, при которой человек раз и навсегда растворяется в другом человеке, как бы прививается к нему метафизически, Стендалю была неизвестна. Поэтому он был убежден, что любовь всегда со временем убывает, хотя в действительности все обстоит как раз наоборот. Истинная любовь, рожденная в сокровенных глубинах человека, по-видимому, не может умереть. Она навсегда остается привитой чувствительной душе. Обстоятельства — к примеру, разлука — могут лишить ее питательной среды; и тогда эта любовь будет чахнуть и превратится в трепещущую ниточку, едва ощутимо бьющийся в подсознании ключ сердечной привязанности. И все же она не умрет. Ее эмоциональный состав не изменится. Благодаря этой неизменной основе человек, который любил, будет и впредь чувствовать себя связанным нерасторжимыми узами с возлюбленной. Судьба может отторгнуть его, изменив его положение в физическом или социальном пространстве. Что с того — он останется рядом с любимой. Таков высший, наивернейший признак подлинной любви: как бы находиться рядом с любимым, быть в общении более тесном, близости более сокровенной, чем пространственные. Это значит пребывать в истинно жизненном контакте.

Есть и более точное слово, хотя и несколько специальное, научное: быть онтологически вместе с любимым, верным его изменчивой судьбе. Женщина, любящая преступника, где бы она ни находилась, душою будет с ним в тюрьме.

[1] Госпожа, живущая в Ферваке,
Стоит самой яростной атаки *(фр.)*.

III

Любовь к совершенству

Широко известна метафора, которая позволила Стендалю определить свою теорию любви словом «кристаллизация». Если в соляные копи Зальцбурга бросить веточку и вытащить ее на следующий день, то она оказывается преображенной. Скромная частица растительного мира покрывается ослепительными кристаллами, вязь которых дивным образом ее преображает. Согласно Стендалю, в душе, наделенной даром любви, происходят сходные процессы. Реальный облик женщины, запав в душу мужчины, мало-помалу преображается вязью наслаиваемых фантазий, которые наделяют бесцветный образ всей полнотой совершенства.

Эта известная теория всегда казалась мне в высшей степени ложной. Пожалуй, единственно продуктивным в ней является вывод (пусть даже скорее угадываемый, чем сформулированный), что любовь в известном смысле — это стремление к совершенству. Исходя из этого, Стендаль вынужден допустить, что совершенство — плод нашего воображения. Однако специально он на этом не останавливается, поскольку для него это — самоочевидная вещь, занимающая в его теории весьма скромное место; он ни в коей мере не ощущает, что речь идет о самой значительной, самой глубокой, самой загадочной особенности любви. Теорию кристаллизации волнуют главным образом причины разочарований в любви, утраты иллюзий, т. е. почему охладевают, а не почему влюбляются.

Стендаль, как настоящий француз, становится поверхностным, как только переходит к общим рассуждениям. Он проходит мимо грандиозного, первостепенной важности явления, скользнув по нему взглядом и не удивившись. Между тем способность удивляться тому, что принято считать очевидным и естественным, дана именно философу. Вспомним, как Платон идет напрямик, без колебаний, затрагивая болезнетворный нерв любви. «Любовь — это вечная страсть порождать себя в красоте». «Какая наивность!» — скажут дамы, доктора любовных наук, за коктейлем в отеле «Ритц», в любом уголке мира. Дамы не подозревают, какую радость они доставили философу, с улыбкой про себя отметившему, что его слова вызвали снисхождение в прелестных женских глазках. Им и невдомек, что, когда философ говорит им о любви, он не только не флиртует с ними, но абсолютно безразличен к ним. Как заметил Фихте, философствовать — это не что иное, как не жить, точно так же, как жить — это не что иное, как не философствовать. Сколь сладостен дар выключаться из жизни, исчезать в некое скрытое от глаз измерение! И чем лучше философ владеет этим даром, тем скорее женщина сочтет его наивным. В теории любви ее, равно как и Стендаля, интересуют психологические тонкости и анекдоты, которые, конечно же, заслуживают внимания, лишь бы при этом не выпадали из поля зрения коренные проблемы сердечных чувств и среди них наиважнейшая — та, которую Платон сформулировал двадцать пять веков тому назад.

Отклоняясь от темы, коснемся вкратце этого кардинального вопроса.

В платоновском словаре под красотой подразумевается то, что мы привыкли называть «совершенством». С известной осторожностью, при этом неукоснительно оставаясь в кругу рассуждений Платона, можно сказать, что суть его концепции сводится к следующему: любовь непременно включает в себя стремление любящего соединиться с другим человеком, которого он считает наделенным каким-то совершенством. Другими словами, это — влечение нашей души к чему-то в известном смысле замечательному, превосходному, высшему. Сердечные чувства — а точнее, любовная страсть — порождаются не нами, а вызвавшим наше восхищение объектом. При этом то обстоятельство, что он может быть совершенным как от природы, так и лишь в нашем представлении, не имеет никакого значения. Пусть читатель представит себе состояние влюбленности, при которой объект любви лишен для любящего малейшего оттенка совершенства, и он увидит, что это невозможно. Итак, влюбиться — значит почувствовать себя очарованным чем-то (ниже мы проиллюстрируем, что это означает); в то же время нечто может очаровать, если оно является или кажется совершенным. Я не утверждаю, что любимый должен казаться во всех отношениях совершенным,— ошибка Стендаля именно в этом. Достаточно, чтобы он был совершенным в каком-либо смысле, поскольку совершенство в человеческих представлениях — это не абсолютно идеальное, а то, что отличается особенно высокими достоинствами, что превосходит окружающее.

Но это лишь одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что мы начинаем стремиться к близости с человеком, наделенным этими высокими достоинствами. Что понимать под словом «близость»? По искреннему признанию самых истовых влюбленных, они не испытывали — во всяком случае, как нечто, поглощающее все их помыслы,— потребности в физической близости. Это очень деликатная тема, требующая полной определенности. Речь не о том, что любящий не жаждет также и интимной близости с возлюбленной. Однако раз он ее «также» жаждет, было бы неверным сказать, что только этого он и жаждет.

Пора отметить еще одно немаловажное обстоятельство. Никем отчетливо не осознава-

лось — пожалуй, лишь за исключением Шелера — различие между «любовной страстью» и «любовным инстинктом», отчего под первой, как правило, подразумевается второе. Бесспорно, в человеке почти всегда инстинкты переплетены с внеинстинктивными проявлениями душевного и даже духовного свойства. С инстинктом в чистом виде мы встречаемся в редчайших случаях. Распространенное представление о «плотской любви», на мой взгляд, не вполне обосновано. Испытывать исключительно физическое влечение трудно, и не часто это встречается. Как правило, чувственности сопутствуют и сочетаются с ней проявления эмоционального подъема, восхищения телесной красотой, симпатии и т. д. Тем не менее случаев абсолютно чувственного, инстинктивного влечения более чем достаточно, чтобы отличать его от «любовной страсти». Отличие оказывается особенно явственным в двух крайних ситуациях: когда плотское влечение подавляется доводами морали или обстоятельствами или когда, наоборот, преизбыток его вырождается в сладострастие. Ясно, что в обоих случаях, в отличие от любви, крайняя похоть — точнее даже бескрайняя похоть — существует независимо от объекта. Влечение томит до появления человека или ситуации, способных его удовлетворить. В результате ему безразлично, кто именно послужит удовлетворению. Инстинкт не знает предпочтений, когда он не более чем инстинкт. Поэтому-то он и не является порывом к совершенству.

Если любовный инстинкт и гарантирует сохранение рода, то он не обеспечивает его совершенствование. И наоборот, истинная любовная страсть, восхищение другим человеком, его душой и телом, в нерасторжимом единстве, испокон веков не могла не быть великой силой, способствующей совершенствованию рода человеческого. Вместо того чтобы существовать независимо от объекта, он неизменно получает жизненный импульс от возникающего на нашем пути человека, отличающегося некими выдающимися достоинствами, способными вызвать сердечный порыв.

Стоит только его ощутить, как любящий испытывает необъяснимую потребность растворить свою личность в личности другого человека, и наоборот, вобрать в свою личность личность любимого. Загадочное стремление! В то время, как в остальных жизненных проявлениях для нас нет ничего более неприемлемого, чем вторжение другого в наше индивидуальное бытие, отрада любви состоит в том, чтобы почувствовать себя в метафизическом смысле способным впитать как губка чужую личность в такой степени, чтобы лишь в единстве, являя «личность в двух лицах», находить удовлетворение. Это напоминает доктрину сен-симонистов, согласно которой реальная человеческая особь представляет собой мужчину и женщину одновременно. Впрочем, в этой доктрине никак не отражена неодолимая потребность в слиянии. Когда любовь неподдельна, она претворяется в более или менее осознанное желание видеть в ребенке некий символ и вместе с тем реальное воплощение достоинств любимого. Это третье звено, берущее начало в любви, по-видимому, отражает во всей изначальной чистоте ее суть. Ребенок — это и не отец и не мать, а их персонифицированное единство и безграничное стремление к совершенству, ставшее физической и духовной реальностью. Наивный Платон был прав: любовь — это вечная страсть порождать себя в прекрасном или, как выразил это один из неоплатоников, Лоренцо де Медичи: appetito di bellezza.

Теоретическая мысль нового времени охладела к космологии и прониклась почти исключительно психологическими интересами. Тонкости психологии любви, нагромоздившие казуистические арабески, отвлекли наше внимание от этого коренного и одновременно вселенского аспекта любви. Итак, мы вступаем в область психологии, хотя и вразрез с ее принципами, памятуя, что пестрая история наших любовных переживаний, со всеми их виражами и казусами, представляет собой не более как результат действия этой коренной и вселенской силы, которую наш душевный мир — примитивный или утонченный, бесхитростный или изощренный, той или иной эпохи — способен был лишь осваивать и воплощать в различные формы. Погружая турбины и иные, маленькие или большие, механизмы в поток, не стоит забывать о его первозданной движущей силе.

IV

Разнообразие любви

Нельзя отрицать, что теория кристаллизации на первый взгляд содержит в себе одну бесспорную истину. Действительно, в сфере любовных дел у нас сплошь и рядом открываются глаза на собственные ошибки. Мы наделили любимого человека отсутствующими у него достоинствами и совершенствами. Не признать ли в таком случае правоту Стендаля? Пожалуй, не стоит. Случается, что один только преизбыток правоты не позволяет быть правым. Было бы более чем странно, если, ошибаясь на каждом шагу во взаимоотношениях с реальностью, в любви мы оказались бы абсолютно прозорливыми. Мы то и дело усматриваем иллюзорные свойства у вещей вполне реальных. Для человека видеть что бы то ни было — а особенно оценивать — значит непременно дополнять его. Еще Декарт отметил, что, выглядывая в окно и думая, что видит людей, он заблуждался. Что же он

видел на самом деле? Chapeaux et manteaux: rien de plus [1]. (Не правда ли, это наблюдение вполне могло принадлежать художнику-импрессионисту: на ум невольно приходит картина Веласкеса Les petits chevaliers [2], хранящаяся в Лувре, с которой Мане сделал копию.) Строго говоря, никто не видит реальность такой, какая она есть. Если бы это произошло, то день великого прозрения был бы последним днем жизни на Земле. Тем не менее мы полагаем, что наше восприятие адекватно отражает реальность и позволяет сквозь призрачный туман вскрыть скелет мира, великие тектонические складки. Многим, пожалуй, даже большинству, недоступно и это: они довольствуются словами и намеками, как сомнамбулы, бредут по жизни, ограничив себя набором условностей. То, что мы называем гениальностью, на самом деле всего лишь редко встречающаяся чудесная способность расширять просвет в этом тумане фантазий и воочию видеть новый, дрожащий от пронзительной наготы сколок доподлинной реальности.

Итак, то, что кажется верным в теории кристаллизации, является лишь частным проявлением общей закономерности. В известном смысле, вся наша духовная жизнь — это кристаллизация. А значит, данная особенность любви — явление общего порядка. В конце концов можно было бы допустить, что во время влюбленности процесс кристаллизации значительно усиливается. Но подобное предположение в корне ошибочно, и уж во всяком случае ложно стендалевское понимание. Представления влюбленного не более иллюзорны, чем наше мнение о политике, артисте, бизнесмене и т. д. Судя по всему, люди в вопросах любви столь же недалеки или прозорливы, как и вообще в своих суждениях о ближнем. Почти все мы близоруки в своей оценке людей, самого сложного и тонкого явления в мире.

Чтобы покончить с теорией кристаллизации, достаточно вспомнить те случаи, в которых она очевиднейшим образом отсутствует: это наиболее распространенные случаи любви, когда оба любящих не теряют рассудка и, насколько это возможно, не впадают в ошибку. Теории любовных влечений следовало бы начать с прояснения наиболее типичных форм, вместо того чтобы с самого начала сосредоточиваться на исключительном в исследуемом явлении. Дело в том, что подчас, вместо того чтобы искать женщину, наделенную некими дорогими его сердцу достоинствами, мужчина вдруг обнаруживает в какой-нибудь женщине свойства, о которых он до сих пор и не подозревал. Заметьте, что речь идет исключительно о женских свойствах. Как могут они, столь непредсказуемые, быть плодом воображения мужчины? И наоборот, как могут быть мужские достоинства плодом воображения женщины? Доля истины, заключающаяся в самом факте предчувствий и как бы выдумывании достоинств, еще не обнаруженных в реальности, не имеет ничего общего с идеей Стендаля. Мы еще остановимся на этом скрытом от глаз аспекте.

Прежде всего, в наблюдении, лежащем в основе этой теории, допущена грубейшая ошибка. Предполагается, судя по всему, что состояние влюбленности сопряжено со сверхактивностью сознания. Стендалевская кристаллизация сопровождается всплеском душевной энергии, обогащением внутреннего мира. Между тем следует признать, что влюбленность — это состояние душевного убожества, при котором наша внутренняя жизнь скудеет, нищает и парализуется.

Я сказал «влюбленность». Во избежание трюизмов, изобилующих в рассуждениях о любви, необходимо внести известную ясность в употребление терминов. Словом «любовь», столь простым и коротким, покрывается масса значений, настолько различных, что впору отказаться видеть в них что-либо общее. Мы говорим о «любви к женщине»; но также и о «любви к Богу», «любви к родине», «любви к искусству», «сыновней любви» и т. д. Одно и то же слово опекает и окликает столь многоликий и беспокойный мир.

Можно оспаривать употребление слова, если за ним стоят понятия, не связанные между собой, коренным образом лишенные общей для них основы. Так, слово «лев», употребляемое для обозначения царя зверей, является одновременно именем римских пап и названием испанского города. По воле случая одна фонема обременена различными значениями, которые отсылают нас к различным характеризуемым ими объектам. Лингвисты и логики говорят в подобных случаях о «полисемии», поскольку слово имеет множество значений.

Имеем ли мы дело с одним и тем же явлением, когда слово «любовь» встречается нам в приведенных выше выражениях? Есть ли какая-то органичная связь между «любовью к науке» и «любовью к женщине»? Сопоставив оба душевных состояния, мы обнаруживаем, что почти во всем они отличаются. Однако же есть одна общая для них особенность, которую позволяет выявить детальный анализ. Сосредоточив внимание только на ней, абстрагировавшись от остальных свойств, присутствующих в обоих душевных состояниях, можно было бы определить, что же, собственно говоря, надо понимать под «любовью». В свойственной нам ложной манере раздвигать границы частного явления мы определяем этим словом соответствующее состояние души как таковое, в то время как оно является следствием целого ряда факторов, а не только «любви» и даже не только переживаний.

[1] Шляпы и плащи: и ничего больше *(фр.)*.
[2] «Маленькие кавалеры» *(фр.)*.

К сожалению, последние сто лет психология не воспринималась как часть культуры, а усилия психологов сводились, как правило, к разглядыванию в увеличительное стекло, используемое и поныне для изучения человеческой психики.

Любовь, если быть предельно точными [1],— это самодостаточная эмоциональная деятельность, направленная на любой объект, одушевленный или неодушевленный. Будучи эмоциональной деятельностью, она, с одной стороны, отличается от функций интеллекта — осознавать, внимать, размышлять, вспоминать, воображать, а с другой — от желания, с которым ее сплошь и рядом путают. Испытывая жажду, хотят выпить воды, однако ее при этом не любят. Любовь, бесспорно, порождает желания, однако сама по себе любовь и желание — не одно и то же. Мы хотим жить на родине и желаем ей процветания, «потому что» ее любим. Наша любовь предшествует этим желаниям, прорастающим из нее, как ростки из семени.

Будучи эмоциональной деятельностью, любовь отличается от пассивных чувств, таких, как радость или грусть. Последние напоминают краски, которыми расцвечивается наша душа. Грусть и радость — состояния, в них именно пребывают. Радость сама по себе бездеятельна, однако она может служить причиной действий. Между тем любовь — не просто состояние, но деятельность в направлении любимого. Я имею в виду не порывы тела и духа, вызываемые любовью, а то, что в самой природе любви заложена потребность человека преодолевать границы своего «и» в стремлении к тому, что он любит. И за тридевять земель от объекта, не помышляя о нем и о встрече с ним, если только мы любим, мы будем обволакивать его на расстоянии теплым жизнетворящим потоком. Со всей определенностью это докажет сравнение любви с ненавистью. Ненависть к кому-либо или чему-либо — не пассивное состояние, как состояние грусти, а некое действие, жуткое отрицающее действие, разрушающее в воображении объект ненависти. Признание факта существования специфической эмоциональной деятельности, отличной от любой иной деятельности нашего тела или нашей души, будь то интеллектуальная, чувственная или же волевая, представляется мне чрезвычайно важным для подлинной психологии любви. Касаясь этого вопроса, как правило, ограничиваются описанием результатов. Крайне редко в ходе анализа ценко ухватывается сама любовь в ее своеобразии и отличиях от других психологических явлений.

Теперь не кажется уже столь неприемлемым предположение, что между «любовью к науке» и «любовью к женщине» есть нечто общее. Эта эмоциональная деятельность, этот наш теплый жизнетворящий интерес к некоему явлению может с равным успехом быть обращен к женщине, участку земли (родине) или роду человеческой деятельности: спорту, науке и т. д. Стоит также добавить, что, вне всякого сомнения, все, не относящееся в «любви к науке» или в «любви к женщине» к собственно эмоциональной деятельности, непосредственно с любовью не связано.

В очень многих «любовных историях» истинная любовь почти отсутствует. Есть желание, любопытство, настойчивость, одержимость, непритворный обман чувств — все, кроме этой неодолимой устремленности к другому, каким бы ни было его отношение к нам. Что же касается «любовных историй», то не стоит забывать, что они включают в себя, кроме любви sensu stricto [2], немало иных элементов.

В широком смысле слова мы привыкли называть любовью «влюбленность», чрезвычайно сложное душевное состояние, в котором, собственно говоря, любовь играет второстепенную роль. Именно ее имеет в виду Стендаль, расширительно назвавший свою книгу «О любви», продемонстрировав тем самым ограниченность своего философского кругозора.

Итак, эта «влюбленность», которую теории кристаллизации представляет как душевную сверхактивность, на мой взгляд, является скорее оскудением и частичным параличом жизни нашего сознания. Подчиняясь ей, мы кое-что утрачиваем, по сравнению с обычным состоянием, а не приобретаем. Это вынуждает нас обрисовать в самых общих чертах психологию сердечного порыва.

V

Заинтересованность и одержимость

Прежде всего отметим, что «влюбленность» непосредственно связана с заинтересованностью.

Стоит обратиться к жизни нашего сознания, как мы обнаруживаем там множество явлений мира внешнего и внутреннего. Эти явления, которые, одно за другим, удерживаются в памяти, не свалены там беспорядочной грудой. Они расположены в известном порядке, некоей иерархии. В самом деле, что-либо одно неизменно выделено, предпочтено

[1] Имеется в виду именно любовь, а не то состояние, в котором находится любящий.
[2] В узком смысле *(лат.)*.

другому, особым образом высвечено, как если бы наш внутренний свет, озаряя его, своим сиянием придавал ему особый смысл. Наш интерес всегда избирателен: уделив чему-то внимание, мы неизбежно обделяем вниманием многое другое, отходящее тем самым на второй план, подобно хору или фону.

Поскольку явлений, составляющих внутренний мир каждого из нас, бесконечно много, а сознание отнюдь не безгранично, между ними происходит нечто вроде борьбы за наше внимание. По сути дела, вся наша душевная и духовная жизнь проходит в этой зоне особой освещенности. Остальное — зона осознанного невнимания, не говоря уже о подсознании и т. д.,— всего лишь заявка на жизнь, ее подготовка, склад, резерв. Можно представить себе чуткое сознание в качестве жизненного пространства нашей личности.

Как правило, любая вещь, заинтересовав нас ненадолго, уступает вскоре место другой. Итак, заинтересованность переходит от одного объекта к другому, на некоторое время задерживаясь на каждом из них, в зависимости от их жизненной ценности. Представим себе, что в один прекрасный день наше внимание парализуется и замрет на одном из объектов. Все остальное в мире окажется изгнанным, отторгнутым, как бы несуществующим, и, за отсутствием какого бы то ни было сравнения, объект, в полном смысле приковавший к себе наше внимание, приобретет немыслимые масштабы. Тогда он действительно распространится по всей сфере нашего рассудка и один будет заменять для нас весь мир, отвергнутый из-за нашего упорного невнимания. По существу, нечто подобное происходит, когда мы подносим руку к глазам: сколь она ни мала, ее тем не менее хватает, чтобы скрыть весь кругозор и заполнить собой все поле зрения. То, что привлекло наше внимание, наделено для нас ipso facto [1] большей реальностью, бытием более полноценным, чем то, что не привлекло,— нечто почти иллюзорное и безжизненное, дремлющее на подступах к нашему сознанию. Вполне понятно, что, обладая большей реальностью, оно оказывается более весомым, более ценным, более значительным и заменяет собой затененную часть мира.

В том случае, если один объект привлекает наше внимание чаще и дольше обычного, мы имеем дело с «одержимостью». Одержимый — это человек с ненормальными проявлениями заинтересованности. Почти все великие люди были одержимыми, только последствия их одержимости, их «навязчивой идеи» представляются нам полезными и достойными уважения. Когда Ньютона спросили, как ему удалось открыть законы всемирной механики, он ответил: Nocte dieque incubando («думая об этом денно и нощно»). Это — признание в одержимости. По сути дела, ничто нас так не отличает друг от друга, как проявлении заинтересованности. В каждом человеке она выражается по-разному. Так, человека, привыкшего размышлять, упорно пытающегося дойти до потаенной сущности каждой проблемы, раздражает та легкость, с которой внимание человека толпы перескакивает с объекта на объект. И наоборот, человека толпы утомляет и удручает медлительность мыслителя, внимание которого подобно сети, цепляющейся за бугристое дно пучины. Наконец, каждого из нас достаточно полно характеризуют его пристрастия и влечения. У одного, стоит ему только услышать экономические выкладки, начинается головокружение, как будто он падает в люк. Заинтересованность другого движется стихийно, как с откоса, в направлении искусства или амурных дел. Стоило бы принять следующую формулу: скажи мне, чему ты оказываешь внимание, и я скажу тебе, кто ты.

Итак, я убежден, что «влюбленность» — это проявление заинтересованности, ненормальное ее состояние, возникающее у нормального человека.

Подтверждением тому является уже первая стадия «влюбленности». Общество состоит из множества женщин и множества мужчин, живущих в тесном общении. В индифферентном состоянии внимание каждого мужчины — равно как и каждой женщины — переходит от одного представителя противоположного пола к другому. Из-за давней симпатии, особой близости и т. д. женщина уделит этому мужчине чуть больше внимания, чем другому; однако несоразмерность между вниманием к одному и невниманием ко всем остальным не столь уж велика. В сущности говоря,— если оставить в стороне весьма незначительные отличия — все мужчины, которых женщина знает, находятся от нее на равном, по отношению к ее интересу, расстоянии, в одном ряду. Однако в один прекрасный момент принцип одинаковости в распределении внимания нарушается. Внимание женщины непроизвольно начинает приостанавливаться на одном из этих мужчин, и вскоре она уже не без труда отрывается от него в своих помыслах, чтобы проявить интерес к кому-либо и чему-либо иному. Однообразный ряд прерван: один из мужчин перемещен вниманием женщины на минимальное расстояние.

«Влюбленность» при своем зарождении — это всего лишь чрезмерная заинтересованность другим человеком. Если мужчине удастся воспользоваться своим привилегированным положением и умело поддерживать этот интерес, все остальное произойдет с удручающим автоматизмом. С каждым днем он будет все больше отрываться от общего, безликого ряда; с каждым днем все с большим размахом обосновываться во влекущейся к нему душе. Женщине будет все труднее обходить вниманием своего избранника. Посте-

[1] Само по себе *(лат.)*.

ценно все другие люди и вещи окажутся вытесненными из ее сознания. Где бы ни находилась «влюбленная», чем бы ни была она занята, точкой притижения ее внимания будет этот мужчина. Ей будет непросто переключить внимание на житейскую суету. Августин Блаженный тонко подметил предрасположенность любви к преувеличениям: Amor meus, pondus meum; illo feror, quocumque feror («Любовь моя — бремя мое; влекомый им, я иду повсюду»).

Причем речь идет не о том, что наша душевная жизнь становится богаче. Как раз наоборот. Налицо резкое сужение круга вещей, которые ранее нас волновали. Сознание сворачивается и вмещает ныне только один объект. Внимание парализуется: оно не переходит от одной вещи к другой. Оно сковано, заторможено, присвоено одним-единственным человеком. Theia mania («божественная одержимость»), согласно Платону. (Нам еще предстоит выяснить, чем обусловлена эта «божественность», столь поразительная и непомерная.)

Однако влюбленному кажется, что жизнь его сознания становится богаче. Стягиваясь, его мир теряет многомерность. Все душевные силы влекутся к одной точке, создавая ложное впечатление напряженной духовной жизни.

В то же время подобная однобокость придает особо выделенному объекту чудные свойства. Дело не в том, что ему приписываются несуществующие достоинства (и уже останавливался на такой возможности; однако это не самое важное и неизбежное, как ошибочно полагал Стендаль). Буквально осаждая объект вниманием, сосредоточившись на нем, мы позволяем ему занять в нашем сознании исключительное место. Он существует для нас ежесекундно; он постоянно рядом, в непосредственной близости от нас, реальнее всего иного. За всем остальным нужно отправляться в поиск, с трудом высвобождая для этого наше внимание, само себя приковавшее к предмету любви.

Тут мы обнаруживаем немалое сходство между влюбленностью и мистическим порывом, в описаниях которого обычны ссылки на «присутствие Бога». И это не пустая фраза. Она отражает истинное положение вещей. Благодаря молитвам и медитациям о Боге, мистик представляет Его себе настолько отчетливо и зримо, что тот становится неотделимой частью его внутреннего мира. Отныне и до тех пор, пока внимание не ослабеет, мистик нерушимо связан с Богом. Любое сильное внутреннее побуждение приводит его к Всевышнему, т. е. вновь возвращает к представлению о Нем. Впрочем, в этом нет ничего исключительно религиозного. Любая вещь может также всецело подчинить себе человека, как идея Бога подчиняет себе мистика. Это состояние знакомо ученому, годами размышляющему над некой проблемой, романисту, мысли которого неотступно следуют за вымышленным им персонажем. Вспомним Бальзака, прервавшего деловой разговор словами: «Давайте вернемся к реальности! Поговорим о Цезаре Биротто». Так же и для влюбленного присутствие его возлюбленной извечно и вездесуще. Она как бы вобрала в себя весь внешний мир. В сущности говоря, для влюбленного мир не существует. Возлюбленная вытеснила его и заменила собой. Потому влюбленный в одной ирландской песне поет: «Любимая, ты моя часть света».

VI

Добровольно и неминуемо

Воздержимся от романтических жестов и согласимся, что влюбленность — повторяю, речь идет не о любви sensu stricto — это состояние душевной деградации, некое временное отупление. Не будь этого закоснения ума, сужения нашего привычного мира, мы не могли бы влюбляться.

Подобное описание любви очевиднейшим образом противоположно тому, которым пользуется Стендаль. Вместо того чтобы копить в объекте множество всяких качеств, как следует из теории кристаллизации, на самом деле мы неестественным образом изолируем объект, оставаясь наедине с ним, недвижимые и парализованные, словно петух перед белой полосой, действующей на него гипнотически.

При этом я вовсе не пытаюсь оспаривать великие завоевания сердечных чувств, столькими зарницами осветившие историю общества и отдельных людей. Любовь — это великое произведение искусства, таинство сопряжения душ и тел. Тем не менее очевидно, что ее возникновение связано с массой обстоятельств машинального, шаблонного и, по существу, бездуховного свойства. Каждый из отмеченных любовью, прекрасной самой по себе, весьма ограничен и, как я уже говорил, действует по шаблону.

Не существует любви без полового влечения. Любовь использует его как грубую силу, как бриг использует ветер. Второй из этих подвластных и послушных любви природных сил является влюбленность, которой она управляет как искусный наездник. Не стоит забывать, что любая высшая духовная деятельность, столь чтимая в нашей культуре, немыслима без множества элементарных машинальных действий.

Стоит нам впасть в это состояние умственной ограниченности, душевной ангины, т. е. влюбленности, как мы пропали. В первые дни мы еще способны на какое-то сопротивление; однако когда разумное соотношение между предпочтением, оказываемым одной женщине, и вниманием, оказываемым всем остальным, да и мирозданию в целом, нарушается, процесс становится неуправляемым.

Заинтересованность идеальным образом служит проявлению личности; это — механизм, регулирующий нашу внутреннюю жизнь. Парализованная, она сковывает свободу движений. Чтобы спастись, нужно было бы вновь расширить границы нашего сознания, что потребовало бы введения в него новых объектов, лишающих предмет любви его привилегированного положения. Если бы во время припадка влюбленности нам удалось взглянуть на предмет любви в нормальной перспективе, его чудодейственной власти пришел бы конец. Однако для этого нам пришлось бы проявить интерес ко всему окружающему нас миру и тем самым выйти за пределы внутреннего, коль скоро в нем нет места ни для чего, кроме того, что мы возлюбили.

Мы оказываемся в замкнутом пространстве, абсолютно изолированные от внешнего мира. Ничто извне не проникнет и не поможет нам скрыться через какую-нибудь лазейку. Душа влюбленного напоминает комнату больного, в которую не поступает свежий воздух. Вот почему любая влюбленность невольно перерастает в исступление. Отказываясь от самой себи, она будет склоняться к крайностям.

Это прекрасно знают «покорители» и женских, и мужских сердец. Стоит только женщине уделить внимание мужчине, как он, не прикладывая почти никаких усилий, займет все ее воображение. Всего можно добиться, говоря то «да», то «нет», проявляя то интерес, то безразличие, то пропадая, то снова появляясь. Подобное пульсирование действует на заинтересованность женщины как пневматическая машина и в конце концов превращает для нее весь мир в пустыню. Насколько точно говорят в народе — «вскружить голову». И впрямь: голова поглощена, заворожена предметом любви! Подавляющая часть «любовных историй» сводится к этому элементарному манипулированию заинтересованностью другого.

Влюбленного спасает только сильная встряска извне, какие-либо иные вынужденные отношения. Вполне понятно, что разлука, путешествия служат для влюбленных хорошим лекарством. Удаленность предмета любви ослабляет внимание к нему; она препятствует тому, чтобы интерес питали новые впечатления. Путешествия вынуждают нас буквально начинать новую жизнь, разрешать множество мелких проблем, вырывают нас из оправы обыденности, приводя в соприкосновение с нами многие и многие неизвестные нам объекты,— тем самым удается нарушить патологическую замкнутость и герметичность сознания, в которое, наружу со свежим воздухом, проникает и нормальная перспектива.

Теперь имеет смысл вернуться к тому возражению, которое должна была вызвать у читателя предыдущая глава. Определяя влюбленность как внимание, прикованное к одному человеку, мы находим в этом живом интересе много общего с тем, который вызывают у нас чрезвычайные политические или экономические события.

Однако не менее существенно и различие. Во время влюбленности внимание по доброй воле уделяется другому человеку. В сумятице жизни — наоборот, непроизвольно и неосознанно. Наше внимание поневоле привлечено к тому, что нам досаждает, и это вызывает наибольшую досаду. Вундт был первым, кто — вот уже семьдесят лет тому назад — отметил разницу между пассивным и активным вниманием. Внимание бывает пассивным, когда, к примеру, на улице раздается выстрел,— непривычный шум безотчетно вторгается в наше сознание и овладевает вниманием. Любящий же не ощущает никакого принуждения, ибо внимание по доброй воле уделяется предмету любви.

Тонкий психологический анализ этого явления выявил бы противоречивые черты любопытнейшей ситуации, при которой мы уделяем внимание добровольно и в то же время неминуемо.

От проницательного взгляда не ускользнет, что влюбляется тот, кто хочет влюбиться. В этом отличие влюбленности, состояния, в сущности говоря, вполне естественного, от одержимости как патологического состояния. Одержимый своей идеей не волен в ее выборе. Ужас его положения в том и состоит, что овладевшая им идея грубо навязывается его внутреннему миру извне, внедряется в него некой незримой бесплотной силой.

Только в одном случае наша заинтересованность другим человеком идет изнутри и при этом не является влюбленностью. А именно, в случае ненависти. В сущности, любовь и ненависть — это близнецы-недруги, тождественные и антагонистические. Подобно тому, как испытывают влюбленность, испытывают — столь же часто — и «вненавистность».

Выходя из состояния влюбленности, мы испытываем чувство, близкое пробуждению, освобождающему из пропасти, в которой томятся сны. Только теперь мы осознаем, насколько разреженным был воздух в герметичном внутреннем мире нашего увлечения, и понимаем, что жизненное пространство должно продуваться ветрами и быть весьма обширным. Некоторое время мы будем испытывать вялость, слабость и уныние выздоравливающих.

Стоит только влюбленности зародиться, она протекает удручающе однообразно. Я имею в виду, что все, кто влюбляются, влюбляются одинаково,— умный и глупый, молодой и старый, буржуа и художник. Это подтверждает ее безотчетный характер.

Единственное, что в ней не вполне безотчетно, это ее зарождение. Вот почему оно в большей степени, чем любая иная фаза влюбленности, занимает нас как психологов. Что же, собственно, привлекает внимание конкретной женщины в конкретном мужчине и конкретного мужчины в конкретной женщине? Какого рода качества дают преимущество одному из безликой вереницы других людей? Вот что действительно представляет огромный интерес. И вместе с тем заключает в себе не меньшую трудность. Ибо если все, кто влюбляются, влюбляются одинаково, влюбляются они, однако же, вовсе не в одно и то же. Нет таких качеств, которые бы неизменно вызывали влюбленность.

Однако прежде чем обратиться к столь щекотливой теме, как вопрос о том, что же вызывает влюбленность и каковы различные типы сердечных пристрастий, стоит отметить неожиданное сходство между влюбленностью как параличом внимания и мистическим состоянием, а также, что еще существеннее, состоянием гипноза.

VII

Влюбленность, экстаз и состояние гипноза

Заметив, что служанка становится рассеянной, хозяйка понимает, что она влюбилась. Закрепощенное внимание не позволяет бедной женщине с интересом относиться к окружающему ее миру. Она живет в упоении, уйдя в себя, ежесекундно созерцая запечатленный в ее душе образ любимого. Эта сосредоточенность на собственном внутреннем мире делает влюбленного похожим на сомнамбулу, лунатика, «очарованного». И в самом деле, влюбленность — это очарованность. Любовный напиток Тристана издавна с редкой пластичностью раскрывает загадочную природу любви.

В обиходной речи, оттачивающейся тысячелетиями, бьют чудные родники психологических наблюдений, абсолютно достоверных и до сих пор неучтенных. То, что вызывает влюбленность,— это всегда «чары». И это понятие из области магии, применяемое к предмету любви, показывает нам, что от народного сознания, творящего язык, не ускользнула сверхъестественность и известная предосудительность того состояния, в котором оказывается влюбленный.

Старинный стих — cantus et carmen [1] — служил магической формулой. Проявлением и магическим итогом формулы было incantatio [2]. Отсюда — «чары», а во французском из carmen — charme [3].

Однако каковы бы ни были отношения влюбленности с магией, на мой взгляд, существует более глубокая, чем это признавалось до сих пор, связь между нею и мистическим состоянием. На мысль об этом коренном родстве должно было навести то обстоятельство, что неизменно, с поразительной последовательностью мистик для выражения своих чувств прибегает к любовной лексике и образности. Обращаясь к мистическим учениям, трудно было этого не заметить, однако все ограничивались утверждением, что речь идет всего лишь о метафорах.

К метафоре относятся так же, как и к моде. Есть категория людей, которые, признав что-либо метафорой или модой, тем самым как бы зачеркивают его и лишают исследовательского интереса. Как будто метафора и мода — не такая же реальность, как и все остальное, и они не подчиняются столь же непреложным законам, как те, что ведают движением планет.

Однако, если всеми, изучавшими мистицизм, признавалось широкое использование в нем любовной лексики, незамеченным осталось одно частное, но многозначительное обстоятельство. А именно тот факт, что и влюбленный питает пристрастие к религиозным оборотам. Согласно Платону, любовь — это «божественная» одержимость, а каждый влюбленный обожествляет свою возлюбленную, чувствует себя рядом с ней «как на небе», и т. д. Этот любопытный лексический взаимообмен между любовью и мистицизмом наводит на мысль об общих корнях.

Мистическое состояние и впрямь напоминает влюбленность. Они совпадают даже в своем докучливом однообразии. Подобно тому, как, влюбляясь, влюбляются одинаково, мистики всех времен и народов прошли один и тот же путь и сказали, в сущности, одно и то же.

Возьмем любую мистическую книгу — индийскую или китайскую, александрийскую или арабскую, немецкую или испанскую. Всегда речь в них идет о трансцендентном путеводителе, стремлении души к Богу. И этапы пути, и те силы, которые оказывают ей поддержку, неизменно одни и те же, не считая отличий внешнего и случайного характера [1].

Я прекрасно понимаю и, если угодно, разделяю ту неприязнь, которую испокон веков церковь высказывала по отношению к мистикам, как будто опасаясь, что похождения исступленного духа ведут к ниспровержению религии. Исступленный — в известном смысле помешанный. Ему не хватает чувства меры и душевной ясности. Он придает единению с Богом неистовый характер, претящий безмятежной основательности истинного священника. Дело в том, что находящаяся в состоянии экстаза монахиня вызывает у католического теолога такое же презрение, какое китайский мандарин испытывает к мистику-даоисту. Приверженцы тотального хаоса непременно предпочтут анархию и дурман мистиков ясному и упорядоченному складу ума священников, т. е. Церкви. Мне трудно с ними в этом согласиться. Для меня неоспоримо, что любая теология ближе подводит нас к пониманию Бога, говорит нам больше о природе божественного, чем все экстазы всех мистиков, вместе взятых. Ибо вместо того, чтобы изначально скептически относиться к исступленному, следует к нему прислушаться, увидеть, что же дают нам его трансцендентные погружения, и задуматься, заслуживает ли его духовный опыт внимания. Мы вынуждены будем признать, что, сопутствуя ему на его стезе, услышали от него сущие пустики. Мне кажется, что европейское сознание вплотную подошло к новому откровению о Боге, новым подтверждениям его существования, самым существенным. Но и сильно сомневаюсь, что обогащение наших представлений о божественной сути идет к нам по подземным извивам мистики, а не по залитым светом дорогам анализирующей мысли. Теология, а не экстаз.

Однако вернемся к нашей теме.

Мистицизм также является проявлением заинтересованности. Первое, что нам рекомендует мистическая методика, это обратить на что-то свое внимание. На что? Самая скрупулезная, толковая и известная методика, а именно йога, простодушно раскрывает безотчетность зарождающегося состояния, ибо на интересующий нас вопрос отвечает: на что угодно. Таким образом, вовсе не объект определяет или же вызывает явление: напротив, он служит всего лишь предлогом к тому, чтобы душа пришла в неестественное состояние. Действительно, особое внимание обращают на что-либо только для того, чтобы перестать обращать внимание на все остальное. Ступая на мистический путь, мы изгоняем из нашего внутреннего мира множество объектов, позволяющих вниманию свободно перемещаться с одного из них на другой. Так, согласно Сан Хуану де ла Крус, предпосылкой для любого странствия в запредельное служит «покойная обитель». Обуздание влечений и любопытства: «великое отречение от всего» — по словам Святой Тересы, «высвобождение души»; другими словами, полный отрыв от корней и сцеплений наших многочисленных жизненных интересов, дабы «предуготовиться к слиянию» (Святая Тереса),— все это служит одной цели. Сходным образом индус формулирует условие овладения таинствами мистицизма: nanatvam na pasyati — не замечать толпы и многообразия.

Изгнание вещей, по которым обычно скользит наше внимание, достигается безусловным закрепощением души. В Индии любая вещь может служить этой цели, сама же наука называется kasina. Можно, к примеру, раскатать глиняную лепешку, положить ее рядом с собой и сосредоточить на ней свое внимание. Или созерцать с высоты бегущий ручеек, или же смотреть на лужу, в которой отражается свет. Или зажечь огонь, поставить перед ним щит с проделанным в нем отверстием и смотреть сквозь него на пламя. Возникает нечто подобное эффекту воздушного насоса, о котором выше в какой-то мере шла речь, благодаря чему влюбленные «подчиняются воле» другого.

Не может быть мистического экстаза без предшествующего ему опустошения души. «Вот почему,— по словам Сан Хуана де ла Крус,— Господь распорядился, чтобы алтарь, на котором должна приноситься жертва, был полым», «дабы уразумела душа, сколь полой, избавленной от всех вещей ее хотел бы видеть Господь» [2]. Один немецкий мистик еще энергичнее выразил это отчуждение внимания от всего, кроме Бога, сказав: «Я изродился». А тому же Сан Хуану принадлежат прекрасные слова: «Я не сторожу стадо», т. е. он отринул от себя все заботы.

Наконец самое удивительное: стоит только изгнать из души все многообразие мира, как мистик станет нас убеждать, что он вплотную приблизился к Богу, что он исполнен Богом. Другими словами, что именно Бог и заполняет собой эту пустоту. Поэтому Мейстер Экхарт говорит о «безмолвной пустыне Бога», а Сан Хуан — о «темной ночи души», темной и вместе с тем полной света, настолько полной, что, беспрепятственно разливаясь повсюду, свет оборачивается мраком. «Таково свойство души, очищенной и освобожденной от всех частных влечений и привязанностей, которая, отказавшись от всего и отвер-

---

[1] Мелодии и напев *(лат.)*.
[2] Заклинание *(лат.)*.
[3] Чары *(фр.)*.

[1] Единственно существенное отличие состоит в следующем: некоторые мистики были «помимо прочего» великими мыслителями и, наряду со своим мистицизмом, передают нам свои доктрины, нередко гениальные. Таковы Плотин или Мейстер Экхарт. Однако в области собственно мистики они неотличимы от самых заурядных исступленных.

[2] См.: Baruzi J. Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique. Paris, 1924.

нувшись от всего, обнятая в своей темной, непроглядной пустоте, предрасположена к приятию всего мира, дабы сбылось в ней изречение Святого Павла „Nihil habentes et omnia possidentes“» («Мы ничего не имеем, но всем обладаем»). Сан Хуан в другом месте дает еще более яркое определение этой преисполненной пустоты, этого сияющего мрака: «гулкое одиночество».

VIII

Итак, мы остановились на том, что мистик, подобно влюбленному, достигает неестественного состояния, «сосредоточив» все свое внимание на одном объекте, назначение которого только в том, чтобы отвлечь внимание от всего остального и обеспечить опустошение души.

Ибо не это «жилище» самое затаенное и отнюдь не на вершине пути исступленности мистик, пренебрегая всем остальным, устремляет взгляд на одного Бога. Бог, к которому стремятся усилием воли, имеющий границы и очертания, Бог, в раздумьях о котором прибегают к помощи чего бы то ни было, наконец, Бог, оказывающийся объектом для нашего внимания, слишком напоминает посюсторонний мир, чтобы действительно быть Богом. Вот где истоки доктрины, парадоксальные контуры которой то и дело вырисовываются на страницах сочинений мистиков, убеждающих нас, что стремиться надо к тому, чтобы не думать «даже» о Боге. Ход рассуждений при этом приблизительно следующий: если неотступно думать о Нем, тянуться к Нему, наступает момент, когда Он перестает быть чем-то внешним для нашей души и отличным от нее, находящимся вне и перед нею. Другими словами, перестает быть objectum [1] и превращается в injectum [2]. Бог проникает в душу, сливается с ней, или, как принято говорить, душа растворяется в Боге, перестает воспринимать себя как нечто отдельное. Именно этого слияния и жаждет мистик. «И становится душа — я говорю о самом сокровенном в этой душе — как будто бы единым целым с Богом»,— пишет Святая Тереса в «Седьмом жилище». При этом речь не идет о том, что этот союз ощущается как нечто недолговечное, достигаемое сегодня и затем утрачиваемое. Мистик воспринимает это слияние как непреходящее, подобно тому, как влюбленный клянется в вечной любви. Святая Тереса решительно настаивает на разграничении между двумя типами единения: первый можно «уподобить двум свечам, настолько соединившим свое пламя, что кажется, будто свеча одна... Однако их без труда можно отделить одну от другой, и снова перед нами две свечи». Другой, напротив, можно «уподобить воде, падающей с неба в реку, или ручью, где она смешивается настолько, что никому не удастся уже определить и отделить ту, которая была в реке, от той, которая упала с неба; точно так же вода ручейка, впадающего в море, уже неотделима; точно так же, если свет двумя потоками льется в помещение, в нем он будет уже одним светом».

Экхарт прекрасно обосновывает известную ущербность того состояния, при котором Бог является всего лишь объектом раздумий: «Истинное присутствие Бога возможно только в душе, а не в мыслях о Боге, неустанных и однообразных. Человек не должен только думать о Боге, ибо стоит мыслям иссякнуть, как Бога не станет». Таким образом, высшей ступенью мистического пути будет та, на которой человек проникнется Богом, станет губкой, впитывающей божественность. Ему ничего не стоит теперь вернуться в мир и погрузиться в земные заботы, поскольку он будет, в сущности, как автомат, следовать указаниям Бога. Его желания, поступки и жизненное поведение от него уже не зависят. Отныне ему безразлично, что он делает и что с ним происходит, если «он» покинул землю, свои дела и стремления, неуязвимый и непроницаемый для всего чувственного мира. То, что действительно было его личностью, эмигрировало к Богу, перетекло в Бога; осталась лишь механическая кукла, некое «создание», которым Бог управляет. (Мистицизм в наивысшем своем проявлении непременно смыкается с «квиетизмом».)

Это необычное состояние напоминает влюбленность. Для нее столь же характерен период «слияния», при котором каждый укореняется в другом и живет — думает, мечтает, действует — его жизнью, а не своей. Коль скоро объект любви составляет с нами единое целое, мы перестаем о нем думать. Любые душевные состояния находят отражение в символике его мимики и жестов. Периоду «заинтересованности», сосредоточенности всех помыслов на возлюбленной, которая пока находится «вне», соответствует состояние глубокой задумчивости. Неподвижные глаза, застывший взгляд, голова, стремящаяся склониться на грудь, склонность к уединению. Всем своим обликом мы выражаем некую углубленность и замкнутость. В герметичном пространстве нашего прикованного внимания мы высиживаем образ любимого. Лишь когда нас «охватит» любовный экстаз и исчезнет граница, отделяющая нас от возлюбленной, точнее, когда я — это и я и любимая, наш облик обретает это прелестное épanouissement [3], истинное выражение счастья. Взгляд

[1] Вынесенный за пределы *(лат.)*.
[2] Внесенный внутрь *(лат.)*.
[3] Просветление *(фр.)*.

становится мерцающим и мягким, едва отличая объекты, снисходительно одаривает их лаской, ни на одном из них не останавливаясь. При этом рот бывает слегка приоткрыт в неопределенной улыбке, постоянно играющей в уголках губ. Выражение лица, свойственное дурачкам,— отупелое. Когда ничто во внутреннем или внешнем мире не владеет нашим вниманием, душе, как неподвижной глади вод, остается лишь безмятежно покоиться («квиетизм») в лучах всепоглощающего солнца.

Подобное «блаженное состояние» знакомо как влюбленному, так и мистику [1]. Эта жизнь и этот мир, добро и зло не затрагивают их чувств, не представляли для них никакого интереса. В обычном же состоянии мы к ним далеко не безразличны, они западают нам в душу, тревожат и терзают. Потому нас тяготит собственное бытие, которое мы выдерживаем с трудом, ценой неимоверных усилий. Однако стоит нам куда-либо перенести средоточие нашей душевной жизни, переместить его в другого человека, как происходящее в этом мире обесценивается для нас и обессмысливается, как бы выносится за скобки. Проходя среди вещей, мы не ощущаем их притяжения. Как если бы существовало два взаимопроникающих и не равновеликих мира: мистик только кажется живущим в земном; на самом деле он обитает в другом, далеком крае, наедине с Богом. Deum et animam. Nihilne plus? Nihil omnino [2],— пишет Августин Блаженный. Точно так же и влюбленный проходит мимо нас, не вызывающих у него никаких душевных волнений. Он полагает, что его жизнь предрешена, казалось бы, навсегда.

В «блаженном состоянии» жизнь человека — будь он мистик или любовник — становится беспечной и пресной. С барским великодушием он налево и направо раздаривает улыбки. Однако барское великодушие не предполагает душевной щедрости. Это великодушие весьма мелкой души; в сущности, оно порождено презрением. Тот, кто убежден в своем высоком предназначении, «великодушно» осыпает ласками людей низшего сорта, не представляющих для него опасности уже хотя бы потому, что он с ними не «связан», не живет с ними единой жизнью. Верх презрения проявляется в отказе замечать недостатки ближнего, так же, как и в стремлении озарять его со своих недосягаемых высот ласкающим светом своего благополучия. Тем самым для мистика и столь напоминающего его влюбленного все исполнено прелести и очарования. Дело в том, что, уже достигнув слияния и снова взглянув на вещи, он их-то как раз и не видит, а видит их отражение в том, что отныне для него только и существует: в Боге или в любимой. И тем очарованием, которого эти вещи лишены, их щедро наделяет зеркало, в котором он их видит. Прислушаемся к Экхарту: тот, кто отринул вещи, обрел их вновь в Боге, подобно тому, кто, отвернувшись от пейзажа, находит его бесплотным, отраженным в чарующей глади озера. Вспомним также известные стихи нашего Сан Хуана де ла Крус:

Своими милостями щедро одария,
Он торопливо над листвой дерев скользнул.
Все твари замерли, взирая.
Под их благоговейный гул
Он обликом своим весь мир обволокнул.

Мистик — губка, впитывающая Бога,— отчасти чурается вещей; тогда Господь, растворенный во всем, их облагораживает. И в этом ему подобен влюбленный.

Впрочем, было бы ошибкой восторгаться «душевной щедростью» мистика и влюбленного. Они благосклонны ко всему живому именно потому, что в глубине души ко всему равнодушны. Они транзитом спешат — к своему. В действительности частые задержки им несколько докучают, как барину нужды «поселян». Это изумительно выразил Сан Хуан де ла Крус:

Любимый, я к тебе спешу —
Да будет путь свободен.

Отрада «блаженного состояния», в чем бы оно ни проявилось, заключается в том, что некто находится за пределами мира и себя. Именно это буквально и означает «экстаз»: быть за пределами себя и мира. При этом отметим, что существует два противоположных типа людей: те, кто испытывает радость, лишь находясь за пределами себя, и те, кто, наоборот, ощущает довольство, лишь замкнувшись на себе. Для выхода из себя существует множество способов, от алкоголя до мистического транса. Столь же многочисленны — от холодного душа до философии — способы замкнуться на себе. Два этих типа людей резко отличаются друг от друга во всех жизненных проявлениях. Есть, к примеру, сторонники исступленного искусства, для которых наслаждаться красотой — значит «трепетать». Другие, напротив, не мыслят подлинно эстетического наслаждения вне состояния покоя, обеспечивающего бесстрастное и безмятежное созерцание объекта.

[1] Нетрудно заметить, что я не затрагиваю вопроса о религиозном значении «блаженного состояния». Речь, собственно говоря, идет лишь об особенностях психологического состояния, общего для мистиков всех религий.
[2] Бога и душу. Ничего больше? Решительно ничего *(лат.)*.

Бодлер выказал свою исступленность, когда на вопрос, где бы он хотел жить, ответил: «Где угодно, где угодно... лишь бы за пределами мира!»

Стремление «выйти за пределы себя» породило разнообразнейшие формы экстаза: опьянение, мистицизм, влюбленность и т. д. Я вовсе не хочу этим сказать, что одно другого стоит; я лишь настаиваю на их видовом родстве и на том, что корнями они уходят в экстаз. Речь идет о людях, которые, не в силах жить, замкнувшись на себе, пытаются выйти из себя и устремиться к тому, кто их поддержит и поведет. Поэтому-то столь органичен для мистики и любви мотив похищения или умыкания. Быть похищенным — значит не по своей воле куда-то идти, а чувствовать, что тебя кто-то или что-то влечет. Умыкание было древнейшим проявлением любви, донесенным до нас мифами о кентавре, преследующем нимф.

До сих пор в римском свадебном обряде сохранился сколок патриархального похищения: жена не должна входить в дом мужа сама; муж должен внести ее на руках, чтобы она не коснулась порога. Последним символическим выражением некоего похищения является «транс» и экстаз мистической монахини и потеря сознания влюбленными.

Однако это удивительное сходство исступленности и любви станет более явственным, если их сопоставить с еще одним неестественным душевным состоянием: загипнотизированностью.

Сотни раз отмечалось, что мистическое состояние чрезвычайно напоминает загипнотизированность. Им сопутствуют транс, галлюцинации и даже сходные телесные проявления, такие, как бесчувственность и каталепсия.

С другой стороны, мне всегда казалось, что удивительная близость существует также между загипнотизированностью и влюбленностью. Я не решался высказать это предположение, поскольку единственным основанием для него, на мой взгляд, служила моя убежденность в том, что состояние гипноза также порождается заинтересованностью. Никто тем не менее, насколько мне известно, не взглянул на гипноз с этой точки зрения, несмотря на одно, казалось бы, самоочевидное обстоятельство: сон как явление психики зависит от нашего внимания. Клапаред давно заметил, что сон овладевает нами по мере того, как нам удается утрачивать интерес к вещам, приглушать наше внимание. Вся методика борьбы с бессонницей заключается в том, чтобы сосредоточить наше внимание на каком-либо объекте или же механическом действии, например, счете. Считается, что нормальный сон, как и экстаз,— это автогипноз.

Вот почему один из самых умных современных психологов, Пауль Шильдер, счел бесспорным факт тесной связи, существующей между загипнотизированностью и любовью [1]. Я попытаюсь вкратце изложить его идеи, коль скоро, основанные на совершенно иных, чем у меня, доводах, они замыкают круг совпадений, выявленных в нашем этюде между влюбленностью, экстазом и состоянием гипноза.

IX

Вот первый ряд совпадений между влюбленностью и состоянием гипноза.

В гипнотизирующих манипуляциях очевиден эротический элемент: плавные, как бы ласкающие пассы руки; внушающие и вместе с тем успокаивающие речи; «завораживающий взгляд»; подчас непреклонная решимость в движениях и голосе. Если объектом гипноза является женщина, нередки случаи, когда, засыпая или же проснувшись, она окидывает гипнотизера обессиленным взглядом, столь характерным для сексуального возбуждения и удовлетворения. Нередко гипнотизируемые признавались, что во время транса они испытывали ощущение тепла и блаженства во всем теле. В отдельных случаях их охватывают чувства абсолютно сексуального свойства. Эротическое возбуждение направлено на гипнотизера, который иногда вызывает любовное искушение, проявляемое весьма зримо. Подчас эротические фантазии загипнотизированной претворяются даже в псевдовоспоминания, и она обвиняет гипнотизера в изнасиловании.

Гипноз животных дает сходные результаты. Самка жуткой разновидности пауков, называемых galeodes kaspicus turkestanus (среднеазиатская фаланга), норовит съесть ухаживающего за ней самца. И только когда самцу удается сжать своими челюстями определенное место на животе самки, она, впав в состояние полной прострации, позволяет собой овладеть. Парализовать самку можно и в лабораторных условиях, достаточно лишь прикоснуться к насекомому. Она незамедлительно впадает в состояние гипноза. Немаловажно, однако, то обстоятельство, что подобный результат достигается только в брачный период.

Эти наблюдения Шильдер заключает следующими словами: «Все это позволяет предположить, что человеческий гипноз также является биологической функцией, обслуживающей сексуальную». Тем самым он впадает в столь живучий фрейдизм, отказываясь от ясной интерпретации отношений между состоянием гипноза и любовью.

[1] Schilder P. Über das Wesen der Hypnose. Berlin, 1922.

Наибольший интерес представляют его соображения о душевном состоянии гипнотизируемого. Согласно Шильдеру, речь идет о том, что человек под гипнозом как бы впадает в детство: он с радостью вручает всего себя другому человеку и успокаивается, осененный его авторитетом. Только этот тип отношений делает влияние гипнотизера возможным. Вполне естественно, что все, подтверждающее авторитет гипнотизера — слава, социальное положение, благородный вид, упрощает его работу. С другой стороны, если человек не расположен к гипнозу, он ему не поддастся.

Отметим также, что все эти особенности без исключения могут быть отнесены и к влюбленности. В разной степени и она — мы уже останавливались на этом — всегда «желаема» и подразумевает потребность перепоручить себя другому и найти в нем покой, желание, которое само по себе восхитительно. Что же касается состояния, отмеченного известной инфантильностью, в которое при этом впадают, то оно соотносится с тем, что я назвал «душевным оскудением», измельчанием и сужением кругозора нашей заинтересованности.

Необъяснимо, почему Шильдер даже не упоминает заинтересованность как самый бесспорный атрибут гипноза, коль скоро основным элементом методики гипноза является сосредоточение внимания на каком-то объекте: зеркале, алмазе, луче света и т. д. С другой стороны, сопоставление различных человеческих типов с точки зрения их предрасположенности к гипнозу показывает максимальное соответствие с их способностью влюбляться.

Так, женщина лучше мужчины поддается гипнозу — ceteris paribus [1]. Но она же чаще мужчины бывает охвачена истинной страстью. Какими бы другими причинами мы ни объясняли эту склонность, несомненно, что в ней особенно сказываются различия в проявлении внимания у представителей обоих полов. При равных условиях женская душа легче идет на возможное обеднение, чем мужская, ибо ее душа более концентрична, более сосредоточена на своих интересах, более эластична. Как мы могли убедиться, архитектоникой и системой сцеплений внутреннего мира ведает заинтересованность. Чем однообразней душевный мир, тем более внимание тяготеет к унификации. Считается, что женская душа предпочитает иметь не более одной оси заинтересованности, что в тот или иной период она сориентирована на одну-единственную вещь. Чтобы загипнотизировать ее или влюбить, достаточно завладеть этим единственным центром ее внимания. По сравнению с концентрической структурой женской души внутренний мир мужчины всегда имеет несколько эпицентров. Чем определеннее заявлен мужской характер, тем меньше условности в его душе, будто разделенной на непроницаемые отсеки. Одна ее часть безоговорочно отдана политике или коммерции, в то время как другая посвящена интеллектуальным интересам, а еще одна — плотским удовольствиям. Отсутствует, таким образом, тенденция к стягиванию внимания к одной точке. В сущности, преобладает прямо противоположная, приводящая к расщеплению. Осей заинтересованности — множество. Для нас, живущих на почве множественности, при пестроте внутреннего мира, неоднородного и разнохарактерного, не составляет особой проблемы уделить чему-то особое внимание, ибо оно никак не отразится на нашем интересе ко всему остальному.

Влюбленной женщине то и дело кажется, что мужчина, которого она любит, не весь ей принадлежит. Всегда она находит его несколько рассеянным, как бы оставившим где-то по пути на свидание какие-то частицы своей души. И наоборот, восприимчивого мужчину не раз приводила в смущение его неспособность к полной отдаче, к максимализму в любви, на который способна женщина. Мужчина постоянно демонстрирует свою бездарность в любви и неспособность к совершенству, которого женщине удается достичь в этом чувстве.

Следовательно, расположенность женщины к мистицизму, гипнозу и влюбленности объясняется одними и теми же причинами.

Если мы вновь обратимся к исследованию Шильдера, то увидим, что родство между любовью и мистицизмом он поясняет любопытнейшим и немаловажным примером соматического свойства.

Гипнотический сон, в конечном счете, ничем не отличается от обычного сна. Вот почему соня служит идеальным объектом для гипнотизера. Итак, судя по всему, существует тесная связь между функцией сна и тем местом в коре головного мозга, которое называется третьим желудочком. Бессонница и летаргический энцефалит связаны с нарушениями в этом органе. По мнению Шильдера, здесь же коренятся соматические предпосылки состояния гипноза. И в то же время третий желудочек является «органическим узлом сексуальности», обусловливающим многие сдвиги в сексуальной сфере.

К идее мозговых локализаций я отношусь весьма сдержанно. Нетрудно предположить, что если человеку отрубить голову, то он перестанет думать и чувствовать. Однако все окажется значительно сложнее, если мы попытаемся определить отправную точку для каждой психической функции в нашей нервной системе. Причины бесперспективности подобных поисков многочисленны, но самая очевидная состоит в том, что мы игнорируем реальную взаимосвязь психических функций, их зависимость друг от друга и иерархию.

[1] При прочих равных условиях *(лат.)*.

Нетрудно в рабочем порядке изолировать ту или иную функцию и рассуждать на темы «видеть», «слышать», «воображать», «вспоминать», «размышление», «заинтересованность» и т. д.; однако нам неведомо, не присутствует ли изначально «размышление» в «видеть», и наоборот. Сомнительно, что нам удастся локализовать изолированные одна от другой функции, коль скоро их изолированяность представляется весьма проблематичной.

Между тем подобный скептицизм должен служить стимулом к дальнейшим, все более убедительным исследованиям. Так, в приведенном выше примере имело бы смысл проверить, не связана ли, прямо или косвенно, способность к заинтересованному вниманию с тем участком коры головного мозга, от которого, согласно Шильдеру, зависят сон, гипноз и любовь. Отмеченная нами коренная близость между этими тремя состояниями и экстазом позволяет предположить, что третий желудочек причастен также и к мистическому трансу. Это объяснило бы наконец, почему любовная лексика неизменно присутствует в исступленных исповедях, а мистическая — в сердечных излияниях.

В своем недавнем докладе, прочитанном в Мадриде, психиатр Аллер отверг все попытки истолковать мистицизм как проявление и сублимацию любовного влечения. Эта точка зрения представляется мне абсолютно верной.

Любовные истолкования мистицизма, до недавнего прошлого общепризнанные, были удручающе тривиальными. Ныне вопрос ставится в ином плане. Дело не в том, что мистицизм порождается любовью, а в том, что у них общие корни и что они суть два психических состояния, по многим параметрам сходные. В обоих случаях в сознании происходят сходные процессы, вызывающие аналогичные проявления на эмоциональном уровне, для выражения которых служат, абсолютно индифферентно, мистические или эротические формулы.

Завершая этот этюд, хотелось бы напомнить, что я ставил перед собой задачу описать одну лишь фазу великого таинства любви: влюбленность. Любовь — явление неизмеримо более глубокое и многогранное, подлинно человеческое, хотя и не столь исступленное. Любовь всегда проходит через неистовый этап влюбленности; в то же время сплошь и рядом встречается влюбленность, за которой не следует подлинная любовь. Не будем, стало быть, принимать часть за целое.

Случается, что о достоинствах любви судят по ее неистовости. В опровержение этого расхожего заблуждения и были написаны предшествующие страницы. Неистовость в любви не имеет ничего общего с ее сутью. Она представляет собой атрибут влюбленности, душевного состояния низшего, примитивного свойства, для которого, в сущности, любовь не столь уж и обязательна.

Чем энергичнее человек, тем неистовее могут быть проявления его чувств. Однако, отметив это обстоятельство, необходимо сказать, что чем неистовее эмоциональный порыв, тем ниже его место в душевной иерархии, тем он ближе к неосознанным порывам плоти, тем меньше в нем духовности. И наоборот, по мере того, как наши чувства проникаются духовностью, они утрачивают неистовость и автоматизм напора. Чувство голода у проголодавшегося всегда будет более сильным, чем стремление к справедливости у ее поборника.

ВЫБОР В ЛЮБВИ

I

В поисках скрытых истоков

В одном недавнем докладе мне довелось высказать, среди прочих, две идеи, вторая из которых непосредственно вытекает из первой. Первая сводится к следующему: характер нашей индивидуальности определяется не представлениями и жизненным опытом, не нашим темпераментом, а чем-то куда более зыбким, воздушным и изначальным. Прежде всего, в нас от природы заложена система пристрастий и антипатий. Основа ее для всех едина, и все же у каждого она — своя, готовая в любую минуту вооружить нас для выпадов pro и contra, некая батарея симпатий и неприязни. Сердце, специально предназначенное для выработки пристрастий и антипатий,— опора нашей личности. Еще не зная, что нас окружает, мы уже бросаемся благодаря ему из стороны в сторону, от одних ценностей к другим. Этим объясняется наша зоркость по отношению к вещам, в которых воплощены близкие нашему сердцу ценности, и слепота по отношению к тем, в которых нашли отражение столь же или даже более высокие ценности, однако не затрагивающие наших чувств.

Эту идею, аргументированно поддерживаемую ныне всеми философами, я могу дополнить другой, до сих пор, как мне представляется, никем не выдвинутой.

Очевидно, что при нашем тесном существовании с ближним ни к чему мы так не стремимся, как к тому, чтобы вникнуть в мир его ценностей, систему его пристрастий, а следовательно, выявить основу его личности, фундамент его характера. Точно так же историк, пытающийся понять эпоху, должен прежде всего уяснить себе шкалу ценностей людей того времени. С другой стороны, события и речи той поры, которые до нас донесли документы, будут пустым звуком, загадкой и шарадой, равно как поступки и слова нашего ближнего, пока мы не увидим за ними в сокровенной глубине те ценности, выражением которых они служат. Эти глубины сердца и впрямь сокровенны: причем в немалой степени и для нас самих, коль скоро мы несем их в себе, а точнее, они несут и ведут нас по жизни. Заглянуть в темные подвалы личности непросто, как непросто видеть клочок земли, на который ступает наша нога. Точно так же и зрачку самому себя не увидеть. Между тем немало жизненных сил мы тратим на разыгрывание вполне благонамеренной комедии одного актера. Мы придумываем себе черты характера, причем придумываем искренне, не для того, чтобы кого-то ввести в заблуждение, а для того, чтобы замаскироваться от самих себя. Актерствуя перед собой, мы говорим и действуем под влиянием ничтожных побуждений, исходящих из социальных условий или нашего собственного волеизъявления и в мгновение ока подменяющих собой наше истинное бытие. Если читатель возьмет на себя труд проверить, он с удивлением — а может, и ужасом — обнаружит, что многие из тех представлений и чувств, которые он привык считать «своими», на самом деле — ничьи, ибо не зародились в его душе, а были привнесены в нее извне, как дорожная пыль оседает на путнике.

Итак, отнюдь не поступки и слова ближнего откроют нам тайники его души. Мы без труда манипулируем своими поступками и словами. Злодей, который чередой преступлений предрешил свою участь, способен вдруг совершить благородный поступок, не перестав при этом быть злодеем. Внимание стоит обращать не столько на поступки и слова, сколько на то, что кажется менее важным: на жесты и мимику. В силу их непреднамеренности они, как правило, в точности отражают истинную суть наших побуждений.

Тем не менее в некоторых ситуациях, мгновениях жизни человек, не осознавая этого, раскрывает многое из своей сокровенной сути, своего подлинного бытия. И одна из них — любовь. В выборе любимой обнаруживает самую суть своей личности мужчина, в выборе любимого — женщина. Предпочтенный нами человеческий тип очерчивает контуры нашего собственного сердца. Любовь — это порыв, идущий из глубин нашей личности и выносящий из душевной пучины на поверхность жизни водоросли и ракушки. Хороший натуралист, изучая их, способен реконструировать морское дно, с которого они подняты.

Мне могут возразить, сославшись на опыт, который будто бы показывает, что сплошь и рядом женщина благородных устремлений удостаивает своим вниманием пошлого и неотесанного мужчину. Думаю, что те, кто в этом уверен, являются жертвами оптического обмана; они рассуждают о далеком от них предмете, а то время как любовь — это тончайшая шелковая ткань, оценить достоинства которой можно только вблизи. Очень часто оказываемое внимание — чистейшая иллюзия. У истинной и ложной любви повадки — если смотреть издалека — весьма схожи. Однако допустим все же, что это действительное проявление внимания — что в этом случае нам следует предположить? Одно из двух: либо мужчина не столь уж ничтожен, либо женщина на самом деле не столь высоких, как нам казалось, достоинств.

Эти соображения я высказывал неоднократно в разговорах или в университетских лекциях (в связи с размышлениями о природе «характера») и каждый раз убеждался, что они непременно как первую реакцию вызывают протест и противодействие. Поскольку сама по себе эта идея не содержит раздражающих и навязчивых элементов — казалось бы, что обидного для нас в том, что наши любовные истории представляют собой проявления нашей исконной сути? — столь безотчетное противодействие служит подтверждением ее верности. Человек чувствует себя беспомощным, захваченным врасплох через брешь, оставленную им без внимания. Нас неизменно раздражают попытки судить о нас по тем свойствам нашей личности, которые мы не утаиваем от окружающих. Нас возмущает, что нас не предупредили. Нам хотелось бы, чтобы нас оценивали, уведомив об этом заблаговременно и на основании нами отобранных качеств, приведенных в порядок как перед объективом фотоаппарата (боязнь «фотоэкспромтов»). Между тем вполне естественно, что изучающий человеческое сердце стремится подкрасться к ближнему незаметно, застать его врасплох.

Если бы мог человек полностью подменять спонтанность волей, нам не понадобилось бы изучать подсознание. Однако воля способна лишь приостановить на время действие спонтанности. Роль своеволия в формировании нашей личности на протяжении всей жизни практически равна нулю. Наше «я» мирится с малой толикой подтасовки, осуществляемой нашей волей; впрочем, скорее следует говорить не о подтасовке, а об обогащении и совершенствовании нашей природы, о том, что не без воздействия духа — ума и воли — первозданная глина нашей индивидуальности приобретает новую форму. Надо воздать должное вмешательству чудодейственных сил нашего духа. Но при этом желательно не поддаваться иллюзиям и не думать, что оно может иметь сколько-нибудь решающее значение. Если бы его масштабы были иными, речь могла бы идти о подлинной подмене. Человек, вся жизнь которого идет вразрез с его естественными устремлениями, по природе своей предрасположен ко лжи. Я встречал вполне искренних лицемеров и притворщиков.

Чем глубже современная психология познавала законы человеческого бытия, тем очевиднее становилось, что функция воли и вообще духа — не созидающая, а всего лишь корректирующая. Воля не порождает, а, напротив, подавляет тот или иной спонтанный импульс, пробивающийся из подсознания. Стало быть, осуществляемое ею вмешательство — негативного свойства. Если же подчас оно производит противоположное впечатление, то причина тому следующая: как правило, в переплетении наших влечений, симпатий и желаний одно из них оказывается тормозом для других. Воля, устраняя это препятствие, позволяет влечениям, избавившись от пут, раскрываться свободно и полностью. Итак, наше «хочу», судя по всему,— действенная сила, хотя его возможности сводятся к тому, чтобы поднимать затворы шлюзов, сдерживающих естественный порыв.

Величайшим заблуждением, от Ренессанса и до наших дней, было думать — подобно, например, Декарту,— что наша жизнь регулируется сознанием, всего лишь одной из граней нашего «я», подвластной нашей воле. Утверждение, что человек — разумное и свободное существо, по меньшей мере, спорно. У нас и в самом деле есть разум и свобода, однако они представляют собой лишь тонкую оболочку нашего бытия, которое само по себе не разумно и не свободно. Даже идеи мы получаем уже готовыми и сложившимися в темных бездонных глубинах подсознания. Сходным образом и желания ведут себя на подмостках нашего внутреннего мира, как актеры, которые появляются из-за таинственных, загадочных кулис уже загримированными и исполняющими свои роли. И поэтому столь же ошибочным было бы утверждать, что человек живет сознанием, рассудком, как и полагать, что театр — это пьеса, разыгрываемая на освещенной сцене. Дело в том, что минимально управляя собой усилием воли, мы живем в целом иррационально, и бытие наше, впадая в сознание, берет начало в скрытых глубинах нашего «я». Поэтому психолог должен уподобиться водолазу и уходить вглубь от поверхности, а точнее, подмостков, на которых разыгрываются слова, поступки и помыслы ближнего. То, что представляет интерес, скрыто за всем этим. Зрителю достаточно смотреть на Гамлета, который проходит, сгибаясь под бременем своей неврастении, по воображаемому саду. Психолог поджидает его в глубине сцены, в полумраке занавесей и декораций, чтобы узнать, кто же этот актер, который играет Гамлета.

Вполне естественно, что он ищет люки и щели, чтобы проникнуть в глубь личности. Один из этих люков — любовь. Напрасно женщина, претендовавшая на утонченность, пытается нас обмануть. Мы знаем, что она любила Имярек. Имярек глуп, бестактен, озабочен только своим галстуком и сиянием своего «роллс-ройса».

II

Под микроскопом

Немало возражений можно выдвинуть против тезиса о том, что сердечные пристрастия обнажают наше истинное лицо. Не исключено, что будут высказаны и такие, которые раз и навсегда опровергнут гипотезу. Однако те, что мне приходилось выслушивать, представляются малоубедительными, недостаточно обоснованными и взвешенными. Сплошь и рядом упускают из виду, что психология любовных влечений проявляется в мельчайших подробностях. Чем интимнее изучаемая психологическая проблема, тем большую роль в ней играет деталь. Между тем потребность в любви принадлежит к числу самых интимных. Пожалуй, более интимный характер имеет лишь «метафизическое» чувство, т. е. радикальное, целостное и глубокое ощущение мира.

Оно лежит в основе всех наших устремлений. Оно присуще каждому, хотя далеко не всегда отчетливо выражено. Это ощущение включает нашу первую неосознанную реакцию на полноту реальности, живые впечатления, оставляемые в нас миром и жизнью. Представления, мысли и желания прорастают из этой первой реакции и окрашиваются ею. У любовных влечений немало общего с этим стихийным чувством, которое всегда подскажет, чему или кому посвящена жизнь нашего ближнего. Именно это и представляет наибольший интерес: не факты его биографии, а та карта, на которую он ставит свою жизнь. Все мы в какой-то мере осознаем, что в тех сокровенных глубинах нашего «я», недоступных для нашей воли, нам заранее предначертан тот или иной тип жизни. Что толку метаться между чужим опытом и общими рассуждениями: наше сердце с астральной непреклонностью будет следовать по предрешенной орбите и, подчиняясь закону тяготения, вращаться вокруг искусства, политических амбиций, плотских удовольствий или же денег. Сплошь и рядом ложное существование человека в корне противоречит его истинному предназначению, приводя к достойному изумления маскараду: коммерсант на поверку оказался бы сладострастником, а писатель — всего лишь политическим честолюбцем.

Нормальному мужчине нравятся практически все встречающиеся на его пути женщины. Это, бесспорно, подчеркивает напряженность выбора, проявляемого в любви. Необходимо лишь не путать влечение с любовью. Когда мужчина мельком видит хорошенькую девушку, она вызывает влечение на периферии его чувств, куда более порывистых — надо воздать ему должное,— чем у женщины. Как следствие этого волнения возникает первое побуждение — невольный порыв к ней. Эта реакция настолько невольна и безотчетна, что даже Церковь не решалась считать ее грехом. Некогда Церковь была замечательным психологом; прискорбно, что на протяжении двух последних столетий она утратила свои позиции. Итак, она проницательно признала безгрешность «первых побуждений». В том числе и влечение, тягу мужчины ко всем встретившимся на его пути женщинам. Она понимала, что с этим влечением непосредственно связано все остальное, как плохое, так и хорошее, как порок, так и добродетель. Однако выражение «первое побуждение» отражает явление не во всей его полноте. Оно является первым, поскольку исходят из той самой периферии, которая и была взбудоражена, в то время как душа человека остается почти не затронутой.

И действительно, эта притягательность для мужчины почти каждой женщины — не что иное, как клич инстинкта, за которым следует либо молчание, либо отказ. Ответ мог бы быть положительным, если бы в нашем душевном мире возникла симпатия к тому, что лишь затронуло периферию наших чувств. Стоит этой симпатии возникнуть, как она соединяет центр или, если хотите, ось нашей души с этим внешним по отношению к нам чувством; или другими словами: мы не только ощутили некую притягательность на периферии нашего «я», но и движемся навстречу тому, что для нас притягательно, вкладывая в это стремление все душевные силы. Итак, мы не только испытываем притяжение, но и проявляем интерес. Отличие между тем и другим состоит в том, что в первом случае мы влекомы, а во втором движемся по своей воле.

Этот интерес и есть любовь, которая возникает среди бесчисленных испытываемых влечений, большую часть которых она устраниет, отметив одно из них своим вниманием. Она производит отбор среди инстинктов, тем самым подчеркивая и одновременно ограничивая их значение [1]. Чтобы внести некоторую ясность в наши представления о любви, необходимо определить ту роль, которую играет в ней половой инстинкт. Сущим вздором является утверждение, что любовь мужчины к женщине, и наоборот, абсолютно лишена сексуального элемента, равно как и убеждение, что любовь — это сексуальное влечение. Среди многочисленных черт, их отличающих, отметим следующую, принципиально важную, а именно то обстоятельство, что число удовлетворяющих инстинкт объектов не ограничено, в то время как любовь стремится к ограничению. Эта противоположность устремлений наиболее явственно проявляется в безразличии мужчины, охваченного любовью к своей избраннице, к чарам остальных женщин.

Таким образом, по самой своей сути любовь — это выбор. А коль скоро возникает она в сердцевине личности, в глубинах души, то принципы отбора, которыми она руководствуется, одновременно суть наши самые сокровенные и заветные пристрастия, составляющие основу нашей индивидуальности.

Выше я отмечал, что в любви огромную роль играет деталь, проявляющаяся в мельчайших подробностях. Проявления инстинкта, напротив, масштабны; его влекут общие черты. Можно сказать, что в том и другом случае слишком различна дистанция. Красота, вызывающая влечение, редко совпадает с красотой, вызывающей любовь. Если влюбленный и человек, которого не коснулась любовь, смогли бы сравнить, что значит для них красота, очарование одной и той же женщины, то их потрясла бы разница. Человек, не охваченный страстью, в определении красоты будет исходить из гармонии черт лица и фигуры, придерживаясь тем самым общепринятых представлений о красоте. Для влюбленного эти основные черты, архитектоника облика возлюбленной, заметная издалека,— пустой звук. Если он не слукавит, то назовет красотой мельчайшие, разрозненные черты, никак между собой не связанные: цвет зрачков, уголки губ, тембр голоса...

Осмысливая свои душевные переживания и симпатию к любимому человеку, он замечает, что именно эти черточки служат питательной средой его любви и что ее нить помечает их узелками. Ибо какие могут быть сомнения в том, что любовь питается ежесекундно, насыщается созерцанием милого сердцу любимого человека. Она жива благодаря беспрерывному подтверждению. (Любовь однообразна, назойлива, неотвязна; никто не вытерпит многократного повторения одних и тех же, пусть даже самых умных, вещей, в то время как все мы настаиваем на новых и новых признаниях в любви. И наоборот: у человека, равнодушного к любви, которую к нему питают, она вызовет уныние и раздражение своей исключительной навязчивостью.)

Следует особо отметить ту роль, которую играют в любви мельчайшие особенности мимики или черт лица, ибо это самое выразительное проявление сущности человека, вызывающего наши симпатии главным образом благодаря им. Не меньшей выразительностью и способностью выявлять индивидуальность обладает другой тип красоты, воспринимаемой и на расстоянии,— чарующая пластичность, имеющая самостоятельную эстетическую ценность. Между тем было бы ошибкой думать, что столь притягательной для

[1] То, что половой инстинкт реализуется по принципу отбора, было одним из величайших открытий Дарвина. Будем считать любовь другой сферой проявления еще более строгого отбора.

нас является именно эта красота пластичности. Я множество раз убеждался, что мужчина весьма редко влюбляется в безупречно пластичных женщин. В любом обществе есть «официальные красавицы», которых в театрах или во время народных гуляний люди показывают друг другу, как исторические памятники; так вот, они крайне редко вызывают в мужчине пылкую страсть. Эта красота настолько безупречна, что превращает женщину в произведение искусства и тем самым отдаляет от нас. Ею восхищаются, т. е. испытывают чувство, предполагающее известную дистанцию, однако ее не любят. Потребность в близости, без которой любовь немыслима, при этом, конечно же, отсутствует.

Чарующая непосредственность, присущая определенному человеческому типу, а вовсе не безупречное совершенство с наибольшей, на мой взгляд, вероятностью вызывает любовь. И наоборот: если вместо истинной любви субъект опутан ложной привязанностью — сама ли любовь тому виной, любопытство или умопомрачение,— подспудно ощущаемая по отдельным штрихам несовместимость подскажет ему, что он не любит. В то же время несовершенство, отдельные изъяны облика с позиций безупречной красоты, если только они не чрезмерны, препятствием в любви не являются.

Идеей красоты, как великолепной мраморной плитой, придавлена утонченность и свежесть психологии любви. Считается, что если мы сообщили о женитьбе мужчины на красивой женщине, то этим все уже сказано, в то время как на самом деле не сказано ничего. Заблуждение коренится в наследии Платона. (Трудно себе представить, насколько глубокие пласты европейской цивилизации охвачены воздействием античной философии. Самый невежественный человек использует идеи Платона, Аристотеля и стоиков.)

В единое целое любовь и красоту свел Платон. Хотя для него красота не означала лишь телесное совершенство, а была выражением совершенства как такового, той формой, в которой для древнего грека воплотилось все, чем стоило дорожить. Под красотой подразумевалось превосходство. Этот своеобразный взгляд послужил отправной точкой для последующих теорий любовных влечений.

Любовь, конечно же, не сводится к восхищению чертами лица и цветом щек; суть ее в том, чтобы проникнуться определенным типом человеческой личности, заявившим о себе символически в чертах лица, голосе или жестах.

Любовь — это стремление порождать себя в красоте: tiktein en tô kalô,— как утверждал Платон. Порождать, творить будущее. Красота — жизнь в наивысшем своем выражении. Любовь подразумевает внутреннее родство с определенным человеческим типом, который нам представляется наилучшим и который мы обнаруживаем воплощенным, олицетворенным в другом человеке.

Все это, уважаемая сеньора, покажется вам абстрактным, темным, далеким от жизни. Тем не менее, вооружившись этой абстракцией, я сумел определить по взгляду, обращенному вами на Х.., чем же является для вас жизнь. «А не выпить ли нам еще один коктейль!»

III

Череда любовных историй

Как правило, у мужчины в течение жизни бывает несколько любовных порывов. В связи с этим возникает немало теоретических вопросов, витающих над практическими, которые влюбленному приходится так или иначе решать. Вот, например, некоторые из них. Насколько органична для природы мужчины сменяемость любовных увлечений и не является ли она изъяном, дефектом, унаследованным с незапамятных времен, от эпохи варварства? Не счесть ли вечную любовь единственно безупречной и достойной подражания? Отличается ли в этом отношении нормальный мужчина от нормальной женщины?

Воздержимся от любых попыток ответить на столь щекотливые вопросы. Не углубляясь в них, отметим все же тот бесспорный факт, что крайне редко мужчина бывает однолюбом. Поскольку мы условились рассматривать исследуемое чувство в его полноте, оставим в стороне случаи одновременности увлечений и обратимся исключительно к случаям их сменяемости.

Не противоречат ли подобные факты выдвинутому нами тезису, что любовный выбор выявляет истинную сущность человека? Не исключено, однако напомним читателю ту простую истину, что бывает два типа этой множественности любовных увлечений. С одной стороны, случается, что мужчины любят на протяжении жизни нескольких женщин, в которых настойчиво повторяется один и тот же женский тип. При этом подчас подхватывается даже общий абрис физического облика. Эти случаи тайной верности, при которых во многих женщинах мужчина любит, в сущности, одну-единственную, наделенную определенными качествами, весьма распространены и наилучшим образом подтверждают выдвинутые мной тезисы.

Однако нередко следующие один за другим мужчины, которым женщины отдают предпочтение, или сменяющие друг друга избранницы мужчины существенно отличаются

друг от друга. Исходя из вышеизложенных соображений, мы должны были бы предположить, что истинная сущность человека постоянно претерпевала изменения. Возможны ли подобные перемены в самой сокровенной нашей сути? Эта проблема имеет огромное, может быть, решающее значение для теории характера. Во второй половине минувшего столетия было принято считать, что характер человека формируется извне. Жизненный опыт, складывающиеся привычки, воздействие среды, превратности судьбы, состояние здоровья оставляют после себя осадок, именуемый характером. Стало быть, тут не может быть и речи ни о коренной сути человека, ни о некой душевной организации, предшествующей перипетиям нашей жизни и от них не зависящей. Мы уподобляемся снежку, который замешан на дорожной пыли, поднимаемой нашими ногами. Естественно, что для этой системы взглядов, не признающих коренных основ человеческой личности, не существует также проблемы коренных изменений. То, что здесь называется характером, меняется непрерывно: коль скоро нечто в нем формируется, с таким же успехом оно может и исчезнуть.

Однако весьма веские аргументы — не буду их здесь излагать — склоняют меня скорее к противоположному убеждению, которое полагает более правдоподобным обратное движение — изнутри наружу. Задолго до контакта с внешними обстоятельствами наша личность в основе своей бывает уже сформирована, и, хотя бытие оказывает на нее определенное воздействие, встречное влияние бывает куда более значительным. Как правило, мы поразительно невосприимчивы ко всему происходящему, если оно чуждо этой изначальной «личности», которой мы, в сущности говоря, и являемся. Мне могут сказать, что и в этом случае вопрос о коренных изменениях оказывается праздным. Какими мы рождаемся, такими и умираем.

Нет, и еще раз нет. Эта достаточно гибкая концепция позволяет учитывать всю прихотливость явлений. Это дает нам возможность увидеть разницу между едва заметными изменениями, которые события внешнего характера накладывают на нашу индивидуальность, и теми глубинными сдвигами, которые не подвластны посторонним мотивам, а коренятся в самой природе нашего характера. Я сказал бы, что характер меняется, если под изменениями понимать развитие. И это развитие, как и в любом организме, определяется и обусловливается внутренними причинами, присущими самой природе человека, столь же изначальными, как и его характер. Читатель без труда заметит, что подчас перемены в его ближних были прихотливы, неоправданны, чуть ли не постыдны, однако нередко эта трансформация сохраняла глубокий смысл и достоинство эволюции, заставляя вспомнить росток, из которого вырастет дерево, голые ветки, которые покроются листвой, цветы, которые предшествуют плодам.

Отвечу на это вполне возможное возражение. Определенный тип людей, характеры абсолютно закоснелые (в основном обделенные жизненной силой, как, например, «мещанин») не эволюционируют. Они будут неукоснительно придерживаться раз и навсегда заданной схемы любовного выбора. Однако есть характеры беспокойные и щедрые, характеры неисчерпаемых возможностей и блестящих предназначений. Думается, что именно этот тип личности является нормальным. В течение жизни он претерпевает две-три трансформации, суть различные фазы единой душевной траектории. Не теряя связи и даже единства с нашим вчерашним образом мыслей и чувств, в один прекрасный день мы вдруг осознаем, что наш характер вступил в новый этап, новый период развития. Я считаю это радикальным изменением. Не больше, но и не меньше [1]. Наша истинная сущность в каждом из этих двух или трех этапов как бы поворачивается на несколько градусов вокруг собственной оси, перемещается в совершенно иную точку Вселенной и ориентируется отныне по иным созвездиям.

Случайным ли является то обстоятельство, что глубокое чувство любви охватывает любого нормального мужчину два-три раза в жизни? А тот факт, что каждый раз возникновение этого чувства совпадает по времени с одним из вышеупомянутых этапов в развитии характера? Мне представляется вполне естественным видеть в множественности любовных влечений самое неоспоримое подтверждение изложенной здесь концепции. Новому ощущению жизни соответствует новый тип женщины, которому отныне отдаются симпатии. Наша система ценностей в той или иной степени изменилась, сохранив тайную верность предшествующей, на первый план выходят достоинства, которым ранее мы не придавали значения, возможно, даже не замечали их, новая схема сердечных предпочтений выстраивается между мужчиной и встречающимися на его пути женщинами.

Только роман обладает инструментарием, необходимым для того, чтобы подтвердить эти соображения. Мне довелось прочесть фрагменты одного,— вряд ли когда-либо он будет опубликован,— проблематика которого именно эта: подспудная эволюция мужского характера, увиденная сквозь призму его любовных историй. Автор — и это небезынтересно — с одинаковым рвением доказывает как неизменность характера при всех его

[1] Любопытнейшее и крайнее выражение этого явления — «обращение», внезапная перемена, катастрофический перелом, который иногда переживает человек. Да будет мне позволено на этот раз не углубляться в столь непростую тему.

трансформациях, так и неоспоримость последних, вскрывая тем самым логику и неизбежность этих перемен. А женский образ на каждом этапе собирает и концентрирует лучи этой эволюционирующей жизненной силы, подобно фантомам, возникающим в плотных слоях атмосферы под воздействием прожекторов и отражателей.

РЕПЛИКА В СТОРОНУ

Мои этюды, которые по необходимости публикуются фрагментарно, подобно сегментам кольчатых червей, в газете «Эль Соль», дают мне приятную возможность познакомиться с мирочувствованием испанцев и испанок, лично мне неизвестных. Дело в том, что ко мне идет обнадеживающий поток писем в поддержку, в опровержение или в полемику. Моя занятость не позволяет мне поступить так, как я считаю должным, заодно доставив себе удовольствие, и ответить на все эти эпистолярные знаки внимания, столь полезные и плодотворные для писателя. В дальнейшем я намерен снимать хотя бы изредка сливки этой корреспонденции, анализировать самые дельные письма, представляющие общий интерес.

Для начала приведу одно анонимное письмо, полученное из Кордовы. Его автор показался мне человеком в высшей степени здравомыслящим, если не считать анонимности:

«Я прочел ваши очерки „Выбор в любви" в газете „Эль Соль", как читаю все ваши работы, попадающие в руки, чтобы насладиться вашими тонкими и оригинальными наблюдениями. Эта благорасположенность моей души к вашему творчеству придает мне смелости и позволяет указать вам на ошибочное, с моей точки зрения, положение в вашей статье.

Я согласен с тем, что жест или мимика позволяют нам проникнуть, как Педро в свой дом, в дремлющий (равно как и в бодрствующий) внутренний мир соседа. Я настолько схожусь с вами в этом пункте, что даже написал и опубликовал кое-что на эту тему.

А вот что, на мой взгляд, не может быть принято, так это утверждение, будто „в выборе любимой обнаруживает самую суть своей личности мужчина, в выборе любимого — женщина" и что предпочтенный нами человеческий тип очерчивает контуры нашего собственного сердца.

Более того, я возьму на себя смелость утверждать, что непроизвольный протест, который вызвал этот тезис среди ваших слушателей, вызван не столько тем, что и впрямь малоприятно ощутить, как пристальный взгляд наблюдателя сорвал с тебя вдруг все покровы, сколько сопротивлением идее, которую мы не можем принять, не понимая даже почему.

Любовь (страстный порыв, с лирическими арабесками или без оных) — существительное, восходящее к сугубо переходному глаголу, является в известном смысле самым „непереходным", самым герметичным из всех, поскольку оно ограничено субъектом, поскольку в нем оно находит свою питательную среду и нет для него иной жизни, кроме той, которую субъект же ему и дарует.

Бесспорно, что любящий, испытывая половое влечение, выбирает себе представительницу противоположного пола и что каждый хотел бы найти в своей избраннице физическую гармонию; при этом нет ничего странного в том, что женщина высоких душевных качеств одарит своей благосклонностью заурядного мужчину, и наоборот.

Любящего можно познать по его любви, а вовсе не по предмету любви. Каждый человек любит всей полнотой душевных сил, достаточных для того, чтобы наделить облик любимого той утонченностью и изысканностью, в которой нуждается душа любящего (другими словами, его собственная душа), подобно тому, как волшебный фонарь или кинопроектор направляет на экран линию и цвет, как Дон Кихот в Альдонсу Лоренсо, а Нельсон в леди Гамильтон (косуля в пейзажах начала XIX столетия) вдохнули все необходимое, чтобы их души преклонились перед этими женщинами.

Здесь я ставлю точку, ибо мои замечания в самых общих чертах уже высказаны, и я не хочу беспокоить вас понапрасну».

Я искренне благодарен за замечания, хотя и хотел бы, чтобы они были более конструктивными. Уже попытка свести любовь к сексуальному чувству запутывает проблему a lamine [1]. В серии статей «Любовь у Стендаля», опубликованных в газете «Эль Соль» этой осенью, я, как мне представляется, смог показать, почему сводить одно к другому ошибочно. Достаточно вспомнить столь очевидный факт, что мужчина испытывает более или менее сильное половое влечение к бесчисленным женщинам, в то время как своей любовью, сколько бы ростков она ни пускала, он одарит лишь нескольких, и, следовательно, уподобление обоих порывов неправомочно. Кроме того, мой любезный корреспондент утверждает, что «каждый человек любит всей полнотой своих душевных сил». Но тогда

[1] Сразу же *(лат.)*.

любовь — это нечто большее, чем «сексуальная потребность». И если есть это большее, если душа наделяет половой инстинкт всем многообразием свойственных ей порывов, то, значит, перед нами — психическое явление, чрезвычайно отличное от элементарной половой потребности, то самое, которое мы называем любовью.

И вряд ли целесообразно называть столь существенный элемент «лирическими арабесками». Было бы достаточно в минуту покоя, вблизи водоема, среди гераней и под плывущими над кордовским патио облаками задуматься над различным содержанием, которое мы вкладываем в слова «любить» и «желать». Здравомыслящий кордовец тотчас увидел бы, что между любовью и желанием, или влечением, нет ничего общего, хотя они и взаимопорождаемы: то, чего желают, иногда начинают любить; то, что мы любим, благодаря тому, что любим, мы также и желаем.

Было время — например, «сердитого» Реми де Гурмона,— когда считалось несерьезным поддаваться разглагольствованиям о любви, которая понималась лишь как проявление чувственности (Phisique de l'amour) [1]. Тем самым роль полового инстинкта в жизни человека явно преувеличивалась. У истоков этой уничижительной и извращенной психологической доктрины — в конце XVIII столетия — еще Бомарше изрек, что «пить, не испытывая жажды, и любить беспрестанно — только это и отличает человека от животного». Допустим; однако чего же тогда не хватает животному, «любящему» один раз в году, чтобы оно превратилось в существо, «любящее» на протяжении всех четырех времен года? Если с недоверием отнестись ко всему, что не имеет отношения к элементарным проявлениям полового инстинкта, как объяснить, что животное, столь апатичное в любви, превратилось в человека, проявляющего в данной сфере неуемное рвение. Итак, нетрудно догадаться, что у человека, в сущности, отсутствует половой инстинкт в чистом виде и что он неизменно замешан, как минимум, на воображении.

Если бы человек был лишен живой и могучей фантазии, в нем не вспыхивала бы на каждом шагу сексуальная «любовь». Большая часть проявлений, приписываемых инстинкту, не имеют к нему отношения. В противном случае они были бы также присущи и животным. Десять десятых того, что мы привыкли называть сексуальным чувством, в действительности восходит к нашему дивному дару воображения, который отнюдь не инстинкт, а нечто прямо противоположное: созидание. В этой же связи выскажу предположение, что общеизвестное различие между сексуальностью мужчин и женщин, обусловливающее, как правило, бо́льшую, не осознаваемую ею самой сдержанность женщины в любви, находит соответствие в меньшей, по сравнению с мужчиной, силе ее воображения. Природа, предусмотрительная и благоразумная, позаботилась об этом, ибо, обладай женщина той же фантазией, что и мужчина, сладострастие захлестнуло бы мир и человеческий род, безотчетно отдавшийся наслаждениям, исчез бы с лица земли [2].

Коль скоро представление о том, что любовь — это, в сущности, лишь половой инстинкт [3], весьма прочно внедрилось в массовое сознание, я счел целесообразным обнародовать кордовское письмо, чтобы иметь возможность еще раз попытаться опровергнуть это заблуждение.

В заключение аноним утверждает, что «любящего можно познать по его любви, а вовсе не по предмету любви». Вот что вкратце можно сказать в опровержение. 1. Можно ли получить непосредственное представление о любви любящего, если это чувство, как и любое иное,— сокровенная тайна? Выбор объекта — вот то заметное глазу движение, которое его выдает. 2. Если любящий вкладывает в любовь всю душу, почему рассудительнейший читатель воздерживается от другой ошибочной идеи, которая, наряду с концепцией гипертрофированной сексуальности, нанесла наибольший урон психологии любви, а именно — от «кристаллизации» Стендаля? Основной ее пафос в том, что достоинства любимого всегда выдуманы нами. Любить — значит заблуждаться. В вышеупомянутой серии статей я много места уделяю опровержению этой доктрины, превознесенной куда больше, чем она того заслуживает. Мои доводы в ее опровержение могут быть сведены к двум. Во-первых, маловероятно, чтобы вполне обычная жизнедеятельность человека была основана на коренном заблуждении. Любовь подчас ошибается, как ошибаются глаза и уши. Однако в каждом из этих случаев нормой все же является не промах, а попадание. Во-вторых, любовь все-таки тяготеет к воображаемым или реальным, но все же достоинствам и совершенствам. У нее всегда есть объект. И пусть даже реальный человек не во всем совпадает с этим воображаемым объектом, для их сближения всегда имеется некое основание, которое заставляет нас выдумать эту, а не другую женщину как носителя искомых чар.

[1] «Чувственность в любви» *(фр.)*.

[2] Сластолюбие, равно как и литература,— не инстинкт, а истинное творение человека. И в том и в другом случае самое главное — воображение. Почему бы психиатрам не изучать сластолюбие с этой точки зрения, подобно тому как изучается литературный жанр, имеющий свои истоки, свои законы, свою эволюцию и свои границы?

[3] Если бы исходили из того, что помимо инстинктов тела существуют также инстинкты души, в чем я убежден, дискуссия могла бы идти совершенно в ином русле.

IV

Наши «заблуждения»

Утверждение, что в любви осуществляется стихийный выбор, который действеннее любого осознанного и преднамеренного, и что это не свободный выбор, а зависящий от важнейших особенностей характера субъекта, должно быть, конечно же, неприемлемо для приверженцев той концепции человеческой психологии, которая, по моему убеждению, свое отслужила и должна быть преодолена. Она заключается в стремлении преувеличивать роль случая и слепых случайностей в человеческой жизни.

Лет семьдесят тому назад или около того ученые настойчиво утверждали эту концепцию и стремились к созданию безотчетной психологии. По обыкновению, в следующем поколении их взгляды укоренялись в сознании обывателя, и ныне любая попытка по-новому осветить предмет наталкивается на головы, уставленные громоздким хламом. Даже вне зависимости от того, верен или ошибочен выдвигаемый тезис, неминуемо столкновение с прямо противоположным общим ходом рассуждений. Люди привыкли думать, что события, сплетение которых составляет наше бытие, лишены какого бы то ни было смысла, а являют собой некую смесь случая и изменчивой судьбы.

Любая попытка ограничить роль вышеупомянутых сил в жизни человека и обнаружить внутренние закономерности, коренящиеся в особенностях характера, изначально отвергается. Набор ложных представлений — в данном случае о «любовных историях» ближнего или своих собственных — тотчас перекрывает дорогу к разуму, не позволяет быть услышанным, а затем и понятым. Добавим к этому столь частое недопонимание, которое почти всегда обнаруживается в непроизвольном развитии читателями авторских идей. Такова большая часть получаемых мною замечаний. Среди них чаще всего встречается умозаключение, что если бы мы любили женщин, в которых находила бы отражение наша собственная личность, то вряд ли столько огорчений нам приносили бы наши сердечные дела. Это наводит на мысль, что мои любезные читатели произвольно связали отстаиваемое мною сродство любящего и его объекта с якобы логически вытекающим из этого счастьем.

Так вот, я убежден, что одно не имеет к другому никакого отношения. Допустим, что человек, самодовольный до кончиков ногтей — подобно наследственным «аристократам», как бы их род ни деградировал,— полюбит столь же самодовольную женщину. В результате подобного выбора они неминуемо будут несчастны. Не надо путать выбор с его последствиями. Одновременно отвечу на другую большую группу замечаний. Утверждают, что любящие довольно часто ошибаются — представляют себе предмет свой любви таким-то, а он оказывается совсем иным. Не эту ли песню из репертуара психологии любви мы слышим чуть ли не на каждом шагу? Приняв это на веру, нам останется признать нормой, или чуть ли не нормой quid pro quo [1], заблуждение. Наши дороги здесь расходятся. Я не могу, не теряя рассудка, разделить теорию, согласно которой жизнь человека в одном из своих самых сокровенных и истинных проявлений — а именно такова любовь — чистейший и непрерывный абсурд, нелепость и заблуждение.

Я не отрицаю, что все это подчас происходит, как вообще случается обман зрения, не подвергающий, однако, сомнению адекватность нашего нормального восприятия. Но если заблуждение пытаются представить как вполне рядовое явление, я расценю это как ошибку, основанную на поверхностных наблюдениях. В большинстве случаев, которые имеются в виду, заблуждения попросту не существует: человек остается тем же, что и вначале, однако затем наш характер претерпевает изменения — именно это мы и склонны считать нашим заблуждением. К примеру, сплошь и рядом юная мадридка влюбляется в самоуверенного мужчину, облик которого, казалось бы, излучает решительность. Она живет в стесненных обстоятельствах и надеется избавиться от них с его помощью, прельстившись этой самоуверенностью и властностью, коренящимися в абсолютном презрении ко всему божескому и человеческому. Надо признать, что эмоциональная бойкость придает этому человеческому типу на первый взгляд ту привлекательность, которой лишены более глубокие натуры. Перед нами — тип «вертопраха» [2]. Девушка влюбляется в вертопраха, после чего все у нее должно пойти прахом. Вскоре муж, заложив ее драгоценности, бросает ее. Подруги безуспешно пытаются утешить дамочку, объясняя все тем, что она «обманулась»; но сама-то она в глубине души прекрасно знает, что это не так, что подобный исход она предчувствовала с самого начала и что ее любовь включала в себя и это предчувствие, то, что она «предугадывала» в этом человеке.

---

[1] Одно вместо другого *(лат.)*.

[2] Мне неизвестно происхождение этого столь меткого выражения нашего языка, и если кто-либо из читателей обладает достоверными сведениями, я был бы ему очень признателен, если он их мне сообщит. Подозреваю, что оно восходит к сценам надругательств над мертвыми и своим возникновением обязано золотой молодежи эпохи Возрождения.

Я убежден, что нам следует отказаться от всех расхожих представлений об этом пленительном чувстве, поскольку любовь, особенно у нас на Пиренейском полуострове, выглядит несколько придурковатой. Пора взглянуть свежим взглядом и избавить от навязываемых связей чудную пружину жизненной силы человека, которая далеко не безгранична. Воздержимся же от того, чтобы считать «заблуждение» единственной причиной столь частых сердечных драм. Я сожалею, что здравомыслящий кордовский аноним в новом послании разделяет мысль о том, что нашу любовь вызывает «физическая гармония» и, поскольку одна и та же внешность может скрывать «различные и даже противоположные душевные качества», мы естественным образом впадаем в ошибки, а следовательно, не может быть особой близости между любящим и предметом его любви. А ведь в первом своем письме этот учтивый земляк Аверроэса признавал, что в жестах и мимике человека проявляется его сокровенная сущность. С прискорбием констатирую свою неспособность согласиться с обособлением души и тела, второй великой иллюзией минувшей эпохи. Сущий вздор полагать, что мы видим «только» тело, оценивая встретившегося нам человека. Получается, что потом, усилием воли, мы неизвестно каким, судя по всему, чудесным образом придаем этому физическому объекту душевные качества, неизвестно откуда почерпнутые. Мало того, что это не так; даже когда нам удается, абстрагируясь, как бы отделить душу от тела, нам это стоит огромного труда. Не только в человеческих взаимоотношениях, но и в общении с любым живым существом восприятие физического облика одновременно дает нам представление о его душе или почти душе. Вой собаки говорит нам о ее мучениях, а в зрачке тигра мы разглядим свирепость. Поэтому мы всегда отличим камень или механизм от телесного облика. Тело — это физический облик, наэлектризованный душой, в котором явственно проявляется природа характера. Те же случаи, когда мы ошибаемся и заблуждаемся относительно чужой души, никак не могут, повторяю, опровергнуть адекватности обычного восприятия. При встрече с представителем человеческого рода мы тотчас определяем основные особенности его личности. Наши догадки могут быть более или менее точными в зависимости от природной прозорливости. Ее отсутствие сделало бы невозможным как элементарное общение, так и сосуществование людей в обществе. Каждый наш жест и каждое слово вызывали бы раздражение у собеседника. И подобно тому, как мы осознаем существование слуха, беседуя с глухим, точно так же, столкнувшись с человеком бесцеремонным и лишенным «такта», мы догадываемся о существовании нормального восприятия человеком своих ближних; чувство это ни с чем не сравнимо, ибо оно наделяет нас душевным чутьем, позволяющим ощутить деликатность или суровость чужой души. А вот что и в самом деле недоступно большинству смертных, так это способность «описать» своего ближнего. Однако не умея «описать», вполне можно все отчетливо видеть. «Описывать» — значит выражать свои мысли понятиями, а способность к выработке понятий предполагает умение анализировать, и прежде всего на интеллектуальном уровне, которое мало кому дано. Знание, выражаемое словами,— более высокая ступень по сравнению с тем, которое довольствуется созерцанием; между тем последнее также есть некое знание. Пусть читатель попробует описать словами то, что перед ним находится, и он поразится, насколько же неполным будет его «описание» по сравнению с тем, что он столь отчетливо видит перед собой. Тем не менее это визуальное знание позволяет нам ориентироваться среди вещей, различать их — например, не имеющие названий оттенки цвета,— чтобы стремиться к ним или избегать их. Столь же тончайшего свойства и наше восприятие ближнего, особенно в любви.

Итак, не стоит повторять как нечто само собой разумеющееся, что мужчина влюбляется во «внешность» женщины, и наоборот, и лишь спустя какое-то время мы внезапно открываем для себя характер любимого человека. Бесспорно, что отдельные представители и того и другого пола влюбляются во внешний облик; однако это не более как их индивидуальная особенность. Такой выбор обусловлен чувственным характером любящего. Причем подобное встречается значительно реже, чем принято считать. Особенно — среди женщин. Поэтому у тех, кому доводилось внимательно изучать женскую душу, возникало сомнение в способности женщин восторгаться мужской красотой. Можно даже заранее определить, какие типы женщин составят тут исключение. Во-первых, женщины несколько мужского склада; во-вторых, те, что ведут чрезвычайно интенсивную половую жизнь (проститутки); в-третьих, женщины нормального темперамента, которые, вступая в зрелый возраст, имеют богатый опыт сексуальных отношений; в-четвертых, те, которые по своим психофизиологическим данным наделены «неуемным темпераментом».

У всех этих четырех типов женщин есть нечто общее, что скрывается за их неспособностью противостоять мужской красоте. Как известно, женская душа более мужской тяготеет к единству; другими словами, во внутреннем мире женщины меньше разбросанности, чем в душе мужчины. Так, для женщины менее характерен вполне обычный для мужчины разрыв между сексуальным удовольствием и восхищением или же преклонением. Для женщины одно связано с другим значительно более тесно, чем для мужчины. Должна быть какая-то особая причина, чтобы чувственность женщины вышла из-под контроля и стала проявляться стихийно и самостоятельно. Так вот, каждый из этих женских типов предрасположен по-своему к неуправляемой чувственности. В первом из них

взаимоисключающие устремления коренятся в природе женского характера, лишенного цельности из-за наличия в нем мужского начала (мужское начало в женщине — одна из интереснейших проблем психологии человека, заслуживающая отдельного исследования). Во втором эта неуправляемость лежит в самой основе профессии. В третьем типе, абсолютно нормальном, эта предрасположенность обусловлена тем, что, как говорится, «чувства женщины пробуждаются с годами». Речь идет о том, что они выходят из-под контроля поздно и что только женщина, прожившая долгую, насыщенную и нормальную в сексуальном отношении жизнь, отпускает под занавес свою чувственность на волю. У мужчины избыток воображения может подменять реальный чувственный опыт. У женщины — при отсутствии в ее природе мужского элемента — воображение обычно бывает относительно бедным; судя по всему, именно этой особенностью в немалой степени и объясняется целомудрие большинства женщин.

V

Повседневное влияние

Если выбор в любви действительно имеет столь принципиальное значение, как это мне представляется, то она является для нас одновременно ratio cognoscen[1] и ratio essendi[2] человека. Она служит нам критерием и средством познания сокровенной его сущности, напоминая, как впервые это заметил Эсхил, поплавок, который, плавая в пене волн, позволяет нам наблюдать за неводом, погруженным в морскую глубь. С другой стороны, она решительным образом вторгается в биографию человека, вводя в нее людей одного типа и изгоняя всех остальных. Тем самым любовь создает индивидуальную человеческую судьбу. Я убежден, что мы недооцениваем то огромное влияние, которое оказывают на нашу жизнь любовные истории. Дело в том, что в лучшем случае мы обращаем внимание на внешние, хотя и весьма драматичные, проявления этого воздействия — «безумства», которые мужчина совершает из-за женщины, и наоборот. А поскольку большая часть нашей жизни, если не вся она, свободна от подобных безумств, то мы склонны преуменьшать истинные масштабы этого влияния. Однако в реальности воздействие любви бывает почти незаметным и неощутимым, и прежде всего это касается влияния женщины на жизнь мужчины. Любовь связывает людей в столь тесном и всепоглощающем общении, что за их близостью мы не видим перемен, которыми они друг другу обязаны. Особенно необоримо женское влияние, поскольку оно как бы растворено в воздухе и невидимо присутствует во всем. Его невозможно предвидеть и избежать. Оно проникает сквозь зазоры в нашей предусмотрительности и воздействует на любимого человека, как климат на растение. Присущее женщине чувство бытия ненавязчиво, но постоянно воздействует на наш внутренний мир и в конце концов придает ему наиболее привычные для нее формы.

Мысль о том, что любовь — выбор, идущий из глубин души, мне представляется в высшей степени продуктивной. Если, к примеру, не ограничиваясь одним человеком, распространим эту мысль на всех представителей той или иной эпохи — скажем, одного поколения,— то в результате мы придем к следующим выводам: всегда, когда речь заходит о сообществе, массах, ярко выраженные индивидуальные отличия стираются и доминирующим оказывается усредненный тип поведения; в нашем случае это будет усредненный тип предпочтений в любви. Другими словами, каждое поколение отдает предпочтение определенному мужскому и определенному женскому типу или, что то же самое, определенной группе представителей одного и второго пола. А коль скоро брак — самая распространенная форма взаимоотношений между полами, то, без сомнения, в каждую эпоху не имеют никаких проблем с замужеством женщины какого-то одного типа[3].

Подобно отдельному человеку, каждое поколение в любовном выборе в такой степени выявляет свою сущность, что на материале исторической сменяемости пользующихся особой популярностью женских типов можно изучать эволюцию человеческого рода. Не только каждое поколение, но и каждая раса получает в результате отбора прототип женской притягательности, который появляется не сразу, а формируется в течение долгих веков, вследствие того, что большая часть мужчин оказывала ему предпочтение. Так, достоверный эскиз архетипа испанской женщины высветил бы жутковатым светом затаенные углы пиренейской души. Впрочем, его очертания стали бы отчетливее при сопоставлении с архетипом французской или, например, славянской женщины. В данном случае, да и вообще неразумно полагать, что вещи и люди таковы, какие они есть, без всякой на то причины, в силу стихийного самозарождения. Все, что мы видим, что имеет ту или иную форму, есть результат некой деятельности. И в этом смысле все было создано, а следовательно, всегда можно выяснить, какой силой, навсегда оставившей на нем свой след, оно было выковано. В душе испанской женщины наша история оставила глубокие вмятины, подобные тем, которые оставляет молоток чеканщика на металлической чаше. Однако самое интересное в любовных пристрастиях поколения — их всемогущество в причинно-следственном мире. Ибо бесспорно, что не только настоящее, но и будущее каждого поколения зависит от того типа женщины, которому будет отдано предпочтение. В доме царит то настроение, которым проникнута сама женщина и которое она в него вносит. В каких бы сферах ни «командовал» мужчина, его вмешательство в домашнюю жизнь будет косвенным, урывочным и официальным. Дом — это стихия повседневности, непрерывности, это вереница неотличимых одна от другой минут, воздух обыденности, который легкие постоянно вдыхают и выдыхают. Эта домашняя атмосфера исходит от матери и передается ее детям. Им суждено, при всем различии темпераментов и характеров, развиваться в этой атмосфере, накладывающей на них неизгладимый отпечаток. Малейшая перемена в представлениях о жизни у женщины, которой современное поколение отдает свои симпатии, особенно если учесть постоянно растущее число домашних очагов, подверженных ее влиянию, повлечет за собой в ближайшие тридцать лет колоссальные исторические сдвиги. Я ни в коей мере не утверждаю, что фактор, которого я коснулся, имеет для истории решающее значение; я настаиваю лишь на том, что он один из самых действенных. Представьте себе, что основной женский тип, предпочтенный нынешними юношами, оказывается наделенным чуть большей энергией, чем тот, к которому питало пристрастие поколение отцов. Тем самым молодым людям наших дней предначертано существование, в несколько большей степени насыщенное предприимчивостью и смелыми решениями, потребностями и замыслами. Самое незначительное изменение в жизненных склонностях, реализованное в обыденной жизни всей нации, неминуемо должно будет привести к величайшим переменам в Испании.

Бесспорно, что решающей силой в истории любого народа является средний человек. От того, каков он, зависит здоровье нации. Само собой разумеется, что я ни в коей мере не отрицаю значительной роли неординарных личностей, выдающихся людей в судьбах своей страны. Не будь их, мало что вообще заслуживало бы внимания. Однако какими бы выдающимися качествами и достоинствами они ни отличались, их роль в истории осуществляется только благодаря влиянию, которое они оказывают на среднего человека, и примеру, каким они для него служат. Если говорить начистоту, то история — это царство посредственности. У Человечества заглавная только «ч», которым украшают его в типографиях. Гениальность в своем высшем проявлении разбивается о беспредельную мощь заурядности. Похоже на то, что мир так устроен, чтобы им до скончания века правил средний человек. Именно поэтому столь важно как можно выше поднять средний уровень. Великими народы делают главным образом не их выдающиеся люди, а уровень развития неисчислимых посредственностей. Бесспорно, что средний уровень не может быть поднят при отсутствии людей из ряда вон выходящих, показывающих пример и направляющих вверх инерцию толпы. Однако вмешательство великих людей носит второстепенный и косвенный характер. Не они суть историческая реальность — нередко бывает, что в гениальных личностях народ недостатка не испытывает, а историческая роль нации невелика. Это непременно происходит тогда, когда массы равнодушны к этим людям, не тянутся за ними, не совершенствуются.

Не может не удивлять, что историки до самого недавнего времени занимались исключительно явлениями неординарными, событиями удивительными и не замечали, что все это представляет лишь анекдотический, в лучшем случае второстепенный интерес и что исторической реальностью обладает повседневность, безбрежный океан, в необъятных просторах которого тонет все небывалое и из ряда вон выходящее.

Итак, в царстве повседневности решающая роль принадлежит женщине, душа которой служит идеальным выражением этой повседневности. Для мужчины куда более притягательно все необыкновенное; он если не живет, то грезит приключениями и переменами, ситуациями критическими, неординарными, непростыми. Женщина, в противоположность ему, испытывает необъяснимое наслаждение от повседневности. Она уютно устроилась в мире укоренившихся привычек и всеми силами будет обращать сегодня во вчера. Всегда мне казалось нелепым представление о том, что souvent femme varie[1],— скоропалительное откровение влюбленного мужчины, которым женщина от души забавляется. Однако кругозор воздыхателя весьма ограничен. Стоит ему окинуть женщину ясным взором стороннего наблюдателя, взглядом зоолога, как он с удивлением обнаружит, что она жаждет остаться такой, какая она есть, укорениться в обычаях, в представлениях, в своих заботах — в общем, придать всему привычный характер. Неизменное отсутствие

---

[1] Основание познания *(лат.)*.

[2] Основание бытия *(лат.)*.

[3] Думаю, нет необходимости в связи с этим частным случаем вспоминать общеизвестные условия существования любого закона или обобщения многочисленных разрозненных фактов, условия, на которых основывается статистика. В любой значительной группе явлений представлен, конечно же, самый широкий и разнообразный их спектр; тем не менее превалирует какой-то один тип, а исключения не берутся в расчет. В любую эпоху выходит замуж женщины самых различных типов, и все же в каждую из эпох один какой-либо тип имеет неоспоримые преимущества перед остальными.

[1] Женщина часто изменчива *(фр.)*.

взаимопонимания в этом вопросе между представителями сильного и слабого пола потрясает: мужчина тянется к женщине как к празднику, феерии, исступлению, сокрушающему монотонность бытия, а обнаруживает в ней существо, счастье которого составляют повседневные занятия, чинит ли она нижнее белье или посещает dancing. Это настолько верно, что, к своему немалому удивлению, этнографы пришли к убеждению, что труд изобретен женщинами; труд, т. е. каждодиевное вынужденное занятие, противостоящее всевозможным предприятиям, вспышкам энергии в спорте или авантюрам. Поэтому именно женщине мы обязаны возникновением ремесел: она была первым земледельцем, собирателем растений, гончаром. (Я не перестаю удивляться, почему Грегорио Мараньон в своей работе, озаглавленной «Пол и труд», не учитывает этого обстоятельства, столь коренного и очевидного.)

Признав повседневность решающей силой истории, трудно не увидеть исключительного значения женского начала в этнических процессах и не проявить особого интереса к тому, какой тип женщины получал в нвшем народе предпочтение в прошлом и получает ныне. Вместе с тем я понимаю, что подобный интерес среди нас не может быть столь уж горячим, поскольку многое в отношении испанской женщины объясняется ссылками на предполагаемое арабское влияние и авторитет священника. Не будем сейчас решать, сколь истинно подобное утверждение. Мое возражение будет предварительным и заключается оно в том, что, признав эти факторы решающими в формировании типа испанской женщины, мы тем самым свели бы дело исключительно к мужскому влиянию, не оставляя места обратному процессу — воздействию женщины на мужчину и на национальную историю.

VI
Любовный отбор

Какому типу испанской женщины отдавало предпочтение предшествовавшее нам поколение? Какому отданы наши симпатии? На какой падет выбор нового поколения? Вопрос это тонкий, непростой, щекотливый, каким и должен быть вопрос, над которым стоит думать. Для чего же еще писать, если не для того, чтобы, склонившись над листом бумаги, встречаться, как в корриде, лицом к лицу с явлениями опасными, стремительными, двурогими? Кроме того, в данном случае речь идет о проблеме чрезвычайной важности, и можно только поражаться тому, что она и некоторые иные такого же рода почти не привлекают внимания исследователей. Финансовый закон или правила уличного движения обсуждаются весьма бурно, и в то же время не принимается во внимание и не изучается эмоциональная деятельность, в которой как на ладони все бытие наших современников. Между тем от типа женщины, какому оказывается предпочтение, не в последнюю очередь зависят политические институты. Было бы наивным не сознавать прямой зависимости, к примеру, между испанским парламентом 1910 года и женским типом, которому политики той поры вверяли свой домашний очаг. Я хотел бы обо всем этом написать, отдавая себе отчет в том, что девять десятых моих умозаключений будут ошибочными. Однако способность жертвовать своим искренним заблуждением — единственная общественная добродетель, которую писатель может предложить своим соотечественникам. Все остальное — сотрясение воздуха во время митинга в сквере или за столиком кафе, потуги на героизм, не имеющие никакого отношения к интеллекту, которым, в сущности, и определяется значение его профессии. (Вот уже десять лет, как многие испанские писатели, прикрываясь политикой, отстаивают свое право быть глупыми.) Однако прежде чем пытаться наметить контуры женского типа, которому сегодня в Испании отдается предпочтение,— проблема, заслуживающая отдельного исследования,— мне хотелось бы довести до логического завершении с далеко идущими выводами свои соображения о выборе в любви.

Осуществляемый уже не отдельным индивидом, а поколением в целом, любовный выбор становится отбором, и мы оказываемся в сфере идей Дарвина — теории естественного отбора, могучей силы, способствующей появлению новых биологических форм. Эту замечательную теорию не удалось успешно приспособить к изучению человеческой истории: ее место было на скотном дворе, в загонах для скота и лесной чаще. Чтобы она была переосмыслена в качестве исторической концепции, требовалось лишь самое малое. Человеческая история — это внутренняя драма: она совершается в душах. И было необходимо перенести на эту потаенную сцену идею полового отбора. Теперь для нас не секрет, что в человеке этот отбор оборачивается выбором и что этот выбор диктуют сокровенные идеалы, поднимающиеся из самых глубин личности.

Таким образом, одного звена теории Дарвина не хватало, в то время как другое — утверждение, что в результате полового отбора выбирались и предпочитались самые приспособленные,— было явно лишним. Эта категоричная мысль о приспособлении и есть тот излишек, делающий идею весьма расплывчатой и неясной. Когда организму легче

всего приспосабливаться? Не получается ли так, что приспособиться могут все, кроме больных? С другой стороны, нельзя ли утверждать, что полностью приспособиться не может никто? Я вовсе не оспариваю принцип приспосабливаемости, без которого биология немыслима. Надо только признать, что он более сложен и противоречив, чем полагал Дарвин, но прежде всего согласиться с его вспомогательной ролью. Ибо ошибочно считать жизнь сплошным приспособлением. В какой-то мере оно всегда в жизни присутствует; но она же не перестает поражать формами отчаянно смелыми, не поддающимися адаптации, которые, впрочем, ухитряются примириться со стесненными обстоятельствами и в результате — выжить. Таким образом, все живое не только можно, но и нужно изучать с двух противоположных точек зрения: как блистательное и прихотливое явление неприспосабливаемости и как искусный механизм приспосабливаемости. Судя по всему, жизнь в каждое живое существо вкладывает неразрешимую проблему, чтобы доставить себе удовольствие разрешить ее, как правило, изобретательно и блестяще. Настолько, что, исследуя живой мир, невольно хочется вглядеться в просторы Космоса в поисках сведущего зрителя, под аплодисменты которого Природа совершает шутя всю эту работу.

Нам не дано знать истинных намерений, осуществляемых половым отбором в человеческом роду. Мы можем видеть лишь отдельные частные последствия, а также задать некоторые неодолимо влекущие бесцеремонные вопросы. Вот один из них: оказывала ли женщина хоть когда-нибудь предпочтение самому замечательному для этой эпохи типу мужчины? Но едва сформулировав этот вопрос, мы тотчас ощущаем его противоречивую двойственность: замечательный мужчина с точки зрения мужчины и замечательный мужчина с точки зрения женщины не совпадают. Есть серьезные основания подозревать, что они никогда не совпадали.

Скажем со всей определенностью: женщину никогда не интересовали гении, разве что per accidens [1], т. е. когда с гениальностью мужчины ее примиряют сопутствующие качества, не имеющие к гениальности никакого отношения. Качества, которые мужчины особенно ценят, как имеющие значение для прогресса и человеческого достоинства, нисколько не волнуют женщину. Можно ли сказать, что для женщины существенно — является ли тот или иной мужчина великим математиком, великим физиком, выдающимся политическим деятелем? Ответ в данном случае будет однозначным: все специфически мужские способности и усилия, порождавшие и приумножавшие культуру, которым мужчины придают столь большое значение, сами по себе не представляют для женщины никакого интереса. И если мы попытаемся определить, какие качества способны вызвать любовь женщины, мы обнаружим их среди наименее значимых для совершенствования человеческой природы, наименее интересующих мужчину. Гений, с точки зрения женщины,— «не интересный мужчина», и наоборот, «интересный мужчина» не интересен мужчинам.

Убедительнейший пример того, что великий человек оставляет равнодушной женщину, разделившую его судьбу,— Наполеон. Его жизнь известна нам до минуты; в нашем распоряжении есть полный список его сердечных привязанностей. Жаловаться на физические недостатки ему не приходилось. Стройность, изящество придавали ему в юности сходство с поджарым и гибким корсиканским лисом; впоследствии фигура его обрела поимператорски округлые очертания, а черты лица, оформившись, стали идеальными с точки зрения мужской красоты. Известно, что даже внешность его вызывала восторг и будила фантазию художников — живописцев, скульпторов, поэтов; казалось бы, и женщины должны были испытывать к нему влечение. Ничего подобного: есть все основания утверждать, что ни одна женщина не была влюблена в Наполеона, властелина мира; близость к нему тревожила их, беспокоила, льстила их самолюбию; втайне же все они думали то, что Жозефина, самая искренняя, говорила вслух. В то время, как охваченный страстью молодой генерал бросал к ее ногам драгоценности, миллионы, произведения искусства, провинции, короны, Жозефина изменяла ему с очередным танцором и, получая подношения, с удивлением восклицала: Il est drôle, ce Bonaparte [2], раскатывая «р» и особо акцентируя «л», подобно всем французским креолкам [3].

Горько сознавать, что несчастным великим людям было отказано в женском тепле. Судя по всему, гениальность отталкивает женщин. Исключения лишь подтверждают правило, всеобъемлющий, неутешительный характер которого не подлежит сомнению.

Я имею в виду следующее: в сердечных делах необходимо четко разграничивать два состояния, смешение которых от начала и до конца запутывает психологию любви. Чтобы женщина полюбила мужчину (равно как и наоборот), необходимо, чтобы она сначала обратила на него внимание. Это внимание — не что иное, как особая заинтересованность человеком, благодаря которой он оказывается выделенным и вознесенным над общим уровнем. Подобная благосклонность не имеет прямого отношения к любви, однако ей

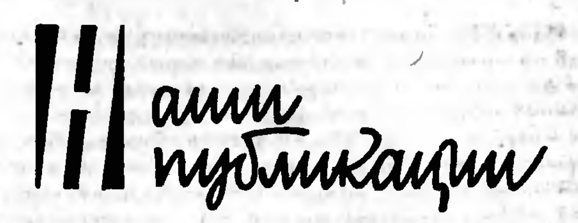
[1] Случайно *(лат.)*.
[2] Он забавен, этот Бонапарт *(фр.)*.
[3] Отношения между Бонапартом и Жозефиной глубоко изучены в недавней работе О. Обри «Любовный роман Наполеона и Жозефины». 1927.

непосредственно предшествует. Влюбиться, не проявив вначале интереса, невозможно, хотя интересом все может и ограничиться. Ясно, что это внимание создает для зарождающегося чувства крайне благоприятную обстановку, которая и служит, по существу, началом любви. Однако чрезвычайно важно видеть разницу между этими состояниями, ибо природа их различна. Немало ошибочных положений психологии любви зиждется на смешении качеств, «привлекающих внимание», благодаря которым человек предстает в выгодном свете, с теми, которые служат причиной любви. К примеру, вовсе не за богатство любят человека; однако богач пользуется благосклонным вниманием женщин благодаря богатству. Так вот, знаменитость благодаря своим дарованиям имеет все шансы быть отмеченным вниманием женщины; так что если она не влюбляется, то, казалось бы, этому трудно найти оправдание. С великими людьми, пользующимися в большинстве случаев широкой известностью, обычно так и бывает. Тем не менее антипатия, которую великий человек вызывает у женщины, является вполне закономерной. Женщина презирает великого человека, имея свои основания, а не случайно или по недосмотру.

С точки зрения отбора, осуществляемого в человеческом роде, это обстоятельство означает, что женщина своими сердечными привязанностями не способствует совершенствованию человечества, во всяком случае в том смысле, который вкладывают в него мужчины. Она скорее стремится, с точки зрения мужчины, устранить дерзающих и обновляющих, наиболее яркие индивидуальности, отдавая отчетливое предпочтение посредственности. Прожив долгую жизнь, изо дня в день наблюдая за женщинами, трудно сохранить иллюзии относительно их сердечных пристрастий. То восхищение, которое у женщины подчас вызывают выдающиеся люди, не будет больше вводить в заблуждение, если наконец увидеть, насколько естественно, как будто в родной стихии, она чувствует себя в общении с посредственностями.

Таковы предварительные замечания; я только хочу подчеркнуть, что в них не содержится никакой критики женского характера. Повторю, что нам не дано знать тайных намерений Природы. Кто знает, не таится ли глубокий смысл за этой неприязнью женщины к самому лучшему? Быть может, в истории ей и предназначена роль сдерживающей силы, противостоящей нервному беспокойству, потребности в переменах и в движении, которыми исполнена душа мужчины. Итак, если взглянуть на вопрос в самой широкой перспективе и, отчасти, в биологическом ракурсе, то можно сказать, что основная цель женских порывов — удержать человеческий род в границах посредственности, воспрепятствовать отбору лучших представителей и позаботиться о том, чтобы человек никогда не стал полубогом или архангелом.

Перевод с испанского Вс. Багно



Виктор Гофман

О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Наблюдения над лирическим сюжетом и семантикой стиха

Виктор Гофман (1899—1942), автор предлагаемой читателю статьи, один из примечательных деятелей ленинградской филологии 20-х—30-х годов. Ученик прославленного профессора Л. П. Якубинского — основоположника ОПОЯЗа,— бывший его аспирантом в Институте живого слова (был такой прелюбопытнейший институт!), В. Гофман и позднее тесно связан по работе со своим учителем вплоть до Ленинградского педагогического института им. Покровского, где Якубинский заведовал кафедрой русского языка.

Диапазон филологических интересов В. Гофмана был широк — от теории ораторской речи до грамматических современных проблем, во особенно его привлекал язык художественной литературы, семинар по которому он вел на филологическом факультете ЛГУ в 1940—1941 учебном году.

Стоит особо отметить, что В. Гофман, как, кстати, и его учитель Якубинский, писал стихи (по утверждению Л. Я. Гинзбурга, какое-то время примыкал к обэриутам), хотя по скромности никогда их не публиковал. Однако это подспудное занятие, несомненно, придавало его лингвистическим штудиям изощренность и глубину. Это заметно, например, в его статье «Язык символистов» («Литературное наследство», № 27—28), до сих пор не утратившей ценности.

Большим вниманием пользовались статьи Гофмана по стилистике и языку крупнейших русских писателей, обращенные к широкому читателю, которые печатались в «Звезде» начала 30-х годов, а затем в начавшей выходить в Ленинграде горьковской «Литературной учебе» (эти статьи в переработанном виде включены в книгу «Язык литературы», 1936 г.).

Умер профессор Гофман от дистрофии в блокадном Ленинграде. Увы, большая часть его научного архива утрачена. Статьи о лирике О. Э. Мандельштама и еще несколько неопубликованных статей, а также рукописный сборник стихотворений В. Гофмана оказались у Л. П. Якубинского, который их мне передал незадолго до своей смерти в 1945 году.

Статьи о поэзии Мандельштама относятся к раннему периоду научной деятельности Гофмана. Судя по сохранившемуся тексту, он позднее ее дорабатывал, расширял, но по каким-то неизвестным причинам не стал публиковать. Пусть о ее достоинствах судит современный читатель.

I
«УВОРОВАННАЯ СВЯЗЬ»

«Я слово позабыл, что я хотел сказать».
О. Мандельштам

Всякая новая поэтическая школа отличается от предшествующей обращением к иным структурным возможностям, заложенным потенциально в слове как материале. Понятие школы есть, по-видимому, понятие, в значительнейшей мере, отрицательного единства. Пушкин определял романтизм как строительство новых форм: «Какие же роды стихотворений должны отнести к поэзии романтической? — Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими» («О русской литературе с очерком французской»).

И романтизм, и символизм, и акмеизм, и футуризм покрывают собою различнейшие явления, объединенные в сознании современников острым ощущением новизны, отталкивания от предшествующих школ.

Иное функциональное использование «старых» приемов в согласии с новым конструктивным принципом обнаруживает черты «преемственности», и эти-то черты берутся под подозрение теми группировками, которые в свою очередь отталкиваются от канона, но в другом направлении. Возникают взаимные упреки в эпигонстве. Футуристы и акмеисты, отходившие от символизма в разные стороны, обвиняли друг друга в эпигонстве в равной мере и справедливо, и несправедливо. Когда рушилось здание символизма, каждый тащил себе те материалы, которые нужны были для его собственной постройки.

Пути группы молодых поэтов, объединившихся в 1912 году под знаменем акмеизма и основавших журнал и издательство «Гиперборей», оказались с самого начала не менее, если не более, различны, чем пути символистов Бальмонта и Вяч. Иванова, Брюсова и Блока etc.

Н. Гумилев — А. Ахматова — О. Мандельштам — С. Городецкий — В. Нарбут — М. А. Зенкевич — все это такие далекие явления, что естественно возникла мысль о фикции акмеизма как школы. Школа акмеизма, однако, существовала, осознав себя с самого начала как противодействие символизму (статьи Городецкого, Гумилева и позднее, уже в 1922 г., брошюра О. Мандельштама «О природе слова»). Сравнительно «мирное» рождение акмеизма как бы из недр символизма (первая мысль об акмеизме рождается на «башне» Вяч. Иванова, и благорасположение к акмеистам хозяина «башни» возмущает А. Белого [1]), а также то обстоятельство, что один из акмеистов — Н. Гумилев — прошел длинный искус ученичества (влияние В. Брюсова в «Пути конквистадоров» и «Жемчугах»),— все это, конечно, характерно для «гиперборейцев». Они возникли без шума и скандала, сопутствовавших рождению футуризма, без резких программно-заостренных выступлений, какими были первые стихи В. Хлебникова, Крученых, Бурлюка, Маяковского и др. (опыты с «заумью» и пр.).

Но тем не менее едва ли прав Б. М. Эйхенбаум, утверждая, «что считать акмеизм началом нового поэтического направления, новой школой, преодолевающей символизм, неправильно» и что акмеисты были еще «хранителями традиций» («Анна Ахматова», с. 24 и др.). Почтительное отношение к традициям и учителям, засвидетельствованное акмеистами (например, особенно ярко в предисловии к «Гиперборею» № 1 — октябрь 1912 г.), характеризует их с общепсихологической точки зрения — и только. Сам Б. М. Эйхенбаум констатирует, что с приходом акмеистов «изменилось отношение к слову» (там же, с. 30). Но ведь изменение отношения к слову есть не что иное, как утверждение новых конструктивных принципов и, следовательно, новых жанров, новой поэзии, новой школы.

С некоторой натяжкой можно, правда, утверждать, что школа футуризма оказалась революционнее школы акмеистов, потому что связь последних с символизмом заметнее, чем традиции футуристов, идущие откуда-то из XVIII и XIX вв. и лишь отчасти от эпохи символистов. (Например, архаистическая лексика, тенденция к большой форме у футуристов etc.)

Исследование жанрообразующих конструктивных принципов акмеистов поможет разрешить вопрос об историко-литературной роли акмеизма, вопрос, поставленный на очередь, но далеко еще не решенный. Моя работа представляет частичную попытку наметить характерные черты лирики О. Мандельштама, до сих пор не изученной вовсе.

Лирика символистов строилась по принципу метафорической, как бы двойной семантики, отвердевшей порою в двойную тематику (принцип, идущий от Тютчева и Вл. Соловьева). На этом принципе держалась теория «соответствий», когда стол оказывался не только столом, а еще чем-то, дева оказывалась небесной женой и розой и т. д. (см.: О. Мандельштам. «О природе слова»). Словесная ткань — смысл слов — служила как бы экраном, сквозь который проступали причудливые тени тайных подлинных значений, разгадываемых так или иначе читателем («Я не символист, если слова мои равны себе, если они — не эхо иных звуков, о которых не знаешь, как о Духе, откуда они приходят и куда уходят,— и если они не будят эхо в лабиринтах душ».— В. Иванов. «Борозды и межи». М., 1916, с. 153). Для пробуждения эха «в лабиринтах душ» служило «напевное слово», «мирные чары», ритмико-мелодическая и евфоническая организация материала как принцип конструкции. Внимание к звукам особо мотивировалось неким сокровенным смыслом, присущим этим звукам (см. статьи Бальмонта, Белого и др.). Ритмико-мелодический принцип своеобразно сплавлял слова в монолитные лирические стиховые куски, причем слова обезличивались, нивелировались в семантическом отношении. Важным оказывался не столько семантический вес слова, сколько его лексическая характеристика и эмоциональный тон. Отсюда вытекала условность и ограниченность, «искусственность» словаря [2].

Такова очень общая и грубо-абстрактная схема.

Мандельштам с самого начала отказывается от принципа «эмоционального нагнетания» образов, раскачиваемых ритмом. Он рационализирует значения слова, высвобождая его от иносказательной функции. В противоположность символизму, для которого слова жили отдельными случайными признаками значений, Мандельштам возвращает словам многообразие оттенков смысла; предметное значение, выбор их затрудняется; слово приобретает индивидуальность. Синтаксис сжимается и приобретает логическую (и грамматическую) четкость, «правильность». Но лексика раннего Мандельштама остается как бы заданной символистами: сравнительно узкий круг «книжных» слов — *вечность* и *млечность, град, кануны, перуны, Капитолий* etc.— явно символистический инвентарь. Лексическая бедность сразу же бросается в глаза при сопоставлении с футуристами. Однако эта бедность ощущается не бедностью, а как скупость, оправданная конструктивно (жанром).

Все это определило характер высказываний ранней критики: «Никогда... не пытаясь говорить словами простыми и обыденными, он остается цельным в своей натянутости... Однако как все это холодно и бесстрастно, как это далеко от жизни» [3].

«Мандельштам выражает свои фантастические сочетания разнообразнейших художественных представлений в классически строгой и точной эпиграмматической формуле» [4].

Жанр в поэзии (и потому конструктивные принципы лирики) максимально зависит от величины, размера произведения. Сонет обязывается иметь 14, реже 15 стихов — не больше и не меньше. Число стихов в рондели или во французской балладе точно ограничено. Подобно А. Ахматовой [5], Мандельштам сжимает до минимума малую лирическую форму. Возникает жанр лирического фрагмента. Проводится принцип предельной экономии средств. «Камень» открывается четверостишиями [6], в плане лирики Мандельштама очень любопытными. Перед нами — начало повествования, повествовательная интродукция, сигнал. Повествование только загадано, задано. У символистов повествование «намеками», «загадками» снабжено потенциальной дешифровкой в символическом плане («условный язык»). У Мандельштама нет никакого второго плана. У А. Ахматовой недомолвки и фрагментарность повествования интенсивно восполняются наличием лирического героя, эмфазой, интимно-лирическим голосом в связи с преобладанием характерной интимной и бытовой тематики. У Мандельштама нет сюжетного скрепа в виде лирического героя. Это — безгеройная лирика. Подлинным героем позднее у него становится слово и стих (во «Второй книге», 1923 г.).

«Он не лирик, рассказывающий в стихах об интимном душевном переживании; он создает объективные картины... Строит чисто абстрактные словесные схемы» (В. Жирмунский) [7].

Принципы развертывания лирического сюжета еще совсем мало изучены. Малый жанр фрагмента, принцип максимального сжатия формы сами по себе уже предопределяют движение сюжета по периферии, т. е. закрепление крайних предельных границ его движения. Внутри же, за периферией,— сюжетная свобода в результате сопряжения далеких рядов значений. В четверостишиях дана семантика предельных периферийных сюжетных точек очень ярко [8].

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...

Более простой пример — «Кинематограф», где семантика реализует голую фабульную схему, так сказать, ничем не заполненную. Мотивировка дана в первом стихе, даже в первом слове — *«Кинематограф»*, несущем очень характерную функцию сюжетного сигнала, за которым следует повествование.

В «Камне» же сравним: *Бессонница. Гомер. Тугие паруса.*
или: *Поговорим о Риме: дивный град!*
или: *Поедем в Царское Село!*
или: *«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.*

Здесь видна и огромная функциональная роль отдельного выделенного слова, необычайный семантический вес его. Выделяемое ритмическими и синтаксическими средствами слово, стремящееся к автономии, очень типично уже для «Камня», а позднее становится решающим конструктивным приемом. Для краткости приведем еще несколько примеров из «Камня», опуская анализ (произвести его нетрудно):

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит.
И сумрачных скал тень
Мрачней грозовых плит.

———

— событий
Рассеивается туман;

———

Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

Карету такого-то! Разъезд. Конец...

———

Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы...

———

Значенье — суета и слово —
только шум...

———

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь;

Параллельно выделенному слову, определяющему развитие сюжета, ту же роль играет выделенный стих, также стремящийся к синтаксической и семантической (а позднее и тематической) автономии.

В «Камне»:

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино;
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий;
А вечность — как морской песок:

Он осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож —
И недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

О доме Эшеров Эдгара пела арфа,
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк.
Чтоб горло повязать, я не имею шарфа.

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито.

Принцип автономии стиха осуществлен именно посредством излюбленной Мандельштамом (особенно в «Камне») системы синтаксиса, которую лучше всего назвать элементарной: обычно паратактическая несложная конструкция из грамматически четких мало распространенных предложений. Простому синтаксису Мандельштама противостоит сложный синтаксис символистов — В. Брюсова, В. Иванова, А. Белого, с одной стороны, и футуристов — Пастернака, Маяковского и др., с другой стороны.

Логический синтаксис Мандельштама при тождестве синтаксических и стиховых единств обусловил особую архитектурную строгость формы, названную критикой «классической».

Этот синтаксис как бы рационализирует и дефинирует семантическую свободу при периферийном сюжетном движении [9].

Той же цели служит строфическое членение: «На страшной высоте блуждающий огонь» («Вторая книга»).

Сюжет есть динамическая система развернутых тематических единств (по принципу иерархии) с их мотивировочными (логико-психологическими) связями. Лирический же сюжет, в частности, характеризуется, во-первых, тем, что развертывание сюжета идет по линии оттеночных признаков, нюансов — значений слов [10], во-вторых, эмбриональными мотивировками, точнее, свободой мотивировок; в-третьих, тем, что он может явиться лишь знаком системного единства, последовательно смещаемого из стиха в стих (мутабильный сюжет).

Последний признак есть как бы следствие известного развития первых двух.

Эта тенденция к мутабильному сюжету в связи с работой над автономным словом и стихом у Мандельштама все более проясняется и в то же время значительно усложняется от «Камня» к «Tristia» и «Второй книге».

Остановимся еще на очень любопытном примере из «Камня» — «Оде Бетховену». Уже самое определение жанра очень показательно. Ода характеризуется «высоким беспорядком, но беспорядком правильным» (Г. Державин), и не случайно вспомнил о ней Мандельштам. Сообразно законам своего стиха, он преобразует оду, сжимая эту скорее большую, чем малую стиховую форму до одической миниатюры: 6 строф (48 стихов). Вместе с тем он отказывается от подчеркнутой фигурности и метафоризации, от нагромождения образов, от синтаксической сложности, сохраняя одическое движение сюжета, когда «между периодов или строф находится тайная связь» (Г. Державин). Или между стихами — добавим мы. «Тайная связь» уже есть признак мутабильного сюжета в лирике.

Но «тайная связь» может стать «уворованной связью» [11], «зияньем» [12], связью, опущенной вовсе.

В третьем издании «Камня» (ГИЗа) Мандельштам пользуется «Одой Бетховену» для обнажения (посредством графики) «тайной связи», ставшей «уворованной связью». Свободная семантика становится абсолютно нейтральной, семантикой с отрицательным знаком (заменяется точками). 2-я строфа имеет следующий вид:

В издании «Акмэ» (1913 г.) и «Гиперборей» (1916 г.):

Когда земля гудит от грома
И речка бурная ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой палкою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке.

В издании ГИЗа (1922 г.):

. . . .
. . . .
. . . .
Кто этот дивный пешеход?
Он так старательно ступает
С зеленой шляпою в руке,
. . . .
. . . .

То же явление — в стихотворении «Не веря воскресенья чуду...», вошедшем в «Камень» 1922 года и в «Tristia» (1922 г.). Первая строфа:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
. . . .
. . . .
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

И в стихотворении «Как этих покрывал и этого убора...» («Tristia» и «Вторая книга»):

Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда;
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда
. . . .
. . . .
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

Ритмическая и сюжетная архитектоника сохранена полностью. Сюжетная же емкость необычайно увеличена. В ранних стихах Мандельштама (до 1916 года) мы видим одноплапное плоскостное сюжетное движение, хотя и по далекой периферии. Последнее обстоятельство, при словесной скупости и очень малой форме, сообщает стиху высокую смысловую нагрузку, большую семантическую интенсивность (то же и по отношению к отдельному слову).

В более поздних вещах сюжетное движение определяется сложным взаимодействием нескольких семантических плоскостей, пересекающих, теснящих и смещающих друг друга. Говоря условно-пространственным языком, лирический сюжет приобретает стереометрический характер.

Как сказано выше, конструктивная функция выделенного слова (и стиха) выступает здесь чрезвычайно ярко. При этом, естественно, «уворованная связь», «зиянье», т. е. немотивированность семантических смещений, крайняя сюжетная мутабильность влечет к ощущению сюжета как загадки (обнаженно в стихотворениях «Что поют часы-кузнечик...» и некоторых других).

Слово «соломинка» — конструктивный стержень стихотворения: «Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне...» («Соломинка»), построенного сплошь на «лейтмотивах», повторяемых в разных комбинациях, и на «лейт-стихах». («Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита». Сравнить: «За блаженное, бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь». «Tristia».). Слово «Соломинка» или «Соломка» троится: 1) название вещи («Соломка звонкая, соломинка сухая»); 2) имя собственное; 3) «Саломея», возникающая как сюжетное противоположение из фонетического сходства (этимологизация по созвучию) [13]. «Соломинка» — название вещи — привычное «узуальное» значение — почти вытеснено функцией имени собственного, но не до конца. Вещное значение использовано как материал для метафоры (о Соломинке: «Соломка звонкая, соломинка сухая»). Этим достигается иллюзия лексического единства, хотя и сильно колеблемая сюжетно, трех слов: Соломинка, соломка, Саломея. А ощущение — даже слабое — лексического единства в данном случае влечет за собою причудливый и острый семантический и сюжетный эффект. «Саломея» сперва немотивированно противопоставлена, правда, нерешительно, Соломинке, чтобы создать контрастный (но не

реализованный) план сюжетному плану «Соломинки». Ведь слово «Саломея» очень богато ассоциативными фабульными представлениями. «Не Саломея, нет, Соломинка скорей».

Но затем, в конце, всякое противопоставление уничтожается:

А та, Соломинка, быть может Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

Мало того, утверждается возможность идентифицировать или, по крайней мере, сблизить эти имена. Это колебание, чрезвычайно острое именно в силу фонетической близости слов, так и остается неразрешенным.

Другое лейт-слово — «Лигейя», так же, как «Саломея», влечет за собою ассоциативное фабульное представление (рассказ Эдгара По) и тоже как будто рассчитано на то, чтобы создать контрастный «Соломинке» план:

Нет, не Соломинка в торжественном атласе

Нет, не Соломинка, Лигейя, умиранье...

Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя...

Но своего сюжетного плана «Лигейя» не реализует, механически сталкиваясь и вытесняя «Соломинку». Сюжетный план «Лигейи», как и «Саломеи», только «задан». Но выдвинутость и семантический вес этих имен, их мнимая борьба чрезвычайно увеличивают емкость сюжета и вскрывают тему, могущую показаться загадочной. Это тема имени, названия героини и стихотворения.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других —
Она отмечена среди подруг повязкою на лбу,
Исцеляющей от беспамятства... («Нашедший подкову»)

На взаимодействии лейт-слова «забытое слово» с его субститутами — «ласточка» — «Антигона» держится стихотворение «Я слово позабыл...» («Вторая книга»). Стержнем стихотворения «Венецейской жизни...» («Вторая книга») являются слова: «стекло» — «зеркала» — «склянка», семантически близкие, и система повторных цветных эпитетов: *голубое — голубого*, *черным — черный*, *зеленое — зеленая* — при крайней сюжетной мутабильности. Знаком тематического единства служит первый стих: «Венецейской жизни мрачной и бесплодной...» и первый стих 5-й строфы: «Тяжелы твои, Венеция, уборы...» Это — сюжетные сигналы, «объясняющие» и в то же время «задающие» повествование (сравнить приведенные выше примеры из «Камня» или в начале стихотворения «Как этих покрывал и этого убора...»:

Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда...[14])

Таким сюжетным сигналом, выдвигающим тему, становится у Мандельштама и само лейт-слово или лейт-слова. Тогда это слово (или слова) выступает как бы в роли героя лирического повествования. Очевидный пример — стихотворение «Я слово позабыл, что я хотел сказать». (Сравнить с «Соломинкой»). Другой пример: стихотворение «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы», где героем повествования сделаны лейт-слова «тяжесть и нежность». Чрезвычайная структурная четкость этого стихотворения зависит от своеобразного ритмико-синтаксического параллелизма, определяющего сюжетное движение. Заданная парность «тяжесть и нежность» продиктовала синтагматическую и ритмическую двучленность каждого стиха. Сюжетная реализация словесной темы дана из стиха в стих парно расположенными образами.

Здесь естественно возникает сопоставление с лирикой Иннокентия Анненского, которого акмеисты провозгласили своим учителем. Связь мандельштамовского стиха со стихом Ин. Анненского послужит темой отдельной работы. Теперь же достаточно указать на стихотворение «Невозможно» («Кипарисовый ларец»), где сюжетным героем сделано лейт-слово «невозможно» (с обнажением конструкции):

Есть слова. Их дыханье — что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, *невозможно*.

Первый стих является сюжетным сигналом, как у Мандельштама.

Другой пример из «Кипарисового ларца» — «Моя Тоска», где лейт-слово «Тоска» и сложно и противоречиво персонифицировано («Тоска» — имя собственное).

Принцип мутабильности сюжета, реализуемый периферийной связью семантически автономных слов и стихов (посредством ритма и «логического» синтаксиса), сам наконец делается лирическим героем. Говоря шире — стих и слово в аспекте мандельштамовской поэтики. Возникают стихи о стихе:

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись. («Камень»)

С чего начать?
Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой... («Вторая книга»)

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить... («Вторая книга»)

Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна скрепясь,
А другая — в заумный сон. («Вторая книга»)

Сравнить у Н. Гумилева стихотворение «Слова» («Огненный столп») и у Ин. Анненского «Перебои ритма» и «Пэон второй — пэон четвертый» («Кипарисовый ларец»).

Внимание к слову как объективному материалу «святого ремесла» поэзии, филологическая озабоченность культурой слова становятся лирическим пафосом, подобно тому как в поэзии есенинского типа — драматический образ героя-автора, его литературная личность, его лирическая биография.

II
«ЧУДЕСНЫЙ СТРОЙ»

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
О. Мандельштам

Семантика мандельштамовского стиха, в связи с конструктивными принципами его лирики, существенно отлична от семантического строя стиха символистов.

Символисты оперировали отвлеченным «алгебраическим» словом. Имена вещей дематериализировались, становились отвлеченными именами. Вещный план, предметные детали расплывались, абстрагировались в высоком «умопостигаемом» плане символов.

«Эмблематика смысла», о которой говорили символисты, высокий метафизический план, в котором старались они утвердить свою лирику, их Слово с большой буквы, понятное только «посвященным»,— все это естественно вытекало как философское осмысление и оправдание из принципа поэтического словоупотребления. Этому принципу Мандельштам противопоставил другой, противоположный, принцип слова — вещи, слова — «утвари», домашнего слова для обихода («Природа слова»), но резко ощутимого.

Значения слов стали оплотневать и суживаться. Отвлеченные имена в своеобразных условиях «единства и тесноты стихового ряда» (ритма и синтаксиса) стали «овеществляться». Субстантивные названия чувств, действий и состояний, космических явлений, сгущая вещно-предметный оттенок благодаря лексической чреде, смещали в то же время привычную семантическую перспективу, круг семантических ассоциаций. Эти имена семантически роднились («снижаясь») с вещно-бытовым — в широком смысле — кругом имен.

«О приеме овеществления» у А. Ахматовой говорит В. В. Виноградов («Поэзия Анны Ахматовой»), указывая на то, что «вещи условно-символистически прикреплены к воспроизводимому мигу» и создают эмоциональный фон, освещающий в переливах «изменчивых» скачки настроений героини. Вещи «кивают» на героиню или же «непосредственно ведут к самим представителям вещей, как их ярлыки, роль которых — создавать иллюзию бытовой обстановки».

Совсем другое видим у Мандельштама.

«Вещи» не служат герою — его нет у Мандельштама — и не являются аксессуарами быта, героя окружающего. Значения слов не уводят к надсловесным представлениям, к реалиям как таковым. Мандельштаму важен чисто словесный смысл, автогенная се-

мантика, слово как вещь и как лирический герой. И с этой точки зрения приобретает особый смысл «овеществление» значений, ведущее к оживлению условных и застывших символических знаков, эмблем и к их конкретизации. Вот примеры:

Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
Кому — душистое с корицею вино,
Кому — жестоких звезд соленые *приказы*
В избушку дымную перенести дано.

Слово «приказы» «овеществлено» не только характером именного окружения (в связи с синтаксической конструкцией перечисления), но и неожиданным эпитетом и глаголом «перенести». Однако такое «овеществление» не имеет ничего общего с языком быта («принес мокрый приказ» и т. п.) и бытовых ассоциаций лишено. Слово «зима» приобретает вещный оттенок, включаясь в перечень вещных имен.

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать *ночь* — разбудить.

Приподнять, как душный стог,
Воздух, что шапкой томит.
Перетряхнуть мешок,
В котором тмин зашит*.

«Ночь» «материализована» не только влиянием инфинитива (двойным), но и в сильнейшей степени существительным «плечом», чрезвычайно резко выдвинутым ритмически (огромный семантический вес enjambement'а и рифмы) [16]. В «воздухе» выдвинут и сгущен материальный, вещный оттенок значения не только благодаря инфинитиву, сравнению и придаточному предложению («что...»), но и синтаксической параллелью («Перетряхнуть мешок»), сильно влияющей семантически, благодаря строфической тесноте.

Я изучил науку расставанья
В простоволосых *жалобах* ночных.
Жуют волы, и длится *ожиданье*,
Последний час вигилий городских... («Tristia»)

Отвлеченные имена «жалобы» и «ожиданье» конкретизированы очень сложно и тонко, сообразно с принципом периферийного движения сюжета. Конкретизирующий эпитет «простоволосых» намекает на «уворованное» слово «женщин» и неожиданностью своего присоединения к «жалобам» необычайно осложняет семантику словосочетания. «Ожиданье» конкретизовано через посредство предиката и затем соединительного союза «и», благодаря тесноте стиховой связи с первой половиной стиха (синтаксически параллельной): «жуют волы...». «Ожиданье» осложнено оттенком медлительной томительности и в тоже время ощущением признака предметности.

Особенно остро ощущается конкретизация отвлеченных имен при внедрении в перечень вещных названий: «Их пища — время, медуница, мечта».

Вот другие, менее сложные случаи конкретизации и «овеществления» имен, но очень типичные для Мандельштама:

Как мертвый шершень, возле сот,
День пестрый выметен с позором.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина... (1917)

Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни. (1917)

Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая.

---

* Позднее это четверостишие поэт переделает:

Раскидать бы за стогом стог —
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит. *(Примечание публикатора)*

Воздух замешан так же густо, как и земля,—
Из него нельзя выйти, в него трудно войти...

Звездный луч, как соль на топоре...

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы. (1920)

Сравнительное «как» в большей или меньшей степени стушевывает остроту семантического приема, так как обнажается сравнение. Тем не менее эффект конкретизации и «овеществления» и здесь налицо. В частности, любопытно, например, как восстанавливается, благодаря сравнению с прялкой, конкретный смысл выражения «стоит тишина», неощутимый в обычном языке и безразличный для поэтики символистов.

И все же сравнение — это компромиссная форма: между сдвигаемыми категориями значений остается граница «как», очень ощутимая; сравнить с первой группой примеров или с такими:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда...

Человек умирает. Песок остывает согретый —
И вчерашнее солнце на черных носилках несут. (1920)

Вещно-конкретный круг значений, притягивая к себе и ассимилируя иные ряды значений, остался у Мандельштама, однако, узким и замкнутым в лексическом отношении. Выше было указано на традиционность лексики молодого Мандельштама (в сборнике «Камень») и на лексическую скупость его лирики. Позднее метод его работы заставил несколько изменить характер словаря в сторону большей вещности и конкретности, с неизбежным «снижением»:

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —
И спичка серная меня б согреть могла.
Взгляни, в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.
Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой в рогоже, голодать... («Кому зима...», 1922)

Идем туда, где разные науки,
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье.
Цирюльника летающая скрипка,
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка. («Феодосия»)

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Серная спичка — брюки — взбитые сливки — утюг — крынка — прачка — все это резкий разрыв со словарем символистов. Однако Мандельштам допускает только просачиванье отдельных слов в профильтрованную лексическую струю своей лирики, словно охраняя заботливо шлюзы, через которые могут хлынуть в лирику бесчисленные лексические волны нового языка, как это случилось с футуристами.

Мандельштам остается, при крайней лексической скупости, в узкой сфере излюбленных слов, переносимых из стихотворения в стихотворение. Ему важен семантический принцип конкретных оттенков значения автономного слова, а не широта и разнообразие лексического материала для его применения. Больше того, пафос его поэтического метода заключается именно в работе на более или менее традиционной лексике. Эта особенность Мандельштама (и других акмеистов) и соблазнила на утверждение, что акмеизм — продолжение символизма. Нет нужды иллюстрировать узость лексики и перекочевывающие из стихотворения в стихотворение и из стиха в стих одни и те же лексемы и даже целые фразы. Это бросается в глаза при поверхностном чтении. Характерная лексическая

замкнутость — в связи с мандельштамовскими темами — обусловила определение его лирики как «далекой от жизни». Но интересно то, что «высокие» поэтические темы и книжная традиционная лексика — наследие символистов — служат для Мандельштама отправной точкой для его работы — и только.

Так, условно-традиционная лексика «высокого» плана — греческие имена собственные и привычно связанные с ними вещные имена: «акрополь», «лира», «муза» с соответствующей тематикой — используется очень своеобразно в новом семантическом аспекте. Греческие имена, выдвинутые благодаря резкости их лексической окраски и стоящим за ними фабульным ассоциациям, утрачивают голую условность и отвлеченность значения, обрастая реально-конкретными чертами.

Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит. («Tristia», 1918)

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый башмачок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек...

...Нерасторопна черепаха-лира:
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот. (1919)

Когда Психея-жизнь спускается к теням,
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой. (1920)

...Кто держит зеркало, кто баночку духов,—
Душа ведь — женщина, ей нравятся безделки,—
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий. (1920)

За то, что я руки твоей не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы —
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие древние срубы!

Последнее стихотворение (из «Второй книги») особенно показательно. Сюжет движется по периферии вещноописательных подробностей.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены врезаются крепко...

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра.

И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник...

И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. (1920)

Лейт-слово, организующее повествование и пронизывающее стихотворение из строфы в строфу, вещно-конкретно: «древесина», «деревянный» (и «срубы»).

Слова «древесина» и «дерево», в плане мандельштамовской семантики, окружены, как ореолом, признаками особой, подлинной и высшей вещности:

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,—
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки! (1915)

Так из вещной семантики — «легкой и грубой» — возникают преобразованными и «высокая» символистическая лексика, и тематика.

Следует подчеркнуть, что «высокий» по своей лексической окраске словесный план вовсе не сталкивается у Мандельштама с противоположным «низким» планом, в результате чего происходит «снижение». Строго говоря, у него нет ни «низкой», ни «высокой» лексики, потому что нет двойной контрастной лексики, нет и противопоставленной символизму лексики в качестве конструктивного принципа. Правда, приведенные выше примеры «низкой» лексики являют собою дифференциальный признак, но ведь не всякий дифференциальный признак есть конструктивный признак, хотя, по-видимому, прав Ю. Н. Тынянов, что конструктивный признак всегда дифференциален.

В данном случае некоторая дифференциальность лексики есть только симптом иного конструктивного плана: оплотнения слова, обнаружения вещно-конкретных признаков его значения. Мы видели, как оперирует Мандельштам узким кругом вещно-бытовой лексики для того, чтобы, пользуясь законами стиха, преобразовать семантически ряд отвлеченных имен, предметно-космический и т. д. в сторону большей предметности и наглядности. Эта тенденция была в общих чертах обнаружена ранней критикой: «О. Мандельштам особенно хорошо чувствует весомость мира, прекрасное он создает „из тяжести недоброй“. Арки и своды пленяют его, и он смело подходит к глыбам косного материала». (Рецензия на «Камень» С. Г. Городецкого, «Гиперборей», март 1913 г.)

Принцип выделенного полновесного слова — на основе вещно-реальной сематики — должен был естественно привести к передвижке привычных семантических перспектив, ассоциативно связанных со словом, и поэтому к созданию особого лирического мироощущения.

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве. (1916)

Из приведенных выше цитат можно было видеть, как, например, неожиданно сдвинута привычная семантическая перспектива слова «солнце», благодаря установлению близкой соотносительности его предметного значения с кругом других имен из иной, далекой смысловой категории. Роль эпитетов в этом отношении огромна и заслуживает специального анализа. Другой интересный пример из неопубликованного варианта стихотворения «Чуть мерцает призрачная сцена...»:

Вновь кипит разъезда суматоха.
Розу кутают в меха.
А на небе варится неплохо
Золотая дымная уха. (1920)

Слово «уха» созерцается в перспективе космического масштаба, в необычайном семантическом плане. «Солнце» — «опускается» на землю и становится вещью:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда.

«Уха» — «подымается» на небо и становится предметом космического ряда. (Вещно реализованная метафора здесь почти и не ощущается как метафора.) Установление соотносительности значений слов на основе проецирования их как бы на единую вещно-предметную семантическую плоскость в результате своеобразно уравнивает их тематическую значимость. Все имена оказываются одинаково значительными в сюжетном плане по высоте лирического напряжения, присущего их значениям.

Кучера измаялись от крика,
И кромешна ночи тьма *,
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

---

* Эта строка позднее изменена: «И хрипит, и дышит тьма» — *(примечание публикатора)*.

Пахает дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна,
Из блаженного певучего притина
К нам летит бессмертная весна. (1920)

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах»,—
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды ва руках. (1920)

«Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают!»
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

...Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара. («Декабрист», 1917)

Все слова — и все образы — оказываются одного измерения, одного масштаба и по семантическому весу и по эмоциональному тону.

В этом плане оказалось возможным осуществление периферийного и мутабильного движения лирического сюжета, основанного на связи далеких значений.

Апрель 1926 года

Предисловие и подготовка текста
В. П. Петушкова

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. его «Воспоминания об Ал. Блоке». Сб. «Эпопея», I, II, III вып. (Здесь и далее примечания В. Гофмана. — *Ред.*)

[2] См.: В. Жирмунский. «В. Брюсов и наследие Пушкина» и «Поэзия Ал. Блока», 1921; Б. Эйхенбаум. «Анна Ахматова», 1923.

[3] Д. Выгодский. «Поэзия и поэтика». «Летопись», 1917 г.

[4] В. Жирмунский. «На путях к классицизму». «Вестник литературы», 1921 г.

[5] См.: Б. Эйхенбаум. «Анна Ахматова».

[6] Изд. «Акмэ», 1913 г.; изд. «Гиперборей», 1916 г.; изд. «ГИЗа», 1922 г. В последнем издании нет вовсе одного четверостишия («Из полутемной залы, вдруг...»), а к стихотворению «Сусальным золотом горят...» прибавлена 2-я строфа.

[7] В. Жирмунский. «На путях к классицизму».

[8] Все примеры из «Камня» изд. «Гиперборей», 1916 г.

[9] Особенно ярко выступает конструктивная роль синтаксиса (и ритма) в следующих примерах (из «Второй книги»):

Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Чище смерть, соленее беда
И земля правдивей и страшнее.

Все было встарь. Все повторится снова.
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно ветер дует свежий.

Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Здесь периферийное движение сюжета конструируется с архитектурной четкостью в виде своеобразной трехчленной формулы из двух стихов. Первый стих состоит из двух симметричных синтаксических и тематических единств. Второй стих заключает формулу посредством соединительного союза и, выделяясь, принимает на себя сюжетное ударение.

[10] См.: Ю. Н. Тынянов. «Проблема стихотворного языка», 1924 г.; В. В. Виноградов. «О задачах стилистики». «Русская речь», 1923 г.

[11] Во «Второй книге»:

...Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон. («Я не знаю, с каких пор...»)

[12] Там же:

Я так боюсь рыданья Аонид:
Тумана, звона и зиянья. («Я слово позабыл...»)

[13] Термин В. Виноградова.

[14] Ярким случаем «заданного», но не разрешенного повествования (что обнаружено синтаксически) является стихотворение «Когда городская выходит на стогны луна...».

[15] Таким образом, обычный прием персонификации резко преобразован в сторону конкретизации и «снижения» в предметно-бытовой план из плана космического.



Евгений Рейн

СОТОЕ ЗЕРКАЛО

Запоздалые воспоминания

По веским для меня обстоятельствам я взялся за эти записки поздно, когда уже собраны многие материалы к торжеству ахматовского столетия и вот-вот появятся целые тома и мемуаристики, и литературоведения. На этих немногих страницах я постараюсь не повторять то, что уже опубликовано (прежде всего я имею в виду книгу А. Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой» и интервью И. Бродского «Вспоминая Анну Ахматову», данное им С. Волкову). Тут следует сказать, что нам, небольшому кружку ленинградских поэтов (Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн), многое было известно совершенно однозначно и одинаково. Я имею в виду прежде всего то, что Ахматова называла «наигранными пластинками». Вполне избежать этих «наигранных пластинок» мне не удастся, потому что, отталкиваясь от них, я хотел бы припомнить то, что, как мне кажется, невозможно продублировать. Ведь наша память устроена как некий многоступенчатый коридор, где за поворотом почти всегда открывается что-то неожиданное. Я хочу сказать, что, начиная припоминать, я почти всегда наталкиваюсь на то, чего «не помнил» до начала этого вглядывания в полутьму.

Что касается дат, то они, увы, иногда приблизительны. С датами у меня всегда было неблагополучно, и мне легче вспомнить, в котором часу пошел дождь, чем год, когда то или иное событие «имело место быть».

Впервые я был у Анны Андреевны на улице Красной Конницы, неподалеку от Смольного собора, видимо, весной 1960 года. Но видел я ее и прежде, задолго до этого. Хочу рассказать кратко, как это было.

Двоюродная или троюродная моя тетка Валерия Познанская познакомилась с Ахматовой во время войны в Ташкенте. По ее словам, это было нечто большее, чем просто знакомство. Во всяком случае, после ждановского постановления она не отреклась от Ахматовой, не заморозила до лучших времен свои с ней отношения, а сознательно оживила их.

Была она химиком, специалистом по коксующимся углям, даже лауреатом Сталинской премии. Не очень ясно я припоминаю какой-то рассказ моей матери о том, что Познанская хлопотала зимой 1946—1947 года о топливе для Ахматовой. Топливо это якобы доставляли из ленинградского филиала того института, где работала Познанская. Большинство ленинградских квартир отапливалось тогда печами, и дровяная проблема была даже более насущной, чем продовольственная. Но в этой истории я не вполне уверен, и она может оказаться семейной легендой.

Весной 1947 года Познанская приехала в Ленинград и остановилась в гостинице «Астория». Однажды часа в четыре дня она заказала в номер чай с пирожными и закуску, такие вещи практиковались в «Астории» почти до последнего времени. Это был как бы скромный прием в честь Ахматовой. На него Познанская пригласила мою мать, а мама, предварительно договорившись, взяла с собой меня. Все оговорки, сделанные в этой фразе, не случайны. Мне шел уже двенадцатый год, возраст вовсе не младенческий, мама объяснила мне, куда мы идем и кого там увидим. Хорошо помню, что с утра я читал книги Ахматовой, их было три, и они всегда стояли за стеклом в книжном шкафу красного дерева.

Детская память крепка и щедра на детали. Я хорошо помню этот солнечный и ветреный, возможно, мартовский день, номер «Астории» окном на Исаакиевскую площадь. Помню даже ракурс всадника на

площади, клодтовского императора Николая. Видимо, это был невысокий, второй или третий, этаж. Анна Андреевна еще худощава, в темном и длинном платье, очень похожа на тот рисунок Тышлера, где она сидит на краешке стула. Но это уже, конечно, позднейшее наложение. Помню, что было еще два или три человека. Что же касается беседы, каких-нибудь фраз или слов, то не помню ничего, да и вряд ли она была откровенна в номере знаменитого отеля, который при посещении Ахматовой, конечно же, прослушивался, о чем приглашенные были хорошо осведомлены.

В следующий раз я увидел Анну Андреевну через тринадцать лет, в 1960 году. Я уже окончил Технологический институт и работал инженером-механиком на заводе. Но, по существу, занимало меня только стихописание — и вообще стихи, чужие, свои, всякие, всех времен и народов, и та бурная полулитературная-полубогемная жизнь, что кипела в Ленинграде в конце 50-х годов. Сейчас не буду ударяться в подробности, но даже у этих заметок должен быть, пусть самый мизерный, исторический фон.

Уже прошел XX съезд партии с «закрытым» докладом Хрущева, о Сталине думали и говорили, во всяком случае в наших кружках, приблизительно то же, что и сегодня, уже растаяли первые снега оттепели и даже наступило некоторое похолодание. Из литературных событий важнейшими были книги Эренбурга, Паустовского, в поэзии — стихи Пастернака из романа, большие цветаевские поэмы и вообще открытие Цветаевой. Первые, почему-то крайне перевранные, списки Мандельштама, публикации Заболоцкого. О Солженицыне еще никто не слышал, ну и, кроме того, конечно, нас очень и очень занимали стихи из Москвы (Тарковский, Ахмадулина, Слуцкий, Самойлов, Евтушенко). Все это я пишу к тому, чтобы объяснить, что даже в передовых литкружках конца 50-х годов Ахматова совсем не была злобой дня. Могучее возвращение ее поэзии было еще впереди, ведь печатались по журналам только полуклочки и полуобломки, а «красная» книжечка и «Бег времени» еще не вышли. Поэтому такая простая мысль, что где-то тут же, рядом, в Ленинграде живет великий поэт, который и может «связать времена», совсем не сразу приходила в молодые головы. Кстати, об этом же говорит и Бродский в своем интервью.

И вот однажды я все-таки сообразил все это. В киоске «Ленгорсправки» за десять копеек я получил адрес Ахматовой. Сразу же от киоска я отправился к ней. Дверь открыла худощавая крупная женщина, это была Ханна Вульфовна Горенко, первая жена брата Анны Андреевны. Я объяснил, кто и такой, минут на пять меня оставили одного в прихожей, затем Ханна Вульфовна вернулась и провела меня в комнату Анны Андреевны.

Ахматова сидела на узком диванчике, сказала, что неважно себя сегодня чувствует, расспросила меня о моих занятиях, давно ли я пишу стихи, принес ли я их. Стихов у меня с собой не было.

Я напомнил Анне Андреевне про встречу в «Астории» в 47-м году и тут же впервые столкнулся с ее невероятной памятью. Ахматова помнила все: и Познанскую, и чай с пирожными, и мою маму, и меня.

Перед прощанием Ахматова спросила меня, не могу ли я — и лучше всего с каким-нибудь приятелем — помочь ей упаковать библиотеку. Дело в том, что осенью она должна переехать в новую квартиру, в дом Союза писателей на Петроградской стороне. По каким-то формальным причинам в квартиру въехать еще нельзя, а вот книги перевезти следовало бы, тем более что их совсем немного. Это не писательские книжные пуды и энциклопедии. Легкие сборники стихов, десятитомник Пушкина, несколько очень изящных французских и итальянских книжечек в сафьяне и позолоте.

У меня был такой приятель, тоже поэт, тоже бывший студент Техноложки — Дмитрий Бобышев.

И через несколько дней вместе с ним я пришел к Ахматовой. Этот день запомнился мне очень полно и подробно. По дороге к Ахматовой мы купили в хозяйственном магазине мешки из крафтбумаги, в которые тогда убирали на лето зимнюю одежду. В эти мешки мы стали складывать книги. Анна Андреевна сидела тут же на диванчике. Книги мы укладывали очень медленно, разглядывая их, листая, читая автографы. Задавали Анне Андреевне десятки вопросов, иногда чем-нибудь интересовалась и она. Я знаю, что Ахматова всегда предупреждала: прямая речь в воспоминаниях — всегда вранье. Конечно, это так. И все-таки — стилистически почти невозможно обойтись без прямой речи, и я приведу только те фразы, за смысл которых готов поручиться.

— Как у вас дела с иностранными языками? — спросила Ахматова.

— Английский кое-как.

— Читать нужно по крайней мере на двух-трех, хорошо бы еще и по-итальянски.

— Но как же этого добиться? — удивляемся мы.

— Просто взять книгу и начать читать,— говорит Ахматова.— Вот уж дело совсем не сложное.

Кого мы любим из «китов» литературы XX века? (Видимо, до этого прозвучала фраза о «трех китах» — Джойсе, Прусте, Кафке).

Я называю Томаса Манна. Не так давно вышел в СССР его десятитомник, и все мы восторженно одолеваем эти «сверхинтеллектуальные» книги. Разговор заходит о романе «Доктор Фаустус». Но Ахматова не разделяет моего восторга: «Слишком много

неметчины. А вот Пруст — один из самых лучших,— замечает она.— Он может быть всю жизнь рядом. Его можно читать с любой строки».

— Знаете ли вы, читали ли вы Кафку? — И Ахматова довольно подробно стала пересказывать нам содержание романа «Процесс».— Это как будто кто-то взял вас за руку и повел вас в ваши самые страшные сны. (Эту фразу я запомнил дословно.)

Из множества автографов, которые я видел в этот день — Сологуба, Блока, Пастернака,— мне запомнился дословно почему-то только такой: «Анне Андреевне Горенко-Гумилевой с верой в ее дарование». Это написал Алексей Толстой на книге своих стихов «За синими реками». Запомнил я эту надпись, наверное, потому, что сочетание «Горенко-Гумилева» увидел впервые, да и текст был совсем прост. А вот надпись Пастернака поразила меня многословием (исписанный от края до края весь титульный лист) и каким-то невероятным количеством степеней прилагательных.

Что касается «наигранных пластинок», то одну из них мне все-таки хотелось бы пересказать.

Именно этот рассказ Анны Андреевны (а был он довольно долгим, явно превосходил обычные размеры «пластинки») вспоминается мне чаще всего, когда я думаю о Петербурге десятых годов, о такой исторически близкой и все-таки непостижимой обстановке символизма, о «башне» Вячеслава Иванова, о «Бродячей собаке», Блоке, Белом, о Любови Дмитриевне Менделеевой, о том, что за человек был Михаил Кузмин. Может быть, самым важным в интонации Ахматовой было пронесенное через долгие годы чувство своей правоты. Обиды, негодование, ирония полностью сохранили свой градус. Именно это позволяло почувствовать *ту атмосферу*. Никаким чтением, литературой, архивами это заменить нельзя.

Ахматова рассказывала о том, как впервые ее привели в квартиру Вячеслава Иванова — знаменитую «башню» на углу Таврической и Тверской. Вячеслав Иванов в эту пору был самым влиятельным человеком литературного Петербурга, и от событий, происходящих в его салоне, весьма и весьма зависели литературные судьбы. Ахматова пришла к Иванову днем, и после короткой учтивой беседы он увел ее к себе в кабинет и попросил прочесть стихи. Среди прочего Ахматова прочитала «Песню последней встречи». Иванов сказал, что это стихотворение — огромное событие в русской поэзии. «Я на правую руку надела перчатку с левой руки»,— так еще никто не писал. Тончайшие достижения русской психологической прозы вошли наконец и в поэзию. Понятно, что совсем молодую, двадцатилетнюю Ахматову не могло не обрадовать такое полное признание. В тот же день, вечером, когда в «башню» съехался литературный Петербург, хозяин попросил собравшихся у него поэтов прочитать стихи по кругу, после чего произнес нечто вроде импровизированной рецензии. Стихотворение Ахматовой, то самое, что привело его в такое восхищение днем, было им разругано в пух и прах. Так выпали литературные карты в вечерней игре Вячеслава Иванова, так было нужно для его вождистской политики. «Больше „на башню" меня не тянуло, да и акмеизм сделал из всех этих великих жрецов фигуры отчасти забавные...»

Что касается Михаила Кузмина, мне показалось, что Анна Андреевна рассказывала о нем с очень личной нотой.

Тут было и нечто от доли вины Кузмина в самоубийстве Чеботаревской, и от того, что случилось в 1913 году с Князевым и Ольгой Глебовой-Судейкиной. Говорила Ахматова о том, что Кузмин делал иногда зло из одного только любопытства поглядеть, как все это получится.

Я заметил, что слышу до сих пор о Кузмине (а надо сказать, что в то время я знал в Ленинграде не менее пяти человек из близкого окружения Кузмина) только восторженные, умиленные рассказы.

— Так оно всегда и бывает,— заметила Ахматова,— так уж устроено. Одним не прощается ничего. Если горошины у вас на галстуке будут вот на столько больше (Ахматова показала меру на кончике ногтя), чем принято, вам этого не забудут никогда. А вот для Кузмина петербургские дамы сохранили в памяти только коленопреклонение и фимиам (последняя фраза звучала как-то иначе, но два эти последние слова были произнесены).

Противоположный фатум, то есть насмешка, ирония, недоверие, перечеркивающие всякую реальность, был, по мнению Ахматовой, уделом Гумилева. Был этот рассказ долгим. И Ахматова не забыла и того, какое замечательное предисловие написал Кузмин к ее первой книге «Вечер», но кончался он приблизительно так:

— Уже в 20-е годы Кузмин царил в салоне Анны Радловой, которую он очень выдвигал, да и сама она сильно играла в литературную политику. Ниспровержение Ахматовой входило в правила этой игры. Говорили они, что я поэт не только не петербургский, но и не петроградский даже, а только царскосельский, и то самое царскосельское место мне и следовало, по их мнению, указать. Удивительно, как мало прошло времени после революции, и эти люди забыли, насколько для петербуржца почетнее было жить в Царском Селе, чем на Песках, где почему-то склубилось большинство «радловцев».

Таких ахматовских «пластинок» я записал пять или шесть. Быть может, когда-нибудь я и воспользуюсь этими записями, но пока что попытаюсь рассказать о другом, что может быть известно совсем узкому кругу людей.

Иосиф Бродский в своем ахматовском интервью вспоминает, как переделывалась строка из стихотворения «Царскосельская ода». Я уверен, что Иосиф ошибается, произошло это не с Анатолием Найманом, а со мной. Поэтому сам Найман и не вспоминает об этой истории в своей книге. Я был одним из первых слушателей «Царскосельской оды». Стихотворение, как мне кажется, очень замечательное. Что-то трудно объяснимое выделяет его из поздних ахматовских стихов, то ли пронзительный, как завывание вьюги, звук, то ли виртуозная историческая живопись, несколько абсолютно точных мазков, воссоздающих 90-е годы в придворном «игрушечном городке». От полосатой будки до «великана-кирасира» на розвальнях,— видимо, императора Александра III.

Когда я объяснял Анне Андреевне, как и почему мне нравится это стихотворение, то вдруг заметил, что строчка «Пили царскую водку» может вызвать недоумение у современного читателя. По моему тогдашнему мнению, этот читатель может не понять, что имеется в виду «монополька», то есть водка, которой торговало царское правительство. В Технологическом институте меня научили, что этим же термином именуется смесь солиной и азотной кислот, растворяющая золото и платину. Кстати, сейчас я думаю, что это была напрасная мнительность. «Но это мне совершенно ни к чему,— сказала Ахматова,— это ваши химические дела».

Но, видимо, многозначная «царская водка» не была забыта Ахматовой, дня через четыре она решила заменить эпитет «царская» каким-нибудь другим. «Вот вы и придумайте»,— сказала она. Я ей придумал наречие «допоздна». Наверное, в рукописях можно отыскать ту раннюю редакцию с «царской водкой». Признаюсь, что теперь «царская водка» мне кажется иногда лучше опубликованного варианта. Но вся эта история всего лишь с одним словом — не свидетельство ли того, как заботилась Ахматова о точности, верности материальной, так сказать, стороны своей поэзии? «Точность — это и есть поэзия»,— услышал я как-то от нее. Правда, мне припоминается, что она цитировала то ли Гете, то ли кого-то еще из немцев, а может быть, и не немцев. Этого я припомнить никак не могу.

Хотелось бы сказать хоть немного слов о том, что́ сама Анна Андреевна называла «ахматовкой». Термин этот был очень многозначен. Частично он означал разные несуразности, накладки, суету, которые вокруг нее происходили. То, что «ахматовка» была реальностью, а не мнительной выдумкой, неоспоримо. Я был свидетелем случая такой очевидной — и коллекционируемой самой Анной Андреевной — «ахматовки». История эта тем более примыкает к «ахматовке», что сама Анна Андреевна так и не узнала, как все получилось.

Однажды я пообещал приятелю своему Валерию Туру, величайшему почитателю ахматовской поэзии, известному драматургу, представить его Анне Андреевне. Валерий гостил в это время в Ленинграде, а Анна Андреевна жила на своей дачке в Комарово. Так как между «будкой» и городом постоянно двигались гонцы, то предупредить Ахматову о нашем визите было несложно. В назначенный день мы с утра двинулись в Комарово, побродили по берегу залива, пообедали в станционном буфете и только потом отправились к Ахматовой. Как я и предполагал, на какой-то минуте нашего визита разговор начал пробуксовывать, в нем появились все более затягивающиеся паузы. Чувствуя себя ответственным за всю эту мной организованную встречу, я начал расспрашивать Анну Андреевну о старых Терноках, Куоккале, Мустамяках и прочей околопетроградской Финляндии. Дело в том, что я попал в эти места очень давно, сразу после окончания войны в 1945 году. Потом я, конечно же, узнал, как много всего случилось здесь в начале века, как собирались за вегетарианским столом в «Пенатах» Репина, как прыгал на прибрежных камнях, сочиняя «Облако в штанах» Маяковский, что здесь были дачи Чуковского, Евреинова и Анненкова, как однажды белой ночью на Финском заливе перевернулась лодка и утонул упавший с нее Сапунов, как давала здесь летние спектакли студия Мейерхольда.

Анна Андреевна живо поддержала этот разговор, тем более что мы находились в этих самых местах, и знала она об этих всех событиях лучше, чем кто-нибудь иной. От дачной Финляндии Анна Андреевна перевела беседу к настоящей Суоми и вспомнила, как она была в Гельсингфорсе вместе с Гумилевым. Среди прочего она заметила, что они побывали на приеме у генерал-губернатора Финляндии.

И тут, перечисляя множество точных дат, фамилий и названий финских городков, она вдруг призналась, что запамятовала фамилию этого генерал-губернатора. «Может быть, Боровитинов?» — внезапно произнес Тур. Последовала небольшая пауза. «Да, действительно, Боровитинов, как славно, что вы вспомнили...» В электричке я спросил у Тура, откуда ему известна генерал-губернаторская фамилия. В ответ Валерий рассказал мне еще один эпизод, подтверждающий, что теория вероятности — дело не пустое. Всего несколько дней назад он купил в ленинградском букинистическом магазине комплект дореволюционного журнала «Нива» за какой-то год. Оно открывалось страничкой официальных назначений с портретами, там-то он и прочел про Боровитинова.

История эта запомнилась Ахматовой. Не

раз она передавала через меня всякие добрые слова для Валерия, называла его весьма знающим молодым человеком, говорила о том, как переменилась в лучшую сторону молодежь 60-х годов сравнительно с послереволюционной. И хотя этот эпизод с генерал-губернаторской фамилией был все-таки случайностью, но образованный и многознающий Валерий Тур гордился им, как мне кажется, даже больше, чем каким-нибудь закономерным успехом. По-человечески это очень понятно. Случайность льстит нам более, чем что-либо ожидаемое от естественного порядка вещей.

А вот случай совсем уж юмористический. Кстати, я его изложил по просьбе Анны Андреевны письменно, и она на моих глазах вложила эти листки в одну из своих книг — не то в Лермонтова, не то в «Тысячу и одну ночь» (в издательстве «Художественная литература» по просьбе Ахматовой для нее делались записные тетради, переплетавшиеся в изящно оформленные переплеты очередных изданий). Блокноты эти потом так, по их обложкам, и именовались.

Быть может, эта запись и теперь находится в архиве Ахматовой.

История эта такова. 1956 год. Помню точно, ибо именно в этом году вместе с несколькими ленинградскими приятелями я впервые путешествовал по кавказскому побережью. Мы стояли на причале в Сочи и ждали рейсового катера. К нам подошел полуспившийся курортный бродяга — тип, в старое время именовавшийся «стрелком». Без всякой нищенской печали, наоборот, весело и нагловато, он попросил денег. Излагаемая им тут же легенда вполне совпадала с историческим фоном тех лет. «Золотая советская молодежь,— обратился он к нам,— помогите бывшему заключенному добраться до дома, не хватает на билет, добираюсь из лагеря к семье и вот несколько поиздержался».

Как он с Колымы или из Казахстана попал в Сочи, этого он объяснять не стал. При этом было очевидно, что он и сам понимал, что вся его болтовня — некая условность и деньги на вино (тут же на причале из бочки продавали сухое) он получит почти наверняка. «Ладно-ладно,— сказал ему кто-то из нас,— необходимая помощь будет оказана. Только по какому же делу ты сидел?»

Только на секунду задумался проситель, видимо, с максимальной точностью определив, кто мы такие (я имею в виду наш психологический тип — столичные студенты, расположенные ко всякому «свободомыслию», и т. д.). Свою речь он продолжил так: «Не могу разгласить, дело-то особое, большие люди в него были втянуты, знаменитейшие писатели».

Мы оживились и уже сами побежали за сухим вином. Будущий гонорар его явно возрастал. «Ну вот, расскажи, что знаешь, и получай доплату за плацкарту».— «Вообще-то, не полагается,— ответил „стрелок“,— но при вашей доброте ничего не хочу скрывать. Я сидел по делу Зайченко и Ахмедова».— И он многозначительно подмигнул. И вдруг я понял, что Зайченко и Ахмедов — это перевранные им Зощенко и Ахматова. Теперь окончательно стало ясно, что это за тип.

Я сказал: «Деньги только после того, как расскажете нам, что это за дело». Рассказчик задумался, в глазах его был туман после двух стаканов «сухого», что-то он припоминал, деньги были так близко, еще одна удачная фраза — и он их получит. И он снова попал «в десятку»: «Дело, молодые люди, государственное. Я по нему подписку давал, об нем когда-нибудь весь мир услышит, только для вас сообщаю: Зайченко ни в чем не виноват, его затянул Ахмедов...» Мы уже все понимали, что нам пересказывается некая фольклорная байка по поводу ждановского постановления. Мы рассмеялись, и он получил свой гонорар.

Анне Андреевне почему-то эта история очень нравилась. Может быть, она считала ее каким-то бредовым отражением истины, ведь она была уверена, что первопричиной постановления 46-го года стала ее встреча с Исайей Берлиным, именно с этого камушка и началась лавина. А если так,— а очень может быть, что все было именно так, как считала Ахматова,— значит, действительно, «Ахмедов» затянул «Зайченко».

Вообще же стоило бы отдельно написать об ахматовском юморе, о ее шутках, иронических оценках, о той необыкновенно высокого качества устной сатиричности, которая исчезла полностью, больше нет таких людей, нет среды, нет культуры, которая позволяла бы вести беседу на таком уровне. Что касается самих «мо», шуток, то они передают этот тон лишь частично: «Это было не в прошлый голод, а два голода тому назад». «Сейчас, сейчас, не отходя от кассы»,— говорила она, довольно часто пародируя несуразные советские штампы, которым мы сами редко удивляемся.

Как-то, посылая меня в магазин за водкой и ветчиной, Анна Андреевна дала несуразно большую сумму денег. Я сказал, что этого хватит на ящик водки и целый окорок. «Кто же их поймет, эти наши деньги, чего только с ними не было».

Впрочем, многие из этих ахматовских словечек уже записаны. Припоминаю еще замечательную шутку по поводу эрудиции одного из сотрудников Пушкинского дома. Ахматова назвала его «профан-террибль», хотя вообще каламбуров не любила, кроме знаменитого «маразм крепчал».

В своем интервью, вспоминая Ахматову, Бродский довольно подробно пишет о том, как он впервые побывал в Комарово на даче у Ахматовой и познакомился с ней. Да, все было действительно так, как пишет Иосиф, и повез его в Комарово и, предварительно договорившись с Ахматовой. Иосиф захватил с собой фотоаппарат и начал снимать еще на вокзале. Помнится мне, что фотопленка в этот день была отщелкана вся целиком и Иосиф подарил мне потом три или четыре кадрика, снятых тогда. Кто знает, может быть, где-нибудь сохранились и остальные. Пришли мы к Анне Андреевне раньше назначенного часа, у нее сидели какие-то иностранцы, и мы пошли на Щучье озеро «прогулять время».

Когда мы снова вернулись в «будку», иностранцев уже не было. После нескольких общесветских минут нас пригласили пить чай. В этот же вечер Иосиф читал стихи, не очень много — 5 или 6 стихотворений. Я же прочитал только одно, написанное накануне. Оно потом было напечатано в моей книжке «Имена мостов», это стихотворение «Младенчество, Адмиралтейство...» Речь зашла о так называемом «герметизме», о темных запутанных стихах, усложненных ассоциациях, которые могут дойти разве что до самого узкого круга людей, а иногда понятны только самому поэту. Ахматова сказала: «Важно только одно, чтобы сам автор имел нечто в виду».

Спустя долгие годы я стал припоминать дату этого визита, из этого, конечно, ничего не получилось, но зато я напал на верную примету. Я вспомнил, что весь путь от Ленинграда до комаровской платформы сопровождался передававшимся из специально включенных репродукторов репортажем о запуске в космос Германа Титова. А он совершил свой космический рейс 7 августа 1961 г. Так оказалось, что и «у этого воспоминания есть свое число и листок в календаре», как сказала когда-то сама Ахматова, описывая свою встречу с Блоком в поезде на станции Подсолнечная (не в записной книжке отметил Блок и, естественно, датировал).

Розы были любимыми цветами Ахматовой. Было бы любопытно сосчитать, сколько раз они упоминаются в ее стихах. Сразу приходят на память «Новогодний праздник длится пышно», много роз и в заглавиях — «Последняя роза», «Пятая роза», «Шиповник цветет», ведь шиповник тоже роза, только дикая. Я тоже, наверное, дарил Ахматовой розы, но запомнились мне почему-то другие цветы, самые простые: ромашки, колокольчики, васильки. Было это так. Однажды я оказался в Сестрорецке и внезапно решил поехать в Комарово к Анне Андреевне. Такой визит без предварительной договоренности был для меня событием чрезвычайно редким. Побродив около билетных касс на платформе, я все-таки решился и поехал. Добраться до Комарово из Сестрорецка можно только с пересадкой на станции Белоостров. И там на бедном околостанционном базарчике я был удивлен необыкновенной миловидностью полевых цветов, которые продавались на выбор горстями прямо из ведра. Я собрал по своему вкусу букет и повез его в Комарово.

Когда я вошел на участок Союза писателей, где располагались дачи, то сделал какой-то неверный поворот и оказался около ахматовской «будки», но не со стороны крыльца, а против окна в комнату Анны Андреевны. И внезапно я увидел ее как бы в рамке окна в летнем, довольно открытом платье. Она была старательно причесана и, как мне запомнилось, выглядела в этот день лучше всего за многие годы, когда мне удавалось ее видеть. «Вы ко мне?» — спросила она. Я удивился вопросу: к кому же еще я мог приехать сюда? Позже я понял, что вопрос этот не только имел смысл, но и был обязателен в понимании Ахматовой: с цветами н шел куда-то, чуть ли не минуя уже ее дом, а что, если бы у этого букета оказался другой адресат? Вопрос Анны Андреевны полностью исключал неловкость, которая могла бы возникнуть, если бы эти цветы предназначались кому-нибудь другому. Вероятность этого была ничтожно мала, но даже этой малостью не следовало пренебрегать, по мнению Ахматовой. Но букет этот составлялся специально для Ахматовой. Анна Андреевна взяла цветы и приблизила их к лицу. Было уже часов шесть вечера, и предзакатные лучи, отражаясь от раскрытых створок окна, осветили лицо Ахматовой как-то особенно. Не могу найти необходимого слова, может быть, следует употребить термин «стереоскопическое освещение», имея в виду особенную четкость и ясность красок и линий. Эту минуту я вспоминаю почему-то чаще многих иных,— казалось бы, более содержательных. В этот день Ахматова мне надписала «Anno Domini» (издательства «Petropolis», 1921). Было это 2 августа 1962 г.

Последний раз я видел Анну Андреевну в Боткинской больнице в Москве в феврале 1966 г. Она попросила Ардовых передать ей пачку ее фотографий, у них хранившуюся.

Я собирался навестить Анну Андреевну в больнице, и Нина Антоновна (ближайший друг А. А., жена В. Е. Ардова) поручила мне передать фотографии Ахматовой. Кроме того, я вез врученный мне одной мовй знакомой, вернувшейся из ФРГ, толстенный номер какого-то воскресного литературно-газетного приложения. В нем была большая, на целую полосу, статья об Ахматовой. В статье было что-то и о грядущей Нобелевской премии. Я знал, что Анна Андреевна относится к таким вещам с немалым интересом, но и это был не последний повод к моему появлению в больнице (впрочем, какие поводы нужны для посещения больного человека?). И все-таки, прийти с чем-то интересным для Анны Андреевны было для меня важно. Но сей-

час о другом: во время этого больничного визита я передал Ахматовой свое стихотворение, посвященное ей. Это было не единственное из посвященных ей стихотворений, но передал я только одно. Теперь это стихотворение опубликовано, вот оно:

У зимней тьмы печали полон рот,
Но прежде, чем она его откроет,
Огонь небесный вдруг произойдет,
Метеорит, ракета, астероид.

Огонь летит над грязной белизной,
Зима глядит на казни и на козни,
Как человек глядит в стакан порожний —
Уже живой, еще полубольной.

Тут смысла нет. И вымысла тут нет.
И сути нет, хотя конец рассказу.
Когда я вижу освещенный снег,
я Ваше имя вспоминаю сразу.

Что я сам об этом стихотворении думаю? Почти ничего. Во всяком случае, не считаю его чем-то удавшимся, особым, совершенным, но думаю, что такие стихи имеют право на жизнь. Написано оно было в конце 1965 г., как-то внезапно, в несколько минут. Его происхождение — от рождественских хлопьев снега, косо летящих в конусе фонарного света. Может быть, сюда примешались и сообщения о болезни Анны Андреевны. Как раз в это время она и лежала в тяжелом состоянии в больнице в Москве. Стихи эти написаны в Ленинграде, но жизнь моя была в то время такова, что я по 2-3 раза в месяц переезжал из старой столицы в новую и наоборот.

Анна Андреевна прочитала стихи. «Благодарю вас, я положу их в свою папку». Теперь хорошо известно, что это за папка. Ахматова получила за долгую свою жизнь, быть может, сто или больше посвященных ей стихотворений. Часть их она сложила в папку, которую назвала «В ста зеркалах». Теперь эта папка хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде. Там есть стихи Гумилева, Блока, Клюева, Мандельштама, Недоброво, Пастернака, Кузмина, Хлебникова, то есть классиков. Там есть стихи известных поэтов — Асеева, Спасского, есть стихи моих старых друзей — Бродского, Наймана, Бобышева.

Но много там стихов, авторы которых мне неизвестны. Быть может, некоторые из них не были поэтами вообще, даже в том профессиональном смысле, когда поэтами называют людей, постоянно пишущих стихи только для себя, для домашнего употребления. Возможно, они написали только для Ахматовой свои стихи, чтобы выразить свое восхищение, ритмически организовать слова и мысли. Я внимательно просматривал эту папку и, помнится, даже сосчитал вложенные в нее стихотворения — их там что-то около 85. Было очень интересно читать все это подряд. Как всегда, замысел Ахматовой оказался гораздо более значительным и глубоким, чем можно бы предположить с первого взгляда. Именно такое отражение «В ста зеркалах» делает это собрание стихов какой-то особенной повестью, со смыслом, который предстоит еще понять. И стоило бы издать все это, скажем, в виде приложения к ахматовским томам «Литературного наследства», как, впрочем, и предполагал И. С. Зильберштейн. Ведь однажды Э. Голлербах уже издал такую антологию. Было это в середине 20-х годов. Тем более интересно понять сейчас, что сложила в этот зеркальный ящик сама Ахматова. Судьба рассудила так, что мое стихотворение оказалось самым последним, оно было передано ей дней за 10—15 до кончины. Первым в описи Публичной библиотеки значится стихотворение Гумилева «Русалка».

На русалке горит ожерелье.
И рубины греховно красны.

Я не знаю, когда написаны эти стихи, но опубликованы они в сборнике «Путь конквистадоров». Сборник вышел в свет, судя по цензурному разрешению, 3 октября 1905 г. Таким образом, ахматовское отражение «В ста зеркалах» продолжалось 60 лет.

10 марта 1966 г. хоронили Анну Андреевну на Комаровском кладбище, что находится в десяти минутах ходьбы от ее летнего домика. Гроб доставили самолетом накануне. Я был среди тех, кто встречал этот рейс в Пулковском аэропорту. Впрочем, все эти события можно и сегодня увидеть воочию. Сохранилась документальная кинолента, снятая киногруппой ленинградской хроникальной студии, режиссерами С. Арановичем и С. Шустером, операторами Л. Розентулом и А. Шафраном.

Кстати, они жестоко поплатились за эту съемку, а сам фильм был арестован и на долгие годы сгинул в каких-то таинственных сейфах. Выбрался он из них на свет Божий весной 1987 г. Тогда-то в полном одиночестве я посмотрел его. Идут эти куски документальных съемок около часа. Это именно куски, никак не слаженные, не смонтированные, во всяком случае, мне их показали именно в таком хаотичном виде.

Это был, пожалуй, самый невероятный, напряженный час в моей жизни. Я снова увидел события, миновавшие 21 год тому назад, но в темноте крохотного просмотрового кинозальчика я видел их с расстояния двух десятилетий и под грузом всего того, что в эти десятилетия вместилось. На экране промелькнули десятки, даже сотни знакомых лиц. Все мы в обратной проекции помолодели, похорошели, но я уже знал судьбу каждого на этой киноленте.

Я увидел будущих эмигрантов, с которыми все эти долгие годы и не надеялся встретиться. Увидел людей, которые внезапно уйдут из жизни, и один из них будет похоронен где-то в Техасе, а другой — рядом с Ахматовой в Комарово. Я увидел огромную, непроницаемую, обнажившую

голову толпу около собора Николы Морского. Гроб в соборе, отпевание, Льва Николаевича Гумилева около гроба, автобусы, остановившиеся около Фонтанного дома, и снова увидел всех нас вместе: Бродского, Наймана, Бобышева, самого себя рядом с ними.

Увидел, как Борис Ардов держит крест, сбитый на киностудии «Ленфильм» из дерева, предназначенного для декораций фильма Алексея Баталова «Три толстяка». Этот крест и стоял над могилой Ахматовой, пока его не заменили железом и камнем.

Я увидел мартовские, уже оплывшие, затененные в этот поздний час снега Комарово и лыжников, случайно попавшихся по дороге.

Несколько лет спустя я начал сочинять книгу рассказов в стихах. Белым пятистопником я попытался соорудить нечто вроде не то хроники, не то панорамы времени, где самое обыденное сочеталось бы с теми днями и событиями, из которых и складывается человеческая судьба. В этой книге есть особая глава — день похорон Ахматовой.

После похорон на ахматовской даче были поминки, студенты консерватории играли музыку, которую любила Ахматова, пили водку, закусывали, как на всяких поминках.

...мы говорим, уже оживлены...
Яснее ясного, что эти сорок восемь
часов нам в жизни не перешибить
и не подняться выше этих тяжких
сугробов на комаровском кладбище.
Они и станут горным перевалом,
откуда будет самый дальний вид
на нашу жизнь, на век, на всю округу...

Сорок восемь часов — это девятое и десятое марта, те дни, когда еще не предвинный земле гроб с телом Анны Ахматовой находился в Ленинграде.

Игорь Померанцев

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ПОЭЗИИ

У поэтов, создавших свой «образ мира», всегда в стихах найдется и слово, и вздох, и тайна, и что поесть, и что выпить, и что надеть, и где голову приклонить. Чьим соседом, жильцом или жилицей хочется побыть?

В. Хлебников зазывает в комнату смеха, где слова смотрятся в кривые зеркала и не узнают себя. Крик возвращается к себе «закричальностью», время — «времешом», цепь — «гзи-гзи-гзэо». Взяв билет, в этой комнате можно замечательно провести четверть часа. Можно возвращаться в нее раз в десять лет. Можно привести туда своего ребенка, чтобы он, смеясь, вспомнил свои первые слова. Но жить в комнате смеха нельзя.

У А. Фета можно снять качели. Средь туго натянутых веревок, в ночном полумраке, обхватив гибкий стан подруги, ты раскачиваешься на узкой доске. Ты счастлив, ты красив, но... пора развязывать мертвый узел любви, спрыгивать и возвращаться на полупьяных ногах.

А на дачном крыльце уже ждет Пастернак. Проведем с ним лето. Будем вместе окапывать грядки, собирать грибы, квасить, солить, мариновать, шинковать, настаивать смородинную наливку. И глазом моргнуть не успеем, как задует, заморосит, запорошит. Пора съезжать. Куда?

В провинцию. Лучше всех провинция получается в книгах для детей. Городок огромен и в то же время очерчен. Городок — игра с правилами. Ребенку, особенно мальчику, не рассказ и не роман, а повесть в самую пору. А раз повесть — значит, городок. Как там катаются на велосипеде, на каких костылях там расхаживает помидорная рассада, как цепляется за штаны репейник. «Этот город деревянный на реке — словно палец безымянный на руке». И чтобы провинция стала поэтической родиной, надо уехать в столицу. Как О. Чухонцев. Но не вечно же в детской повести жить!

А можно хоть у кого-то не пристанище, не убежище, не каморку с красным померанцем и не кухню с примусом да белым керосином, а нормальную квартиру снять? Чтоб не на лето и не на хорошее настроение, и не в расчете на свою ранимость, что сродни чванству, а на все времена года, на жизнь, чтоб с женой миловаться и сына растить и одному винцо попивать? Чтоб стихи там легко писались, вроде:

Какое счастье, благодать
Ложиться, укрываться,
С тобою рядом засыпать,
С тобою просыпаться!

Померанцев Игорь Яковлевич (род. в 1948 г.) — поэт, переводчик, прозаик, критик, с 1978 г. в эмиграции. Печатался в журналах «Смена», «Синтаксис», «Родник», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор книги «Альбы и серенады» (Лондон, 1985). Живет в Англии. Эссе «Жилищный фонд поэзии» опубликовано в «Синтаксисе», № 22, 1988. Остальные эссе публикуются впервые.

А. Фет романтически делится: «На стоге сена ночью южной//Лицом ко тверди я лежал». Недоверчивый А. Кушнер сомневается: «Не знаю, как на нем лежал тяжелый Фет? Не шевелился?» До А. Кушнера не было в русской поэзии квартиры, дома для жизни. Были жилища для любви, для сговора, для стука в дверь, для экзальтации. А теперь вот своя, отдельная, двухкомнатная появилась, с чайником на плите, скрежетом дворницких скребков за окном. Не проворонить бы ее, не спустить, не заспать. В Третьем Риме — жизни ни на грош. Жизнь — в своей квартире.

БРОДСКОМУ — 50

Поскольку речь идет о другом поэте, то позволю себе начать с «я». Бо́льшую часть жизни я прожил на реках Прут и Днепр. Чужая мне Нева течет в другой чувственной зоне, в краю дальтоников, в краю, страдающем от авитаминоза. Бродский честно называет свои слова «блеклыми». Возможно, с точки зрения обитателей Земли Франца-Иосифа, Нева — это чуть ли не Гвадалквивир, но не для меня, бывшего обитателя бывшей империи Франца-Иосифа. Все это говорит исключительно обо мне, читателе, а не о поэте Бродском. И вот что говорит: читатель я ленивый, ограниченный, склонный потакать себе, любить в охотку, в согласии с самим собой. Вернусь к авитаминозу. Мне кажется, что Бродский не владеет словом, в материальном, осязаемом смысле. Казалось бы, страшный профессиональный криминал. Но не тут-то было. Горловым усилием поэт обращает свой недостаток в достоинство. Не совладав со словом, он воет как оглашенный. Он преследует слово голосом, и эта интонационная погоня за словом и есть смысл поэзии Бродского. Отдадим должное усилиям обреченного героя недревнегреческой трагедии.

Еще одно зыбкое диалектическое наблюдение: кто гонится, тот одновременно убегает. От чего бежит Бродский? Почему он не в состоянии кончить строку? Почему он мастер и одновременно раб переноса? Мне кажется, дело не в приверженности приему, а в страстном нежелании умирать. Пока строка длится, я, поэт, живу.

И последнее частное наблюдение: лирический герой Бродского, в отличие от большинства других лирических героев русской поэзии, не сердечен, не задушевен. Он не желает играть в «маленьком оркестрике надежды». Волчий оскал одиночки то тут, то там мелькает в поэзии Бродского. И оно-то, оскал, мне по душе. Значит, одиночки не так уж одиноки. Значит, не ты один бормочешь: «Каждый за себя; избегать контактов; никто никому не может помочь».

ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ

Прошлым летом английские критики, кажется, щедрее всего писали о довоенной прозе Нины Берберовой, изданной теперь по-английски. Повести девяностолетней писательницы изданы в последние годы по-французски, по-немецки, по-испански... Запоздалый успех? Да. Признание потаенного гения? При всем уважении к писательнице гением ее назвать трудно. Кое-что о секрете успеха говорят иллюстрации: платья до пят — с рюшами и оборками, персики с пушком, туманноликие девочки с этими персиками, ажурные беседки на фоне изумрудной листвы. Нину Берберову любят не только за ее собственные писательские достоинства, а за принадлежность к эпохе, которую, слегка переиначив Пастернака, можно было бы назвать «эпохой музыки во льду». В ту пору можно было родиться и жить, но при этом эпохе не принадлежать. Так, например, случилось с Максимом Горьким, секретарем которого была Нина Берберова. От его циклопических нагромождений философии, политики, дидактики остались одни руины. Лишь порой вспоминаешь тот щекотный запах степи, который слышен в его лучших рассказах. Да, тот самый Горький, который свысока судил о поэзии Ходасевича, Пастернака, теперь обойден своим секретарем. Я говорю это не с целью уколоть Горького. Я о другом.

Несколько лет назад в Великобритании внезапно подскочили цены на шотландских импрессионистов. Этих обаятельных, но в меру одаренных художников высветила принадлежность к школе, великой школе. Величие ее заключалось в том, что она всерьез занималась погодой, воздухом, цветом глаз и волны. Сюжет добра и зла возбуждает графомана. Художник же думает о действительно божественном: погоде, воздухе, цвете глаз и волны. Когда цены на классиков импрессионизма достигли звезд, арт-дилеры вспомнили о троешниках школы и не промахнулись.

Или, скажем, известный польский поэт, Нобелевский лауреат. Да, Чеслав Милош. Его стихам не хватает той последней свободы, которая отличает великую поэзию от прочей. Но почему же тогда и стихи, и эссеистика поэта так притягивают и трогают? Он вырос в Вильно, на раздорожье культур, религий, языков. Он даже дерзко сравнивает Вильно с Триестом и Черновцами. С таких раздорожий пойдешь направо — угодишь в поэты, налево — в пророки, прямо — в создатели нового языка. На межвоенном польском говорили и писали такие поэты, что одно соседство с ними служило порукой, по крайней мере, закутка в истории литературы.

Но что же делать художнику, если он вырос не под музыку во льду, не под знаком погоды, не на раздорожье трех отчизн? Писать, причем не примазываясь к счастливцам. Художник создает музыку во льду настолько же, насколько она создает его. И если надежды нет — все равно писать. Уже не ради прекрасного и вечного, а чтобы спасти от распада самого себя.

«ВЕЩЬ» И «ЖАНР»

Можно начать с «вещи», а можно с «жанра». Хронологически следует с «вещи», но о ней начинаешь думать благодаря «жанру».

Скажем, копилка. Все в ней замечательно, будь то свинюшка или жестянка из-под монпансье, а если ты немецкий кроха — красный сапожок с обещанием Рождества. Берешь в руки, нянчишь. Побрякаешь-позвякаешь, и славно станет. Но самое главное — открытие, что копеечки тоже дружной семьей живут, что ими можно заселить жестяной мирок, что, накопив, можно устроить себе праздник: конфету «Эльбрус», книгу «Магелланово облако», билет на карусель.

Или, скажем, фонарик. Пусть даже не китайский, почти военный, а нашенский, квадратно-гнездовой, болотного цвета. С ним и в подвал — летучих мышей шугать, и на чердак — в заросли к паукам. Но главное про фонарик — что мир познаваем, что, нажав на кнопку, можно что-то увидеть, понять, выхватить из тьмы. С годами тот же фонарик или копилка уже просто «вещи». Подарок сыну. Или подспорье, если лезешь на чердак, чтобы подставить таз под дыру в крыше.

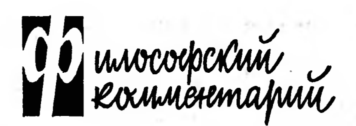
Теперь про «жанр». Почему нужно верить в непререкаемость «рассказа», «драмы», «стихотворения»? Сказать себе: напишу-ка я хороший рассказ — это уже сдаться, повернуть кому-то на слово. Вот, мол, правила игры, и ты, следуя этим правилам, постараешься стать чемпионом. Но ведь был же кто-то первый, кто придумал эти правила! И для него эти правила были приключением, прорывом, жизненным открытием. Как же так случается, что обретенная свобода оборачивается раболепием? Почему от урока свободы остается гибкая инструкция? Ведь поэзия — это летучая мышь, на которую навели фонарик.

ПОСВЯЩАЕТСЯ НОСУ

Открыть кавычки. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиной в два сяку. Закрыть кавычки.

Это цитата из новеллы Акутагавы «Нос». Где нос, там непременно гротеск. Почему? Да потому, что нос — физиологический гротеск. Все ладно в человеке. В состоянии покоя члены не топорщатся, не торчат. Уши — и те, как правило, не сторонятся черепа. Но представим себе тело в проекции сбоку. Даже если нос не римлянин, не еврей, а так, носик-курносик, носик-пуговка, то все равно он выпирает, топырится, высовывается из тела, словно собирается задать дёру. Но это не все. Гротеск — от итальянского «grotta» (пещера). И действительно, нос, если глядеть на него снизу, представляет собой грот, пещеру. А если вновь взглянуть сбоку — то пещеру, вывернутую наизнанку. Вот почему у истинных реалистов нос-персонаж живет исключительно гротескной жизнью.

Открыть кавычки. Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос пяти-шести сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Закрыть кавычки.



Борис Парамонов

ПЕГАСЫ И КЛОПЫ

Трудно отрицать факты: например, тот, что русская культура, русская жизнь действительно своеобразны, что Россия — страна, на другие не похожая. Но если мы остаемся на твердой почве фактов, то ведь такое можно будет сказать о любой другой стране. Итак, «Россия своеобразна» — это трюизм. Но дело меняется, когда этот эмпирический факт наделяют ценностным смыслом, когда своеобразие провозглашается достоинством, дар — заслугой. Когда проведена такая операция, тогда уже нетрудно это эмпирическое своеобразие считать не просто даром, то есть данностью, но и заданностью: целью, проектом,— и тогда фактичность предстает идеалом; а это уже — конец всякому идеализму в смысле элементарной способности меняться в лучшую сторону. Это — верный путь к духовному застою, выдаваемому за врожденное преимущество. В отношении национальной жизни такая аберрация сознания называется мессианизмом.

Можно было бы многое сказать о психологических основах этого явления — мессианизма, периодически поражающего отдельные национальные сознания. Можно смотреть на мессианизм как на средство психологической защиты у народов, по тем или иным причинам впавших в бедствие. Еврейский и польский мессианизм — примеры, наиболее убедительно подтверждающие правильность такого подхода. С русским мессианизмом дело сложнее. Уже и в момент его появления у пресловутого старца Филофея, писавшего о Москве — Третьем Риме, Россия была вполне самостоятельной и достаточно сильной страной, никто ее национальному существованию тогда не угрожал. Тем более это верно по отношению к середине девятнадцатого века, когда появилась концепция славянофильства, наделившая русский народ всемирно-исторической миссией. Славянофилы были людьми европейски-культурными, но в данном случае это говорит скорее не в их пользу: представление о том или ином народе, принимающем эстафету духовного водительства человечеством, пришло к ним из историософии Шеллинга и Гегеля. Это была у славянофилов, строго говоря, литературная реминисценция. Мы не говорим просто «плагиат», потому что формальный в общем принцип национального мессианизма славянофилы сумели наполнить очень интересным содержанием, связав его с темой, позднее получившей название «культура и цивилизация».

Славянофилы выступили в момент принципиальной переориентации западной культуры, смены культурных парадигм и приоритетов, когда на первый план начали уже выходить технико-рационалистические и прагматические модели жизнеустройства, а прежде господствовавшие религиозно-философские отходили на второй план. Можно сказать еще приближеннее к сегодняшним реальностям: западная культура во времена славянофилов начала процесс специализации, распада на отдельные дисциплины. Окончательно был изжит тип средневекового и ренессансного мудреца, способного охватить в едином интеллектуальном построении все содержания наличной культуры. Культура вообще теряла единый корень, переставала быть Священным писанием или «суммой», энциклопедией, системой, из единого принципа объясняющей целостность бытия. Как раз современник славянофилов Гегель (с которым лично был знаком Иван Киреевский) был последним творцом великой системы. Идея целостной культуры уступала место культуре как механической сумме отдельных знаний. «Систему наук» уже нельзя было воссоздать на тех основаниях, на которых строилась, допустим, «сумма теологии» (хотя поначалу позитивисты очень старались это сделать). Причем следует говорить не только о феномене специализации знаний, но и о чем-то гораздо важнейшем: утрате понятия Единой Истины, ориентировавшей человека прежних культур на всех его поприщах и во всех жизненных обстоятельствах.

И вот этот по-своему негативный процесс задумали остановить славянофилы, усмотревшие в строе традиционной русской православной духовности возможность сохранения и дальнейшего развития так называемой целостной культуры. Психологически это была реакция культуры неразвитой на культуру, ее превосходящую, так сказать, возведение нужды в добродетель. В конкретно-эмпирическом культурном плане это привело к тому, что приоритетное положение в русской духовности заняла литература, вообще художественное творчество — духовная деятельность, сохраняющая признаки указанной «целостности», но совершенно не способная ориентировать практически, а в случае претензии на такую ориентацию порождающая тип прекраснодушного мечтателя, фантазера и утописта — как выяснилось позднее, очень опасный в социальном отношении тип.

Вот вполне популярное, но в сущности правильное противопоставление нового типа культуры традиционному, данное в сочинении, никак не претендующем на научность,— в сказке Гофмана «Крошка Цахес»:

«Прежде чем мы приступим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские школы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные дороги и привить оспу,— прежде надлежит изгнать из государства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу разума и совращают народ на различные дурачества... Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который делает людей неспособными к службе на благо просвещении... Так, например, эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, совершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди и даже крылатые кони... стоит ли труда придумывать и вводить разумные акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров?»

Было бы верхом неумного ригоризма утверждать, что новая культура, возникшая в линиях юмористически очерченного романтиком Гофманом «просвещения», была лучше, богаче, красивее, нежели дурачества и чудеса культуры традиционной, «не просвещенной». Новая культурная эпоха в позитивном плане не породила, собственно, ничего, кроме технических удобств, так называемого комфорта,— да и за этот комфорт приходится тяжко расплачиваться: скажем, экологическим кризисом. Но и цепляться за традицию, уходить в романтический консерватизм — тоже позиция не самая правильная: нельзя сказать «нет» времени. Пожилой человек, прикидывающийся ребенком,— это не просто не умно, это опасно.

Но у новой, позитивистской культуры, или, как принято говорить, цивилизации, есть одно громадное отрицательное достоинство: она менее красива, менее одухотворена, но зато не так часто делает грубые ошибки. А цена грубых ошибок в эпоху технической экспансии человечества возрастает непомерно: достаточно назвать современные войны или возможности тотального контроля над подвластным населением. Новая культура, отказавшись от Единой Истины, если угодно — утратив волю к ее отысканию, создала тем самым гарантии выживания. Почему, например, не бывает войн между демократическими странами? Не потому, что у них не бывает конфликтов, а просто потому, что в мировоззрении демократического человека отсутствует фанатизм: вера в собственную правду, представленную Единой Истиной. Демократический человек знает, что нет таких истин, за которые стоило бы умирать,— потому что сегодняшняя «вечная» истина завтра окажется предрассудком. Он утратил веру в слова, и это сделало его свободным. Вот этот, так сказать, «великий отказ» — отказ от целостной культуры, порождаемой исповеданием Единой Истины,— и сделал человеческое житье-бытье более или менее сносным. Крылатых коней нет, но зато товаров, в том числе даже и беспошлинных,— сколько хочешь. Главное же — человек остается жив; а живой человек всегда придумает что-нибудь интересное, даже и в поэтическом отношении.

С Россией — и не на поверхностно-политическом, а на глубинно-духовном уровне — случилась та беда, что она не нашла в себе сил отринуть соблазн целостной культуры, отказаться от мифотворческого мышления, от сказок о крылатых конях. Причем сказанное относится не только к рабочим и крестьянам, а к самым что ни на есть высшим слоям нации, к духовной ее элите. Славянофилы, Достоевский, а позднее плеяда деятелей так называемого русского религиозно-культурного ренессанса были ведь людьми в высшей степени просвещенными и о пользе оспопрививания они, конечно, знали. Но это им было «неинтересно». Запад был им не интересен с его буржуазностью, «вексельной честностью», формальным легализмом и позитивистской философией. Соблазн был именно в высокой европейской культурности наших гениев: у них возникала иллюзия, что Запад им действительно не указ, коли они и сами в Гуссерле и Бергсоне разбираются ничуть не меньше, чем профессора Гейдельберга и Сорбонны. И тут уже не о комплексе неполноценности следует говорить, а скорее о гордыне, о самомнении высоких умов.

В любом варианте это вело к культурной изоляции; если не к оторванности от источников культуры, то к недооценке их, к сознанию того, что «мы лучше».

Нужно еще раз подчеркнуть, что основой любой другой изоляции была в России вот эта переоценка собственных возможностей в культурном творчестве, то есть следы все того же мессианизма. И в конечном итоге это привело к отставанию — не только в смысле высокой культуры, но и в смысле приземленной цивилизации. Сейчас не только Бердяевых нет, но и одноразовых шприцев, добыча партии которых делается лучшим способом приобрести популярность и политические шансы. Это позорное зрелище.

Однако и по сию пору люди, не без оснований причисляемые к нынешней культурной элите, продолжают держаться все за те же гиблые мифы.

Недавно в итальянском городе Римини на съезде христианской молодежи выступил Вадим Борисов — историк, известный своим участием в организованном Солженицыным сборнике «Из-под глыб», где он поместил одну из основных статей — о нации как соборной личности. Сборник вышел в 74-м году, в очень глухое время, сразу же после высылки Солженицына. Публикуя эту статью, Вадим Борисов рисковал многим — по крайней мере, отрезал себе возможности легального существования в Советском Союзе. Прошло больше пятнадцати лет, времена переменились, и Борисов выступает с докладом в Италии. Текст его напечатан в парижской газете «Русская мысль» 21.IX.1990. Доклад называется «Новая Европа» [1]. Он производит тяжелое впечатление: перед нами человек, по-прежнему отрезающий связи с миром. Читатель готов сделать парадоксальный вывод: что коммунистический режим ни при чем в случае Борисова — он изоляционист по собственной природе, вне зависимости от обстановки, его окружающей. Следует ли здесь говорить о стойкости убеждений, о духовной ли гордыне, ведущей к умственной слепоте, или просто — о неопытности автора, о незнании им жизни за пределами русских книг?

В начале своего доклада Вадим Борисов говорит:

«Я понял, что сегодня в этом зале, ощущая за своей спиной истерзанную, разоренную, прошедшую через гибель и все-таки воскрешающую Россию, и я обязан говорить о том процессе зарождения новой духовной реальности, который идет вот сейчас, здесь, на наших глазах».

Мне показалось поначалу, что в этой фразе — опечатка: что нужно вместо «воскрешающая Россия» сказать «воскресающая» или «воскрешающаяся». Но общий смысл доклада не оставляет сомнения в том, что автор имел в виду именно первый вариант. Россия не столько воскресает, сколько воскрешает другие страны и народы. Это благодаря ее опыту возникает то, что Борисов назвал «новой Европой». Претензии же к старой Европе Борисов высказал в форме изложения соответствующей славянофильской критики:

«Тревога, которую испытывали славянофилы, вглядываясь в процессы — духовные и материальные,— идущие в Западной Европе, была прежде всего *религиозной* тревогой. Их настораживало, что в „стране святых чудес", как называл А. Хомяков Запад, „убывает душа" человеческая, что христианская закваска, на которой взошла вся великая христианская культура Запада, словно потеряла свою творческую силу. Они считали, что в атеизме, рационализме и индивидуализме Запад изменяет своим собственным принципам... Им казалось — да так оно и было в их время,— что Россия, более сохранившаяся религиозно, обязана подхватить эстафету всемирной христианской культуры из ослабевших рук Западной Европы и тем самым спасти и ее саму. Не критика Запада как такового, но критика тех тенденций западной мысли, которые пытались подменить органическое созидание целостной культуры рационалистическим проектом, раз и навсегда разрешающим все проблемы социального устройства человечества и все загадки окружающего его бытия,— вот основной нерв размышлений славянофилов о Западе».

Здесь Вадим Борисов, как и всякий славянофил, приближается к тому, чтобы сделать крупную ошибку, которую можно назвать «скандалом в славянофильстве» (этой ошибки не избежал даже гениальный поэт Тютчев в своей антизападной публицистике): предостерегая Запад, подошедший к краю некоей пропасти, славянофилы не заметили, что в эту пропасть готова упасть сама Россия,— и действительно упала. Борисов, однако, знает литературу вопроса — и в последний момент делает такое обходное движение:

«Конечно, в суждениях славянофилов, несмотря на их меткость и религиозную взволнованность судьбой Запада, было много исторически ограниченного, были полемические издержки, особенно хорошо видные сейчас, сто с лишним лет спустя. И прежде всего им не хватило прозорливости заметить, что те опасности духовного развития, которые их тревожили в Европе, уже в их время становились и проблемами русской жизни... Славянофилов, и ранних, и поздних, объединяла вера в то, что Россия сумеет преодолеть соблазны рационализма и социального утопизма и сыграет решающую роль в грядущем торжестве христианской культуры».

---

[1] Полный текст доклада В. М. Борисова «Звезда» опубликует в следующем (1992, № 1) номере журнала. По сообщению автора, его выступление в Италии «Русская мысль» воспроизвела неточно.

Вадим Борисов, как и все мы, хорошо знает (для этого не надо углубляться в литературу), что Россия этих соблазнов преодолеть не сумела. Признать это прямо — значит поставить на славянофильстве и на идеях русского мессианизма крест. Но этого делать не хочется, поэтому Борисов продолжает настаивать на том, что Россия все-таки как-то предостеречь другие народы от соответствующих опасностей сумела. Он говорит:

«Надо сказать, что эти предчувствия сбылись, правда, далеко не в той радужной форме, какая им грезилась, а в форме трагической, кровавой, жертвенной, но исторически и духовно очень значительной... Бисмарк как-то сказал, что социализм следовало бы попробовать, надо только найти страну, которую не жаль. Такая страна была найдена, и это была Россия».

Далее Борисов говорит о России в основном в страдательном залоге — как будто ее для этого эксперимента выбрал тот же Бисмарк. Но в общем эта часть его доклада — уже не столько славянофильская, сколько чаадаевская: это ведь Чаадаев сказал, что провиденциальное предназначение России — дать урок другим народам, как не надо жить. Дело осложняется, однако, тем, что, вопреки Вадиму Борисову, да и Чаадаеву, этот урок уже был не нужен.

Борисов полагает, что усвоение русского опыта поможет странам Запада избежать той пыточной камеры, через которую прошла Россия. Как сказал Виктор Шкловский в «Сентиментальном путешествии»: это русская гордость — вымостить ров трупами, чтобы через него могла пройти артиллерия. А смысл и сущность этого русского опыта, говорит Борисов далее,— необходимость возвращения к религиозным корням культуры, которые сейчас Запад, согласно Борисову, утрачивает, как в свое время вырвала их Россия. В этом утверждении содержатся сразу две серьезные ошибки.

Первая: необходимость русского опыта сомнительна для Запада прежде всего потому, что он, Запад, удержался от соскальзывания в тоталитарный социализм уже в семнадцатом году — на фоне тех же событий, которые обусловили распад России. К этому времени в западноевропейских странах уже не было экстремистских социалистических партий марксистского образца. Поэтому даже очень далеко идущие социалистические проекты — например, лейбористская революция в Англии 40-х годов — сохранили в неприкосновенности демократический порядок. Можно вспомнить, что приходить к власти лейбористам случалось уже и до этого, например, в начале 30-х годов, и именно тогда их вождь Макдональд в ответ на соответствующие опасения сказал: «В отличие от русских коммунистов мы не ищем коротких путей в тысячелетнее царство».

Во-вторых: можно ли с полной определенностью говорить, что от срыва в тоталитаристскую бездну спасает непременно и единственным образом христианская ориентация сознания? Вот, например, Борисов говорит (в самом конце своего доклада):

«Восстановление... христианской вертикали в человеческих душах — единственная альтернатива, могущая спасти катящийся в пропасть современный мир, и, следовательно, общая задача всех христиан...»

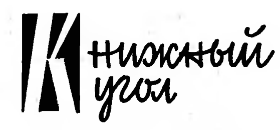
Попутное замечание: мы знаем, что сейчас, например, реальная опасность миру исходит от мусульманского фундаментализма. Каким образом мыслит Вадим Борисов восстановить христианскую вертикаль в мире ислама? Но ограничимся пределами Европы, как это сделано в его докладе. Кто в ней катится к пропасти? Такое можно было написать разве что в начале семидесятых годов, глядя на расширяющуюся экспансию коммунизма и на вялость соответствующих реакций демократических стран, когда Солженицын первый раздел своего знаменитого «Письма к вождю» озаглавил «Запад на коленях».

Главное, однако, по моему мнению, не в этих, так сказать, эмпирических аргументах с чьей бы то ни было стороны, а в понимании самого характера современной религиозности. Нет сомнения в том, что западный человек обладает суммой сверхэмпирических ценностей, которые можно по старой памяти назвать религиозными. Но эта религиозность мало общего имеет с традиционной церковной культурой и догматической (в смысле вероучительной) ориентацией. Можно сказать, что современная религиозность, поскольку она существует, определяется отрицательно, или, если придерживаться любезного Борисову традиционного языка,— апофатически. Она, эта религиозность, не связывает свои ценности с наличными формами бытия и культуры — и поэтому всегда готова на новое, неизведанное, небывалое. Это не авантюризм, а спасительная способность вовремя сбежать с любого тонущего корабля. Современному религиозному сознанию — если приводить русские примеры — больше говорит Лев Шестов, нежели Сергий Булгаков. Конечно, в современном сознании утрачена так называемая целостность, то есть способность и готовность любую жизненную реакцию выводить из единого принципа, единственного начала. Но это не минус, а плюс. Беда России состояла в том, что, вступив в эпоху рационалистической разъятой цивилизации, она сохраняла эту целостную установку сознания — и потому соблазнилась принять за полноту истины, скажем, пути и методы технологической цивилизации. Слово «целостный», строго говоря, означает то же, что и слово «тоталитарный»: мышление и жизнь в единой системе. Средневековая

культура была целостной и тоталитарной, но она лучше коммунизма и фашизма еще и потому, что не знала технологии серийного уничтожения инакомыслящих, удовлетворяясь кустарными кострами.

Вадим Борисов — историк культуры, и ему дороги формы культур состоявшихся, оставивших мощный след в истории человечества. Вообще всякий историк — это человек «ставшего», а не «становящегося» сознания. Поэтому, может быть, Борисов не замечает, что религиозному человеку, и религиозному христианину в том числе, все-таки «лучше быть с Христом, чем с истиной», как сказал Достоевский, подразумевая под «истиной» сумму наличных культурных содержаний. Всякая религия уводит из мира ставших форм в неизвестное, если хотите, в никуда. Это путь, по которому идет западная свобода, и это спасительный, а не гибельный путь.

Я уже ссылался на одно легковесное художественное произведение для иллюстрации неких культурфилософских положений; сошлюсь сейчас и на другое. Это роман «Двенадцать стульев» — книга, которую любят не только шоферы такси, но и высоко ценил Осип Мандельштам. В ней есть вставная новелла о гусаре-схимнике, двадцать лет пролежавшем в гробу и познавшем истину, но на двадцать первый год подвергшемся нападению клопов. Это, казалось бы, ничтожное происшествие снова изменило всю его жизнь, заставив покинуть келью и уйти в мир. Это притча, полная религиозного смысла. Под ней смело мог бы подписаться Шестов. Здесь говорится о том, что жизнь темна, рационально не предсказуема и смысл ее скрыт как от самого смелого сознания, так и от самой подвижнической жизни. И еще она говорит, что нет в мире окончательных решений, нет догм, нет, короче говоря, «целостности», за которой можно было бы укрыться от неблагодарного, малоэффективного поиска частичных и неокончательных решений.



Раздел ведет Ив. Толстой

«ОРИОН»

Литературная картина русского Парижа первых послевоенных лет была отмечена резкой политической поляризацией писательских и общественных сил. Разумеется, были резко осуждены те русские, кто в годы оккупации Франции сотрудничал с гитлеровцами, но мощное (и вполне объяснимое) влияние приобрели те силы, которые сделали ставку на ставший модным сталинизм. Газетам и журналам антикоммунистического направления приходилось с огромным трудом утверждать себя на читательском рынке. Достаточно сказать, что послевоенное ослепление коснулось не только разных и без того сомнительных фигур (например, известных у нас мемуаристов Л. Д. Любимова, Д. И. Мейснера), но и таких личностей, как И. А. Бунин или Н. А. Бердяев. Именно о Бердяеве, писавшем в эти годы для либеральных, с советским душком «Русских новостей», Г. П. Федотов сказал: «Ослепший орел, облепленный советскими патриотами».

В эту самую пору угара совпатриотизма 1947 года и появился в Париже один из чисто литературных альманахов — *О*, вышедший под ред. Юрия Одарченко, Владимира Смоленского и Анатолия Шайкевича. Личность редакторов и состав авторов обеспечивали мирный характер *О*, несмотря на то, что до войны некоторые участники альманаха не подавали друг другу руки. Общая трагедия если не примирила их между собой, то по крайней мере выделила литературу в качестве круга общих интересов.

О открывался публикацией стихотворения покойного В. Ф. Ходасевича, который был знаменем для некоторых участников альманаха, например, для Владимира Смоленского или Нины Берберовой. Другие участники *О* в свое время признавали своим лидером Георгия Адамовича — это Ирина Одоевцева, Георгий Раевский (брат редактора «Чисел» Н. А. Оцупа), Юрий Софиев и др. Непосредственное соседство Г. Адамовича с В. Ходасевичем было тем самым знаком их заочного тактического сближения в новых условиях и волею составителей альманаха. Третьей группой парижских литераторов, представленных в *О*, были близкие к Д. С. Мережковскому — И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Н. Тэффи, В. Злобин. Последний, будучи в течение многих лет другом и секретарем, дал для альманаха свой мемуарный очерк «Как они умерли» о Гиппиус и Мережковском (чьи закатные годы, говорит В. Злобин, цитируя дневники З. Гиппиус, прошли под знаком «тот свет — ближе и доступнее, чем Россия» и «о, как надоела война, большевики и все вообще»).

Таким образом, альманах представил все существовавшие в довоенном Париже русские литературные силы. Обращала на себя внимание и другая сторона *О*: отсутствие авторов второй волны эмиграции, так называемых ди-пи, оказавшихся в Европе в результате войны и скоро заполнивших журналы эмиграции. Приверженность старым традициям прочитывается и в указании на ограниченный тираж альманаха (700 экземпляров, из которых 20 именных и 30 нумерованных на особой бумаге).

Поэтическая часть *О* включала также стихи Георгия Иванова, Владимира Смоленского, Ирины Одоевцевой, Юрия Софиева, Георгия Раевского, Николая Туроверова, Валериана Дряхлова, Николая Евсеева, Дмитрия Кугушева, Антонина Ладинского, Сергея Одарченко и Ивана Прилепского. Влад. Смоленский был также представлен стихотворным переводом-переложением — «Любовь Тристана и Изольды».

Почти вся проза появилась на страницах *О* впервые: отрывки из «Ночных дорог» Гайто Газданова; глава «Уединение» из книги лирических воспоминаний Бориса Зайцева «Дни»; «Маленькие рассказы» Надежды Тэффи; отрывок из страд «Сквозь огонь скорби» Алексея Ремизова и незаконченная повесть Юрия Одарченко «Детские страхи». Лишь рассказ И. А. Бунина «Три рубля» перепечатывался из нью-йоркского альманаха «Новоселье» и приводился, согласно просьбе автора, по старой орфографии.

Нина Берберова публиковала мемуарный очерк «25 лет смерти А. Блока» (впоследствии

вошедший в ее книгу «Курсив мой»), Александр Гингер — статью «О разновидностях русского пятистопного ямба», А. Шайкевич выступал с двумя материалами: «Петербургской богемой» (воспоминания о Михаиле Кузмине) и «Мыслями о современном балете». Едивственной критической статьей альмаяаха оказалась рецензия Александра Бахраха «Серое и коричневое» — о последних сборниках стихов, появившихся как в эмиграции, так и в Советском Союзе,— рецензировались «Близнецы» Анны Присмановой, «Новые стихотворения» Георгия Раевского и «Звезды в аду» Виктора Мамченко; все три рецензент относил к парижской поэтической школе. Из советских поэтов А. Бахрахом были выбраны Константин Симонов и Павел Антокольский. Коротко рассматривались последние прозаические вещи И. А. Бунина, А. М. Ремизова, Н. Тэффи и Л. Зурова.

Обложка *О* выполнена художником В. Нешумовым.

Ив. Т.

НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

По моему непростительному недосмотру в публикацию рассказа В. В. Набокова «Волшебник» («Звезда», 1990, № 3) вкрался нестройный ряд опечаток:

стр.	строка	вместо	следует читать
8	5си.	Solys Rex	Solus Rex
9	5 си.	если бы была	если б была
12	10 св.	здоровье, конечио	здоровее, конечно
15	9 св.	замелев	замещен
18	13 сн.	придет	приедет
19	4 св.	била по линейке подчеркнуто	была по линейке подчеркнута
20	27 св.	Успех, успех	Успьех, усопьех
	12 сн.	признаемся	признаёмся
22	2 сн.	на свете	на свет
24	12 сн.	сквозь проволоку	сквозь поволоку
28	15 св.	зтусубть	этутсуйт
	7 си.	ухмыпь	ухмыш

Замеченные опечатки в разделе «Книжный угол»

«Звезда», 1990, № 7. Вместо *М. Н. Гофман* следует читать *М. Л. Гофман*.
Вместо *Илловайская* следует читать *Иловайская*.

«Звезда», 1990, № 8. Вместо *Н. Мельшиковой-Папоушковой* следует читать *Н. Мельниковой-Папоушковой*.

По просьбе Зинаиды Алексеевны Шаховской (Париж), откликнувшейся иа нашу заметку о «Русском альманахе» (см. «Звезда», 1990, № 11), вносим ее исправление: главным инициатором альманаха следует считать не проф. Ренз Герра, а З. А. Шаховскую, т. е. именно она привлекла большую часть авторов и средства для этого издания.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА» ЗА 1991 ГОД

ГОД А. Д. САХАРОВА

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Отвергнутые рукописи не возвращаются,
и по их поводу редакция в переписку не вступает.
Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати».
Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.